

томская классика

*Владимир  
Колыхалов*

Владимир Колыхалов

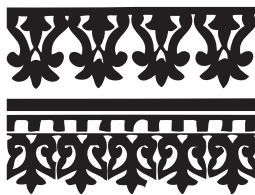
томская  
классика

VIII





томская  
классика





Владимир Колыхалов

# Дикие побеги

*Роман*

*Посвящается Тамаре Лях*

Томск-2014

УДК 821.161.1-32 Автор  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
К61

**Владимир Колыхалов.** Дикие побеги Роман.. Книжная серия «Томская классика» — Томск;, 2014. — 416 с. Автор послесловия Л. Пичурин.

Книжная серия «Томская классика»  
выходит при поддержке губернатора Томской области  
*Сергея Анатольевича Жвачкина*

Томская писательская организация благодарит  
руководителей ООО «Межениновская птицефабрика»  
*Андрея Андреевича Чуркина,*  
*Леонида Викторовича Ющенко,*  
*Владимира Николаевича Хорошилова,*  
*Фёдора Николаевича Халецкого*  
за финансирование издательского проекта  
«Томская классика»

ISBN 5-902350-01-8  
ISBN 5-902350-10-7

© Томская писательская  
организация: переиздание, 2014

---

---

# Часть первая

## 1

Обложила обская вода остяцкий посёлок Пыжино, обступила со всех сторон — лишь зелёный бугор, пуповина земли, торчит из мутного разливища. А на этом бугре, с перепугу будто бы, сбились в кучу дома, которые остяки ещё по старинке зовут здесь юртами. Дома прокопчённые, серые, скучно глядят они на воду, хмуро надвинув на окна покоробленные козырьки крыш.

От дома к дому по осиновым жердям и кольям набросаны сети: с крупными ячеями, по пять перстов — язёвки, муксунные, для вылова нельмы сплавом, и частушки — с ячейками в два перста. В частушки издавна на Оби ловят мелкую жировую рыбу.

Вода уже заняла огороды, перекинулась через изгороди, разлилась по сорам-лугам, затопила кусты по сограм. И только одни высоченные осоки выступают над неоглядными хлябями, как великаны, вздумавшие переходить море вброд.

От воды в небо ползёт редкий туман, от тумана небо белёсое, блёклое, и скучно вдали проступают на вётлах чёрные точки вороньих гнёзд.

Не понять, не найти, где сейчас Обь с глинистыми ярами, где пёстрая речка Пыжинка, ленивая, почти не живая: вечно липнет к её берегам ржавая пена и всякий сор.

Страсть сколько воды кругом! И не пристало вроде бы удивляться нарымским людям, остякам да чалдонам разным (для них большая вода не в диковину), да и те нынче чешут затылки, вяжут узлы по избам.

За крайней избой, на брёвнышке, сидят, сугорбившись, хромой остяк Анфим да крепкий мужик из русских — Андрон, пыжинский бондарь с сельповской засольной. Поди, уже час прошёл, как воткнули они в бережок таловую палку с зарубками — ждут, какую она им прибыль воды покажет. Покуривают, поплёвывают, да всё про то же толкуют: про великое, небывалое наводнение.

— Эва прёт, сатана, язви её! — плюётся бондарь Андрон. — Прямо удержу нету: ведь от неё, скажи, печной заслонкой не



---

отгородишься. Придётся, паря, гачи закручивать да в кедрачи бечь.

Остяк Анфим Мыльжин, вольный промысловик, звонко хлещет себя пальцами по голяшкам бродней.

— Врысь побегеишь, и то, холера, настигнет... Нисяво-о, большой вода — рыбы много! Промышлять пойдём.

— Оно так, — соглашается с ним Андрон и поводит по сторонам головой. — Озерья обрежутся — рыбка с соров покажется, не промешать. А больше рыбы ещё комарья будет. Из годов нонче будет комар: с весны жучить начнёт.

— Без полога не уснёшь — зачикочут. — Анфим помолчал, глянул на бондаря краешком глаза; Андрон тискал ладонями уши, мотал головой, морщился. — Чо, паря, опился вчера, корёжит?

— Да, брат... дело не в порядке: баба щи пролила, облила все пятки... Чёрт поднёс — выпили.

— Али правда?

— Ну вот ещё! Поди, сродственник твой же, Костя Щепёткин. Я за дровами собрался, лодку столкнул, и он тут подлез. А с Костей связки — как с чёртом пляски. Пристал: пошли да пошли. Одна у него песня... Пятый стакан на коленки Щепёткина бросил. Отволок его спать, а он не лежит. Маялся с ним... ночь, как порох, сгорела. Не люблю я его! Уж как пристанет...

Мыльжин Анфим языком пощёлкал — как бы выразил этим согласие с суждением Андрона.

— Мал-мал маракуем, — сказал он после, выждав изрядно. — Правда твоя: дурной Костя мужик, лешак, а чо поделаешь? Бабе своей он глянется, якорь его!

— Сестра твоя, Катерина, ему потекает...

О Косте Щепёткине больше не говорили, замолчали надолго. Слышалось, как в затопленной согре кричит соксун — широконогая утка, дерутся дрозды. «Тюр-ли-ли! Тюр-ли-ли!» — качались тонкие кулички на кочках. Издалека, наверное, с острова, где высятся осоки, долетает сюда мягкий голос кукушки. Анфим ловит знакомый звук молодой весны, ловит, подставив ухо, приоткрыв рот и сощурившись. Лицо его сплошь рябое от оспы, даже на плоских больших ушах видны рытвинки. Оно кажется сонным, ленивым. Из широких и круглых ноздрей продурается сквозь густой волос двумя быстрыми струями дым. Костистое грубое лицо Анфима вдруг сморщивается: выкалив зубы, он громко чихает.

— Спичку в нос! — говорит бондарь Андрон.

— Спасибо за мягку затычку, — отвечает привычно Анфим, дико выкатывая глаза, собираясь, наверно, ещё раз чих-



---

нуть. Но больше не чихает, только всё ещё морщится и трёт нос кулаком.

— Андрон, — переходит на шёпот остяк. — Али я из ума выживаю? Опять мне Лукерья привиделась.

— И опять, поди, потом облился с испугу?

У остяка Анфима скончалась недавно родственница, мозглявая старушонка Лукерья. Было этой Лукерье не сосчитать сколько годов. И вот она как-то ночью Анфиму пригрезилась, голая, «чистый шкилет». Будто бы говорит ему: «Ты, Анфимушка, в баню собрался, так меня не забудь: я тебе спину потру».

Сама страшная старушонка, загробная, а голос вроде бы девичий, ласковый, нежный. Анфим от такого дива криком со сна зашёлся, всех своих ребятишек перебулгачил и бабу. Баба у него русская, тёмная, набожная, да и Анфим крещен, но в Бога верит серёдка на половинку. Тут же он рассказал своей бабе про дивный и страшный сон.

«Худо будет: кто-то помрёт у нас», — оробела Анна, Анфимова баба.

«Да подь ты к бесу!» — выругался Анфим.

А баба ему опять:

«Ну, не у нас в родове погинет, так кто-нибудь в Пыжино... Скажи потом — вру».

Утром Анфим Мыльжин не утерпел рассказать про свой сон на сельповской засольной. Бондарь Андрон, партиец, обсмеял его, и остяк обиделся.

А теперь вот сам вспомнил об этом, смеётся и фыркает.

— Знаешь, об чём я всё думаю? — сказал погода Андрон. — Егорша Сараев из ума не выходит. Семь дён минуло, другая неделя пошла... В такую воду — кака там рыба ему?

— Однако, правда. Долго сидит на озере Егорша Сараев, давно возвернуться пора. Баба его совсем плохой: скоро рожать ей, паря... Поди-ка, хлеб у Егорши кончался, и рыба не ловится, не иматся.

— Так и есть. Погодить да проведать надо. — Бондарь свёл и развёл колени, поставил бродни ступня к ступне.

Остяк Анфим долго слюнил новую самокрутку, мелко покусывая жёлтыми большими зубами мокрый край газетки.

— Хотел я нонче Максимшу Сараева, варнака, отмутузить, да убёг от меня, от хромого, — сказал Анфим.

— Это за што ж ты его? — оборотился бондарь.

— А порох стащили — Максим да Пантиска мой. И за баней стреляли из самопалов... Беда каки озорны растут! Своему я ладом нажёт, будет помнить.

---

— Егорша Сараев не бьёт детей, — упрекнул Анфима Андрон.

— У Егорши покуда один, а я наплодил семерых. Пускай путём привыкают жить... Однако в юртах кто нас с Егоршей добрее? Мы с ним похожи. Егорша мне сам лонись говорил.

Андрон усмехнулся с грустью.

— Похожа свинья на быка, только шерсть не така... Падера в ночь не ударила бы, холера. Как ты думаешь, Анфим?

Остяк оглядел небо, втянул ноздрями сыреющий воздух.

— Будет падера, паря...

Из тумана проглянуло солнце, облило жёлтым рябое лицо Анфима, он по-кошачьи зажмурился и, кажется, задремал.

Бондарь сполз с бревна на траву, навалился сутулой спиной на шершавую стволину. Курит, глотает дым большими затычками, стирает с губ рукавом табачные крошки.

Так прошло у них сколько-то молчаливых, тихих минут.

В стороне заплескалась вода: кто-то брёл к ним по отмели. Анфим очнулся, оторвал от хилой груди подбородок, скосился, глянул тёмным зрачком в узкую щелку.

По отмели шёл к ним мальчонок лет так восьми, в подвёрнутых до колен штанишках; то высоко ноги поднимет, то бороздит ими воду, бурлит — брызги в стороны. Кудлатая, нестриженная головёнка, красная, медная, склонилась через плечо к воде и что-то высматривает: жучков каких или рыбок. Серая рубашонка от подола до ворота в нашлапах грязи, и весь мальчонок до ушей мокрый, забрызганный.

— Максим, якорь тебя, поди-ка сюды! — позвал Анфим.

Максим, сын лесника Егорши Сараева, о котором они только что тут вспоминали, доверчиво поворачивает к мужикам. Он уже позабыл, что остяк Анфим хотел его отодрать утром за шкodu. Он подходит к Анфиму вплоть, и вблизи кажется ещё более огненным, похожим на золотого карасика. Затолкав красные, в цыпках, руки за ошкур штанишек, Максим с вопросительным любопытством уставился карими глазами на остяка: чего такого Анфиму понадобилось? Круглая мордашка усыпана веснушками — курице негде клюнуть, а носипка уже успел облупиться.

— Цыпки паришь, мурлатый? — хитро и добренько спрашивает Анфим.

— Мамка выведет. Весной как же без цыпок? Весной у меня завсегда цыпки, — бойко залопотал Максим. — Дядя Анфим, а ты меня на кротов возьмёшь? У меня пика есть, я тоже буду кротов колоть.

---

Максим протиснулся между колен Анфиму — ластится, тербит сыромятные ремешки, которыми подвязаны остяцкие бродни. Анфим обнял мальчонку за плечи и вдруг больно поймал шершавыми пальцами за мягкое ухо.

— «Москву» покажу...

— Ай-га! Пусти! Пусти! — заверещал Максим и, вырвавшись, стриганул, как вспугнутый бурундук.

— А-аа, — облизался остяк Анфим. — Пантиске было больней, однако, и то он не плакал, не обзывался.

— Хромой, хромой! — издали дразнится мальчик. — Дай только папка приедет — всё расскажу.

— Я т-тебе! — Анфим привскочил понарошку с бревна, и Максим припустил от него по отмели к согре.

Остяк проковылял к таловой палке с зарубками: ноги его увязали в топкой, разжиженной глине. Он потоптался подле тонкого колышка, зачем-то выдернул его и воткнул снова. Забрёл подальше, зачерпнул воды в горсть и вылил себе в рот. Потом он стоял, отставив кривую ногу, изломавшись в спине, и глядел на подёрнутое хмарью разливище.

— Больше не прибывает, на мерку стала! — крикнул остяк бондарю. — Не надо в кедрач уходить, дома жить будем!

Бондарь скоро пошёл к нему, разминая бахилами прошлогоднюю травку-муравку. Чавкала сырость.

— А Сараева надо искать, Егоршу. На Окунёвое озеро ты третиводни ещё собирался. Поедешь? — спросил Андрон.

Остяк заломил кепку-кожанку, толстые губы сомкнул, глазами раскосо стал глядеть себе под ноги.

— Погожу мал-мал и поеду проведать. Худо дело. Н-ня...

Он покачал головой и стал выбредать из воды на сухое. Андрон подождал его, и они пошли вместе к избам.

## 2

Максим как забежал за излучину, так почувствовал, что ему жалко стало Анфима. Хромым обозвал, язык показывал... Разве так хорошо? Вот бы отец услышал — поставил бы живо в угол. Анфим хоть и строгий мужик, но к ребятам приветливый. И Максима он брал на рыбалку частушки ставить, даже давал ему покальбо — палку — втыкать, за которую сетку вяжут, чтобы ветром не унесло. И чебаков Максим выбирал из частушек, жирных, икряных. И дуб-корьё они драли в прошлом году с остяками на острове. Тогда такой страшной воды

---

и придумать было нельзя — все берега было видно. Пригонишь к берегу лодку в четыре гребя, живчиком выскочишь на песок — белый, твердущий, что даже следов на нём от босых ног не остаётся. Сначала песок тянется, а потом ил: сохся весь, потрескался, корочкой взялся. Наступишь, а он хрустит, крошится... А дальше густой-прегустой тальник: тонкий, высокий, кора на нём сочная, мягкая и сладит изнутри, когда языком полижешь. Дуб-корьё драть куда как просто: проведёшь около корня талины ножиком, подберёшься ногтями под кожицу, дёрнешь — и потянется лента до самой макушки. За день сотню талин обшкуришь, кору в пучки свяжешь. Высохнут пучки на солнце да на свежем ветру побуреют, и понесут их в сельпо сдавать. Это и есть дуб-корьё, потому что идёт оно на дубление кожи, сетей.

И балберу он драл: это кора от осокоря. Балбера годится на полавки к неводам, на спасательные круги, что калачами висят на больших пароходах. Стругал он балберу острым ножом через колено, нажёт мозоли, но отец не ругал, а хвалил: «Полезному в жизни учись, пригодится. На дядю Андрона смотри, он всё умеет».

Дядя Андрон и Максимов отец сдружились, и всё выходит у них по уму. Сдружились после того, как с бондарем горе случилось. Был он с Егоршей Сараевым в прошлом году на рыбалке. Тащили где-то они обласок по осоке. Дядя Андрон босый был, ну и цапнула его гадюка за ногу. Сделалось дяде Андрону плохо, замутило, голова закружилась. Отец привёз его домой чуть тёпленького. Потом бабка Варвара, мать остяка Анфима, долго лечила бондаря травами.

Бондаря все кругом почитают за руки, за мастерство — с других, дальних посёлков едут к нему и идут. Ух, какие чаны, бочки делает он из клёпок! Как начнёт подгонять клёпку к клёпке да обручи наколачивать — и стук же стоит! А клёпок у дяди Андрона! А стружек в бондарной! На стружках валяться мягко, только потом вся голова в крошках. Мать за это ругается.

Рядом с бондарной — засольня. Там просоленный, крепкий, шибаящий в нос запах. Вороха чешуи, рыбьих кишок, сверкают ножи, штабелями лежат рогожные кули с солью. В чанах налит тузлук, в него потрошённую рыбу бросают: в какой чан язей, в какой окуня, в какой валят чебака с ельцом... В пустые чаны хорошо гукать. Как гукнешь, так звон в ушах. Потом пальцами долго в ушах ковыряешь, зуд не можешь унять. А когда в чёрном пустом чане на дне чуть-чуть воды, то видишь себя, как в зеркале: и конопушки, и облупленный нос, и рыжий вихор. А дунешь — и всё исчезает.



---

Вот ещё Максиму сходить бы хоть раз на кротов. Остяки привозят кротов мешками, а он помогает им обдирать шкурки и набивать их гвоздями на стенки. У остяков дома стены брусчатые, нештукатуренные, поизбиты гвоздями и жирные от кротовых шкур..

К Максиму прямо из согры летела парочка уток. Он присел, затаился зверьком. Утки плюхнулись в тихую воду, от них красиво пошли расходиться круги. Засмотрелся Максим: голова у селезня с зелёным отливом, перья в хвосте стружками завились. Максим поднялся в рост, утки его заметили и заплыли в кусты.

Впереди мальчика залитые водой кочки у согры. На кочках трава прошлогодняя стоймя поднялась, расправилась и шевелится. И от этого кочки сейчас похожи на головы утопленников, а трава — на волосы. Максиму ничуть не страшно. Отец учит его ничего не бояться, и он хоть днём, хоть ночью может пойти на остяцкое кладбище, потрогать кресты и разноцветные лоскутки на сучках деревьев. Говорят, остяки этими лоскутками духов задабривают, чтобы они покойникам спать не мешали.

Так и шёл мальчик по отмели вброд и всё думал. В одном месте он увидел пёстрых рыжих щурят: они стояли у поверхности воды и еле двигали плавниками. Максим достал из-под ног грязи и кинул грязью в щурят. Вода замутилась, брызнули дождиком серебряные мальки.

И в тот же миг откуда-то налетел злой ветер, охладил Максиму лицо, зашумел в ушах. Запузырилась на лопатках тонкая рубашонка.

— Максим, варнак, ступай домой, мать, однако, зовёт!

Где-то близко кричал Анфим. Максим пошёл на голос не сразу. Анфим показался из-за куста крушины. В руках он держал весло, сумку с едой, через плечо висели у него сети-частушки. Шёл остяк кособоко, как всегда ходил: кривая нога кидалась вперёд, а голова отскакивала назад. Он весь шатался, когда шагал, изламывался. Трудно ходить Анфиму, Пантинскому отцу. Кибасья — грузила, сделанные из обожжённой глины, завёрнутые в бересту, звякали где-то за спиной у него. Он прохромал молча к своему обласку.

— Дядь, я поеду с тобой? — жалобно попросился мальчик.

Остяк склонился над обласком, укладывал сети; зад его был изуродованно отставлен.

— Дядь...

Но Анфим так и не подал голоса.

---

Сараевы поселились в Пыжино с прошлой весны. Своего дома у них здесь не было, и остяк Анфим Мыльжин уступил им пристройку возле своей «юрты». В ней было тесно, в пристройке, пахло сетями, рыбой, собаками, потому что собаки лезли зимой в тепло, просились, скуля и поджимая хвосты. Отец Максима, Егорша Сараев, никогда не прогонял собак, он их жалел, что ли, зато Анфим ворчал, глядя на это, и, случалось, пинками вышибал псов на улицу. Он не любил, как все остяки, чтобы собак наваживали к теплу.

Дверь пристройки сейчас была распахнута настежь, проход закрывала лишь марлевая занавеска. Максим, подбегая сюда, услышал какие-то бойкие плескучие голоса — тревожные, торопливые, и сквозь эти голоса особенно прорывались болезненные, стонущие вскрики матери.

В душе мальчика что-то замерло, притаилось, и он подумал, что матери хуже, чем было раньше. Он быстро перешагнул порог и выпученными глазами стал глядеть вокруг, как будто всё сразу хотел охватить и понять.

— Кричи, Арина, тошней, скорее облегчишься.

Это проговорила Анна, Анфимова баба. «Что же это, мать, выходит, рожает? — взросло подумал Максим. — Вот бы глазком взглянуть, как это братик или сестрёнка на свет появятся».

Максим подsunулся ближе и увидел, что мать лежит на кровати горячая, волосы у неё растрёпанны, мокры.

— Ты тут? Беги-ка, милок, с ведёрком по воду, — быстро сказала ему Анфимова баба. — Да не пужайся, пострел. Ишь вон — щёки пошли мадежами.

Мальчик стоял, озирался; он словно прирос к полу.

— Да живее, о Господи! — Анна пихнула его в спину, приотпнула маленькой толстой ногой.

Одним махом слетал он по воду, полведра расплескал дорогой. Анна выхватила у него ведёрко, вылила воду в большой чёрный чугунок и погнала ещё. Второй раз Максиму идти совсем не хотелось, он замешкался у порога, но вошла бабка Варвара, старая мать хромого Анфима, и первым делом турнула его взашей:

— Поди-ка, чо выставился, бесстыдник!

В другое бы время мальчик обиделся, передразнил бы бабку Варвару как мог, а тут смолчал. Подумал, как матери больно и страшно сейчас, и почувствовал, что кожу его покрывают пупырыши. Но далеко от хибары он не ушёл: остался ждать, прислушиваться.

---

«Был бы хоть папка дома, а то уехал на своё Окунёвое...»

Внутри пристройки всё так же плескались голоса баб, и всё сильнее стонала и охала мать. Потом она вдруг закричала без роздыху длинным отчаянным криком, захлебнулась и смолкла. Максим не слышал, чтобы люди кричали когда-нибудь таким криком, и он подумал, что мать его умерла.

— Эх, мать ты наша, голубушка, — узнал он тут же голос Анфимовой бабы. — Сын, и длинный, как журавель!

И вслед за этим радостным, молодым и дрожащим голосом Анны прорезался хриплый младенческий плач. «Вот и братик родился», — подумал Максим без радости и тихо пошёл от хибарки к воде.

За огородами набухала цветом рябина, вымётывала белые кисти черёмуха. На прясле сидел скворец и чистил жёлтым клювом под крылышком. За амбар пробежала серая длинномордая крыса. Максим хотел пойти посмотреть, куда она скрылась, но передумал...

К полудню сыновья остяка Анфима пригнали полную лодку рубленого сухостоя. Лодка была перегружена и не могла подойти к берегу. Носом она зацепила мель, и Максим бросился помогать заводить лодку к причалу. Низко над головой просвистела стайка чирков.

— Соли на хвост! Эх, паря, — сказал старший Пантискин брат Лёвка, перешагивая за борт в бахилах.

Лёвка сильно тянул лодку с кормы, средний из братьев, Порфилка, пихался шестом, Пантиска — гребью. Кое-как лодку развернули бортом, стали перебрасывать дрова на сухое. Максим от старанья ободрал руки, поцарапал кожу на животе, но азарт помогать старшим был так у него велик, что он даже не обращал внимания на ссадины.

Старшие сыновья Анфима остались на берегу курить и перематывать портянки, а Пантиску Максим утащил с собой.

Пантиска был черноволосый, как головешка, а глаза у него были «простокишные», как говорила бабка Варвара. Цвет глаз достался ему, наверно, от матери: Анна у Анфима голубоглазая, светловолосая. От матери, русской бабы, и веснушки ему перешли. Но конопатки-веснушки у Пантиски лишь к носу налипши, а у Максима всё лицо как семенем конопляным усеяно.

— Слышь-ка, у нас братик родился, — гордо сказал Максим, заскакывая вперед Пантиски.

— Ишь ты, ладом твой отец постарался! — Пантиска сунул кулаком в Максимов живот. — В нашей избе тоже все мужики. Отец девок не любит.

— Пошто? — недоумевает Максим.

---

— Толку с них! — Пантиска машет рукой и кругло, как бундук, надувает щёки. — Мужик — охотник, рыбак. И на покос его, куда хошь. А баба...

— Небось, вон сказывали, бабка Варвара ваша всю жизнь зверей промышляла. Не худыше, сказывали, всякого мужика, — возразил Максим.

Они были погодки, но остячонок чем-то казался старше Максима. Особенно это чувствовалось, когда Пантиска начал спорить. Но шибко спорить он не любил.

— А твой отец куда-то уехал на обласке, — сказал Максим.

— Не куда-то, а вовсе на Окунёвое — отца твоего проведать, Егоршу Сараева. Мы лодку гнали с дровами, тятка нам встрелся, — ответил Пантиска.

— А мой папка там рыбу ловит, — важно заметил Максим. — Он нам окуней привезёт, жирных!

На обласке мальчишки перебрались на остров. На островах гнездились утки, устраивались по дуплам старых осоко-рей и вётел. Вода не оставляла весной места для гнездовых, и утки, особенно из породы нырковых, захватывали дупла и старые вороньи гнёзда в драку. Дупла с утиными гнёздами мальчишки привычно, легко отыскивали.

Пантиска карабкается по корявой стволу старой ветлы, упирается, перехватывает руками ловко. Глядь — уже на самой верхушке, постукивает, похлопывает, ухо к дуплине прикладывает: не слышать, не шипит ли змея? Бывает, что в дуплах прячутся змеи... У Пантиски привязана к поясу поварёшка с длинной ручкой: такую в ведре утопи — ручка наружи будет. Остячонок, послушав, суёт в дупло поварёшку, рука у него по плечо тонет в отверстии. Приловчился, пристроился, и подцепил яичко — зелёное, крупное. Пантиска свешивает чёрную голову, светлый свой глаз щурит.

— Лови-ка!

Максим внизу оттопыривает рубаху, яйцо падает прямо в подол. Он берёт его и укладывает в куженьку — берестяной коробок.

Так набрали они много яиц, и всё гоголевых. Яичницу жарила Анна, Пантискина мать. Хватило и взрослым, и ребятишки налопались. И матери притащил Максим, её накормил досыта. Весна — время в Нарыме голодное. Бедует весной народ...

Зашёл к Сараевым дядя Андрон, поздравить зашёл с новорожденным, да прихватил заодно полведёрка подъязков. Говорить много при матери сдерживался, а всё улыбался больше.

Арина тихим измученным голосом спрашивала:

— Что, не видать там моего Сараева?



---

Бондарь снял с головы картуз, погладил колючие волосы.  
— Теперь их разве что вместе с Анфимом ждать... Не сёдня-завтра заявятся.

Грубое лицо у дяди Андрона, а как улыбнётся, как поглядит горячими, ласковыми глазами, так сразу другим становится.

— Максимша, едрёна вошь, потроши рыбу: мать, поди, жареной хочет.

— Ничегошеньки я не хочу, — тоскливо и слабо отозвалась Арина. — А за рыбку тебе благодарствую, Андрон Михайлович.

— Чего там, — вроде бы застеснялся бондарь, — ешьте себе на здоровье.

Как только дядя Андрон сказал Максиму чистить подъязков, так тот и полез сразу на полку нож доставать: он слушался дядю Андрона, уважал изо всех.

— А хвосты отрубать подъязкам? — услужливо спрашивал мальчик.

— Это как хошь, — отвечал бондарь. — Только желчь не дави, а то горько будет.

Арина вздохнула, остановила на сыне исстрадавшиеся глаза.

— Не обрежься смотри. По сторонам не заглядывайся.

И повернула лицо к дяде Андрону.

— Хворал Егор-то Иваныч в том месяцу, все дни, как есть, ногами маялся.

— Так контуженый он, знамо дело, — поугрюмел бондарь. — Ведь и я его отговаривал, и я не хотел, чтобы он забирался на Окунёвое. Да нешто с ним совладаешь? Охочий он до тайги, до разных промыслов. Сама небось знаешь...

— Когда здоровее-то был, я за него не боялась... Надорвался он там. Год продержали, а ровно бы десять.

— Оклемается, мужицкая сила своё возьмёт. Егорша — крепкой замески... Ты погоди, Арина, больно-то не печалься.

— Сила, здоровье... Вернутся ли?

Андрон подъехал по длинной лавке поближе к Арине, надел кожаный свой картуз на колено.

— Ишь как сбесилась нонче вода. Не чаяли. Но ты за Егоршу не бойся.

— Кабы добро — вернулся бы уж. Знает, в каком я тут положенье осталась.

— Ну, скажи, родила ты не в срок — поспешила...

Заплакал младенец, сморщился и заорал громко, требовательно. Арина вывалила из кофты тяжёлую грудь, на со-

---

ске вспухла капелька молока. Младенец, названный по отцу Егоркой, поймал сосок орущим ртом и зачмокал.

— Базластый, — проговорил смутливо дядя Андрон и отвернулся. — В отца пойдёт — што надо мужик будет.

— В отца я пойду, — ревниво буркнул Максим.

Мать с улыбкой потёрлась щекой о подушку.

— Ну и ты-ы, об чём разговор, — развёл руками дядя Андрон и надел восьмиклинный картуз с пуговкой. — Ты, Максимша, в первую голову, а Егорка уж во вторую... Если, конечно, порох у остяка Анфима не будешь больше таскать.

Дядя Андрон подморгнул, мальчик боязливо скосился на мать, но Арина, занятая дитём, кажется, ничего не услышала.

— Папка меня нынче в школу пошлёт, а потом в город. Я буду лесничий.

— Дело толкуешь, Максимша! — Бондарь встал с лавки, сильно сжал мальчику плечи. — Толстенький ты, справный, хошь и голодно по весне. Не горюй — перебьёмся!.. Ну, Арина, бывай здорова! Посидели с тобой, поглагольствовали.

Мать подняла с подушки лицо.

— Спасибо тебе, захаживай...

Дядя Андрон поднырнул под занавеску, и будто его не было. В выбитое окно напахивало свежим весенним воздухом. Окно в хибарке высадил пьяный засольщик Костя Щепёткин: чёрт его дёрнул в потёмках шарашиться. Прийти застеклить обещал...

Максим всё ещё старательно соскабливал с подъязков крупную серебристую чешую, вспарывал жирные брюшки. Чешуя летела ему на лицо, на рубаху.

Опять запищал Егорка, оторванный от груди, но сразу затих: насосался. «Красный, как морковка, совсем не красивый, и я его не люблю», — подумал о нём Максим.

На дворе кричала Анфимова баба:

— Пантиска, дров притащи, у меня руки в тесте!

«Стряпают, — сообразил Максим, — пышки пекут... поджаристые... на рыбьем жиру». Во рту у мальчика стала скапливаться слюна, под языком закололо маленькими иголками. Он проглотил... Как давно он не ел поджаристых пышек! Пирожков, шанежек, настоящего мягкого хлеба! В доме мука у них давно кончилась, мать послала как-то его в сельпо, но там муки не было. Сказали, что старый завоз кончился, новый не начинался. Вот скоро притащится с паузком катер, который все называют «болиндером». Болиндер смешно хрюкает, из трубы у него вылетают в небо синие кольца.

---

Максима позвала Пантискина мать. Она стояла у русской печи, опиралась на сковородник, кофта у неё на спине была мокрая, лицо красное, тоже мокрое, распаренное, в муке. Жар печи обдавал её с головы до ног. Со всех сторон обступали её чумазые остячата.

— Пришёл... Ну, держи вот. Много-то нету, тоже в сусеке последнюю замели.

Она шлёпнула ему на протянутые ладони круглую пышку, ноздреватую, всю в жиру. Пышка обжигала пальцы. Максим прижал её к животу, к рубахе, и побежал за порог.

— С матерью раздели, один не лопай! — прокричала вдогонку Анна.

«Думает, что я жадный такой... Я не такой, не думай».

#### 4

Ночью поднялась буря — падера, — как предсказывали утром на берегу Андрон с Анфимом. Максим спал на топчане у разбитого окошка, накрывшись старым отцовским тулупом.

Он проснулся, когда в окно полоснул сырой ветер и опрокинул на мальчика пустое ведро с подоконника. Ведро перекаатилось через него на пол, загрохотало, и вслед за этим пол озарила яркая белая молния. В её ослепительном свете Максим увидел испуганно вскочившую мать. Она охнула, что-то сказала, но мальчик слов не расслышал, потому что со стороны Анфимовой «юрты» саданул такой гром, как будто много-много медведей враз заорали в пустые чаны, какие делает дядя Андрон в бондарной.

— Максимушка, встань, сынок, притвори окно дверью... той, что у крыльца остяцкого дома лежит... без петель.

Уж так не хотелось Максиму выбираться из-под тёплой шубы, не хотелось мочить ноги: ведь к дому Анфима Мыльжина надо бежать через лужи. Днём он лужи перескочил бы, обежал, а в темноте угодишь в грязь, и тогда на ногах опять зануют, запищат цыпки. Гром, молнии, ветер такой... Но всё же он встал, захныкал. Мать подбодрила его ласковым словом. В потёмках Максим наступил на собачий хвост. Собака заскулила, незло куснула за ногу.

— Ну, разлеглась, паразитская! — обругал он собаку и вскочил во двор.

Крупно ударили по голове капли дождя, ветер ворошил что-то на чердаке Анфимова дома, наверное, бересту или фа-

---

неру. Небо было тёмное, непроглядное, и лишь со вспышками молний можно было разглядеть тучи — тяжёлые, мрачные, с белыми, обмахрившимися краями. Ни одной звезды не проглядывало ниоткуда. Где-то рядом ворчливо плескались валы о берег, ветер свистел в согре и в тех берёзах, что росли у речки Пыжинки на поляне.

Дверь ему было поднять не в силах, и он потащил её волоком — по грязи, по воде, спотыкаясь, оскальзываясь. Днём грязь и вода не были так холодны, неприятны, как ночью. И ноги днём так не щипало от цыпок... Он всё-таки дотащил дверь, сколоченную из толстых досок, и приставил её к выбитому окну.

Он снова забрался под тёплый тулуп, но уснуть уже не мог. Грохотал гром, и молнии вонзались во все щели ветхой карамушки.

Большого дождя не было: он сыпал порывами, крупно, мокро шлёпал по крыше, по лужам, но быстро стихал, словно давал себе передышку. Ветер мешал разойтись дождю как следует.

Максим с печалью думал сейчас о своём отце. Уж вот кому холодно, жутко в такую бурю. Озябший, голодный... Конечно, голодный: ведь мальчик видел, как отец взял с собой буханку чёрствого хлеба, а две оставил дома. И они с матерью съели оставшийся хлеб, съели ещё несколько дней назад. А отец уж и вовсе уплёл свою буханку давным-давно...

И полезли тут в мальчишечью голову разные картины из его маленькой жизни.

Жили они раньше на Кандин-Боре, не так далеко отсюда, но и не так уж близко: по Оби надо ехать от Пыжино всё вверх, вверх — до реки Парабели. Потом ещё по какой-то реке, и там, на высоком яру, в глухой тайге, и стоит тот Кандин-Бор: сколько-то бараков, сколько-то домиков, а вокруг сосны, такие весёлые в солнце.

Круглый год жили там лесорубы, на Кандин-Боре. Они валили, сплавливали лес, а отец Максима отводил лесорубам деланы, места для вырубков, лесосеки.

Там, на Кандин-Боре, Максим и родился.

Он помнит себя лет с четырёх, а может, и раньше, но мать говорит — с четырёх. Первое, что он помнит, это как он сидел на поленнице дров, а мать пилила с отцом на козлах чурки. Тогда ему как раз и было четыре. В тот день на землю и на деревья лёг первый, лохматый, пушистый снег, но было тепло, пасмурно и не ветрено. Максиму надели чёрные катанки по ноге, чёрное пальто с ватной подстёжкой, шапку с ушами.



---

Или он сам попросился, или отцу так захотелось, но его посадили на жёлтую поленницу. Поленница пахла корой, смольём, морозцем. Мальчик сидел и оглядывался по сторонам.

Отец поднимал, ворочал, взваливал на козлы кряжисутунки, и выходило у него это легко. Отец был высокий, сильный, с жёсткими колючими усами. Он подмигивал сыну и говорил: «Что, Максимка, едят тебя мухи! Нос ещё не отмёрз?».

Толкнёт шутя отец сынишку, он — бах! — и падает на поленницу: она широкая, не боязно. Отец улыбается, мальчик смеётся, а мать говорит что-то ласковое и ворчливое: мол, зашибёшь ребёнка, слетит с поленницы.

Из трубы их дома идёт дым, и так много, и такой он чёрный, смолёвый, что кажется — это от него и небо такое мглистое, дымное. И тучи, наверно, оттого и собираются, что много везде печей топится. Тучи от дыма... Жужжит пила, на снег, на валенки отцу с матерью брызжут опилки — струйками, струйками: жик-жик.

Долго сидел так Максим, оглянулся — позади него, на низкой голой берёзке, лепятся белые курочки. Они близко, и мальчик тянет к ним руку, показывает отцу:

«Курочки, курочки!».

«Смотри-ка, мать, — говорит отец, — и впрямь — куропатки».

Он отложил пилу — и в двери: дом-то рядом, шагнул — и порог. Максим догадывается, что отец побежал за ружьём и будет сейчас стрелять. Мать берёт сына в охапку. Максим брыкается, хнычет: его хотят домой утащить, а ему здесь быть охота и видеть, как отец будет стрелять белых курочек на голой берёзе.

«Нельзя, сыночка мой, ты испугаешься». — И мать унесла мальчика в избу.

Дома он не успел разреветься, как бухнуло, прокатилось гулом по лесу, по всему Кандин-Бору. Скоро вошёл отец, в руках он нёс трёх куропаток, у них были чёрные глазки и чёрные клювики, а сами они казались белее снега. Забавные!

После случая с куропатками Максим многое начинает помнить. Помнит он вьюги, бураны, когда страшно выло в трубе, шебарчало под окнами, шумела, трещала тайга, и мальчик думал, что это ходят по лесу медведи и заламывают сучки.

В буранные дни отец болел.

Отец у него — мальчик теперь уже знал по рассказам — воевал с белыми, служил в кавалерии, дрался шашкой, и ноги у него были порубаны. В непогоду они начинали ныть, и он

---

грел их у печки. Откроет дверцу, подставит огню голые ноги, а рубцы на них синие, глубокие, затянутые кожей-плёнкой.

А ещё отец был контужен: разорвалась бомба, и его привалило мёрзлой землёй. Он долго лежал на поле, пока его не нашли санитары. Санитары унесли отца в госпиталь, там он болел, его лечили. После этого отец стал плохо слышать... И теперь слышит неважно, часто что-нибудь переспрашивает.

«Как тетерева», — смеётся он иногда сам над собой.

Это к слову — про тетерева. В тайге все знают, что тетерев совсем не глухой: тетерев всё слышит и близко охотника так не подпустит. Тетерева надо скрадывать осторожно.

О тех прошлых далёких годах у отца осталась память: маленький портрет на картоне, «акварель» называется. Какой-то художник в полку нарисовал отца после боя... На картинке отец молодой, в будёновке, через плечо ремень. Усы у отца густые, размашистые, глаза блестящие, смелые.

Раньше к отцу приходили люди: он умел и любил рассказывать, вспоминать. Он не пил водки и не курил. И теперь он не пьёт и не курит, а остяк Анфим, который и пьёт, и курит, поначалу, как поселились Сараевы в Пыжино, дивился-дивился этому, да перестал. Только Костя Щепёткин, пропойца, отца иногда подковыривает, да отец на него, ветродуя, внимания не обращает.

В доме Сараевых на Кандин-Боре бывало весело, бывало грустно.

Мальчик подрастал, отец удивлялся его любопытству и, когда бывал в настроении, рассказывал ему про разных зверей, про жаркие страны, про звёзды, про Тунгусский метеорит. Читал Максиму «Робинзона Крузо», книгу, в которой так много было забавного и неслыханно интересного.

И вот однажды отца увезли с Кандин-Бора сердитые люди. Они что-то искали в доме кругом, следили мокрыми непросушенными пимами. Мать заплакала, взяла на руки Максима и ушла с ним к соседям.

Отца не было год или больше. Потом он неожиданно появился на Кандин-Боре. Мать бросилась к нему с радостью, со слезами. Он был усталый, худой, молчал, о чём-то тяжело думая, и на все вопросы сына и матери отвечал одним словом: «После, после...».

«Голодно без тебя жили, почти всё отдала за кусок хлеба, — жаловалась мать тихо. — Ружья только твои остались да провиант».

«Наживём, мать. Мне бы вот сил набраться...»

---

На Кандин-Боре они не остались: отец не хотел. Они сдали казённый леспромхозовский дом и перебрались в Пыжино, к остоякам, где Егора Сараева поставили лесником.

И вот он уехал рыбачить на Окунёвое. Уехал, и нет его...

«Скорей бы нашёл папку Пантискин отец да передал ему, как мы тут ждём его».

Дождь так и не разошёлся, и гром громыхал где-то уже вдали, за кедрачами. Но ветер рвался холодный, сырой, напoённый парами полой вешней воды. Ветер гнал огромные волны по всему разливищу. Они злобно шипели, забегая далеко по пологому берегу, перехлёстываясь через головастые чёрные кочки. Свистела где-то пустая бутылка, и от этого звука Максим колюче поёживался.

Мать часто дышала, поскрипывал расшатанный топчан: должно быть, матери, как и Максиму, не спалось в эту ночь. Она позвала:

— Сынок!

Максим прижался сильнее щекой к подушке, засопел носом. «Заставит опять куда-нибудь бегать, а я только согрелся и ноги вот только сейчас перестало щипать».

— Холодно, — проговорила мать как бы сама с собой, — печку бы затопить.

Максим и на этот раз не отозвался. Тогда мать поднялась, постанывая, нащупала на припечке спички, достала лучины. Слышно было, как она слабо ломает их по одной через колено.

Отодвинулась вьюшка, открылась дверца «голландки», красное пламя спички заставило задрожать тени в избе. Тени задвигались, ожили — странные, серые существа. Загудела печка, весело замигала шестью оконцами-прорезями на поддувале. И под этот приятный гул, под живое мигание огня мальчик крепко заснул...

## 5

Не зря старался этой весной остяк Анфим, когда рубил высокий осокорь для нового обласка. Старый обласок у него рассохся, растрескался, борта вышаркались, облупились. Смолить и стягивать их стальной проволокой было уже ни к чему. Он подтащил старую посудину к «юрте»: пускай ребятишки играют в охотников, рыбаков, пускай привыкают.

Тот осокорь, что Анфим повалил, был в полтора обхвата. Он обшкурил его и начал долбить теслом. Летела белая с жел-

---

тизною сырая щепя, брызгала соком тёмная сердцевина. Долбил Анфим с прилежанием, за делом даже курить забывал.

Захаживал к нему в это время на остров лесник Егорша Сараев, приходил с палкой, прихрамывая, умными глазами следил за ловкими Анфимовыми руками, притулившись бочком к дереву. На острове ещё лежал снег небольшими клочками, а на солнцепёке уже плавилась лужи, разлившись по острым тонким листьям вётел и осокорей. Не перепревший лист мягко устилал землю, не шуршал под ногами, а чавкал с отсыриной.

«Скоро кончать буду», — сказал как-то Анфим, смахивая с чёрных волос солёную мокрядь. Верхняя губа его поднялась, открывая длинные жёлтые зубы.

«Вижу, — ответил Егорша Сараев, — пришёл помогать тебе облас распаривать».

«Однако спасибо, — заторопился остяк. — Нос доберу — и костёр можно класть, распаривать».

Лесник сам разложил костёр, пока Анфим зачищал у обласка нос стамеской. Долблёнку протягивали над огнём, от жара она набухла в бортах. Анфим быстро вставлял распорки, и оттого, что работа выходила у них хорошо, часто пощёлкивал языком, узил глаза, усмехался. Они прокоптились дымом с Егоршей Сараевым, не тем смолевым дымом, что бывает от сосны или кедра, а горьковатым осиновым. От обоих пахло предбанником.

Распаренный обласок Анфим просушил, просмолил — ему нужна была лёгкая лодка: он хромой и силами слаб, тяжело такому таскаться волоком.

Едет сейчас Анфим и радуется: шибко доволен он обласком, который помогал ему делать Егорша Сараев. И ходкая лодка, и не вертлявая: скользит по гладкой воде, как по стеклу.

Анфим сидит, подобрал под себя ноги. Спина покатая, голова ушла в плечи, весло тихо, без плеска опускается в воду. В обласке перед ним ружьё. Нос долблёнки поднят, задрался кверху, а чтобы вовсе Анфима не было видно, остяк набросал на нос обласка веток талины, прикрылся: так лучше к уткам подкрадываться.

Дорогой Анфим бросил четыре сетки: пускай стоят, на обратном пути посмотрит.

Анфим выехал поздно, и к вечеру только приплыл к Усть-Ямам, переночевал там в заброшенном старом бараке. На Усть-Ямах летом никто не жил, зато зимой собиралось отовсюду много народу, начинались лесозаготовки. От Усть-Ям до Окунёвого озера близко, и Анфим шибко не беспокоился.



---

Он попил чаю и выбрался с солнышком. Вода кругом вспучивалась до самого неба. По колено в воде стоял молодой тальник. Во множестве всюду носились утки.

Ещё грести надо было до Окунёвого, а он уже всматривался: не видать ли дымка. Запахнет дымом — запахнет живым человеком. Всматривался Анфим, вытягивал шею, перекидывал быстрым движением на голове кепку с полуоторванным козырьком. Нет, не видать дыма, и дымом не пахнет, сколько ни хватай носом воздух. Нюх у Анфима как у собаки, и по воде дым далеко слышно — учуял бы. Наверно, Егорша Сараев с Окунёвого перебрался в другое место. А может и так быть, что Егорша, лесник, домой уже едет, где-нибудь за кустом проскочил, не заметил Анфима.

И так, и этак думал Анфим, напрягая до рези глаза, раздувая широкие ноздри. Он с трудом пропихался в прибрежные заросли, залитые водой. Обласок сновал меж кустов, низкие ветви талины и краснопрутника царапали остяка по спине, цеплялись за кепку, за ворот. Под обласком всплёскивали крупные щуки, уходили от него стрелами, оставляя косые дорожки. Мало-помалу подобрался Анфим к островку суши, на котором стояла старая карамушка. Сама карамушка была до удивительности черна, и земля вокруг неё чернела горелым от выжженной недавно травы. И вода вокруг острова тоже отливала жирной, мрачной, смоляной чернотой... Егорша, лесник, уезжал на обласке, но здесь нигде обласка не было видно.

Анфим пристал к бережку, заступил в мелкую чёрную воду, постоял, закурил и, подтянув долблёнку, в смутной тревоге направился к чёрному сруб.

Дверь тяжело, с плачем, откинулась внутрь, лицо остяка покрыла липкая паутина, и спёртый воздух сырого подвала, плесени, вонишибанул в нос. На нарах, вытянув длинные ноги, накрытый ветхим суконным пальто, лежал Егорша Сараев. Бледный свет падал в узкую прорезь оконца, освещал низкое изголовье, чёрный котелок на широкой, щербатой от топора, чурке, ложку, нож и патронташ на деревянном гвозде. Под нары, вытянув морду, пробежала крыса, сверкнув холодным, злым глазом. У остывшей печки-жестянки лежали дрова, кусок бересты и кучка стреляных гильз.

— Егорша... Егорша Иваныч! — сипло окликнул остяк: в горле у него что-то ёкнуло, щёлкнуло. — А-яй! — Нога его поскользнулась на грязной сырой плахе, и он упал на колено, зацепившись вторым броднем за щербатый порожек.

— Егорша, ты спишь, али дремлешь, али помер совсем? — в страхе забормотал Анфим.

---

Схватившись за нары-лежанку, он дёрнулся, поднимая своё лёгкое тело. И нары вслед за ним дёрнулись. И шевельнулся человек, лесник Егорша Сараев. Анфим откинул грязный суконный рукав... На него смотрело слепыми глазами лицо мертвеца — заросшее, с большим посиневшим носом, оскаленными зубами. Анфим тоже оскалил зубы, верхняя губа его по привычке приподнялась, оттопырилась. Свистящий собственный шёпот заставил вздрогнуть Анфима.

«Помер... царство тебе... А-яй. Как баба твоя теперь плакать будет, как будет Максимша реветь... Однако и сын у тебя родился, совсем кутёнок... Ай, человек, человек. Путёвый ты был человек, остяк шибко любил тебя».

Анфим сопел, в носу у него стало мокро. Он высморкался в ладонь, поморгал узенькими глазами, потёр себе лоб, словно хотел разгладить горестные морщины.

«Шибко ты плохо сделал, Егорша, лесник. Кто варнаков твоих будет кормить? Одежку, обувку справлять? До ума доводить?!»

Он наклонился и, как собака, обнюхал труп.

«Чижёлый дух... Куды везти — тут хоронить надо...»

Анфим задержался до вечера: отрывал доски, сбивал, как умел, домовину, устилал её мохом, прошлогодними листьями. Могилу он вырубил в мёрзлой ещё земле топором. Схоронил горемычного человека.

Измучился, испотел Анфим, на руках от неудобства работы волдыри кровавые вздулись... И вспомнил тот сон, что дважды ему приснился: голая бабка Лукерья и страшный шёпот её. Смахнул картуз, перекрестился.

Хотелось Анфиму лечь отдохнуть, голод сосал желудок, но страх был сильнее усталости, голода. Теперь ночевать одному в этой карамушке и под ножом бы его никто не ставил.

Розовый свет заката ложился на воду. Анфим спихнул обласок, бросил последний взгляд на чёрное зимовье-карамушку, на чёрную жирную воду, сел в свою новенькую долблёнку и быстро-быстро стал взмахивать лёгким веслом.

## 6

Входили реки в свои берега, сползала, скатывалась вода, возвращая людям землю. На заливные луга половодье нагнало мелкие сучья, коряжник, кору, щепу — сор, словом. После

---

паводков по Нарыму вода сплошь засоряет луга, потому-то и называют их здесь по-особенному — сорами.

— Куда собрался? — спросит средь лета нарымский житель соседа.

— Да на сора, паря, траву косить.

Зазеленели соры травой, пока негустой, редкой, но к лету везде здесь вымахает травища в пояс. Мягкий пырей, душистый белоголовник, густой, переплётенный визиль и множество всяких других трав и цветов покроют безбрежные обские дали. Поляжет трава под косами, встанут стога, зароды, разбегутся приземистые копёшки по выкошенным гривам. Но сейчас не об этом пока забота в Пыжино: говорят здесь о трудной, голодной весне, судят-рядят, как бы её пережить-обмануть.

Уходит вода, а болиндера-катера нет как не было. Нету болиндера с чёрным смолёным паузком, на котором каждую весну везли сюда хлеб с солью, чай с сахаром, одежду, обувь, снасти рыбацкие и припасы охотникам. Не видно болиндера, сколь ни гляди, не слышно его захлёбистого чихания. Не летят из белой трубы с красным ободом синие кольца дыма, не тают в голубом тёплом небе.

Люди сердчат, поругивают нерасторопных начальников: пошто задержали болиндер? Пошто муку не везут? И хотя у каждого в доме есть и картошка, и рыба, и варенье из старых запасов, — стонут, вздыхают уже: непривычно всем как-то без хлеба, давно так не жили, не бедствовали...

Андрон собрался на обласке в районный центр Каргасок ехать — себе харчишек промыслить и Арине Сараевой с пацанами. Собрался да всё поджидал Анфима с Егоршей. А он, Анфим, как уплыл, так пятые сутки нет. И что его носит холера? Запропастился мужик.

Не дождался бондарь Анфима, уехал с сомнениями и тревогой в сердце...

Голодный Максим с утра начинает мать изводить: есть просит. А она его гонит:

— Пойди по людям — покормят. Мне тебе нечего дать.

У Мыльжиных старшие братья ездят стрелять уток, иногда хорошо привозят: серых больших крякашей, чёрных гоголей с белыми рябинками на крыльях, краснолапых широконосых соксунов. Анна, Анфимова баба, стала сердитая: молчит, дует, а то как разойдётся, как начнёт мальчишкам раздавать по чёрным стриженным головам шлепки. Разбегутся они по углам, притихнут, ловят сплюснутыми носами запах вкусно-го варева, что поднимается с паром из огромного чугуна.

---

Сварятся утки, поставит Анна чугу́н на стол — набро́сятся на него с разных сторон семь голодных зверушек — писк стоит.

Максим частенько смотрит теперь с порога, как едят у остояков утятину, глотает слюни и мучается. Сесть бы тоже к столу, но его, чужака, приглашают всё реже. Пантискина мать уж не так ласкова, как прежде была, поглядывает на него искоса, только не скажет: «Иди-ка, болезный, домой, не выпяливайся: своих у меня их семеро». Максим всё понимает, он не дурак, но уходить из остояцкого дома ему не хочется: хоть запахом вкусным надышится. И ещё Максим знает: если долго стоять у порога, то всё равно что-нибудь выстоишь.

Давно Пантиска поглядывает на дружка своего: мордочка у него круглая, горячая от вкусного пара, губы жирные, по подбородку течёт бульон. Пантиска осмеливается и спрашивает:

— Мамка, дам ему крылышко?

Анна попыхтывает, молчит, возится там у печки: волосы перепутанные, кое-как скомканные и сколотые в неровный узел. Пантиска решает, что можно дать.

— На-ка, проведай, скусная.

Максим, не раздумывая, хватает горячее мясо и, обжигаясь, кусает, проглатывает. И тонкую косточку не выбрасывает: в ней жилка-кровинка и наваристый сок. Эх, почему же раньше ни утки, ни глухари, ни рябчики не казались ему такими, как это утиное крылышко? А сколько их отец добывал, и мать жарила и тушила мясо целыми латками, с лавровым листом и перцем...

Из-за стола выскакивают черноголовые остоячата. У стола машут хвостами-кренделями поджарые собаки: им смахивают со стола кости. На собаках топорщится шерсть. Псы ворчат, уже готовые броситься в драку.

— Цыть, окаянные! — кричит на собак Анна и раздаёт им пинки.

— А кто за вас рожи будет крестить? — теперь орёт она уже на ребят.

Ох и сердитая стала Анфимова баба. Под горячую руку не суйся!

Остоячата крестятся на заплесневелые, купоросно-зелёные образа, облизывая жирные губы. Крестятся все: и Пантиска, и старшие братья его — Лёвка с Порфилкой. За ними встает и Максим. Он замахивается на свой лоб робко, он никогда не молился до этого, но понимает, что сейчас — надо. Иначе строгая тётка Анна и кости в другой раз не даст.

---

После того, как все помолились, Анна сказала:

— Нечего попусту шляндать: ступайте старшие на охоту, а ты, Пантиска, воду носить с Максимом.

Пантиска трёт конопатый нос: как бы удрать незаметно? И, только мать отвернулась, шепчет Максиму:

— Айда. Воду послая натаскам...

Они убегают, и первым делом Максим его спрашивает:

— Ты разве взаправду в боженьку веришь?

— Почём я знаю... Мать говорит, что Бог всё видит и слышит.

— И моя мамка так же. Только отец с ней за это знаешь как сильно ругался?

— Пропал Егорша-лесник. И тятка мой следом за ним поехал, и тоже нету.

— Не ври, папка не пропадёт: он тайгу знает.

— А вон и тятка едет, — спокойно, как ни в чём не бывало, сказал Пантиска. Только глаза заблестели, как у зверушки.

— А мой? — вытянулся Максим, вставая на цыпочки.

— Твоего не видать, — затряс головой остячонок. — Егорша, поди что, дорогой отстал: наш тятка шибко скоро на обласке ездит.

Они понеслись к берегу, расшлёпывая босыми ногами грязь.

Анфим показался им хмурым, сердитым. Изо рта у него торчала толстая, в палец, самокрутка. Он сосал её, сплёвывая, и молчал. Один его глаз был закрыт, другой смотрел куда-то мимо ребят, через их головы, в согру. И Максим, и Пантиска — каждый для себя — решили, что Анфим ждёт кого-то с той стороны, куда он смотрит. Но со стороны согры никто не появлялся.

Тогда Пантиска спросил:

— Ты чо, тятка, долго так был?

— Каргасок ездил, большой начальник искал, — не сразу сказал Анфим.

— Муку узнавал? — липнул Пантиска к отцу.

— Заодно и муку, паря...

— А вчера сюда дядя Андрон подался, — проговорил Максим. — Он тебе там не встрелся?

— Не попадался он мне, Максимша, не видел...

Анфим нагнулся — голяшки у бродней подтягивать стал, сыромятные ремешки перевязывать...

— Пантиска, — сказал погодя Анфим, не вынимая изо рта самокрутки, — дуй домой за ведёрками, да выбери рыбу из обласка.



---

Пантиска бегом побежал: отец не то что мать, его не слушаешься.

Анфим взял с кормы два ружья: одно своё, другое — Егорши Сараева. Максим сразу узнал отцово ружьё. Потом Анфим стал вытаскивать из обласка уток.

— Папка прислал, что ли? — не очень обрадовался Максим, и отчего-то вздохнул прерывисто.

Анфим Мыльжин посопел, выплюнул в воду окурок, заступил броднем на край обласка и быстрыми маленькими подхватами вычерпал воду со дна веслом. В обласке, отгороженная широкой доской, блестела на солнце рыба.

Молчанием своим Анфим тревожил Максима, и мальчик опять спросил у него про ружьё и про уток.

— Твои утки, тебе настролял... Варить с матерью будешь. Поди, всю дорогу ехал — уток тебе стрелял... Отец твой много патронов оставил.

— А сам-то он где же? Или он вовсе про нас забыл?

Анфим передвинул узенькие глаза в сторону.

— Обласок унесло, Егорша без обласка долго сидел... Ты, паря, вот так — сирота. — Остяк прошёлся, хромя, вокруг своей лодки. — Толкай с кормы, пособляй-ка!

На сухом обласок опрокинули, затолкали весло под него, взяли мокрые, все в чешуе, перепутанные частушки. По спине Анфиму на бродни стекала вода, стучали, раскачиваясь, кибасья-грузила.

Всё стало как в серый ненастный день, когда нету ни птичьего щебета, ни звона жучков в весёлой траве, когда хлещет с неба вода и сороки кричат над согрой, мокрые, с чёрными, злыми глазами.

— Дядя Анфим... а тятюку я больше совсем-совсем не увижу?

Остяк опустил мальчику на макушку горбатую мокрую руку, пошевелил тонкими пальцами.

— Разве во сне, Максимша... Ты, паря-холера, вот чо... Мыльжин Анфим хошь хромой, хошь рябой, да не страшный. Рыбу поймам, утку убьём — вместе съедим...

Арина, узнав обо всём, съехала по ступенькам крыльца, зарылась лицом в колени.

— Чем мы тебя прогневили? Боже ты, боже!

Максим не плакал, только нахохлился и серым комочком сидел на крыльце.

Анна отвела мать в карамушку, перекрестилась в передний угол. Вытряхнула из берестяной коробки на стол пригоршню сухарей.

---

— Жить надо, — кротко сказала Анфимова баба.

— Кака теперь жизнь мне с ними? — запричитала опять Арина.

— Кричишь-то как: всё Пыжино слышит. Вот молоко усохнет, чем станешь дитё кормить?

И в наступившей минуте затишья завыла собака: от тоски ли, от голода...

Бондарь Андрон вернулся из Каргаска с неплохими вестями: муку загрузили в паузок, но задержка случилась из-за болиндера. Стоит катер в ремонте, а как починят, так сразу пошлют с паузком в Пыжино.

Добрые вести привёз Андрон, а ему передали худые: друг его лучший долго жить приказал. Вот тебе на тебе! Да что это за весна нынче такая? Что за напасть?

Заходил бондарь к Арине и тоже помогать сулился. Всем, чем мог. Муки отдал туесок да крендель Максиму.

Сушку Максим разделил с Пантиской, муку они с матерью съели в три дня. И снова ходи выглядывай. Гложет проклятый голод, а болиндера нет как нет.

Раз Максим принёс целую миску румяного жирного мяса.

— У Анфима теперь кротов не выбрасывают: жарят в русской печи на листах. Вкусные, мама, поешь.

Анна брезговала, а сын уплетал подсушенные тушки, похрустывал нежными косточками. Лицо его стало ещё круглее, щёки отвердели, как кулачки. Он пропадал с Пантиской на улице, заявлялся к матери ненадолго в полдень, а к вечеру исчезал опять.

Вечером он бежал обдирать кротов.

Их притаскивали с соров мешками, возни с ними было много. Максим разрезал ножницами мягкие шкурки, прибывал их сушиться гвоздями к дощатой перегородке, к брусчатым стенам. Шкурки готовили к сдаче приёмщику «Сибпушнины», а мясо кротовое жарили.

Арина всё больше тощала, но есть кротов заставить себя не могла. В открытую издевался над ней Костя Щепёткин, драчливый мужик, засольщик рыбы.

— Ты баба чумная: все едят, а ты нет. Голод не тётка, велит сопливого любить.

Максимова мать на эти насмешки не отвечала: Костя Щепёткин был мужем сестры Анфима — Катерины. От бабки Варвары — матери Анфима и Катерины, от самого Анфима Сараевы были теперь целиком зависимы: что ни день, то приходится к ним обращаться за помощью. Пока ни в чём им не отказывают: вся родова мыльжинская — хорошие, добрые

---

люди, подельчивые. А Костя Щепёткин, засольщик, не в счёт: он человек, видать, от природы тяжёлый. Бог с ним, раз он такой, только Арина лаяться с ним не будет.

Но Костя Щепёткин всё ж таки прав оказался: стала есть кротов и Арина. И так ещё пристрастилась!

Костя скалился:

— Голод не тётка, велит сопливого любить!

## 7

Не успели утихнуть пересуды вокруг смерти пыжинского лесника Егорши Сараева, как свалилось новое горе: катер-болиндер сел на мель в Сухом чвору, в ночь поднялась буря, и перегруженный паузок с мукой и разной провизией затопило.

Приехал в Пыжино перепуганный шкипер, стал просить помощи. Мужики погнали к Сухому чвору неводник, чтобы вытаскивать и перевозить муку.

Не один день бились они, вынимая кули из воды, намаялись до ломоты. Шкипер на радостях поставил мужикам ящик водки — пейте, не жалко. Пили, рассказывали друг другу, кто сколько раз нырял в трюм, как захлёбывался, как судорогой сводило ноги.

Бондарь Андрон в охотку мог выпить много, но не сильно пьянел: только лицом багровел да лоснился. И вспоминал о своём — всё об Егорше Сараеве: друг ведь был... За таким разговором и подвернулся ему тут Максим: кругленький рыжик, весёлый, на теле густой загар перемешался с грязью.

— Озорник ты, Максимша, — с мягкой грустью сказал дядя Андрон, обнимая мальчишку. — Пошто у тебя коленки чугунные? Пошто не моешь? Смеёшься, птаха ты беззаботная. На-ко вот сушку.

Максим надел сушку на грязный палец, повертел и умчался.

И опять случилось событие в маленьком Пыжино: Максим Пантиске голову прорубил.

Совсем нечаянно вышло. Валили они сушняк на дрова; комары ели. Максим со зла широко размахнулся, топор у него занесло далеко вбок, и острым концом он скользнул по лбу Пантиски.

Остячонок ойкнул, упал на колени, схватил ладошкой рассечённый лоб. Сквозь пальцы у него брызнула кровь. Этой

---

крови он больше всего испугался, и заревел не своим голосом.

Максима сильно избили Лёвка с Порфилкой, а дома ещё добавила мать. Она зажала ему голову между колен и драла берёзовым голиком. Так жестоко мальчика сроду не били, и он исходил злым, протестующим криком. Матери было, конечно, жалко его, но у неё был и свой расчёт: показать Мыльжиным, что она не даёт своему потачки. Когда она была его голиком, то приговаривала, чтобы слышали все:

— Добрые люди, пошли им Господь спасения, пригрели нас, приласкали, а мы им чем платим? Пойди сейчас же, негодник, и попроси у Пантиски прощения!

И тише досказывала:

— С фатеры сгонят — куда пойдём? Проскочит лето, и не заметишь, а там зима на носу...

Лишь к вечеру он пошёл проведать Пантиску. Робко переступил порог Анфимова дома. Пантиска лежал на кровати. На лбу у него чёрным рубцом запеклась кровь. Мать прикладывала ему к голове что-то мокрое, жёлтое.

— Гад такой, — выругалась хозяйка. — Чуть было не решил мальчонку.

Максиму хотелось видеть Пантиску, поговорить, он прошёл по одной плашке, глядя себе под ноги, словно бы шёл не по полу, а по шаткой доске переходил бурный ручей.

— Я тебе вот чо принёс, — проговорил Максим и протянул Пантиске два рябеньких яичка. — Воробышкины. В травке нашёл, за огородом.

Пантиска принял яички, рука его была горячая, губы запеклись и потрескались.

— Пролежусь — тоже пойду, — слабеньким голосом пискнул больной остячонок. — Я знаю, где многушко-много дроздиных гнёздышек.

— Будет вам пташек зорить! — цыкнула Анна.

Пока остячонок болел, Максим натаскал к нему на кровать вороньих перьев, светящихся гнилушек, медных обойных гвоздей с красивыми шляпками. Выискивал где-то, старался. Принёс свинцовую гирику, найденную в иле, вымытую обской водой.

И снова они были друзья.

А двадцать третьего июня, с опозданием на целые сутки, пришла в остяцкое Пыжино весть о начале войны.

Весь этот день был тихий, какой-то гнетущий: будто кого опять собрались хоронить. Повестки выдали Косте Щепёткину, дяде Андрону, другим. Провожать пошли в соседние Дер-

---

гачи, и Пыжино притаилось, словно копило, собирало все силы, чтобы вечером взвыть ещё раз бабьими голосами.

В Дергачи, к перевозу, стекался народ из Сосновки, с Больших и Малых Подъельников. Из Дергачей призывников повёз к пароходу бакенщик Маковой Зублев. У самого Зублева брали на фронт двух сыновей. Кроме них, у бакенщика никого не было. Он ходил как помешанный, тыкался по углам. А тут ещё баламут Костя Щепёткин, пьяный, с младшим сыном его драку затеял...

Все, кого брали на фронт, хмельные и раскосмаченные, с измочаленными чубами, садились в большой сельповский неводник. Бабы глядели им вслед чумными глазами, выжимали в платки красные распухшие носы и выли.

— Скажи — рассопливились. Не мёртвых — живых провожаете, — храбрился полупьяный бондарь Андрон. — Живы будем — вернёмся, слышь, Максимша? Расти тут, мать слухай, дядьку не забывай.

Максим махал всем рукой.

## 8

И так у Сараевых было немного вещичек, а теперь и вовсе углы опустели. Что можно было обменять на рыбу, на сушёные рыбки кости, на чашку муки — обменяли. Молодую картошку ещё не подкапывали: жалели, да и была она не крупнее яйца куриного.

Арина стала ещё набожнее, чем была прежде: и слова не скажет, не упомянув имени божьего. А зевает когда — вздохнёт и рот перекрестит. Сроду раньше не замечал Максим за ней такого. Сама богу молится, а Максима что ни день за холку дерёт; злая, невыносимая. И креститься его заставляет, и не как-нибудь — на коленях перед иконой. Трудно стало Максиму жить: и голодно, и бока болят от частых побоев, и дома сидеть заставляют — зыбку качать с крикливым, всегда недовольным братишкой.

Мать часто плачет, и сквозь плач говорит, что лучше бы он не родился, Егорка, лучше бы Бог у неё прибрал его. Когда Максим слышит такие слова, он тихо-тихо сидит и думает... Он не знает ещё, жалко ему братишку или не жалко. И вроде жалко, и вроде нет. Будь Егорка побольше, взял бы тогда Максим его за руку, и побежали бы они вместе на речку, на озеро — окуней жирных ловить.



---

С Пантиской они всё свободное время заняты промыслом: уйдут с удочками, ловят щук, окуней. На озере окуни тёмные, горбатые, по бокам у них полосы, как у тигров. Добыча Максима — подспорье в доме, а мать всё равно ругается.

Сама как-то открылась Сараевым еда новая: жареные грибы с рыбой. Срезала мать с крупной щуки мякоть, порубила сечкой в корыте, смешала с мелко нарезанными лисичками и котлеты состряпала — пахучие, студенистые — язык проглотишь.

Щуку — её обмануть надо, чтобы жерлицу не отхватила зубами. Крючок откусит — где новый возьмёшь? Плохо стало с крючками, нет их нигде. Одна надежда — на рыбу выменять у заезжего моториста, а мотористы в Пыжино совсем заглядывать перестали.

Мать начала гадать — никогда не гадала.

Приходили солдаты с тоскливыми глазами, просили:

— Сворожи нам, Арина.

Мать не ждёт, чтоб её упрашивали, лезет в карман, что нашит у неё на заплатанной юбке, вынимает колоду, тасует, раскладывает. А глаза у неё холодные, веки сами собой как-то складываются треугольничками, голубенькие зрачки светятся слёзными точками. Бабы слушают её затаённо, говорит она им одинаково, только словами разными, но об одном: мужья исстрадались по жёнам, по детям. Живы, и скоро вернуться домой.

Посидят бабы подле Арины, повздыхают, и будто им легче станет, спокойнее: мать уж старается никого не расстраивать — хорошее всем говорит.

Бывает, что после гадания ей скажут:

— Заглядывай к нам, Арина, возьмёшь хоть рыбки, да калачи мы картофельные пекли...

Мать почти каждый день ходит по домам, приносит еду Максиму, Егорке. Братишка уже не сосёт: его от груди отняли, потому что у матери нет молока. Егорка мусолит жвачку из хлебushка с сахаром.

Максим вспоминает дядю Андрона, сельповского бондаря. Пристаёт к матери с расспросами:

— У дяди Андрона не было тёти?

Мать неохотно ему отвечала:

— Была...

— Умерла?

— Умерла...

— А почему?

— Отвяжись, горе луковое.

---

Мальчик о чём-то думал в сторонке, и опять подходил.

— А его на войне убьют?

— Чтоб у тебя язык отсох!.. Лучше иди кротов промышляй с Пантиской. Шкурок добудешь — сдадим в «Сибпушнину», хоть отоварят немного. Муки, соли дадут. И мыло кончилось — стираться нечем.

Раньше было не то что сейчас. Придёшь в магазин, в лавку, бывало, выложишь деньги — и даст тебе продавец какого хочешь товару. А теперь за деньги в лавке ничего не возьмёшь: всё по карточкам или под рыбу, которую сдашь в сельпо, под балберу, под дуб-корьё, под пушнину. Под кротовые шкурки тоже дают. Да сколько их надо, кротовых шкурок, чтобы хлеба досыта наесться?

У Максима десять капканов, больше бы надо, да нету: за капканы в Пыжино тоже драка. Капкан, как хороший крючок-окунёвку, трудно достать. Максим где-то нашёл пять заваливающих капканов, да пять ему Анфим, жалеючи, дал. Вот он ими и промышляет.

Чудно кротов ловить, интересно. По сорам, среди травки-муравки, много куч земляных нарыто: это кроты хода в свои норки засыпали, чтобы ветром не дуло и свет к ним не попадал. В капканы кроты попадают то задней лапкой, то передней, а то головой угодят. Когда головой, то сразу на-смерть. А если лапку защемит, то ещё вырывается, грызёт железо четырьмя тоненькими жёлтыми зубами. Да куда ему из капкана уйти! Вот, слышал Максим, лисы — уходят. Даже ноги себе отгрызают, так и уходят на трёх лапах. И медведи, бывает, тоже из ловушек вырываются. У, на медведя такие капканищи — просто страх. Хорошие мужики вдвоём еле-еле медвежий капкан настораживают...

## 9

В августе, в самом конце, начали рвать бруснику. Анфим понаделал из бересты кузовов, набирок, куженок.

Легко кузов таскать, пока он порожний. А как напластаешь ягоды, так тянет тебя к земле, прижимает. Какая там сила у мальчика, а на него уже грузят два ведёрка с краями. Пока идёшь по сухому, по чистому — выносимо, а попало болото, чащобник — немоготу.

А сладка же брусника! Не сосчитать, сколько горстей перебросаешь в рот, пока бродишь по соснякам.

---

Уже много дней собирают в Пыжино ягоды, ссыпают в огромные бочки. Продыхнуть некогда: ребяташки стали горбатиться под тяжёлыми кузовами. Мошка заедает, мокрец проклятый! Берут бруснику самую крупную, рясную, чтобы уж захватить — так сразу полную горсть. На полянки похуже никто и не смотрит. Эти полянки Арине Сараевой достаются.

Арина злится, что рвёт по оборышам, а куда ей уйти далеко от ребёнка? Надежда вся на Максима, и мать строжится:

— Без заработка останемся, собирай, не ленись!

И пошто она так на него? Или Максимка лодырь? Или не знает он, как тяжело им живётся? Старается он, и ягоду собирает не хуже Пантиски, Порфилки, Лёвки, не хуже матери ихней — Анны. Мыльжины в день выгоняют по четыре ведра на сборщика, и он, Максим, не меньше.

Брусничники самые сильные в сосняках, где белый мох сухой под ногами похрустывает. Но в сосняках солнце голову напекает. На второй неделе ягодного сезона у Максима носом пошла кровь.

— Ляг полежи, сынок, это от солнышка, оттого, что весь день внаклонку, — утешила его мать.

Кровь уняли, но с этих пор Максим разболелся. Было уже не радостно, не хотелось в свободное время гонять по лесинам бурундуков. Хотелось забраться на нары, накрыться отцовским старым тулупом и тихо лежать.

Ягоды отошли, мать получила расчёт: им выдали полмешка муки, немного сахара, пять кусков мыла, и ситцу немного.

— Красивый, с цветочками, — гладил Максим тонкую ткань. — Сошьёшь мне рубашку?

— Как же, сынок, ты заработал, — вздохнула мать. — Сошью и тебе, и Егорке. А мне и так ладно...

Кофта на ней была латана-перелатана, стирана-перестирана, пропотевшая на спине и под мышками.

Обновка Максиму едва доходила до пупа, но он всем хвастался этой куцей рубашкой.

Рано выпал глубокий снег, лёг по берегам пёстрой Пыжинки, завалил согры, покрыл белизной плоские дали.

Анфим степенно вышел на крыльцо, долго нюхал трепещущими ноздрями воздух, кликнул Пантиску:

— Запрягай, паря, собак, езжай за сухими дровами — баню топить.

— Тять, снег-то, поди что, ещё растает. Туда на нартах, от туда как?

Остак засопел, отвернулся: терпеть не мог, когда ему сыновья перечили.

---

Собаки рвали постромки, грызлись незло, Пантиска важно покрикивал на них и ждал, когда выйдет одетый Максим.

Максим выскочил в рваном ватнике, подвязанный красным пояском, в бахилах-опорках, с топором в руках. Вслед за ним показалась простоволосая Арина, погрозила парным кулаком:

— Друг к дружке близко не суйтесь, не ровён час — опять башку прошибёте.

Собаки тянули порожные нарты так быстро, что мальчишки едва успевали за ними. Мягкий снег прилипал к обуткам, шишками нарастал под каблуками, и мальчишки, на минуту приструнивая упряжку, обивали снеговые наросты о нарточные полозья. Пантиска важничал: как же — хозяин, упряжку собак гонит. Рану на лбу у него давно затянуло, а шрам остался.

За «юртами» сразу вставал тёмно-зелёный густой кедрач. Почти у всех кедров мохнатые лапы росли от земли: на такие кедры легко было лазить. В кедрачах остяки устроили кладбище. Сейчас серые кресты были ещё серее, потому что во-круг лежал белый воздушный снег.

Снег напал ночью, никто не видел, когда он падал, и это тоже было загадочно: небо над головой сияло свежей, вымытой синью. И эта синь, и холодное солнце, и белый снег с мягкой зеленью кедров делали кладбище очень весёлым.

Кое-где по сучкам, по кустам атели, пестрели и голубели узкие лоскутки, похожие на диковинных притаившихся птиц.

Собаки устремились по старой просеке, оставляя кладбище слева. Пантиска воровато оглянулся на кладбище, посмотрел на Максима и швыркнул сопливым носом.

— Забоялся, бояка! — понял его Максим. — И днём, и ночью боишься. На двор с лучинкой с вечера ходишь.

— А про чо я подумал? Башка! — окрысился на него Пантиска. — Увидел кладбище — Егоршу вспомнил. Его бы вот здесь похоронить, под кедрами.

Озорные, с рыжинкой, глаза Максима потухли.

— Мать всё ещё по ночам плачет..

— А ты?

— У меня почему-то слёз нет... Н-но, шевелись, запурхались!

Упряжка обогнула валежину, бросилась в редкое мелколестье, сквозь которое черно блестела вода ещё не застывшего таёжного озера Набурги.

Стал попадаться сушняк. Ребята остановили собак и развязали прикрученный к нартам топор.

---

Днём бабы топили баню, плоскую, врытую в землю. На её крыше от копоты первый снег уже успел зачернеть, подтаять: проглядывал дёрн с рыжей травой.

Максим забежал в предбанник: в открытую дверь ещё тянуло угаром, синим огнём догорали в каменке берёзовые угли, сизо атели накалённые кирпичи. Он представил, как будут плескаться на них из ковша горячую воду, как станет вода взрываться облаком, биться под потолком.

— Не оскользись, — предостерегла его мать, когда он ступил на мыльные, мокрые плахи. — Сбегай скажи Анфиму — пускай собирается, скоро готово будет.

В доме Анфима пахло сетями, самосадам, жареной рыбой. Этот особенный дух никогда не исчезал в «юртах» остяков, как летом не исчезает запах ила по обским высохшим протокам, прелой листвы в глухих тальниках и затхлый запах мышиных гнёзд у старых сенных зародов.

По полу везде лежали смотки запылённых самоловов, снятых с чердака. Самоловы нужны зимой, для подлёдного лова, а летом они валяются без нужды.

Анфим разбирал у окна самоловы, точил плоским напильником большие, длиннее пальца, крючки без зазубрин, пробовал на ноготь их остриё. Доволен остяк, трубку курит, шепеляво что-то рассказывает двум старикам, которые приморились возле него на низеньких чурочках. Старики тоже курят и слушают. И Максим стал слушать: любил разные байки до жадности.

— В Каргаске лонись заготовщик ко мне пристал: пошто, Анфим, говорит, морда така у тебя широка, больша? Пьяный был заготовщик, чумной башка. Я ему чо ответчу? Чай, говорю, много пью. Смеяться стал: молодцом, Анфим, остряк! А я ему: куда денешься, если остяк. Совсем закатился заготовщик. Весёлый башка был. Тоже на фронт взяли... Живой ли, нет?

— Н-ня, — пошевелился один старик, вынимая изо рта слюнявую трубку.

— Кай? — спросил погодя другой, глуховатый, и посмотрел на Максима узенькими морщинистыми глазами.

— В баню надо, — кашлянул Максим в затылок Анфиму. — Мамка сказать велела.

— Погоди ужо, доточу самолов... Пока заберись на чердак, веник сыми.

— Я уже снял.

— Чичас...

---

— Кай? — Глуховатый старик вытянул жёлтую шею, ему никто не ответил. Тогда он заговорил по-своему, покачивая сочувственно головой:

— Куштуль, куштуль... Челмба...

Мальчик понял, что старик жалеет его, Егоршу, мать, говорит, что была плохая погода, ненастье, и большой человек умер в это ненастье, а маленький человек родился — это, значит, Егорка. И жизнь для маленького человека будет тяжёлая, и для Максима с матерью тоже.

— Понял, что он сказал? — повернулся Анфим, свешивая на деревянный штырёк готовые самолёты и кивая на глуховатого старика.

— Он нас жалеет. — Максим подтянул сползающие штанишки.

Анфим достал красный шёлковый кисет, сунул щепоть табаку в трубку, не выколачивая из неё пепла, красный язык показывал. И хлопнул привычно по голяшкам приспущенных бродней, крикнул:

— Дуй, Максимша, запаривай веник, мы чичас! Развесил уши, варнак!

## 11

Быстро стемнело; синевато лежал на огородах снег, чернела банька в голых кустах бузины. В баньке было удушливо жарко, мигала жировая коптюшка в предбаннике. Старики и Анфим сопели, глухо двигали шайками, наливая по очереди горячую воду.

Максим стоял перед зевом каменки и вспоминал, что позпрошлую зиму на Кандин-Боре его ещё мать брала мыться с бабами, а после, как минуло ему семь, он стал ходить с мужиками.

В потёмках, когда приглядишься, то видно, как двигаются скрюченные тела стариков, прискакивает вокруг шайки хромая фигура Анфима. Все они кажутся синими призраками, а духота, темень и сизые раскалённые камни вызывают в Максимовой голове страшную сказку матери о преисподней, где черти жарят грешников.

— Ошпаришь! Стой, якорь тебя! — хрипато сорвался голос Анфима.

Максим вскинул глаза к потолку, увидел худую костлявую руку глуховатого старика, который давеча всё переспраши-



---

вал — «кай?» — и жалел Сараевых. Рука старика держала железный ковш над горячими кирпичами каменки.

— Прыгай, Максимша! — теперь уж взревел во всю мочь Анфим.

Но было поздно: ковш опрокинулся, из зева каменки вырвался сухой раскалённый пар с пеплом. Как будто кто кожу сдирал с Максимова живота, так ему было больно. Он зашёлся истошным криком, головой высадил двери в предбанник, потом на улицу, побежал, не помня себя, к огороду, запрыгнул на изгородь и с жердей кинулся в снег..

Над ним охала мать. Максим лежал на здоровом боку, а ошпаренный бок нарывал водяным волдырём, и смотреть на него было страшно.

Ожог смазывали кротовым жиром, потом прикладывали примочки из какой-то щипучей травы: примочки принесла им бабка Варвара, остячка широкой кости, с вечной своей берестяной табакеркой. Она бормотала что-то невнятное, но сердечное. Мать жала пальцами своё худое горло.

— Изнахратили у меня мальчика, — проговорила она с укором, — и так сирота бедная.

«Бабку Варвару жалобит, чтобы та принесла чего-нибудь. Хитрая мать», — думает мальчик и морщится от рвущей, колючей боли.

И верно: старуха споро шагнула через порог и быстро вернулась. Она поставила перед Максимом чашку с картошкой и мясом. Пахло вкусно приправой. Бабка Варвара села на край топчана, набила нос табаком. Максим стал гадать: чихнёт она или нет? Но она не чихнула, лишь тёмные глаза умаслились и широкие ноздри чуть покраснели.

— С кем кака холера не приключатся, — осовело сказала старуха. — Корми ладом, пускай наедатся. Болесь отскочит..

— Беда на беду, — вздохнула скорбно Арина.

— Варнаками растут, больше бы слухали, — сменила свою доброту на строгость Варвара.

— Да что ты, Господь с тобой! — нахохлилась мать. — Он у меня такой послушной. И помощник, и вся в нём надёжа моя... Сказывали, слыхала, орс собирается тут свиной держать, от леспромхоза будто. Так я свинаркой пойду, а он мне в подпаски. С весны начнём.

Максим слушал, что мать говорила, и на бабушку Варвару смотрел. Удивляло его: по годам — старая бабка, а морщин на лице почти что и нет.

Мать поднесла кончик платка к глазам: слезу выжала или слеза сама выкатилась.

---

Бабка Варвара оглядела тесные стены пристройки, легко нагнулась, прислонила ладонь к щелястому полу.

— Пол у тебя — ледяк. А чо зимой будет? Перебирайся на зиму ко мне... Поди, свой дом. Докули здоровье есть, буду работать, чибучить. И ты начнёшь обживатьсья. Скоротам зиму, а лето чо-нибудь лучше посулит.

Максим вспомнил весёлый двор у дома бабки Варвары, весь заросший ромашками, кринки на кольях, маки край огорода — хорошо у неё было летом. И в доме самом опрятно, чисто. Пол из широких плах, крашенный. На стене, как войдёшь, сразу часы. Над стрелками кошачьи глаза большие. Маятник тикает, а кошка глазами водит. Дивно! Такого Максим ещё не встречал...

Бабка Варвара сказывала, что эти часы «давношние».

— Завтра и собирай узлы... Тебя бы так-то и мой Анфимка взял, да у него самого все лавки заняты.

Бедному собраться — подпоясаться. И часа не минуло, как ушла от них бабка Варвара, а мать уж смотала узлы — в один одежонку, дерюжку, подушку, в другой завернула чугунок со скорородкой, села к столу на лавку, облокотилась, задумалась.

— Вставай, сынок, я дойти помогу.

— Уши тебе заложило? Она ведь сказала: «Завтра».

— Ладно, сынок, мы сегодня. А то передумают...

Бабка Варвара открыла им дверь и нисколько не удивилась, что следом они притащились, «завтра» не стали ждать. Посторонилась с прохода, давая войти.

— Разболокайтесь, Господь с вами... Максимша, поди, на полатах спать будет. Тебе я с Егоркой кровать за печкой направлю. В избе у меня завсегда теплынь... Свёкрин дом, давношний.

И больше она ничего не сказала: пошла и села к окну, сеть начала вязать. За ухо была заткнута иглица с белыми нитками: видать, запасная. Второй иглицей она умело и споро делала ячеи. В Пыжино в каждой избе вязали сети, но Максим слышал, что лучше, быстрее бабки Варвары, Анфимовой матери, никто не вязал. Этим она и жила: за вязку сетей давали муку, сахар, табак, жиры — всего понемногу.

Старшая дочь Катерина прежде рыбачила, а как взяли на фронт её мужика, Костю Щепёткина, так на сплав ушла, со сплава — на лесоточку.

— Совсем мужик мужиком, — сказала, не отрываясь от сетки, бабка Варвара. — Брёвна на лесосеке ворочит — другой мужик не угонится.

Максим видел бабки-Варварину дочь: раз в две недели она появлялась в Пыжино, приезжала верхом на коне

---

с лесопункта Усть-Ямы. Катерина пугала Максима своей угрюмостью, чёрным мужицким лицом и грубым охрипшим голосом. Когда у неё не слушался конь, она била его наотмашь по храпу, скверно, зло материлась. Костью она пошла в мать, и бабка Варвара сама говаривала, что лучше бы Катеринина сила Анфиму досталась: он всё же мужик, а она баба.

— Варварушка, — опустила на лавку мать, — а Катерина, пожалуй, ругаться будет, как мы к тебе поселились?

— Зверь она, что ли, какой?

— Сердита больно...

— Жись у неё не слашше твоей.

— Ничего от её муженька? — заискивала Арина. — Приедет, я ей погадаю на картах.

Бабка Варвара отложила иглицу, понюхала табаку.

— Погадай, она любит, — с запозданием ответила старуха, и осенила себя мелким крестом.

Волдыри на Максимовом животе проходили, уже не щипало, не саднило, но больно было ещё дотронуться. Его навещал Пантиска: то утром рано, то вечером. Он рассказывал, что отец у него давно приготовил все самоловы и ждёт ледостава. Пройдёт шуга, закуёт Обь, и поедут они на собаках долбить проруби пешнями, прогонять прогонной проволокой самоловы. Будут ловить осетров, нельму, налимов.

— Пыжинские на фронт подарки собирают, — пришёл сказать однажды Пантиска. — Не слыхал, чо ли?

— Знаю... Бабка Варвара рукавицы сшила — полушубок разрешила, ну, тот — Катеринин мужик носил.

— Был у него чёрный такой полушубок, я помню.

— И носки приготовила тёплые, толстые-толстые! Две пары связала.

— А наши пимы отдают, тяткины. Матери жалко — последние. А тятка ей говорит: «Молчи, дура, там, на фронте, нашей родни много». Мать сразу и замолчала: она не спорит с отцом... Максимша, знашь, чо ещё? К нам новенький едет, в Пыжино.

— И про это слыхал... Для леспромхозов свиней тут заводят, чтобы мясом рабочих кормить. Мать будет свиаркой, а я подпаском. Мне полпайка нарежут... А дядька, что будет заводовать этим, добрый? Вот бы узнать.

— Дергачёвский он, Пылосов по фамилии.

— Пыл... огонь... — стал подбирать Максим слова.

— Чёрт-те чо городишь, — фыркнул Пантиска, и с этим ушёл.

---

А Максим стал думать, что бы такое хорошее, нужное послать дяде Андрону на фронт. Все хоть что-нибудь собирают, только они ничего. Мать посовалась, поохала, перетряхнула ремки и опустила руки.

— Ничегошеньки, господи!

Максим тоже вот думает, мучается — уши горят, голове жарко, а что пошлешь? Чужого не уворуешь...

Готов был заплакать Максим от горя.

## 12

К приезду Пылосова готовили пустовавший казённый дом рядом с селъповской засольной и складом.

Приехал Пылосов ночью на двух подводах, на розвальнях — по морозцу. Горстку чёрных домов освещала полная белолуцая луна. Хриплый ленивый лай пыжинских собак встретил приезжих да Максимкина мать, которая мыла, топила, ухаживала дом, простуженный за долгие месяцы запустения. Когда-то в этот дом просился Егорша Сараев, но в сельсовете не разрешили: наверное, тогда ещё думали поселить в нем завкустом Пылосова.

— Милости просим, батюшка, — ласково и заискивающе выплеснула слова съёжившаяся от холода женщина.

— Я не поп, и не зови меня батюшкой, — в нос пробубнил Пылосов. — Иван Засипатыч я... Тепло ли в избе?

— Уж так старалась... Иван Засипатыч! Жарко.

— Жар костей не ломит... Ну, подымайтесь, приехали.

С воев, из-под одеял и матрацев, из-под тулупов и дох, вылезали один за другим ребятишки. Арина насчитала их шесть, но шестой оказалась жена Пылосова, низкорослая, мохнатая женщина — мохнатая оттого, что была одета в овчинный тулуп шерстью навыворот.

Пылосов ухватил самый большой и, наверное, самый тяжёлый узел, прикрикнул, закинул на спину и пошёл в избу. За ним взяли по узлу остальные, и Арина тоже взяла. «Богато живут, одёжек много. И то — мужик при семье, дома. С мужиком бабе — как за горой каменной... Сказывали, у самого-то все пальцы на ногах отморожены, потому и негодный был к фронту».

— Тепло натопила, и полы чистые, — жильём пахнет, — гнусовато, но от души проговорил Иван Засипатыч. — Приходи завтра, Арина. Тебя ведь Ариной звать?

---

— Сызмальства так, — обрадовалась Арина.

— Вот приходи утресь, поговорим. На работу тебя определить надо.

«Нараскоряку ходит, без пальцев-то... Где ж тебя так, бедного, захватила судьба-печаль?»

— Спокойной вам ночи, — сказала Арина.

— Спокойной...

Спозаранку Максим выбежал во двор в опорках на босу ногу.

— Пойду плясать:  
Дома нечего кусать —  
Сухари да корки,  
На ногах опорки!

Голосишко его срывался на ледяном ветру. На лице кожа от стужи пошла пупырышами, мать говорила — «оширшевела». У матери всегда про запас есть чудные словечки...

Ага, поселились жильцы в пустом доме, дым из трубы идёт. Узнать бы, кто у них есть — мальчишки, девчонки?.. Глянь — шкура собачья на колу против дома висит, сеном набита. Зачем это? А чтобы она не смёрзлась, чтобы синицы её обклевали, от жира и мяса очистили. Из собачьих шкур шьют мохнашки — толстенные, шерстью наружу... Мохнашки тёплые, но на фронт в подарок бойцам их не принимают...

Максим почти что сравнялся с пылосовской избой, когда из сеней на крыльцо выкатился Пантиска, придерживая рукой полу стежёнки. Остячонок сыто облизывался, торопливо дожёвывая что-то вкусное, и Максим подумал сердито: «Успел, проныра, наведалься!..».

— Тётка у них славнецкая: шаньгой творожной меня угостила! — не стал скрывать Пантиска.

— Ходишь, глаза продаёшь... Не мог мне шаньги маленько оставить.

— Самому было мало... Девки у них — Калиска с Манефкой.

— Первый раз такие зовутки слышу, — немало удивился Максим.

— И малышни дополна.

— А Калиска с Манефкой здоровые или какие?

— Хо, дылды! Больше тебя.

Максим подобрал кулаком сопли.

— Про девок — не интересно... Не успели приехать — шкура собачью болтаться повесили. Домовитые...

— Поди-ка, Шарик был.

---

— Откуда ты знаешь?

— Манефка сказала... Кролика слопал.

— И задушили?

— А чо, прощать? Наш тятка тоже бы задушил.

— Заколел я, домой пойду..

Мальчишки разбежались по избам.

Арина укачивала пробудившегося Егорку, бабка Варвара шумно нюхала свой табак во второй половине дома.

— Аургу, няй миле, — заныл Максим, выговаривая слова по-остяцки, посматривая из-за двери на бабку Варвару.

— Жди, печку затопим, картошки чугуна поставим, — оттолкнула его Арина.

Старуха вышла, загремела заслонкой, выставила с загнетки медный котёл.

— Садись, похлебай суп вечерошний.

— Не балуй его, Варварушка, своей еды скоро дождётся, — подняла бледную руку мать и погрозила ему.

А Максим уже взгромоздился на лавку, сунув под себя шапку с оторванным ухом.

В этот день принесли Арине письмо. Арина читать не умела, и тот остяк, что захватил почту из Сосновки, тоже был «тёмный», но он сказал, что письмо это ей, Сараевой.

— Может, не мне, а Катерине, Варвариной дочери? — недоумевала Арина.

— Тебе, тебе, читай, — мотал головой остяк.

С растревоженным сердцем переступила она порог пылосовского дома.

— Гляньте, Иван Засипатыч, мне ли, а может, другому кому? С фронта... А там у меня никого.

Ещё со вчерашнего жарко было у Пылосовых. Хозяин сидел за столом, пил не торопясь чай, низко склонившись над блюдцем: перед ним стояли белые сухари в тарелке. На жёлтом, будто болезненном, лице близоруко щурились серовато-влажные глаза.

Он взял конверт, поднёс его к носу. Восковая лысина блестела от пота, как горячий блин от масла.

— Андрон пишет, бондарь... Знавал я его.

— Андронушка! — вырвалось у Арины. — Вот не чаяла... Уж какие с мужем моим друзья они были... Читайте, Иван Засипатыч, что же он пишет такое?

Развернув треугольник, Пылосов прочитал, что Андрон всех помнит и всем приветы шлёт, что был он под Москвой ранен, контужен, но сейчас в госпитале излечивается и, должно быть, скоро поднимется на ноги. Врачи говорят, что на фронт



---

его больше не пустят. Он вернётся домой и будет стоять на трудовом фронте, как стоял на войне... Спрашивал, как живёт там семья его друга — Егорши Сараева.

— Дай-то бог, чтоб возвратился, сердешный, — обмахнула Арина закрасневшееся лицо. — Золотой человек повсюду нужен.

— Приедет, если отпустят, — опять наклонился к блюдцу Иван Засипатыч. — Садись-ка, баба, чаю попьёшь. Давай угощайся, Арина, ешь... Стюра! — крикнул жену. — Подай стакан.

Стюра вышла из комнаты-боковушки, поздоровалась с гостьюей стеснительно, поклонилась, чем сильно смутила Арину: уж такого приветливого обращения она здесь не ждала встретить.

## 13

Давно уже коченеют конские котяхи на дорогах, хорошо угодишь носком — далеко катятся от пинка. Катятся, катятся и зароятся в снег. Снегопад зачистил: который раз валит в нынешнюю зиму. Под снегом совсем уж скрылись могилы на маленьком пыжинском кладбище, кресты укутались белой ватой, не сразу поймёшь: крест это или палка какая торчит из сугроба. Не стало видно ни чёрных крыш, ни завалин, ни труб, ни рыжей травы на Анфимовой бане — закутало всё, замело. Мороз заставляет Максима хвататься за нос, только ему это всё нипочём: летает он из избы в избу, обивает пороги, таскает за собой холод и снег.

— Обметай ноги! И дверь прикрывай плотней, чо расхлябенил? — ругается мать Пантиски, но Максим знает, что это она просто так, не всерьёз — пострацать надо, чтобы наперёд знал.

— Тётъ Нюра, а где Пантиска? — деловито осведомляется он, словно пришёл по какому важному делу.

— Чо, вместе тесно, а врозь — хоть брось?.. Нету Пантиски. Тебя хотела спросить, да ты вот успел.

Анна к нему и не поворачивается: знай смотрит в широкую русскую печь, где черным-черно от котелков, чугунов, чугунов, где пенится варево — картошку варят, крупную, чищеную, — это себе, мелкую, в мундирах — корове Чернушке. Не смотрит Пантискина мать на Максима, перебирает ухваты да сковородники — низенькая, большеногая, в платке до самых бровей: один нос и видать да толстые губы...

---

Как к ним ни придёшь, к Мыльжиным, они вечно варят. Нигде так много не варят в Пыжино, как у Анфима. Семьища, конечно. Корову держат, барана, овецек двух, упряжки собак. Другая баба запурхалась бы, замоталась, а Пантискина мать — ничего. Если ей не надоедать, а так посидеть, помолчать — она уж, верно, о чём-нибудь спросит. «Как живёте? Как мать? Как маленький? Как бабка Варвара, не забижает ли?» Пантискина мать только вчера забегала к ним, а вот спрашивает. Будто год не видала. Спросит так, помолчит, погремит ухватами-сковородниками, подтянет большой чугунок из огня, достанет чищеную картошку, скажет: «Имай!». Максим на ленту ловит картошку, перебрасывает её с руки на руку, с ладони на ладонь. И дома картошка изо дня в день, но в людях она вроде слаще.

— Максимша?

Мальчишка замер, наострил уши, жевать перестал: полкартошки зажал в руке.

— Устроилась мать-то к Пылосову?

И это ведь знает она, а вот же... Выходит, приятно Пантискиной матери с ним разговаривать.

Пылосов взял на работу Арину без лишних слов: понравилось ему, как она дом прибрала к их приезду, как печь натопила, полы вымыла. Такая баба в затеваемом деле на все сто сойдёт. Перед Ариной Пылосов на рассказы не поспешил. Он кособоко ходил по избе, раскачиваясь на изуродованных ногах, темя его лоснилось. Пылосов был гнусоват... Они здесь устроят большое хозяйство, привезут сюда маток, хряков, молодняк. К осени нового года в орсе должна быть сотня свиной. Столько кругом лесопунктов — Чимжелька, Шестая точка, Усть-Ямы... Лесорубы валят лес, лес нужен стране, фронту. Пылосов сделает всё, чтобы рабочие на всех пыжинских лесоточках крепко ели и крепко работали. Ещё Пылосов, как завкустом, открывает здесь лавку, будет разные заготовки вести: и рыбу у остяков принимать, и пушнину, и разную дичь. Но первое дело — это хозяйство, свиньи...

— Чуешь, Арина, какое дельце тебе поручается? — спрашивал Пылосов, склоняясь над ней.

Арина сидела покорная, улыбалась, кивала:

— Да я хоть сейчас, хоть сию же минутку! Вот они, руки, я к работе привышная. Но... Иван Засипатыч, голодом не оставьте, дети ведь у меня.

— Не останутся голодом твои дети, — прихмурился Пылосов. — На зиму свиньям отруби будем давать, жмыхи, смётки. Глядишь, и вы пропитаетесь.

---

— Ещё бы хлебушка, — сладким голосом говорила Арина, — хоть понемножку. Без хлебушка как же? Насиделись мы впроголодь, намыкались горя-нужды.

Иван Засипатыч хлюпнул простуженным носом.

— Паёк получите: ты восемьсот граммов хлеба, ну и... парень, если будет в помощниках, граммов четыреста. Гороху маленько, овсянки, сахарцу изредка...

Арина, довольная, встала, запахнула на груди старую фуфайчонку, замешкалась у порога.

— А пока маты вяжи из соломы: на парники маты будем готовить, — сказал ей Пылосов.

— Я и хотела спросить, что мне делать покуда... Маты? С сегодняшнего и начну, сына беру в помощники. Полпайка ему? Вот спасибочко... Так завтра мучки хоть килограммчик дайте.

И, боясь услышать страшное «нет», она выскочила на улицу.

## 14

С утра сегодня Арина вяжет маты, а Максим чуть покопался в соломе — с мороза она золотилась инеем, на пол с неё стекала вода, порылся, какмышь, и незаметно исчез: опять к осяткам ушёл.

«Работа — маты вязать, — с обидой думает мальчик, пригревшись на лавке в Анфимовом доме. — Вот бы на Обь пойти, с нартами, на собаках, проверять самолёвы. Это куда интересней!» Он ждёт Анфима: осятак с сыновьями на чердаке, ищут там какую-то снасть важную. Максим вчера весь день набивался ехать на самолёвы, и его посулили взять.

— Ты, Максимша, рыбалку любишь, как собака мясо, — сказал Анфим, кидая перед мальчишкой запылённые, скособоченные бахилы. Они звонко, как стылая кость, ударились об пол. — Оттают — сена набей, тряпья наверни. Собирайся.

Анфим ущипнул вонючими от табака пальцами конопатый Максимкин нос.

— И ни чуточку не больно! — заблестел глазами Максим от навернувшихся слёз.

— Мороз, погоди, накусает покрепше...

Молодые тонкие тальники забросала хмельная метель по самые головы: с тоской прорезываются над сумётами прутья-метёлки. Ещё нажмёт один снегопад — и вовсе закутает все

---

молодые побеги. Останутся в неприступности разве рябинники да осины, да и те будут кланяться крепкой нарымской зиме, никнуть под снежными шапками. И стога замело, задавило — долго придётся обтаптывать, обминать, пока подберётся к ним на лошадке. Будет она вязнуть по брюхо, измокнет, выдохнется от усердной работы, а после, дожидаясь, пока накидают, забастричат высокую возовицу, — покроется от спины до ушей белым инеем-куржаком.

Бегут к широкой Оби собаки, взвизгивают, трясут пушистыми хвостами, и стелется, стелется нескончаемая равнина. Зимой на Оби то же, что в половодье: не понять сразу, где берег, сора, где курьи и протоки — всё под одно сровняла метельная зимушка.

На широких лыжах-подволоках, подшитых лосиной, не трудно идти по глубокому снегу, и в гору легко.

Максим, Пантиска и старшие братья Пантиски — все двигаются на лыжах. Один Анфим уселся на нартах: хромота ему не даёт встать на лыжи. И не охотится он из-за этого, не гоняет по тайге соболей, не выслеживает по урманам шуструю белку. Анфим больше рыбачит, да кое-когда уток бьёт.

Анфим сидит на нартах, закутавшись в полушубок. От дыхания овчина навороте прихватилась сосульками-льдинками, ветер срывает с губ махорочный дым. И лоб, и щёки Анфиму до густой красноты наскло снежной пылью, морозом. А ямки от оспы, наоборот, потемнели и кажутся глубже, уродливее.

Потянулась длинная луговина — чистая грива. Вокруг не было ни кусточка, ни деревца, потому-то и вымело гриву ветром от снега. Не останавливая собак, Анфим скатился на землю с нарт и побежал, хромя, вперёд, разминаясь и согревая себя от холода.

— Прихватыват, якорь его! — кряхтел Анфим, прикрывая мохнашкой лицо. — Шкуру дерёт. Нос, Максимша, не потеряй!

Максим и так всё время держал на носу рукавичку, дул в неё горячим дыханием, чувствуя, как тяжелеют от инея брови, ресницы. Было Максиму холодно, надувало за пазуху, стыла голая шея, но он терпел.

— Лёд толстый, много долбить придётся, — сказал Анфим, когда они достигли протоки.

Под острыми клиньями пешен голубыми брызгами сверкали осколки льда. Пешнями били сразу в трёх местах, сачком выскребали крошки, отшвыривали на белый снег. От работы стало так жарко, что впору снимай с себя всё. Как-то разом из трёх прорубей выплеснулась вода, задышала, то оседая, то

---

поднимаясь. Тёмные языки медленно выползали на лёд, застывали.

Дело делали молча, без разговоров.

Анфим нащупал прогонной проволокой тетиву самолова, крепкую, толщиной в мизинец, потянул на себя легонько, насторожился. Рука его дёрнулась, он потянул сильнее, сжимая в ладонях шнур. Закусив кривыми зубами губу, весь сжавшись от напряжения, он стал выбирать самолов.

Высунулась усатая морда налима, большая, с собачью голову. Тёмные точки глаз выпучились от яркого света, налимя морда сунулась вниз, в воду, но старший Пантискин брат Лёвка всадил налиму в горло острый багорик.

Налим был чуть не в сажень, темнокожий. Тонким хвостом он бил с устрашающей силой, так казалось Максиму. К скользкой шкуре его льнули льдистые крошки. Средний из братьев, Порфилка, ударил рыбину по широкому лбу колотушкой; налимом трепыхнулся, извился от головы до хвоста и затих, как уснул.

— Замерзает, — простодушно сказал Максим, глядя, как белеет на рыбине шкура. — Какой большущий, оё! — запоздало взвизгнул мальчишка от радости и удивления: ведь первый раз взяли на самоловы.

И получил от Анфима тычок.

— Заришься, паря? Мотри, рыба не будет иматься.

Максим не знал, что у остяков есть такое поверье...

Вытаскивали ещё налимов, муксунов — горбатых, похожих на стариков, рыбин, жёлтую стерлядь, кострюков — осетров-недоростков. А настоящий, крупный осётр не попадался. Анфим вроде даже запечалился.

— Язвило, нет осетёра.

— Ещё ловушка стоит, спроть острова, — несмело заметил Порфилка.

— Худой там место, — пошевелил губами Анфим. — Здесь хороший.

Но там-то и выловили огромного осетра, пудов на шесть. Анфим от радостных переживаний выкурил две трубки подряд, сидел на нартах, раздумывал.

— В третьем годе такого ловил. Тьфу, тьфу!

Он плюнул направо, налево. Максим следил за его глазами: остяк поглядывал гордо на осетра и на лёд, что был вытопан, выброжен вокруг проруби: с осетром они долго возились.

Анфим глотал дым и думал, как он повезёт сдавать осетра в Дергачи, как будут там удивляться приёмщики, хлопать его, Анфима Мыльжина, по плечам и говорить ему приятные

---

слова. А он будет улыбаться и трубку курить... Нет, уж он-то знает, какой это большой осетёр: такого в округе сколько уж лет никто не вылавливал. Ему повезло: рыбина дорого стоит. Раньше, когда всего было вволю, он бы так, может, не радовался. А теперь его хорошо отоварят, за осетра он получит и хлеб, и сахар, и масло...

Опираясь руками о нарты, он встал.

— Сгружай добычу, почапали.

Обратно шли тем же путём, по обмятому снегу, мимо тех же стогов и заметённого тальника. Анфим не садился на нарты, даже ни разу не присел, ковылял позади, гордо откидывая голову.

На подволоках Максим скользил последним, не торопился больно, чтобы не ткнуться тупыми концами лыж в Анфимовы пятки.

— Забрызгал, чисто всего окатил, язви его! — вдруг засмеялся Анфим, который всё думал и думал об осетре.

Остяк остановился, стал хлопать себя мохнашками по заскорюзлому полушубку, стряхивать заледеневшие хрусталинки брызг.

— Лёдом покрылся. Шуба — чисто железо: колом стоит.

Максиму изо всех сил хотелось поддержать разговор, рассказать, что у него дыхание остановилось, когда забурлила в проруби рыбина, что он испугался: вдруг дядя Анфим не устоит на кривой ноге и сунется головой в прорубь. Но мальчик боялся вступать в разговор после того, как Анфим обругал его: «Заришься, паря!». И ткнулись тут Максимовы лыжи в пятки Анфима, остяк повернулся, дыхнул в лицо теплом и махоркой.

— Бежи догоняй нарты. С косолапым — озябнешь.

— Согреюсь, дядя Анфим, — пытается улыбнуться Максим и чувствует, как занемели губы.

— Сорвал охотку, ли чо ли? Ещё пойдёшь, али как?

— Всегда пойду, — отзывается бодро Максим.

— Затейливый ты парнишонка, — сопит ему в спину остяк.

## 15

В маленьком Пыжино только и было в тот день разговору об удачной Анфимовой рыбалке, о большом осетре. Вся родня стекалась в мыльжинский дом на уху, на жарёху — поесть



---

хорошо да с собой прихватить: одному повезло — считай, все разживутся.

Больших мёрзлых налимов не рубят в Нарыме: их валят на козлы и пилят, как толстую жердь, — на «чурки», на звенья. Такую рыбу пока на морозе разрубишь — сколько «щепы» потеряешь. А пилой пилить — горстку «опилок» посеешь. Трудная жизнь всякой премудрости человека научит.

Двух налимов больших на общий котёл разделили, остальных же хозяин составил в кладовку. И осетра прислонил туда же, головой вниз.

Только поставил Анфим осетра к налимам, отошёл, чтобы ещё раз со стороны полюбоваться, слышит — в сени кто-то вошёл, покашливает, с ноги на ногу обминается. Высунул голову из кладовки остяк — Пылосов, завкустом, топчется.

— Здоров-ка, Анфим! Слышал про твою удачу, дай взглянуть.

Издали, не входя в кладовую, прикинул Пылосов глазом: добёр, холера!

— Жалко — уйдёт другому приёмщику, — опечалился завкустом. — Я бы такого матерюка хоть сей минут принял, да провиант ещё не завёз — отоваривать нечем. В Дергачи повезёшь?

Анфим пососал мундштук, потянул в себя дым, закрывая глаза.

— Когда твой лавка откроется, а?

— Дён через пять. Вот товар подвезу.

Остяк закусил мундштук, ощерил зубы, помедлил и вынул трубку.

— Васюган-река был?

— Бывал, приходилось... Отсюда не столь далеко, — сбивчиво отвечал Пылосов, почти что нехотя.

— Отец мой на Васюган-реке ранешно жил, промышлял. Я малолеток был, а помню: купец нам сахару не давал, пушнины, якорь его, у отца не хватило! Отец грёбся на обласке, песню пел:

Васюган, Васюган,  
Весь ты извилялся.  
Лавка сахару не дал,  
Бражка не удался.

— Ишь ты, — мотнул головой Пылосов.

— Мой башка всё помнит... У меня, Иван Засипатыч, сусек пустой, а ребятишек — как тараканов... Дергачи ехать надо,

---

осетёра сдавать — муку получать, карасин. Без лампы глаз слепнет, как самолёвы точить?

— Погодил бы чуток, я бы его оприходовал: работа моя началась бы с удачи. Как хошь. Я по-соседски, по-доброму.

Пылосов прокашлялся, прочистил горло, а то в горле у него что-то хрипело, пока говорил с Анфимом.

— Заходи! — открыл двери в избу Анфим. — Ладно уж, подождёт осетёр.

Ели уху. После обильной ухи пили чай, истекая солёным потом, вытирали лбы рукавами, ладонями, швыркали разопрёвшими носами. Самовар стоял посреди стола, а вокруг него хороводом ходили кружки, тянулись шершавые мужичьи лапы, лоснящиеся от жира и сажы бабьи руки и смугленькие ручонки ребят. Чашки ходили вокруг, двигались, поднимались к жадным губам и с лёгким стуком падали на столешницу.

Пир без вина сегодня в Анфимовом доме. Сегодня едят и пьют здесь досыта.

— Разморило, сосед, жарко, — простонал Пылосов, отваливаясь к стене. — С воды на воду тянет. Кабы свинины наелся, а то — уха. И такое питьё с неё.

— Всё едино — жир, — икнул Анфим, встряхивая кисет. — Закурить табачку, куда водится.

Топилась, гудела печка-жестянка, в прорези поддувала лезли красные огоньки. Огоньки освещали ободранные, прожжённые углями половицы. Над печкой и на приступке за ней висели онучи, травяные стельки лежали на чурбачках, сушились чирки, бахилы, подшитые валенки. Во всей избе густо плавал, смешиваясь с табачным дымом, запах пота, мокрых снастей и сплывшего рыбьего жира. И всё-таки не было сейчас в Пыжино дома уютнее и милее, чем дом Анфима Мыльжина: кислым потом, онучами пахло во всех пыжинских избах, а рыбой и сплывшим жиром не везде пахло.

Раз за разом отворялись и затворялись двери, скрипели промёрзшие петли, по полу клубами катился морозный пар. На лавках входящим уже не хватало места, садились у печки и у порога на пол, курили и щурились от сытости и тепла.

Сквозь дым смутно желтели лица, и всем подмигивали две коптюшки, пристроенные на полке выше окна.

Анфимова баба последней вышла из-за стола, перешагнула скамейку, задирая подол до колен. Проговорила, как обронила: «Осподи». И перекрестилась.

— Бог напитал, никто не видал, а кто видел, тот не обидел.

---

Анфим тоже перекрестился, за ним все его ребятишки нагнули лбы. И Максим, торчавший здесь ещё с вечера, тоже крест положил.

Пылосов выдвигался из-за стола потный, с блестящей лысиной, с капельками влаги на остром носу и нижней губе. От угла с иконами он отвернулся. Анна неодобрительно уставилась на него.

— Али не веруешь? — спросила она, помедлив, спросила тем голосом, каким не хотят обидеть, но хотят укорить.

— Жена у меня, Стюрка, за всех отмаливает...

— А икон у вас нету, — урезонила гостя Анна.

— Бог везде есть, — лукавил Пылосов. — Не держим икон мы.

Иван Засипатыч поухмылялся, пощерился, поковырял щепкой в зубах и, усевшись удобней на низеньком чурбачке, развёл колени, положив на них руки.

Со стола Анна уносила посуду молчком, сметала тряпкой чисто обглоданные кости. Анфим, добро и весело расположенный, переглядывался со всеми, кто сидел сейчас в его доме. Сытно, тепло было людям сегодня в Анфимовой горнице, и остяк этому радовался. Одна Арина Сараева показалась ему печальной, как серый день. Или чем недовольна? Или обидел кто? Или плохо ела-пила?

— Арина, пошто в землю глядишь? Чем душа изболелась? — подвинулся к ней Анфим.

Арина не шевельнулась, ответила кротко, с тоской:

— Андрона нашего вспомнила: любил человек после крепкой работы поесть хорошо. Посидеть в многолюдстве, бывалое вспомнить... А то вдвоём, когда с Егоршей сходились, — разговоров до полночи... Где-то теперь Андрон? Жив ли, здоров? Сыт ли, голоден?

— Отпишет, если захочет, где он и как, — поугрюмел Пылосов, смыкая колени. — Вон читал я недавно — в газетках печатают, что немцев от Москвы выкурили. С нашим войском Гитлеру никакого сладу нет. Народ поднялся: везде встаёт ему поперёк дороги... В газетах же и про наших сибиряков много сказано: храбро бьются.

— Дают прочуханку Китлеру? — отозвалась молчаливая бабка Варвара.

— Сибиряков немцы пуце огня боятся, — продолжал Иван Засипатыч, довольный, что все его слушают, разговоры посторонние прекратили. И теперь только один Иван Засипатыч и говорил важно.

---

Был это он в Каргаске — по делам в район ездил. Встретил там одного заготовщика «Сибпушнины». Заготовщик без руки с фронта вернулся. И рассказывал тот заготовщик, что охотники-ханты дезертира в старой медвежьей берлоге нашли, беглого с фронта.

— В берлоге? — вытаращился от удивления Максим.

Пылосов не взглянул на мальчишку, своё продолжал:

— Куржак на дереве, как положено быть... Берлога, думают... Собак пустили, заламывать начали, а там человек...

— Да чей же он был? С каких мест? — спросила Арина, качая на руках плачущего Егорку.

— Да кто его знает, — наклонил голову Пылосов.

— Глянь-ко, чо деется. Страсти какие. — Анна замерла посреди избы с большой сковородкой в руках. — В берлогу спрятался...

— О-яньки, — вздохнула Арина. — Трус-то, он хоть где сгинет...

Егорка совсем стал захлёбываться от крика, как его ни укачивала Арина, как ни тетюшкала. Тогда она поднялась с лавки, оделась, ещё раз спасибо за ужин сказала, и велела Максиму тоже домой собираться. Но Максим не хотел идти: ему посидеть ещё было охота.

И он остался. Но разговора больше ни о чём никакого не затевалось, и мальчик подумал с обидой, что это мать помешала Ивану Засипатычу дальше рассказывать.

Иван Засипатыч одышливо приподнялся с низкого чурбачка, распрямился не сразу: отяжелел после сытной еды. С сопеньем зачихал себя в полушубок, подтолкнул оттопыренные уши под шапку, застегнул пуговицу у горла.

— Так ты, сосед, погоди своего осетёра сдавать.

— Пожожу, пожожу...

Анфим высвободил ноги из-под лавки, захромал к выходу, а Иван Засипатыч носком сапога уже отворил дверь.

— И я с вами, — поспел Максим. — Ух, темно да морозно!

Он припустил бегом по вытоптанной дорожке. Она была не так широка, и в черноте ночи он оступался в глубокий снег, проваливался, выдёргивал ноги и бежал дальше, размахивая руками.

У дома бабки Варвары, который теперь был и их домом, Максим разглядел сани. У саней оглобли подняты и стянуты чересседельником. «Тётка Катерина с лесосеки приехала, вон как», — сообразил Максим и пошёл тише.

Дома было не до него: мать гадала у печки на чёрных, замусоленных картах, а бабка Варвара и Катерина слушали и

---

смотрели. Мать шёпотом говорила про кровь и огонь, уверяла Катерину, что мужик её, Костя Щепёткин, жив, — так карты ей сказывают. И любит её, и думает..

«Врёшь ты всё, — говорит про себя Максим. — Гадалка, картёжница...»

Он помнит, как отец его, Егорша Сараев, ругал мать за карты, высмеивал. Но Максим понимает: жизнь у них пошла сейчас трудная, и картами мать у людей добра вымаливает. Как-то же надо терпеть, когда у тебя ни кола, ни двора, ни коровы, ни кошки. Всё понимает Максим, но стыдно ему за мать: зачем она так унижается?..

Утром, когда он выбежал по нужде на двор, тётки-Катерининых саней с поднятыми оглоблями уже не было.

«Уехала».

## 16

В эту ночь случилось в Пыжино два события: одно хорошее — у Пылосова, другое плохое — у Анфима Мыльжина.

Пылосов поднимался с постели рано — едва забелеет в окошках. Издавна была заведена такая привычка у Ивана Засипатыча. Обувался он под порогом, садился прямо на пол и шоркал ноги ступня о ступню, — широченные лапы без пальцев. Жена вязала ему носки — толстые, с короткими следьями. Он совал в них ноги, по очереди наматывал поверх портянки из мешковины и обувал, смотря по погоде, бахилы или пимы. Не умываясь, закуривал, напяливал на крутые плечи полушубок или душегрейку, тоже смотря по погоде. Он был высоковат, и ему приходилось чуть пригигаться, когда перешагивал через порог.

На улице он любил колоть по утрам дрова. И на этот раз, взяв в сенях топор, он сошёл с крыльца, и в мутном, сером рассвете заметил на свежем мягком снегу, выпавшем в ночь, следы. Прошла лисица, наследила цепочкой по всему двору, потыкалась в сени, в пригон, и направилась к бане: туда уводил след.

Баня стояла в конце огорода, край маленького болотца с небольшой озерушкой, где летом и зимой, в любое время можно легко набирать для мытья воду. Любопытство заставило Пылосова брести по следу через весь двор и огород к бане. След обратно не возвращался, и дверь в баню была приотворена. Это удивило Ивана Засипатыча ещё больше, и он

---

побежал к бане бегом, быстро прихлопнул дверь и стал заглядывать в щелку. Он услышал, как заметался в темноте зверь, клацал когтями по заледенелому полу. Иван Засипатыч приставил снаружи сутунок, и теперь уже не спеша направился к дому, раздумывая, что взять: ружьё или сеть.

Он снял с чердака старую сеть, в три ряда насторожил её перед баней и открыл отдушину. Пойманная лиса была серая с рыжиной, с белым вырезом на груди.

— Сиводушка, — сказал подошедший Анфим, и послунывил зачем-то пальцы.

— Она, проклятая... Вишь вон — раненая, из капкана ушла, — говорил, задыхаясь, Иван Засипатыч. — Чёрт послал ребятишкам на молочишко. Сиводушка дороже красной... Вот сосед, не тебе одному повезло.

Посудачили, покурили. Анфим похромал к себе, дом его был наискось через дорогу от дома Пылосова. И оттуда, какое-то время спустя, понеслась такая солёная ругань, донёсся такой вой, что Иван Засипатыч бегом кинулся.

Раскосмаченный, свирепый и жалкий, остяк бегал в промёрзлых сенях, дико топоча ногами, — хромота мешала ему ловить что-то мятущееся, серое. Это серое шмыгало у него между ног, заскакивало на берестяные кузова, на туески, на ящики, прыгало на дощатые переборки. Анфим всё же успел ухватить его, оно угрожающе замыкало, и Иван Засипатыч увидел своего кота Ваську с подпалённым жёлтым боком и мордой в саже.

Анфим выскочил с ним из кладовки в сени — лица не узнать. С морозным паром изо рта вырывалось одно шипение. Кот обезумело царапал его задними лапами, Анфим выпрямился, насколько позволяла ему кривая нога, в мгновение серый комок с жёлтым боком метнулся где-то под потолком и шмякнулся об пол.

— Стой! — запоздало взмолился Иван Засипатыч.

— Зараза, холера! Кай пуйчелаге! — хрипел остяк, ругаясь и подступая к соседу, завкустом, Пылосову. — Твой скотина мне осетёра изгадил!

Анфим поддел бахилом издыхающего кота и выкинул его через крыльцо на снег.

— Остынь, остынь, что ты? — принялся успокаивать остяка Иван Засипатыч, чувствуя, что случилась беда.

Анфим стиснуто застонал — так было ему тяжело. Он перешагнул из сеней в кладовку, где вчера ставил в углу на поппа налимов и осетра. Пылосов просунул голову в кладовку и обомлел: весь загривок у осетра был обглодан хищными зу-



---

бами. Осетра теперь забракуют, теперь его просто не примет ни один приёмщик, и не видать пока Анфиму и его детям ни хлеба, ни керосину, ни масла.

— Анфим, я так куплю его у тебя, — сказал Пылосов первое, что пришло ему в голову. — Ты мне продай!

— К лешему! Затвори, паря, дверь!

— Смотри, — обиделся Иван Засипатыч, осаживая на голове шапку. — Я за кота не ответчик: зверь — он и есть зверь. И ты укокал его — и ладно. Я б тоже его задушил... А предложил по-соседски. Не хошь — как хошь.

А в душе он ругал себя: «Пакость какая. Я же его отговаривал осетра сдавать в Дергачи. Будто нарочно всё вышло... Не ладно работа моя началась на новом месте».

Мыльжина все жалели; ругали заглазно Пылосова. А Максим так расстроился, что чуть не плакал, и говорил Пантиске:

— Чёрт косолапый, боров. Лучше бы раньше кота убил, чем Шарика своего. Нигде не видел, чтобы собаки рыбу сырую ели. Собаки не кошки.

## 17

Поодаль от избы Пылосова, у коновязи, лежала кормушка — колода, выдолбленная из толстой осины. Возле этой кормушки стояли две леспромхозовские лошади, на которых Пылосов возил сено, дрова, а недавно привёз два воза с товарами. Эти товары он сам стаскал в склад и в лавку. Кони у него были гладкие, сытые, с ровно подстриженными хвостами и чёлками. Кони казались Максиму гордыми, недоступными: свысока, казалось, смотрели они на здешних мосластых коров, поджарых собак и людей. Стоит к ним подступиться, как кони вскидывают заиндевелые морды: мол, отходи, отходи, нечего!

Кони сейчас ели овёс, редкий вечерний снег кружился над ними, оседал на их покатых спинах, набивался в густые гривы. И спины и гривы коней в сумерках казались седыми. Кони хрустели овсом, тихо звякали кольца и мундштуки на уздах, а Максим, подкравшись к колоде, думал, что Пылосову за Анфимова осетра надо надавать под микитки — стащить овёс у его коней. Да и каша овсяная бывает такая вкусная, а он давно её не ел.

«Обжираетесь!» Максим запустил в кормушку руку и ощутил прохладную тяжесть налитых зёрен.

---

Осмотревшись шустро по сторонам, он стал выгребать из кормушки овёс — в карманы, за пазуху под рубаху, и, когда больше насыпать уже было некуда, он скинул шапку и набуровил в неё... У бабки Варвары есть деревянная ступка и большой деревянный пест. В ступке толкут засушенные до рыжины рыбы кости, а можно толочь и овёс. Максим уже видел, как это делают. И бабка Варвара, и мать будут рады, когда он высыплет им кучу овса на стол.

Но мальчик не успел подняться с колен: его поймали. Пылосов видел мальчишку давно, и неслышно подкрался по мягкому снегу.

— Пусти, укушу! — грозился Максим, извиваясь в сильных руках мужика.

— Зубы выбью, — спокойно, но сурово сказал Иван Засипатыч, и мальчик покорно пошёл за ним, просыпая овёс и горячая всем телом.

Пылосов заволок его в дом. В глаза Максима ударил яркий свет от лампы-«молнии». Он невольно зажмурился. Из другой половины избы — чистой, большой — выбежали на шум старшие дочери Пылосова — Манефа и Калиса, те, о которых ему говорил недавно Пантиска. Комната-боковушка, которая была от прихожей сразу налево, раскалывалась от ребячьего крика: там играли, барахтались меньшенькие ребята.

Максим хоть и был сейчас вроде пойманного воришки, но всё успел приметить: и что чисто в доме, и что пахнет вкусно чем-то печёным, и что жена Пылосова, тётя Стюра, маленькая, как мышка, закутана в толстую шаль, а в доме тепло.

Девочки были чёрные, и одна, меньшая, была лучше другой. Но какая из них Калиса, а какая Манефа — он не знал ещё.

Красивая глядела на него насмешливо, но без ехидства. Старшая, с толстыми ногами, словно бы говорила взглядом: «Стоишь как дурак, голодранец, держишь шапку в руках за ухо, а в шапке — что? Ворованное?». Ну да — ворованное, ещё не чище! Он просто взял и отсыпал. Подумаешь!

— Папа, это тот самый, сараевский? — спросила та, что была красивее.

— Он, Манефка, тот самый стручок, — сказал просипел Иван Засипатыч и поставил перед Максимом ведро.

— Высыпай, не пялься. Какой конопатый! — раскатилась большуха, и поболтала ногой-бочоночком.

«Жди, получишь, — про себя посулил ей Максим, заливаясь стыдом. — Молчала бы уж... синеупая».

— Распоясывайся! — дёрнул мальчика Пылосов.

---

— Набедокурил? — спросила тётя Стюра, хозяйка, всё это время смотревшая на Максима с жалостливой тревогой.

— Овёс у коней воровал.

— Не воровал. — Максима прожгло это слово насквозь. — Я отсыпал чуть-чуть у коняшек... Есть хочется.

— Выпала доля вам, дети несчастные, — повернулась к иконам тётя Стюра.

— Не жалея его, пускай по миру ходит.. Бери суму и побирайся, а воровать не моги. — Пылосов притопнул широкой ступнёй; на полке задрезжала посуда.

— Не строжись ты над ним, что с него взять? Голод ведь, голод.

— Сказал — не жалея, не распускай слюни, — тяжело остывал Пылосов.

Он подступил к Максиму, рассупонил верёвку, которой тот был подпоясан, выдернул из брючишек рубашку: на пол с шелестом потекли струйки овса. И шапку он вывернул сам, не давая Максиму одуматься. Вытряхнул, бросил ему под ноги.

— Собери в ведро и отнеси коням.

— Не буду... — Мальчик ковырял глазами пол, где валялся овёс, перемешанный с сеной трухой, и где растекалась лужица мутной воды от снега, стаявшего с Максимовых опорок.

— Папка, он сам соберёт, ты не кричи на него, не топай.

Это сказала Манефа, и голос её показался мальчику светлым, прозрачным, как летний дождь. Когда падает такой дождь, то можно насквозь промокнуть, до нитки, но не почувствовать ничего, кроме радости. Манефа по-прежнему глядела на него чуть насмешливо, но это была у неё, наверно, такая привычка.

Максим опустил на колени, нехотя стал скидывать овёс пригоршнями в чёрное ведро. Встал, отряхнулся, хотел выскользнуть в двери, но голос Манефы остановил его:

— Побудь маленько у нас, посиди.

Максим остановился, набычившись.

— Какой... сверчок. Не миновать лупцовки от матери.

— Папа! — возмутилась Манефа.

Отец покорился: ушёл в дальнюю комнату. За ним и Калиска направилась, бросив сестре:

— Заступница!

— Сколько тебе? — Манефа уселась против него.

— Девять.

— Гляди, уже большенький, — сердечно отозвалась тётя Стюра, оттирая тряпкой сажу с ручки ухвата. — Ты матери помогай, раз отца нету.

---

— У тебя папку медведь задрал, что ли? — спросила Манефа.

— Никакой не медведь... Он умер.

— А нам говорили — задрал, — разочарованно вроде проговорила девочка.

— И нет, он помер, его закопали в тайге... Дядя Анфим.

— Страсть, страсть, — замерла у печи тётя Стюра. — Не обмытый и неотпетый...

Потешная мать у Манефы: молчит, молчит, потом как скажет... Слова у неё будто мокренькие, трепыхающие: выскакивают словно из живота. И сама она маленькая, чуть повыше Калиски. И бабой её не назвать. Вот тётка Катерина, остячка, это баба: и куль на спину взвалит и бревно толстое ногой подкатит. А эта, поди, чугуны из печи тянет, так до смерти накряхтится...

Тётя Стюра протянула Максиму румяную шаньгу из белой муки с творогом. Глазами Максим ухватил шаньгу, а руки спрятал за спину: ему было стыдно перед Манефой, ни перед кем больше. Он давно уже ото всех брал милостыни, сам попрошайничал, а тут... В другое время он был бы рад этой шаньге — «Пантиске давали такую же». Все эти дни он помнил об этом и завидовал остячонку. Но сейчас сдобной, румяной шаньги он не мог взять. А шаньга торчала перед глазами, протянутая маленькой женской рукой.

— Ну чего же ты?

— Не поважай! — косолапо вышел к порогу Пылосов.

— Да папа! — выкрикнула сердито Манефа.

На этот раз отец не послушался дочери, не сдался.

— Не встречай. Марш на ту половину! Не будет прокудить — сам привечу. А сёдня не за что.

— Да не надо мне вашего! — захлебнулся обидой, горьким отчаянием мальчик. — Я не прошу... Не прошу! — Он ударил спиной в дверь и провалился в снежную темноту...

Утром Арина пошла рано по воду, захватив с собой сак и пешню, чтобы продолбить и вычистить прорубь, замёрзшую за ночь. Вернулась она сердитая, расплескала у порога воду с мелкими льдинками, рявкнула на Максима медведицей:

— Сидишь, бесстыжий! Бери тряпку, подотри у порога!

«Знает, всё рассказал гундосый». Тряпка елозила по шершавым, ободранным половицам, руки Максима зябли. Мать с грохотом опрокидывала вёдра в кадку.

— Как же мне людям теперь в глаза смотреть? — взмолилась Арина и села на лавку.

— Я не воровал...

---

— Молчи уж! Отхожу голиком, будет опять зёву-рёву... Человек нам работу даёт, есть-пить даёт.

— Даёт... есть-пить... А после из глотки вытащит. Он такой.

— Поговори у меня, — погрозила кулаком мать.

У мальчика навернулись слёзы: за вчерашнее, за то, что мать не жалеет его, а только ругает, ругает...

— Не пойду я в подпаски. Не буду я с ним, жадомором, работать! А ты ему веришь, веришь... Он плохой, противный, гундосый, твой Иван Засипатыч! Тётка мне шаньгу давала с творогом, он из рук вырвал. Подсеваешь ему... Был бы папка живой, он бы... Ыыыы!

Максим плакал, когда его били, а сам по себе — никогда. Мать была удивлена и слезами его, и словами, которые он ей сказал.

Она не двинулась с места, смотрела на сына.

«Большак уже стал. Всё видит. Всё понимает...»

## 18

Пылосов начал возить свиней. Они бились в больших коробах, крепко привитых к саням верёвками, хрюкали и пронзительно, дико визжали.

— Чтoб вам кишки порвало, проклятая скотинка, — гундел себе под нос Иван Засипатыч, путался в длинных полах тулупа, подворачивая воза к загону. — Уши заложило от вaшего визгу свинячьего.

Зато Арина вытягивалась на носках, заглядывала в корoба сверху, исходила в нежности:

— Измучились, хрюшечки, изголодались. Соломки вам настелила, мягкой, золотенькой, не замёрзнете. Рождество скоро, побеснуются холода, да и сгинут, а там вёснушка не за горами. А с вёснушки пойдёт вам житьё размалиновое.

Арина и в самом деле была рада-радёшенька, что привезли ей работу верную, давно ожидаемую: худо-бедно рабочего человека голодом не оставят.

Помогая Пылосову распутывать смёрзшиеся узлы верёвок, она говорила и говорила, а Иван Засипатыч всё молчал, пыхтел, посапывал, и наконец не выдержал:

— Да замолчь, баба, не брата родного встречаешь — скотину.

— И скотина — живая душа, тоже ласки просит, — осеклась Арина, но выражение радости не исчезло с её лица.

---

— Ладно, ты управляйся... Вон там жмыхи я свалил, с ларей поскрёбыши, отруби. Вари, запаривай, чушек корми... К обеду завтра паёк приходи получать. И на него полпая, как договаривались.

— Уж ты прости его, Иван Засипатыч, за овёс, за грубые разговоры. — Арина прижала руки к груди.

— Что вспоминать. Одно слово — безотцовщина.

Арина хотела что-то ещё сказать благодарное, но увидела Максима. Озябший мальчик отбился в сторонку, затоптался на месте, грея руки за пазухой.

— Пошто не здороваешься? Иван Засипатыча не приветствуешь? — сердито прикрикнула мать.

— Здрас-сте...

Пыловос подтягивал чересседельник. Максим смотрел ему в спину, на красный пушистый шарф, замотанный вокруг толстой шеи, и подумал, что можно было и не здороваться, потому что гундосый Иван Засипатыч даже не поглядел на него.

— Бабка Варвара велела сказать, что надо полы вымыть и баню истопить: тётка Катя, наверно, приедет, — подошёл Максим к матери.

— Пособишь в котёл воды натаскать, дров нарубить. Я со свиньями управлюсь — приду.

— В отца характером? — покосился на мальчишку Иван Засипатыч через плечо.

— Рано характер гнуть. Пока капризы одни.

— Н-но! — прищёлкнул вожжами Пыловос.

Короба развернулись у самых дверей свинарника, и животные с визгом перебежали из саней в помещение.

## 19

Чёрная, исхудавшая, с пальцами в ссадинах и с сорванными ногтями, Катерина появилась на этот раз не в сумерках, как обычно, а засветло, принеся с собой в дом запах хвои, смолья и водки.

Запах водки Максим не слышал с того самого дня, как началась война. Когда провожали на фронт мужиков, тогда и водку в Пыжино пили в последний раз. А после о ней разве кое-когда вспоминали. Уговаривал как-то Анфим свою бабу, чтобы та замешала браги, но Анна, как ни была мужику послушна, наотрез отказалась: муку не хотела переводить.

---

Катерина дышала смрадно, топала оттаявшими пимами, под тяжестью её тела ходуном ходили расшатанные половицы. Она встряхивала растрёпанной головой и по-мужицки бранилась.

Сегодня ей всё не нравилось: и как истопили баню — угарно, и как вообще её встретили. А дома — чёрт ногу сломит. Бабка Варвара её уж не трогала, словом ей не перечила: сидела себе в уголку, стучала ногтем по берестяной табакерке и отправляла в широкие ноздри табак щепоть за щепотью. И только раз, за весь вечер единственный раз, протяжно чихнула.

Из бани пришла Катерина без полушалка, от неё валил пар, белый, пропитанный мылом и чадом. Волосы у неё прихватило морозом: жёстким конским хвостом свешивались они со спины до пояса.

Она садилась к столу, а Максима дёрнуло за язык сказать с полатей:

— А конь-то невыпряженный стоит...

— Ах, туды-т-твою! — матернулась Катерина. — И не выпрягла, и пить не дала. Зачухалась!

— Ты бы оделась, после бани чахотку поймашь. Заполосная.

Дверь захлопнулась. Бабка Варвара пробормотала что-то ещё по-остяцки и полезла в карман за табакеркой.

— Горюет она, Катеринушка, — скорбно сказала Арина. — Вот и Андрон обещался вернуться, и тоже ни слуху...

— Н-ня, — поджала старушечьи губы Варвара, и в глазах её затаилась невысказанная печаль.

Арина сунула руку в постель, нашарила в изголовье карты и молча стала раскладывать их на лавке.

— Слушай-ка, слушай, — вскинула белые брови мать, как только сердитая тётка вошла с улицы в избу. — Выпадает опять — живой твой мужик, ведь живой же!

Не обметая снега с пимов, Катерина изломанным шагом прошла к Арине, корявой рукой сбуровила карты, смахнула их на пол. Арина испуганно отшатнулась к стене.

— Ворожейка! Всё брешешь мне... Съела смерть моего мужика, сон видала. Не ворожи больше.

Мать обиженно собирала карты, шея её покрылась испариной. Она сносила обиду молча: не хотела ожесточать против себя людей, которые приютили их.

— Бог с тобой... Что карты мне сказывали, то и я тебе, Катеринушка, говорила. Бог с тобой, милая.

По-своему укоряла Катерину бабка Варвара. Та фыркнула, раздражённо, сердито что-то сказала ей на своём языке. Из



---

сказанного Арина с Максимом разобрали одно лишь слово, ругательское, потому что оно было русское.

Откуда-то вынырнула на стол початая бутылка водки, загремели стаканы, рукастая Катерина тень двигалась по стене.

— Покличь Анфима. Скажи: Катерина зовёт.

«Это она мне говорит. Другому бежать кликать Анфима некому. Матери бы она так не сказала».

Максим скатился с полатей, стукнулся головой о припечек, потёр макушку, надёрнул опорки и так побежал звать.

— Опять голоушим шляндает, — проговорила Арина, досадуя и не очень досадуя, потому что из слов её Катерина должна была понять: «И мы тут люди не лишние, и мы бываем кой на што годны».

И Катерина, кажется, поняла, отодвинулась к краю стола, освобождая место, уже без сердца сказала:

— Садись, пропусти. Поди, уж забыла, как она пахнет?

Максим вернулся краснощёкий и красноухий:

— Дома нету. В Дергачах, говорят. Там заночует.

— С братом хотела бутылку допить, якорь его, — подняла Катерина плечи. Она остановилась глазами на мигающем свете коптилки, закрыла глаза ладонью.

— Жизнь! — вырвалось у неё из груди.

Катерина выпила целый стакан. Она добрела, Катерина, в раскосых прорезях глаз оживало тепло, на скулах кожа порозовела, отмякла. Неторопливо, между затяжками табака, роняла она прокуренным, замороженным голосом слова, которые складывались постепенно в рассказ о том, как живут они, лесорубы, в тесных бараках, как рано встают, разбирают свои топоры, лучковые пилы, запрягают коней и едут в тайгу. Из баб их двое: она да ещё повариха, толстая, бочка, ходит — вся трясётся, а ржать начнёт — окна дрожат. Баба она замужня, да мужик у неё простуженный, кашляет, на валке замукался — вальщик он. Она через это с другими шурует, он бесится, вальщик... А третьего дня с горя-тоски выпил флакон йоду, совсем одурел и бился лбом о висячий замок на продуктовом складе... Привозят кино им, показывают на белой стенке в бараке. Кино страшные, про то, как наши с фашистами бьются. Посмотришь такое — и про свою тяжкую жизнь забываешь...

Катерина своими рассказами нагнала на Арину и бабу Варвару тоску. Да и на неё как туча нашла. Но вот она закинула за плечи волосы, так после бани и не чёсанные, не прибранные, ухнула зычно, аж в углах отдалось, сорвала со стены

---

балалайку, стиснула струны в пучок, отпустила. И ударила тут по ним звонко, с бабьей пьяной удалью.

— Частушки! Ба-бы-ы...

Пела она одна, никто ей не подпевал, пела больше зазорные, похабные. Бабка Варвара только качала медленно головой, а глаза её всё понимали и всё прощали дочери.

Тень Катерины взмётывалась к прокопчённому потолку, закрывала собой полстены. В коптишке чахнул и умирал огонь: скипидар догорал.

Тешилась Катерина и колотила всей кистью по струнам:

Милый пишет — надоели

Сапоги военные.

А мне тоже надоели

Шмары переменные!

— Н-ня, писал бы, а то не пишет Костя твой, — тихо говорила Варвара.

— Разошлась Катерина! Душа оттаяла. — Мать сидела напротив и кивала острым, лисьим лицом.

Катерина вдруг резко остановилась, посмотрела на пальцы: из ссадин и ранок сочилась кровь. Она бросила балалайку, в минуту вся изменилась в лице. Балалайка ещё гудела в углу на лавке — измученная, истерзанная, как человек. Катерина закрыла глаза посиневшими веками, кинула голову на столешницу и протяжно завывала.

— Эх, жизнь-я! Водки налей, водки!

— Всю выпили, всю, — гладила её Арина. — Слышишь, мальчонок мой надрывается, Максимка унять не может.. Стихла бы ты, успокоилась.

— Поди на улицу, на холод, остынь, остудись, милая, — говорила ей мать.

Катерина затихла, шатаясь, пошла к постели и упала в подушку лицом.

## 20

Три дня подряд ел Максим красную свёклу, паренную в печке. И утром однажды открыл, что снег за стайкой, куда гоняло всех по нужде, становится розовый. Это его так поразило, что он рассказал Пантиске, и вдвоём они бегали по задворкам — за поленницами и на сумётах прожигали затейливые узоры.

---

Как-то средь бела дня на них натолкнулась Манефа, отскакнула в сторону и застыдила:

— Бессовестные, чем занимаются...

Мальчишки перебрали сугроб, выскочили на дорогу и дали тягу, размахивая рваными рукавами фуфаек.

Максим с тех пор стал сторониться пылосовских девчонок.

Начались крещенские лютые холода, в конуры забились собаки, в избах день и ночь без устали пылали в печках дрова, таяли на глазах поленницы. Анфим перестал ездить на Обь смотреть самолёты: выжидал оттепели. Максим изредка ходил помогать матери убираться в свинарнике, а больше сидел дома, на полатях или за печкой — укачивал в зыбке Егорку. Егорка меньше стал уросить: наедался. Варили теперь они горошницу, толкли жмыхи, подсолнечные и льняные, варили из них кисели, каши, пекли лепёшки, и хоть раз в день, но ели досыта.

Катерина бывала теперь здесь редко: жалела лошадь гонять по такому морозу. Последний раз она наезжала в тулупе, в пимах, в меховой шапке. Кожа на лбу и на скулах была обморожена, почернела совсем, покоробилась, и дома она мазала лицо кротовым жиром.

Дома Максим сегодня один: бабка Варвара утром ещё ушла к Анфиму, а мать на свинарнике, ей хлопотно.

В морозный, туманный день пришла в гости Манефа. Как взрослая, шаль с головы сняла, положила себе на колени.

— Ох, и долгая эта зима, скучная, — сказала Манефа, обводя избу глазами. — В школу не ходим, а в школе бы весело было... Ты сколько классов прошёл?

— Нисколько... Папка только собирался в Сосновку поехать... — Максим подковырнул ножиком картошку, которую он нарезал ломтиками и налепил на плиту.

— Хм, а мы с сестрой по четыре группы прошли, в Сосновке жили у дедушки, маминого отца. Теперь нам в Большие Подъельники надо, там семилетка, а отец нас туда не пустил, далеко потому что, и жить негде.

Максим собрал горячие испечённые ломтики картошки, но есть не стал: положил кучкой на край плиты, где не так горячо было.

— Ты пошто такой букушка? Молчишь, молчишь... Дай картошки печёной попробовать.

— А ты будешь? — Максим удивился даже: дома у них шаньги творожные лопают, а на картошку, поди, и смотреть не хотят.

— Я люблю картошку на плите ломоточками жаренную. Но от неё чад, дома ругаются.

---

Мальчик положил перед ней пригоршню поджаристых ломтиков, Манефа дула на них — студила.

— Вкусно-вкусно!.. Хочешь, я буду приходить к тебе часто, книжки с собой приносить? Будем читать, я научу тебя буквам. Хочешь?

У Манефы была розовая шейка, красивая, гладкая — таких Максим ни у кого не видал. И глаза тёмные, с мороза искристые, яркие. Ему стало с ней и просто, и радостно, как не было никогда и ни с кем, даже с Пантиской, а уж они-то были друзья с ним!

— И у нас были книжки, у папки, — заволновался мальчик. — «Робинзон», «Сказки дядюшки Римуса». А после мамка отдала их остякам самокрутки вертеть. — Он рассмеялся. — В книгах бумага лощёная, остяки её мнут в ладошках.

— Я бы книжки не стала рвать ни за что, — замотала головой Манефа.

— Мамка за рыбу... сменяла, — проговорил Максим.

— Ладно, я к тебе приходить буду. Калиска у нас ленивая, книжек не любит читать. Всё дулась бы вечерами в лото... Калиска и в школе училась плохо, второгодницей в каждом классе была. Большуха, а бестолковая.

Девочка перекинула со спины косу на грудь, склонила голову и переплела узкую жёлтую ленточку.

«Мать малюхонькая, отец лысый, гундосый, а дочь красивенькая. Отчего это так?.. Спрошу об Иван Засипатыче».

— Иван Засипатыч у вас какой?

— Сам видел, — удивилась Манефа вопросу Максима. — Мужик как мужик...

«Не поняла».

Максим раскрыл дверцу печки, чтобы бросить картофельные кожурки.

— Ой, какой ты в пламени рыжий-рыжий, совсем как огонь в печке! — залилась смехом Манефа.

«Ещё обзывается... Дал бы по маковке, знала бы...» Но злости, той, что заставляла его бросаться на мальчишек-обидчиков, в нём сейчас не было. Картофельные кожурки потрескивали на раскалённых углях, мальчик захлопнул дверцу и сунул в рот обожжённый палец.

— Прикипел? — всё продолжала смеяться Манефа. — Максим, ты гнёздышки зоришь?

— Зорю...

— И сорочьи?

— И сорочьи...

И тут озорная девчонка совсем подавилась смехом.

---

— Оттого ты и конопатый такой! Как... как сорочье яичко!  
После такого Максим, однако, и не сдержался бы, но вошла мать, разулыбалась с порога, проговорила, как умела она говорить, ласково, нараспев:

— А, гостьюшка, невестушка. Хорошо, что пришла, голубонька.

И эти слова Арины развеселили Манефу:

— Мал ещё женишок у вас, тётенька, пускай подрастёт.

И долго бился в ушах Максима её горячий смех, хотя дверь за Манефой давно захлопнулась.

Напоследок она сказала, что прибежит в другой раз с книжками.

## 21

Шло время к весне. По проторенным, накатанным до блеска дорогам спозаранку уходили в луга подводы: торопились загодя вывезти сено, успеть до проталин, пока лёд на реке, пока снег держит, наст крепок.

На лесоточки сено везли возами на лошадях, а пыжинские своё вытягивали маленькими копёшками-возовушками на быках-двухлетках, на коровёнках, и только один Иван Засипатыч Пылосов возил на двух лошадях. Гоняли их с восхода и до заката то сам Пылосов, то Арина. Арина одна поедет — накладёт воза, что тебе мужик: ровные, плотные, пласт к пласту, навильник к навильнику. Обчешет бока, обдергаёт, чтобы нигде не терять ни клочка, ни сенинки. И силы хватало, ловкости воз придавить сверху тяжёлым берёзовым бастриком.

Ветры повеяли тёплые: барабанили дятлы утрами, отряхнули на кладбище кедры снежные комья с сучьев и больше ещё завалили кресты и могилы. В кедрачах, ельниках и по сограм снег держался всегда дольше обычного, зато на полянах и в старых березниках, где стволы у берёз потрескались, почернели от времени, быстро сглаживало сумёты ветрами и солнцем. Припечёт хорошо днём, а к вечеру поглядишь — во круг старухи берёзы проталина с рыжей травой, примятым листом, вода-снеговик темно поблёскивает. Ночью её прихватит стёклышком льда, а в полдень солнце опять расплавит ледок и больше ещё раздвинет проталину.

Максима второй уже раз в эту весну взбучивает лихорадка: обметало нос, губы, язык пожелтел от горького акрихина,

---

бросает то в жар, то в озноб. А валяться на жёстком топчане или на жаркой печке не хочется: весна зовёт, манит к себе голубыми глазами. Даже в окошко видно, как солнце из капли в каплю переливается, как с сосульки на сосульку перепрыгивает — зайчиком, зайчиком.

Тихо, солнечно нынче в избе, без усталости тикают бабки-Варварины ходики, и кошка на циферблате косо водит глазами. Смотреть на неё надоело.

А окна ещё не все оттаяли: с северной стороны — во льду, на подоконниках там вода, каждый день помаленьку скатывается она со стёкол, и, чтобы не убежала на пол, а с пола в подполье, к подоконникам привязали бутылки: в них вода стекает по тряпкам.

Вешние ветры несут тепло, будят тайгу, выгоняют из нор больших зверей и малых зверушек, взламывают льдины-замки по рекам — всё оживает, стряхивает с себя и сон, и тяжесть зимы. И людские заботы старые навсегда уносит весна. И люди рады: знают, чувствуют они, что новые заботы будут не легче старых — и всё же весна милее душе, дороже. Что было — видели, пережили, что будет — увидят, переживут.

Анфим перетаскал самоловы на крышу, снял с чердака пропылённые сети — невода, частушки, резовки. Достал фитили, морды — плетушки из тальниковых прутьев. Раскидав на изгородь невод, Анфим послал старших ребят растянуть сети на вешала, починить их путём, подвязать поплавки да кибася — грузила. Не ведая сам, для чего, вынес он из сеней весло, короткое, в одну лопасть, и долго стоял с ним у изгороди, оперев весло, как костыль, под мышку.

В лицо ему дуло с широких обских просторов оттаявшим ветром, он сладко прищуривался, ноздри его, густо забитые волосом, раздувались и опадали: он чувствовал и водянистый запах источенных синих льдов, и тонкую горечь осинника на островах, и сладковатую затхлость трухлявых талин, где в дуплах будут гнездиться нырковые утки, и запашистость ила, изрытого кротовыми норами. «Чисто собака», — подумал Анфим о себе и сильно приплюснул свой нос ладонью.

Представил себе, как скоро потащится он с сыновьями волоком на озерья, сети поставит, и на высокой гриве будет ждать до утра. Костёр их окурит дымом, обласкает теплом. И, может, с окраины белого неба выкатится на них огненным валом пал, пущенный вот такими же, как они, рыбаками. Огонь будет пожирать не выкошенную с прошлого года траву, пока не выплеснулась обская вода и не залила землю во все стороны.

---

Анфим прислонил весло к углу своей «юрты», нащупал в кармане кисет и стал набивать трубку, просыпая табак.

— Якорь его, — проговорил он в приятной задумчивости слова, которые ходили по всей мыльжинской родове, как привычная поговорка. — Шуга днями пойдёт, весна нос чикочит.. Табак мимо трубки сыпал, слепой от солнышка стал!

Во всех дворах ребятишки скребли, чесали коровьи бочка — собирали линючую шерсть, катали её с водой и мылом, делали мячики. Мячиками из шерсти играли ребята поменьше, а повзрослее вырезали себе мячи из мягких, упругих берёзовых губок, пропитывали их дёгтем. Мячи выходили тяжёлые: таким крепко осалишь — сразу синяк, а то и фонарь под глазом. Но в азарте игры не сводили счёты.

Лапту выходили гонять на луга, на чистые гривы: на огородах играть не давали, чтобы землю зря не утаптывали. Заступом поднимать и так намаешься, с неуютанной.

Но сколько ни бегай, как ни заигрывайся, а работа найдёт: не у себя дома, так на чужом дворе. Турнул Анфим своих большаков дрова пилить, они прихватили с собой Максима — верхом на бревне сидеть, чтобы оно на козлах не дрыгало.

Анфимовым большакам лет по пятнадцать-шестнадцать. Первым родился Лёвка. Родился он семимесячный: мать упала с полными вёдрами, не доносила. Потом Анна чуть ли не сразу понесла Порфилку. Этот родился нормальным, как и положено тому быть.

Внешне братья мало чем различались: плосколицые, крепкие, с глазами враскосину. А характеры были у них непохожие. Порфилка и ходил, и работал с ленцой, был копуша, ворчун, легко обижался, но любил задирать других — поменьше себя, послабее. А когда до него добирался отец и задавал трёпку, долго хныкал, отквасив губы. Лёвка же был по натуре добряк, просмешник, гораздый на выдумки, и ругаться умел похлётче тётки Катерины.

Сейчас Лёвка с Порфилкой допиливали последний рез. Максим спрыгнул с козел: начало зажимать. Толстые чурки скатились на землю, братья отпрянули, оберегая ноги. Пила ещё гудела в руках Порфилки, он прислонил её к брёвнам, металлический гул замер.

— Покурим. — Порфилка вынул щепоть махорки. — Кончается табак.

Лёвка достал свой кисет и тоже сказал:

— Ошмётки, труха. Третиводни тятка все корни на чердаке собрал, а у Пылосова после вчерашнего осьмушки не выпросишь.



---

Вчера Иван Засипатыч отколошматил Лёвку.

А было так. Анфимовы большаки и пылосовские девчонки носились по сеновалу: играли в прятки. И леший Лёвка где-то поймал Калиску, начал валять её по сенному зароду, барахтаться. Калиска визжала, бросала Лёвке в лицо клочки зелёного сена, взбрыкивала ногами — подол её платья задрался выше колен.

Пылосов, выйдя на визг, как раз и увидел это. Он гаркнул — слетели с соседних крыш воробьи, а Лёвка с Калиской скатились по сену прямо к его большущим бахилам.

— Ах ты, паскудница! Уже подолы тебе задирают?

От удара отцовского кулака бедняга Калиска упала, завывала от боли, а больше, наверно, от страха.

— А тебе оторву... и на тын повешу! С этих-то пор женихаться?

Иван Засипатыч раза четыре смазал Лёвке по шее. Лёвка снёс подзатыльники молча и шагом ушёл, не побежал.

Пылосов рассказал обо всём Анфиму, но Анфим рассудил иначе:

— Ужо не маленькие, поди, пускай обнюхиваются.

В остяцких семьях на это смотрели просто: не запрещалось при детях ни разговоров любовных, ни матерков: матери в баню водили с собой мальчишек до тех пор, пока те не начинали понимать стыд и не упрямились сами. И курили ребята рано: начал рыбу ловить, с ружьём по урману бегать, стал приносить добычу — заводи кисет, смоли самокрутки.

Лёвка с Порфилкой выкурили остатки, выплевались, прокашлялись. Взвалили с Максимовой помощью прогонистое бревёшко, сосновое. Только пила дзинькнула, как от бабки-Варвариной избы громкие, с подвываньем, запевки послышались. Лёвка рот приоткрыл, губу оттопырил — слушал.

— Тётка Катя приехала, выпимшая. Перед сплавом им водку дали, — сказал Порфилка.

## 22

Арина тихонько зашла с работы в мыльжинский дом. Анна сидела одна в горнице с малыми ребятами, сидела себе просто так: выдалась у неё минутка свободная. Дома дела все управлены, а корову доить время ещё не пришло.

— Садись, расскажись. Давненько ко мне не навевдалась, — встретила Анна Арину. — Сам-то к сестре направил-

---

ся, водки, что ли, она расстаралась. Большаки дров напилили да где-то носят, леший таскат. С малышней вот одна сумерничая.

Арина с улыбочкой наклонилась, прижала к бёдрам дерюжную юбку, забрызганную помоями, разгладила со вздохом:

— О-янь-ки.

Одним этим вздохом, видно, желала оправдаться перед хозяйкой за то, что замызганная, зачуханная, что обутки в навозе и что пахнет от неё свинарником.

И Анна её поняла.

— Будет тебе общипываться. С моей ордой в избе не намоешься; ты моешь, а следом натаптывают.

На полу, против русской печи, почти голышом, возились четыре младших Анфимовых сына: перепачканные, они выуживали из чугуна парёнки — томлённую в печке брюкву, морковку, набивали жадные рты, чавкали, как поросята.

— От чушек к себе и не забегала, ли чо ли? — спросила Анна.

— Да к тебе вот прямёхонько... Иду по улице, слышу: бала-лайка у нас трянькает, Катерина приехала, частушки поёт. — Арина опустила глаза. — Ведь она на меня серчает, Катерина... Гадала я ей, ворожила...

Анна усадила Арину за стол, подала простокваши кружку. Голопупые ребятишки оторвались от чугуна, уставились на чужую тётку, пока та пила простоквашу.

— Спасибочко, милая. Пошли Бог радости твоим деткам.

— Так ужо посылат, — рассмеялась Анна. — Большак-то мой девок щупат! Пылосов и нашшелкал ему: под горячий кулак подвернулся.

— Слыхала я... А сколько же лет-то Калиске?

— Ровня, поди-ка, Лёвке — шишнадцатый. Девки рано невестятся. По себе небось знам! — Анна скраснела и опять рассмеялась.

— Меня ты в счёт не бери: я поздно замуж-то вышла, на тридцатом году.

— А то, чо ли, всё в девках ходила?

— Об этом не сказывают — в тряпку помалкивают, — уклонилась смущённо Арина.

— А я чуть поболе Калиски была, когда меня выдали. Мать без отца тоже мыкалась, четверо было нас у неё. И все крошечки, хоть бы на смех парнишка один. Я старшенькая. Пришли, посватали, мать была рада-радёшенька.

— Ну и в добрый час.

---

В разговоре Арина мягкая. Слово сказать — подумает, согреет его в душе, как в ладонях, а после уж выпустит: чтобы и слух ласкало, и чувство в нём было. С каждым-то человеком она осторожная, обходительная, и больше всего боится немилость вызвать к себе.

А вот Анна и ходит прямее, и говорит твёрже: такими словами, какие на ум придут. И покрикивает, и матом пустит, и судит и рядит как хочет: о Пылосовете, о Стюрке, бабе его, вот о девке-молодке Калиске. Будь там хоть кто — она своё слово скажет. И всё потому, что силу за собой чувствует, поддержку мужнину. Арина же ни при ком никого осуждать не бралась... Судить-то она судила в душе, да вслух не высказывала. Другое дело — чужую душу послушать, и Арина подогревала Анну:

— Хороший тебе человек достался — Анфим.

— Какие сами, таки и сани. Так говорится, ли чо ли?

И Анна принимается раскладывать всю свою жизнь по полкам, приступочкам, и Арина всем своим нутром чувствует, что и перед ней баба тоже забитая, не лучше её, грешной.

Вытолкнула мать Анну девчонкой на порог чужого, остяцкого дома, как босиком на мороз выгнала. Со свадьбой же сразу беда свалилась.

— Одну всего ночь я с ним проспала, с некалеченым. — И водянистые, выпуклые глаза Анны обволоклись туманом.

Отец у Анфима и так был свирепый, а пьяный совсем впадал в буйство неистовое. Как с ним бедная бабка Варвара жила — трудно понять. И бивал он её, и за косу к железной кровати привязывал, и в амбар запирали с крысами, и что только с ней не делал — всё из-за ревности. Варвара в молодости была красавица, по ней и сейчас это видно. Одному остяку Анфимов отец всю щёку дробью порвал. Может, за Варварой какие грехи и водились, но когда Анна вошла в их дом, Варвара была смиренная, тихая, как теперь. Тогда, на свадьбе, старик перепил, сел лошадыми править. Кони были кормленные, сильные. Погнал он их сперва по сорам, лугам, потом на лесную дорогу свернул. Несут кони, Анфим кричит: «Тише, тятка, невеста совсем забоялась, дрожит!». А пьяному свёкру всё нипочем: гонит коней. Дорога лесная, извилистая, на раскатах сани заносит, об стволы бьёт.

— Занесло нас на пень смолёвый: меня-то в сугроб закинуло, а свёкор череп себе раскроил. Тут же и кончился. Анфим под полоз ногой угодил, и грудь ему сильно помяло... Нога кривой срослась. Не зря моя мать, покойница, сказывала: на веку, как на долгом волоку, разное пережить придётся...

Анна с горьким вздохом усмехнулась.

---

Жизнь у Арины складывалась куда счастливее. Замуж она не гналась, не спешила, ждала человека надёжного. Ненадёжные попадались, да она сторонилась их. И пришёл человек, полюбил: умный, ласковый, образованный. Была у него работа хорошая — по лесничеству.

В то время Арина хлеб выпекала на Кандин-Боре.

— Ноздреватый хлебушко, пышненький: ты его кулаком к столу, а он кверху. Таким бы хлебушком хоть разочек сейчас людей покормить. Как бы они зарадели, сердешные!

Сыпались на Арину милости, благодарности. И довольна она была, что радость людям приносит. Относились к ней хорошо, а кто и хотел обидеть — Арина сама за себя постоять умела. Это сейчас её горе да нужда в тенётный угол забили. А тогда — одной-то, бездетной, румяной да молодой — что было не жить?

Поженились они с Егором Сараевым, люб он ей был, мил: и тем, что работа была у него по лесничеству — чистая, и тем, что не пил, не курил, с умом хозяйство начал налаживать. А не нравилось в нём ей одно: простоват был мужик, в жалости к человеку последнюю рубаху мог отдать.

— Простота хуже воровства, — согласилась Анна и широко зевнула. — О господи. Один рот и тот дерёт.

— Хорошего мало... Многих людей он у себя привечал, каждому находил утешение. А после они же оговорили его... Забрали безвинно-напрасно, и год от него ни слуху. Вернулся худущий, в чирьях, и кашель его по ночам бил... Тут бы его подкормить, а дни тугие пошли. Как взяли Егоршу, меня сразу с пекарни убрали. Господи! Боялись, что я отраву в квашню могу подмешать, людей по злобе отравить. А у меня к людям, кроме добра, никогда ничего не было... Уезжать надумали, а собирать было нечего: что завели с ним, я за год прожила. Хотели попервости на Алтай перебраться, да вот сюда угодили... И тут он конец свой нашёл.

— Ничо, Арина, ты баба жилистая, осилишь горе, перебедаешь.

Анна поднялась с лавки, с хрустом переломила пальцы, одёрнула под мышками прильнувшую к телу кофту.

— Управляться пойду. Куда же мой большак-то запропастился?

Лёгкий на помине, Лёвка влетел в избу:

— Слышь-те — Пыловос разорвется?

Бабы прислушались, с тревогой лова какие-то крики с улицы.

— Ты ли, чо ли, опять? — Анна кинулась к двери.

---

— Да ну! — отскочил в сторону Лёвка. — Вон тётки Ари-нин Максим да наш Пантиска будто набедокурили.

— Боже ты мой, — простонала Арина и встряхнулась, как курица, которую окатили водой. — Чтоб тебя переко-сорило, будь ты неладен, дрянной парнишонка! Что хоть стряслось-то, Лёвушка?

— Пылосов там базлает: дескать, муку воровали. Давно, дескать, мы у него муку таскаем, а он всё поймать не мог. Таку беду разорался Иван Засипатыч!

— Чо ж это деется? — почти в один голос выкрикнули изумлённые бабы.

И кинулись вон из избы.

## 23

В тот вечер Максим и Пантиска гоняли бурундуков за по-скотиной, обошли кедрачи за кладбищем и, вернувшись в по-сёлок, шарились по помойкам, отыскивая цветные стёклыш-ки, флакончики и гребешки с выломанными зубьями.

Максим случайно нашёл колёсико от часов. Пантиска взял посмотреть и бросил его понарошку, чтобы попугать Макси-ма. Колёсико подскочило и закатилось под склад, где храни-лись орсовские продукты.

— Лезь! — толкнул Пантиску Максим.

Орсовский склад стоял на низеньких сваях, сваи от вре-мени ушли в землю, и между землёй и полом было узенькое пространство. Оттуда несло тенётами, плесенью, мучными мешками.

Под склад они полезли вдвоём, упираясь локтями. В зат-хлой серости воздуха на них смотрели разорванные калоши, скособоченные чирки, бахилы без голенищ, горлышко зелё-ной бутылки, забитое пылью, и конфорка от самовара.

— Конфорка дома сгодится, — прошептал Пантиска и вы-бросил её наружу.

А колёсика от часов не было. Елозя животами в пыли, они продвинулись дальше, и оба замерли: перед глазами что-то белело.

— Мука! Гли-ка, насыпано скоко.

Мальчишки перевернулись на спину, задрали головы: в полу, между плахами, была большая щель. Максим просунул в щель тоненький палец, поковырял: на рукав фуфайчки потекла белая струйка.

---

— Крысы проели.

Пантиска снял с головы шапку, подставил под белую струйку.

— Не надо, так скажем Пылосову.

Пантиска вывернул шапку, выхлопал.

От муки и от поднятой пыли они расчихались до слёз и забыли про колёсико от часов. Когда выбирались из-под склада наружу, то головами упёрлись в толстые, сморщенные, продегтяренные бахилы Ивана Засипатыча.

— Дядь Вань, там у вас крысы мешки прогрызли с мукой, и муки страсть сколь много на землю просыпалось! — заторопился Максим, глядя в наклонённое, недобро напухшее лицо Пылосова.

— Капканы поставить надо, переловить всех крыс. — Пантиска отряхивался: уши его были в муке.

— Спасибо, стал-быть, за подсказ, за раденье, — с гнусавиной протянул Иван Засипатыч, расшиперивая руки и ноги. — Крысы-то, мужики, какие?

— Обнаковенные... которые с такими хвостами...

— Ага! — набычился Пылосов, перебегая нехорошо блестящими глазами с одного мальчика на другого. — А может, крысы двуногие? Может, так вашу мамку, капканы не надо ставить? — Он выбросил клешни, сграбастал мальчишек, поднял их над землёй, как щенят.

Максим царапался и пинался: второй уже раз поступает с ним так этот гундосый мужик! Ну, за овёс ещё ладно, овёс он всё ж таки брал из конской кормушки, а тут его ловят совсем зазря. И Пантиску. Остяки сроду не брали чужого: они могли попросить, могли поделиться своим, но украсть не могли. Это было законом у них. Максим задышался от лютой обиды за себя, а больше ещё — за Пантиску. Максим совсем было выпутался из хваткой лапы, ударил больно пинком Пылосова под коленку, Пылосов ахнул слегка, прихромнул и стукнул мальчишек со злости лбами. Они заорали рёвом от боли. Этот рёв и услышал Лёвка.

Сбежались первыми матери, потом прихромал подвыпивший Анфим. Пьяная в дым тётка Катерина, икая, вплоть подошла к Пылосову.

— Пусти ребятишек, ты им не тятка. Своих дери.

И к этим словам Катерина прибавила такое ругательство, что Пылосов головой закрутил, заозирался.

— Мало я встречу вам шёл? — заговорил он чуть ли не жалобно. — Рыбка ещё не поймана, рыбка ещё в воде, а я вам авансом и мучку, и сахар давал. А вы мне — в карман наклали.

---

Иван Засипатыч сдёрнул с головы Пантиски шапку: чёрные волосы остячонка были в муке.

— Где брал, сволота? — закусил губы Анфим и сказал ещё что-то по-своему.

— Под амбаром просыпалась... крысы...

Анфим дышал, свирепея, зрачки его почти сошлись в одной точке у сплюснутой переносицы, и он страшно, наотмашь, ударил по лицу сына.

— Сопатку расквашу!

Стала бить своего, ругаясь и плача, Арина.

— Анфим! Арина! Чисто сбесились, тьфу! — закричала прибежавшая позже других бабка Варвара и кинулась к Пылосову. — Невинных детей виноватишь? С крысами вместе сам ты муку таскаешь!

Загалдели, не разобрать что, обступили завкустом Пылосова. Одна Арина в стороне плакала, отвернувшись от всех и прижимая к животу голову воющего Максима.

Иван Засипатыч поднял рассерженную руку.

— Мне вас, хайластых, где же перекричать! За своё добро простил бы, за советское — не имею права. Я тут не в бабки играть поставлен, я тут лицо государственное. Пускай вами следователь займётся: ему это дело сподручнее.

Он мыкнул что-то себе под нос, подошёл к растрёпанной Арине.

— Уж от кого-кого, а от тебя, Сараева... Другому кому отказывал, тебе же всегда радел.

— Не верь ты, мамка, — захлёбывался Максим. — Он врёт, всё врёт!

— Сынок, я-то знаю и тебе верю, нам-то поверит кто?

## 24

Истолкла Арина картошку в чугушке, облизала толкушку и подумала: хорошо бы в толчёнку молочка плеснуть. А бабка Варвара ей:

— Отлей из кринки да забели.

Бабка Варвара не перестаёт ругать Пылосова.

— Опохабил людей, омманщик. Тестю своему, Гаврилке Гонову, полкуля оттартал в Сосновку. Али не знам? Всё знам... Мальцов виноватит. А у нас искать начини — мучной пылинки не сыщешь. Живём-то, господи, день до вечера, в нужде коротам. Верно сказывают: кто бедно живёт, тому клин да яма.



---

— Много горя ещё от этой войны проклятущей перегорюем, — утёрла глаза Арина. — Только дети невинной душой за что страдают?.. Сами-то мы — картошка была бы досыта да тело прикрыто... Детям другой участи хочется.

— Што там — живут твои ребятишки, как два уголька: захочет — дождем зальёт, захочет — ветром задует.

Замерло сердце Арины: «Неруси вот, остяки, а душа-то какая, душа!».

Максим забормотал, всхлипнул.

— Со сна блажит, — отозвалась Варвара.

— Била вчера, а сегодня жалко... И Пантиску Анфим вон как дубасил. А за что? Ведь не за что.

— А со стыда... Хошь бы кто раз сказал: остяки воры. В нашем народе это не водится. На чужое позаришься — своего не найдёшь. Так говорят старики, якорь его.

Чуть развиднялось — села Варвара к окошку сети вязать. Намотала на иглицу белых ниток и больше не отрывалась от дела; разве достать табакерку да понюхать табаку.

Арина растолкала Максима, наказала, чтобы смотрел за Егоркой, накормил его, и весь день сегодня на улицу не показывался.

Арина в свинарник — Пылосов следом, завалился к ней в кипятильник. Она там жмыхи парила, большим ковшом разливала жмыхи по деревянным ведёркам. На вошедшего Пылосова старалась и не глядеть, будто и нету его... Эх, не встречать бы этого человека, не видеть, пока не уляжется боль, не отхлынет обида.

А Иван Засипатыч что-то ей доброе говорил, сердечное. И вот уже злости нет у неё — готова душа простить, обиды не помнить. Эх, Арина! Будто собака бездомная: кто ни пожалует, к тому и ластится.

— Привёз из пекарни смёток, крошенных сушек куль. В сельпе свиньям на корм оприходовали. Ты отбери, какие получше, сушки-то... Не сердчай на меня, Арина, прости, если што...

Постоял завкустом, помолчал. И она молчала, добрея лицом, оттаивая душой, и всё разливала пареный жмых по деревянным вёдрам.

— Скоро в тайгу с хозяйством, на пастбище. Стадо большое, летом здесь будет тесно ему. Много голов, да сколько ещё приплода возьмём...

— Погодить бы чуток с перегоном, — заговорила Арина, охорашиваясь: руки о тряпку вытерла, волосы под платок затолкала. — Далеко гнать — супоросные матки средь дороги растрясутся. Погодить бы с полмесячишка.

---

— Можем раньше, можем и позже — всё в нашей власти, — отвечал ей Пылосов, довольный, что она к старому разговору не повернула.

— На Усть-Ямы погоним, али куда? — спросила Арина и принагнулась к деревянным ведёркам.

— Дальше, Арина. Шестая точка где — вот куда. По речке Пыжинке вверх.

В один небольшой узел смотали шмутьё, барахлишко, остальное всё на себя было наسدёвано: чирки, платье равное на Арине, на Максиме ботинки рабочие, чьи-то обноски; из ботинок торчали онучи. И штанишки на нём, рубашонка были самые плохенькие. Идти по тайге — известное дело, пообдерёшься, последнее спустишь. Поэтому из одежонки худшую выбирали.

Егорку оболekli в девчоночье платьице, голубенькие трусишки: и платьице, и трусишки притащила за пазухой Манефа, сказала, что отец с матерью им посылают. Врала или правду сказывала? От себя девочка подарила Максиму книжку со сказками Пушкина. Арина было хотела вернуть книжку обратно, но Максим со злостью вырвал её из рук матери и запихал в узел. За долгую зиму он выучил с Манефой всю азбуку, и уже сам читал, не по слогам, а быстро. За смышлёность Манефа его хвалила и меньше стала над ним смеяться.

— Последнюю ночь, а завтра, благословясь, в дорогу, — вздохнула Арина, присаживаясь к окну.

— Чо ли, Пылосов поведёт, косолапина? — Бабка Варвара стукнула крепким ногтем по табакерке.

— Он, с лошадушкой...

— Н-ня... — Старуха остячка концом платка прикоснулась к глазам, погладила щёки. — Катерина моя на сплаву чичас, встренишь — привет ей перекажи от меня.

— Уж как же. Привет и поклон — всё передам.

Арина говорила неправду: ей не хотелось встречать Катерину. Та, может, и приветит их, и чаем напоит, и доброй дороги им пожелает, да ведь опять же спросит: нет ли там от её мужика письмеца? Нет, скажет Арина, ничегошеньки, Катеринушка, нет. А другого сказать ей нечего... Лучше не видеться им, не встречаться. Да как не встретишься, если дорога мимо Усть-Ям идёт, а Катерина как раз там брёвна сплавляет, самый разгар.

— Перекажу, Варварушка, коли увижу, — повторяет Арина. — А за добро твоё, ласку Бога буду молить... Жили мы у тебя — горя не знали, к деткам моим ты была отзывчива, куском последним делилась. Смогу ли чем отплатить когда?

---

Варвара сидела безмолвная, в прорези-щелки глаз лезло ей из окна красноватое солнце вечера, и старуха не жмурилась, не отворачивала от солнца лица.

Арина от сильного чувства была готова покатиться в ноги к этой старой остячке и выплакаться. Потому что за всё бескорыстье Варвары, кроме слёз и слов, Арине нечем было её отблагодарить.

Максим, увлечённый предстоящей дорогой, говорил Манефе:

— Пустил бы Анфим с нами на лето Пантиску, вот бы мы там поносились!

— А вы на Шестом совсем одни-одни будете жить? — спросила Манефа кротко, как никогда не спрашивала.

— Прямо, одни! — с удальством отвечал Максим. — Там старик какой-то живёт. Он ставит ловушки на глухарей. Я буду ходить с ним на охоту.

— А медведи? — оробела Манефа.

— Медведи... — Максим задумался и рассмеялся. — Мать говорит, что таких голодранцев, как мы, медведи не тронут: побрезгают.

— Ты книжку читай, а то совсем одичаешь.

И в глазах Манефы засияло прежнее озорство.

В этот вечер появился в Пыжино давно ожидаемый фронтовик, бывший бондарь с сельповской засольной Андрон Шкарин.

## 25

Встретить дядю Андрона довелось не Максиму Сараеву, который думал об этом с самого того дня, как было письмо из госпиталя, а Ивану Засипатычу Пылосоу.

Иван Засипатыч что-то делал за поскотиной и увидел: идёт от кладбища, со стороны Дергачей, мужик. И мужик этот вроде знакомый, вроде и нет. Солнце укрылось, горела заря полным заревом, в воздухе над макушками кедров была ещё розоватость, мягкая теплота, а под самыми кедрами серенько стало, сыро, как всегда перед вечером. Пылосов всё не мог разглядеть путём, кто же такой к ним идёт? Стоял, прислонившись к пряслам, и поджидал. И когда блёккую гимнастёрку заметил, ремень с пряжкой, широкий, солдатский, и галифе, в сапоги вправленные, то откатнулся спиной от прясла и заспешил навстречу.

---

— Здравствуй... Узнал ли, а? Хозяйствую здесь теперь, а раньше в Дергачах жил. — Пылов стоял нараскоряку, нарочно ещё вывёртывая ноги в коленях, расшиперивая ступни, и весь сиял, как лужёный. — С возвращением тебя!

Андрон узнал его: по сельповским делам приходилось прежде встречаться. Узнал и протянул руку, подбрасывая плечом котомку, чтоб не сползла со спины. И они обнялись, как родные: первая встреча в посёлке, ещё бы!

— Вернулся вот... А вы тут как? Все, поди што, на месте? Живы?

Иван Засипатыч ему не успел ответить: их уже увидели Мыльжины. Анна шумнула Анфима — он дома был. А там уж бежала Арина, счастливая, плачущая — в том рваном платье, в котором завтра идти в тайгу собралась.

— Дождались, живёхонек...

Арина закрыла лицо ладонями, задрожала.

Ребятишки пуще взрослых глядели на дядю Андрона во все глаза, на диковинную его одежду, на сапоги, которые были мокры, блестели оттого, что шёл человек лугами, речушки перебродил: Твегус, Малю, Капшар — те, что по дергачёвской дороге на Пыжино. И штаны у дяди Андрона были замочены: набродился, нахлюпался.

Дядя Андрон отыскал глазами Максима, нагнулся:

— Ну, давай поздоровкаемся, Карасик!

И прислонил его сильно к небритой щеке.

— А мы на Шестой уходим, — сказал Максим, чувствуя, как першит и перехватывает у него в горле.

— Ладно, потом ты мне всё расскажешь — честь по чести и по порядку. А теперь в избу пошли: с дороги чай пить полагается.

— И до меня заходи, — покряхтел Пылов, глядя Андрону в переносицу — синюю, вмятую. «Ранен, гляди-ка, в голову». — Заходи когда...

— Наведаюсь, — отвечал Андрон дружелюбно. — Мне сюда месяц отпуску.

— А после куда же? — тронул себя за волосатое ухо Пылов.

— Куда же? — вслед повторила Арина: испугалась, вперёд подалась.

— Дело мне предложили в военкомате, нельзя отказаться, — как-то особенно громко сказал Андрон Шкарин. — Ружболванку готовить начнём в березняках по Чижапке.

— Чо, чо? — наострился Иван Засипатыч.

---

— Говорю: болванки ружейные делать начнём, на ложи к винтовкам которые.

— Ну, ну, — в нос промычал Пылосов. — Поди ж ты, новое производство, стал-быть, открывается...

Арина, будто сама себе, попечаловалась:

— Всю-то жись вот так: нет человеку покою... И когда ему роздых будет, человеку-то?

Что есть в печи — всё на стол мечи. А тут со всех печей, из двух больших изб, набрали на стол еле-еле: рыбу, картошку, постряпушки — мучные лепёшки и жмыховые, пареную брюкву — парёнки. Всё это появилось в Варваринном доме. Заставили стол, загромождали посудой. Ползёт над столом, размазывается по лицам крупянистый картофельный пар — от чугунов, сковородок, чашек. Картошка варёная — сверху жёлтая, с подрумяненными боками: пока варилась — вода выкипела, вот огнём её и обдало, жаром. Такая самая вкусная, на зубах похрустывает. От свежего картофельного духа в голодном брюхе урчит. Не было в войну за столом духа приятнее и знакомее, чем картофельный. И ребятишки от долгого ожидания сейчас поведут носами, будто сто лет не ели, сердешные. Не дождутся, когда взрослые есть начнут. А взрослые не торопятся что-то: всё наговориться никак не могут, про войну слушают.

Дядя Андрон и раньше медлительный был, неторопкий, а теперь и вовсе. Улыбка долгая, с выдержкой, будто хочет этой улыбкой всем, кто собрался здесь, радость вернуть и сам со всеми нарадоваться.

Нагнулся Шкарин, побряхтывая, достал из-под лавки сумчонку — серую, сморщенную; была на вид она — смотреть не на что. А как стал он на стол из неё доставать, вот диво было! Тут и банки с консервами, и хлеба краюха, и колбаса, и сахар пилёный, и фляжка зелёная. Поставил на стол он фляжку, провёл кулаком по губам — улыбку с лица иссохшего снял, и все уж не на него смотрят, а на эту зелёную фляжку.

— Трудно ехал я к вам, голодно. На вокзалах ждать надоело. Не раз порывался: вытащу, думаю, фляжку, да выпью с тоски... Не пил. И дружки находились, приятели... всё едино не пил, вам довести хотелось.

По первой выпили. Мужики на закуску сразу не бросились, лишь водицы чуток прихлебнули: ждали сидели, пока жар от нутра по всему телу разгонит. А бабы как выпили, так стали картошку запихивать в рот, прошлогоднюю капусту, кислую — глаза выворачивало. К консервам, к колбасе едва приотронулись: взяли для пробы, для лакомства.

---

После второго стаканчика и мужики начали есть, навёртывать. Бабы же от рюмки второй отказались, одна Анна к себе придвинула. Сказала, что, жалко, нету тут Катерины, золовушка, а то бы они отчебучили: выпили бы ладом да сплясали.

Арина уже и не ест: захмелела, сидит, спирт ей в лицо кинулся, глаза затуманил. Смотрит она затуманенными глазами то на дядю Андрона, то на Анну, будто бы хочет подбить её, Анну, на какое-то дело, на которое сама не решается. Анна перехватила взгляд её, поняла, прокричала набитым ртом:

— Андронушка! А далась тебе эта Чижапка? Или намыкался мало — ишшо захотелось?

Кашель вырвался вместе с дымом у дяди Андрона, спина согнулась, лицо пятном посинело от переносья до щеки.

Андрон железную ложку в пальцах согнул.

— Я раненый, к строю негодный: бывает, што память тёрю, света не вижу... А воздух лесной, березняки мне на пользу пойдут... И, сколько смогу, буду работу делать.

Он всех оглядел, на каждом лице задержался, а больше других на Арине.

— Комиссар в Каргаске — на протезе... Тоже успел — угостился. Не повернулась душа отказаться... Скрипит этот протез у него, будь он проклят! Под Москвой ногу ему оторвало. А помню его здоровым: в сорок первом он нас провожал, речь перед нами держал, когда мы на пароход садились... После нас, говорит, и он ушёл... Вернулся, на прежний свой пост заступил... Хлопотун: день-ночь в работе. Душа не повернулась против сказать...

— А сказал бы, Андронушка, — жалобно простонала Арина, вешая голову. — Бог бы тебя простил...

— Хотел простить, да ушёл гостить. — Андрон покачал головой. — Ишь вы как, бабы, судите... Я в дереве смыслю, а им мастера нужны. А где они, мастера, теперь? Война всех проглотила. На Чижапку сейчас со всех деревень и посёлков последний мужской народ выскребают. Обещают снабжение хорошее. Сто пятьдесят тыщ ружейных болванок в этом году мы заводам должны переслать — комиссар говорил. Столько же и винтовок прибавится. Ведь такую силищу надобно опрокинуть, такую холеру спихнуть!

Арина все рассуждения Андрона слушала, слушала, потом заморгала, вышла из-за стола, к Егорке нагнулась: он спал, так вроде накрыть получше, со спинки на бок перевернуть. От постели Егорки Арина ушла на улицу, вернулась не скоро. Максим заметил: плакать ходила, чтобы никто не видел.

---

«И чего она плачет? Ведь дядя Андрон сказал, что врага надо бить — винтовки нужны. А какая винтовка или ружьё без ложи?».

Арина опять подсела к столу. Максим рядом, и ему видно, как она ладошками по коленкам водит, глядит со слезой на дядю Андрона, на всех.

— Усох ты, Андрон, а был-то какой, — говорит Арина и тычет в глаза себе пальцем, крутит, будто мошка попала, мешаешь глядеть.

— Говорят, были бы кости, а мясо нарастёт, — грустно смеётся в ответ ей дядя Андрон и ладонью растрёпывает свои поредевшие волосы. — Сиветь стал! Были кудри, стали мочала... Такие любезности вот, Аринушка.

Сидели долго ещё, пока всё не съели, не выпили. Ребятишек спать отослали, а дядя Андрон сказал:

— Мы нынче с Максимом, с Карасиком, будем спать.

Расходились за полночь, вымётывались один за другим. Бабка Варвара осталась посуду со стола убирать, Арина с Андроном вышли гостей проводить. Максим тоже вышмыгнул следом за ними.

Было прохладно, сквозь мглу на небе прорезывались слабые звёзды. Сколотая наполовину луна казалась зеленоватой, как посыпанная табачной пылью.

— К ненастью, — проговорил дядя Андрон.

— К дождю... Может, с грозой будет, нынче с грозой ещё не было.

Голоса их удалялись.

Максим потолкался по двору, позадирал голову на небо. Прохлада весенней ночи погнала в избу, в тепло. Максим залез на полати, ворочался, поджидая дядю Андрона, и уснул, не дождавшись.

Он так и не знал, спал ли с ним дядя Андрон...

Когда мать подняла Максима, дядя Андрон уже сидел за столом — одетый, обутый. Перед ним дымилась солдатская кружка с чаем, из глубины избы слышался мелкий кашель бабки Варвары, слышалось, как стучит она ногтем по табакерке, с присвистом нюхает и не чихает.

— Максимша, Карасик, поди-ка сюда, — позвал мальчика дядя Андрон и полез за чем-то в карман. — Вчерась позабыл тебе дать подарок. Смотри не теряй.

На ладонь мальчика лёг тёплым грузом складной ножик о двух лезвиях с костяной ручкой.

— Немецкий. Для тебя подобрал, специально... Ножи они хорошо делают, гады.



---

Мать была очень весёлая, светлая вся какая-то: она улыбалась, и голос её был мягкий, как лапки кедра.

— Садись, сынок, ешь: нам скоро в дорогу.

Максим рассматривал ножик, разнимал тугие лезвия.

— Я на Шестом вас проведу, — прихлёбывая горячий чай, причмокивая, сказал дядя Андрон. — Сегодня пошёл бы, да отдохну.

— А мы будем стрелять на Шестом? — приласкался Максим.

— Как же. Возьмем ружьё у Анфима, утей погоняем, как с батюшкой твоим, бывалоче.

Это утро для мальчика было самым счастливым.

## 26

Пыловос приторочил узлы к седлу — весь скарб Сараевых, стал сам садиться, и долго не мог попасть широкой ногой в стремя.

— Ну, Максим, будешь сегодня учиться свиней загонять в крапиву, — сказал Иван Засипатыч без обычной своей строгости.

— Крапива ещё не выросла, — ворчливо ответил ему Максим. — И пошто их туда загонять?

— Это поговорка такая... Арина, ты мне давай мальчика. В седле укачается, спать будет.

— Сама понесу, Иван Засипатыч... весу тут в нём.

Арина перекинулась взглядом с дядей Андроном.

— Ну, счастливенько вам, — сказал бондарь и подал Максиму дрын.

Пасмурный день без дождя, печальное небо, присмирившие кусты и деревья — отсыревшая теплынь последних чисел мая. И в этой тихой, примолкшей теплыни храп и чавканье копыт лошади, до тошноты неприятный визг подсвинков, когда подстёгиваешь отставших. А не подстёгивать — лезут куда попало, суются в кусты: не хочется им бежать по тропе друг за дружкой. Уросливо визжат поросята, тычутся в отвисшие животы матерей, по уши грязные. А были белые с розоватостью, чистые.

Штаны на Максиме уже висят клочками, исцарапаны руки, коленки: то ныряет под куст, то лезет через коряги, а свиньи не слушаются, будто смеются над ним. У него уже злость против них, с этой злостью он бьёт их по спинам. Они поджима-

---

ют зады, щетинят жирные, шелушащиеся загривки и тоже злобно всхрапывают, оскаливая клыки, брызгая пеной.

— Заворачивай, эй!

— Пёстро́го, пёстро́го! Чего выкомаривает, паршивец!

— За болотом уже! Ох и скотинушка.

Визг свиней и покрики Пылосова, сорванный голос матери кидают мальчишку из стороны в сторону, дёргают, злят такой отчаянной злостью, какой Максим не испытывал никогда... Забылся радостный вечер, напутствия дяди Андрона. Об этом сейчас просто некогда думать. Когда тут и о чём думать, если мелькают эти зады со скрюченными хвостами, хлещут вдогонку бранные крики Пылосова и в скосопяченных ботинках чавкает грязь.

Тропа идёт вдоль берега Пыжинки, а то бросается от реки в сторону, плетётся болотом, грязью и сухими местами, где чистый лес, сосновый, берёзовый, кедёрки встречаются, под ними мхи золотятся рыжие. Проступает трава, и пучками торчат широкие листья калбы — черемши.

Тропа совсем выбилась к берегу, на открытое ровное место, и Максим почувствовал облегчение. Река была сплошь забита брёвнами: плавил лес моём, тот самый лес, который сваливала, корежила зимой Катерина. Пока не было видно людей, но скоро показались и они — с баграми, в больших броднях. Сплавщики отпихивали, толкали от берега брёвна, разбивали заторы. Брёвна медленно, повинувшись неторопливому нраву реки, ползли, тёрлись друг о друга шершавыми, мокрыми боками. И нигде не проглядывала вода — лес и лес сплошняком.

— Добра сколько, — охнул Иван Засипатыч, натянув поводья, приостанавливая коня. — И всё война сожрёт, не подавится.

Сплавщики были на той стороне, далековато; Максим различил несколько женщин и подумал, что одна из них Катерина. «Сказать бы вот ей, что вернулся дядя Андрон, но про Костю Щепёткина ничего не слышать».

— Бараки видно, вон, на песках. Усть-Ямы. Передых будет.

Пылосов приподнялся на стременах, вытянул круглую шею.

В бараках не было никого, кроме толстой щекастой поварихи, глуповатой на вид, чернобровой. Руки у неё были тоже мясистые, как вся она, голые, нащипанные до синяков. Она с грохотом передвигала на раскалённой плите большие котлы, обжигалась, вскрикивала и совала пальцы в толстые красные губы.

---

— Видная ты бабень, — щурко прошёлся по ней глазами Иван Засипатыч, стряхивая с себя фуфайку. — Экие телеса нарастила! Слышал я давно про тебя, а видеть не видел... Это твой мужик тут йодом травился?

Она замотала в ответ головой — здоровой, как крепкий кочан капусты.

— С ума сходил, нечего делать.

— Такая небось доведёт! — подмигнул Пылосов.

Раскатистый смех заставил задрезать окна. Толстая повариха смеялась долго, Максим не мог понять, чему она так смеётся, но ему казалось, что смех у неё вырывается изо рта, из ушей, из глаз.

«Это та самая, про которую тётка Катерина зимой рассказывала».

Повариха дала им кипятку чайник, Иван Засипатыч достал сахарок, по кусочку, мягкий пшеничный хлеб, окуней вяленых, разложил всё это под навесом на улице. От Ивана Засипатыча пахло потом и дёгтем, как от старой соломенной стельки. Дёготь у Пылосова тоже водился, и он обильно просмаливал им обувь так, что дёготь стекал на заплот, когда он вывешивал чирки и бахилы подсушиться. Мазал, бывало, дегтярил и приговаривал: «Деколончиком подсмолить, чтоб комар не кусал». У пыжинцев это всегда вызывало зависть: так обильно дегтярить обувь они не могли, дёгтя у них было немного.

Есть стали. Мать вынула хлеб, чёрствый, от дяди Андрона, солдатский, картошки варёной, бутылицу молока. Иван Засипатыч протянул Максиму за хвост горбатого окуня.

— Да л-ладно, — отворотился мальчик: не желал принимать пылосовской еды.

— Наладил, так сыграй... Лови!

Максим вынужден был ловить окуня, который летел ему прямо в лицо, уколол об него палец.

— Кусается? — усмехнулся Пылосов, снял кепку, сунул её между колен, усталился лысиной в небо. — Ешь позубастей, Максим, крепче летать будешь: болотом пойдём.

— А топко будет? — спросил мальчик.

— Самый раз по уши...

Со ступенек барачного крылечка прыгнула повариха и, вся сотрясаясь, впритрусочку побежала к висевшему на углу лемеху: солнце «в обеде стояло». Лемех три раза ухнул тяжёлым гулом, перешёл в звон и замер во влажноватой теплоте воздуха. Потом повариха вернулась в барак, стала в проёме, почти загородив собой вход, и глядела на них маленькими, спрятанными под чёрной гущиной бровей глазами.

---

— Иди чаёвничать с нами, — позвал Пылосов.

Она затрясла головой, раскололась в громовом смехе.

— Конячий смех у тебя, — поморщился Иван Засипатыч, зашнуровывая мешок с едой, и тише добавил: — Не все дома у бабы...

После чая он снова взялся за рыбу — отдирает зубами тоненькие волокна, кости плевал в кулак и бросал их через плечо. Наелся, нахраписто засмеялся, мазнул по Арине загоревшимися глазами: лицо Арины показалось ему сегодня особенно молодым, посвежевшим.

— И ты, видать, вчера не подкачала?

Арина опустила лицо, покраснелась, торопливо стала связывать узел: Максиму показалось, что она не успела поесть. Мальчик волчком уставился в переносицу Пылосову.

— Ишь ты, воззрился, — заворочался Пылосов. — Отдвинься-ка в сторону, тебя не стекольщик делал: мне повариху не видно.

Болотом пошли — Иван Засипатыч с коня слез: топко стало. Упрел Иван Засипатыч, кепку смахнул, на лоб с лысины пот скатывается, водянистыми дорожками застревает в морщинах. Обернётся к нему Максим, оглядит Пылосова всего с головы до ног, уколет своими глазёнками шустрыми, и злая радость мальчишку проймаёт: «Красиво тебе на коне было ехать, теперь по грязи пройди. Распарился, как брюква в печке». Большие уши Пылосова набагрянились. Уши у него изнутри курчавистым волосом заросли — серым, густым. Сейчас Максиму голова его напоминает котёл, в котором всё кипит и парит, а пена, как накипь, выбивается в уши.

Болото поросло чахленькими деревьями, по-нарымскому — каргашатником, сплошь им утыкано, и хоть пропади — не видать ему, болоту, конца-края.

— Приналяг! — как спросонья, закричал вдруг Иван Засипатыч. — На вереть выбрались, по сухому пойдём, с версту ещё...

## 27

Перед ними был сосновый остров среди болота, вереть. Вереть манила чистыми белыми мхами, полянами, твёрдой, хорошо вытоптанной тропинкой, брусничником, уже набирающим цвет.

---

Баракы и небольшой старый домишко стояли на вырубке, на берегу всё той же речки Пыжинки. Около старенького домишка лежала красная корова, а худой, низкого роста бородастый человек не то расчёсывал, не то гладил ей бок.

— Голощاپов — бобыль, но коровёнку свою имеет. — Пылосов кепку напялил на лысину, подвёл коня ближе к Арине. — Промысел держит, глухарей, косачей добывает. Лес строевой тут вырубил, точку закрыли, а он остался. Принял я Голощاپова сторожем — вам в подсобление.

— Спасибо, — сказала мать, — а то как начнут пороситься, куды я с ними одна? Замучаюсь.

— Об том и речь... Здравствуй, Зиновий. Не ждал сегодня?

— Ждал не ждал, пришли — входите. — Старик надвинул кепочку с затылка на лоб. — Как не ждать? Утрясь берёзовый пень за человека принял. Дичаю один, словом переброситься не с кем.

— Креститься надо, когда мерещится, — неожиданно для себя самой улыбнулась, пошутила Арина.

— Входите, располагайтесь пока, — сказал Арине Зиновий, встряхивая ладонью бороду.

— Да мы уж сразу — в барак, — проговорила мать. — Что с места на место будем таскаться.

Иван Засипатыч с охотой поддержал:

— Оно и лучше — сразу свой угол обогреть. Три барака. Вон занимай средний.

Загнали свиней, Арина в печке огонь развела. Дым из печи не выбрасывало, и дверцу открыли для освещения. Сухое тепло с дымком, с запахом смолистой гари растекалось по просторному помещению. Старик Зиновий долго сидел с ними, рассказывал, что когда-то он медвежатничал, убил одиннадцать медведей. Вспоминал, как ходил за седьмым: седьмой медведь, по поверью, самый опасный, его надо остерегаться. Убил — ходи, промышляй дальше и потом остерегайся тринадцатого. Но до тринадцатого Зиновий не дошёл, а теперь уж и стар, и слаб: медведей больше не трогает.

Голощاپов ушёл. Максим, пригревшись, подрёмывал: сквозь дрему он слышал с улицы шорох и, оторвав ухо от тощей подушки, понял, что это шебарчит по крыше, сеется мелкий дождь. И вслед за этим в темноте ворчливый голос укнулся по бараку:

— Болото расквасит. Как-то выберусь завтра.

Эти слова отозвались в душе мальчика какой-то непонятной тоской. Вздохнула прерывисто мать, будто спросонья, и

---

в наступившей долгой тишине, под шебарчанье дождя, Максим уснул.

Из сна Максима вернули возня, голоса Пылосова и матери. Он весь подобрался, чувствуя, как сердце простреливает рёбра и отдаётся в ушах. Он лежал через Егорку от матери, на левом боку, спиной к ним, и ему хотелось сейчас повернуться, но робость, ему непонятная, незнакомая, сковала его.

— Арина... Арина...

— Детей побудишь, Иван Засипатыч...

— Да чего ты, как дура!

— Не трожь, ну не трожь. Кофтёнку порвёшь, нечем прикрыться будет.

— Да отпущу я тебе товару, так отпущу, безо всякого. Себе нашьёшь, ребятишкам... Муку воровали — покрыл. Покрыл же!

«Не воровали! Дала бы ему по сопатке, чего с ним ещё разговаривать?» Максим чувствует, как горячеет его щека, положенная на ладонь, как толчки изнутри подмывают вскочить, закричать.

И когда опять завозились в углу и мать застонала: «Отстань! Отстань!» — Максима подбросило с пола.

— Муку мы вашу не брали! Не брали! Дяде Андрону скажу!

— Щ-щенок...

Задышавшийся Пылосов скомкал одёжку, протопал через барак, высадил дверь пинком...

— Ты испугался, сынок? — не сразу проговорила мать.

Максим молчал, едва унимая трясучку, сел на постели, обхватив коленки. А потом лёг, но так и не спал, так и дождался серенького рассвета.

Полосовал дождь, на подоконник и в щели пробивалась вода, стекала на пол и, смешиваясь с извёсткой, с пылью, собиралась в мутную лужицу.

Звякала удилами лошадь, негромко переговаривались о чём-то Иван Засипатыч и дед Зиновий.

В окно было видно Максиму, как Пылосов взнуздывал лошадь, как мотала она головой, не давалась. Иван Засипатыч ударил её кулачищем промеж ушей.

«Зло срывает. Так и надо тебе, бубнила...»

---

---

# Часть вторая

## 1

Анна таяла, подбивала в огороде картошку: поработает, разогнётся, возьмёт с изгороди трёхгранный напильник, да ширк-ширк! ширк-ширк! — по светлому острию таяки. Отвердела земля, как каменная, сбилась в комок, сушит солнышко: упало с весны два дождика только всего. Последний дождик был, когда Арина свиней на Шестой угоняла: тогда июнь подходил, а теперь уж июль мимо шагает. Сушит солнышко, как со зла, печёт, и если дальше так будет, то в огороде загинет всё и травы в сорах не вырастут. Ни хлеба тебе, ни картошки, скотина без корма...

Машет таякой Анна, Анфимова баба, всаживает полукруглое остриё в комковатую землю — пыль выбивает. Сама вся насквозь пропылилась.

За изгородью, за спиной у неё, жердь поскрипывала: будто ногой её кто раскачивал, жердь. «И кто там такой чудачит? Анфим, ли чо ли, с рыбалки вернулся?»

— Эй, грешница, ты чья это будешь? — окликнул её мужичий голос.

Вскинулась, разогнулась, от быстрого разгиба в поясницу кольнуло. Стоит перед ней по ту сторону изгороди чёрный длинноволосый мужичонка, ростом поменьше её Анфима, ногу в бахиле на среднюю жердь задрал и дрыгает. Жердь поскрипывает, мужичонка посмеивается, дальше идти не торопится.

— Каку беду тебе надо? Выпялился, работать мешаешь.

— Ну, как у вас жизнь тут катится?

— Колесом, кубарем. Каждый год то кто утонет, то кто повесится, — издеваясь, сказала Анна.

Человек, похожий на скворца, убрал с узенького лица улыбку.

— А Пылов-то живой? И где его дом?

— Вон его дом, самый большой, — вскинула Анна таяку. — Ходят тут всякие зубоскалы.

Последних слов чёрный мужик, видать, не услышал: он прямёхонько, через бурьян, шагал к пыловскому дому.



---

— Духота да пылица, хоть в этом доме квасу бы дали, — обмахиваясь рукой, сказал человек, переступая порог. — Здорово, Стюра! А где твой Иван свет Засипатыч?

— Господи... Здравствуй, Гаврила. Вот удивил. Садись, проходи...

Стюру по голосу не понять: рада она гостю или нет.

Провела его в комнату, где окна от жары были занавешены чёрными шальями, полушалками, одеялами, посадила на табурет к столу, спустилась в погреб и вернулась с кринкой холодного квасу.

— Не надо, я так, давай. — Он не дал ей переливать квас из кринки в ковш, взял из рук глиняную посуду, приложился и долго пил без передыху.

Пока он пил квас, Стюра ему говорила:

— Сам на Шестом, свиньям жмыхи повёз. Сейчас пособить никого не допросишься: кто огородом занят, а кто рыбалкой. Он и крутится, успевает... Пока жара — через болото только и бегать. Далеко у Ивана хозяйство. Ты бывал на Шестом?

— Где я тут не бывал... в прежние годы. — Гаврила посту- чал по столу пальцем. — Когда же он будет?

— Должен сегодня. К вечеру, может...

Гаврила опять потянулся к кринке, допил остатки.

— Всю дорогу до Дергачей крепился: вода болотная, ржавая.

— Ты теперь-то откуда? — осторожно спросила Стюра.

— С Васюгана-реки, с Чижапки... Дела у меня к Иван Засипатычу.

— У вас с ним всю жизнь дела... раньше-то были, — бес- покойно отозвалась Стюра, глядя в лицо Гавриле. — Щукоть- ко да Пылосов — только и слышно было. Это последние годы что-то разбросило вас в разные стороны... Сколько же мы не виделись?

— С сорокового, с зимы...

— Точно. Когда Ивану чуть ноги не отняли, когда его за- мерзать бросили.

Щукотько убрал со стола руки, помялся, вздохнул.

— Как ходит сейчас Иван Засипатыч?

— Косолапит... Ничего, слава богу, ходит... А у тебя что ж за работа? Знать, тоже мытарная?

— Начальник я, Стюра... По Чижапке березняки корежим, болванку ружейную колем. Для фронта стараемся — трудар- мия.

Щукотько вроде смущался сказанных слов, говорил через силу, пониженным голосом.

---

— Ладно, краса моя, посудачим потом, — поднялся гость с табуретки. — Сморило меня с дороги, лягу, вздремну часок. Иван придёт — ты меня разбуди.

— Я догляжу, чтоб ребятишки к тебе не лезли, не докучали. Ложись.

И она вышла из полутёмной комнаты.

На сорном дворе рылись куры. Через дорогу наискось Анфимова баба в поту и пыли подбивала картошку, взглядывая временами на пылосовский дом. Увидев, что Стюра стоит среди кур во дворе, Анна оторвалась от работы, захлёбисто прокричала:

— Ну, встрела гостя? Кто это к вам приташился?

— Знакомый один, ранишних лет ещё, Ванин далёкий сродственник.

— Выходит, что родня от старого бродня, — повела головой Анна.

Стюра отошла в тень, к завалине, и села там на приступочке.

«И принесла же его нелёгкая! Расстройство одно, как старое вспомнишь, подумаешь. И чего затевать собирается? Зря Щукотько такую даль не пойдёт, важное дело на дядю чужого не бросит...»

Стала Стюра прикидывать, действительно ли Гаврила не видел Ивана Засипатыча с тех самых пор, с сорокового, или всё же после встречался где? И по рассуждениям её выходило, что нет — не видел и не встречался. Иван Засипатыч уж ей бы сказал. А мог не сказать, утаить. Бог его знает.

Эх, крута гора, да забывчива! Издалека зайти — многое вспомнить можно. Только не больно-то хочется старое ворошить...

Она алтайская, Стюра, из Малаховки родом. Землепашествовали, богатыми не были, но хлеб досыта свой ели, своими руками добытый: людей на себя работать не нанимали. Каждый в семье сызмальства работу крестьянскую наперечёт знал. Пахали, сеяли, скот держали. В семье было восемнадцать душ.

Германская началась — отца на фронт потащили. Пока Гаврила Гонохов, Стюрин отец, за царя Николку в окопах мок, в семье его Господь прибрал четверых ребятишек и матушку вместе с ними. В семье старшие дети сами себя обихаживали; тёткам, золовкам, племянникам помогали нужду терпеть. Домашней тканки дерюжные коврики ткали из всяких цветных лоскутьев, пряли куделю — пальцы в кровь суровыми нитками перепрыдали. Зипунов в семье не было — шабуры носили.

---

Зипун из цельной шерсти, а шабур — одна шерстяная нитка, другая портяная. Парни штаны носили холщовые. Почитай, полсела у них так ходило и жило так... Церковь есть — село, церкви нет — деревня. В Малаховке была церковь, Малаховка их селом называлась.

Гаврила Гонохов вернулся с германской раненым, но духом не падал: есть руки, земля, берись да хозяйствуй. Домохозяину ли, крестьянину, от земли, от нужды бегать? И власть Советскую он поддержал, всей душой принял.

Год выпал счастливый: урожай сняли, оправились, скот завели, свинюшек. Стюрку, из дочерей старшую, замуж пора было выдать — выдали, за соседского парня, Купряшина. Первые блины после свадьбы, по обычаю, родители жениха делают. Гостей созывали, на радостях не скупилась. По обычаю же, молодым гости деньги на стол кидали, тоже больно не скупердяйничали.

Жить бы, хлеб сеять, детей рожать — Колчак пошёл. Били, хлестали, девок насильничали, последнее отбирали...

Налетали вершние с саблями — страх! Поздней осенью Гаврила Гонохов, не будь дурак, прирезал скотину, какая была, стаскал на крышу. Припрятал он там с дюжину поросятко-ососков, гусей закормленных и полтуши телятины: телушку тоже зарезал, году не было, уж так ему жалко было. Прискакали колчаковцы, загнали в избу всех гоноховских, караул приставили. А выпустили когда — на крыше уж пусто было. И пожалиться некому: кто взял, тот съел, и у того шашки сбому. А кто донёс, тому тоже, видать, корысть была...

Отец Стюркин ушёл партизанить, год сражался с белогвардейцами и вернулся. А мужика своего, Купряшина, она так и не дождалась...

Года четыре мыкались Гоноховы и завербовались на Жёлтый Яр, на Васюган-реку, на смолокуренно-пихтовый завод. Тут и столкнула их жизнь с Пылосоным и Щукотько.

Пихтовый и смолокуренный промыслы были в диковину Гоноховым. На пихтовое масло рубили лапник, на смолу по старым сосновым вырубкам пни выдирали ломами, вагами. Да не какие попало, а самые чёрные, которые лет по пятнадцать в земле торчали. С работой свыкнулись, пайки давали терпимые. Но получал их сполна не каждый.

На Жёлтом Яру смолокуренными и пихтовыми промыслами ведал Иван Засипатыч Пылосов, а в помощниках у него ходил Гаврила Титыч Щукотько — пробойный, бесстыжий мужик. У него была большая родня: отец, мать, сестра, братья. Жили они где-то по Васюгану ещё дальше, в колхозе. Об-

---

строились, обзавелись хозяйством. Ходили такие слухи, что Щукотьки держали раньше кожевенный завод, были очень богаты. Видно, таких, как Щукотьки, в жёлоб не запишаешь.

Посмотреть на Щукотько, так одна у него забота — вокруг начальника бегать, в уши дуть: этот такой, этот сякой. И Пыловос ему верит. Как же не верить, если ты заодно, если ты хлеб с маслом досыта ешь и юбки суконные бабам на головы задираешь?

Почуяли силу Пыловос и Щукотько, совсем обнаглели. Гаврила Щукотько особенно с полюбовницами роскошничал, а жену с ребятишками впроголодь держал, в куске хлеба отказывал. Жена у него коренной кобылой везла.

Щукотько крепче характером был, увёртливее, чем Пыловос. Шли они в жизни не прямиком — в околесицу. Поэтому друг за дружку им надо было держаться. Пили, ели, в пимах щеголяли — то в чёрных, то в серых, то в чёсанках. А рабочие на смолокуренно-пихтовом онучи мотали.

У Пыловоса жена умерла. Остались девчонки, вот эти две — Калиска с Манефкой.

До этого как-то Иван Засипатыч пристраивался к ней, Стюрке Гоноховой, по мужу Купряшиной, да с первого раза не уломал. После смерти жены он решил взяться за Стюрку ладом.

Гаврила Гонохов посоветовал дочери: «Посватает — выходи».

Стюрка была во всём послушна отцу. Неприметная, тихая, такая же вот, как теперь, душа безответная.

Пыловос стал наезжать прямо в тайгу, где дымились печи, кипела в котлах смола, вытапливалась из мелко накрошенных пней, текла по деревянным желобам красно-чёрной струёй в бочки-приёмники. Чад стоял над тайгой, над полянами, вырубками.

В бараке-теплушке Пыловос в тот день пил чай, ел колбасу, печенье. Пригласили и Стюрку с ним почаёвничать. До обеда ещё время не вышло, но Щукотько мотнул головой: мол, чего ты, иди же, дурёха! Щукотько о чём-то заговорил с Гаврилой Гоноховым, вроде какой-то совет ему стал давать, как глаза вылечить: к Стюркиному отцу невесть откуда пристала трахома. Может, Щукотько и не об этом с ним говорил, может, о ней, о Стюрке, или о чём о другом, только ни он, Щукотько, ни отец в барачке-теплушке не появлялись.

Стюрка, войдя в барак, подбросила в печь поленьев, запахнула стёганку, села к столу с улыбочкой, есть начала. Пыловос ей, она помнит, кажется, так сказал:

---

«Ешь здоровей, не стесняйся».

И она ему вроде так отвечала:

«Мы к пище такой не привышные. Худа бы не было...»

А дальше у них пошли обычные разговоры, которые Стюра тоже все помнит. Сыпал на улице снег, мелкий, крупянистый, и он сказал:

«Занепогодила погода...»

«Заморочало», — отвечала она по-нарымски.

Пылосов к ней полез обниматься, она упротивилась, отвернула лицо. Подумала: «Скажет, что морду от него ворочу». Пускай говорит, она разве что посмеётся: смех бабу выручает, смех всяко можно понять, бабий смех в задор вводит. А Пылосов удивил её тем, что сказал:

«Хорошо — супротивничай. Мужикам это нравится».

Она не нашлась что ответить ему, молчала.

«Ты обо мне плохо думаешь...»

Пылосов уже тогда плешивел, но совсем в лысые ещё не вышел. Поскоблил он пальцем реденькую макушку, собрал кожу на лбу гармошкой, задумался.

«Сидишь, поди-ка, чего-то соображаешь? Ну, скажи».

«Зачем говорить, о чём Бог не велит».

«Ишь ты какая! А ежели я тебе другом стану?»

«Все вы друзья до чёрного дня».

«Ишь ты какая!»

Или ему нравилось это, или он так удивлялся — для всякой пакости.

«Я тебя в жёны возьму», — сказал он и хрюкнул носом.

Она молчала, катала по столу крошечку белого мякиша, слушала, как торопится, убегает куда-то сердце, а в мыслях жизнь пережитая клочками кружилась, как лист на ветру...

Они поладили. Стюрка с отцом перешла к нему в дом, из барака переселилась.

Вот жизнь пошла — не в пример прежней. Сытно, тепло, богато. Муж к ней первое время очень уж ласковый был. А как забеременела она — охладел. Принялись они со Щукотькой за прежнее: шерстили баб, своевольничали, и делишки, какие на руку себе, обделывали.

А недовольство людей копилось, росло.

Перед каким-то праздником уследили Ивана Засипатыча смолокуры, встретили на дороге, когда он ехал из Наунака, большого посёлка, на Жёлтый Яр. Седока по рукам, лошадь за повод. Рот Ивану Засипатычу рукавицей заткнули, из полущубка вытряхнули, пимы-катанки новые сняли. Мороз потрескивал, снежок поскрипывал, лошадь пугливо водила ушами,

---

а темень была — перед глазами руки не видать. Выбрали же смолокуры ночку! Коня повернули в обратную сторону, задрали хвост, скипидару плеснули. И ошалел тут конь! И понёс!

Руки у Пылосова были теперь свободны — он выдернул кляп, заорал. И этим своим сумасшедшим криком ещё тошнее подхлестнул лошадь. Он ухватился за передок кошевы, в лицо ему било снегом, мёрзлыми комьями грязи. Пылосов натянул вожжи, но не в силах был ни повернуть, ни остановить коня.

Тогда он только хотел удержаться. Но на крутом раскате, перед посёлком, где дорога скатывалась в реку, его всё-таки выбросило...

Стюра узнала на другой день от присланного нарочного, что муж её увезён с обмороженными ногами в Каргасок. Нарочный, молодой парнишка, рассказал со страхом, что Иван Засипатыч при сельском фельдшере в буйстве обломал на ногах в кость застывшие пальцы и впал в беспамятство...

Искали тогда, расследовали. Из мужика-смолокура — того, с чьей бабой последнее время Пылосов путался, следовательно чуть душу не выбил, но тот так ничего и не сказал.

Щукотько после всего уволился и уехал выше по Васюгану: стал заниматься каким-то тихим, неслышным делом. Пылосов тоже с поста ушёл по собственному желанию: боялся, что дальше потянется ниточка, потянется да и вытянет срок... Как поправился — в Дергачи перебрался, на самый берег Оби. Нашёл себе дело попроще — сельповский заготовитель. Но проработал недолго: перевели с повышением в Пыжино, завкустом сделали, лесорубов снабжать.

## 2

Солнце катилось к закату, над деревьями и над согрой собирался малоприметный туман. Стюре почудилось, что её зовут. Прислушалась: никого. Тогда она встала с приступочки, отряхнула сзади подол платья и вошла в избу.

Посвистывал носом спящий Щукотько, от печи несло истомлёнными щами, печёным хлебом. Запахи кухни смешивались с духотой угасающего дня.

Вбежала Калиска:

— Приехал батька наш. Измотанный.

Её короткие ноги-бочоночки были в красном загаре, она тишком подошла к рябому от старости зеркалу, висевшему в

---

простенке, подставила близко мордочку, повертела головой вправо, влево и, оглянувшись на мачеху и увидев, что та на неё не смотрит, потрогала груди под платьем.

— Была на реке? — спросила Стюра, прислушиваясь, как муж на дворе выпрягает лошадь.

— Ага.

— А Манефа?

— С книжкой сидит.

— Коров не видали?

— За поскотиной вроде...

— Ступай пригони.

— Сроду я! Пускай Манефка идёт.

— Поговори — отец услышит.

Калиска сквасила губы и вышла в сени.

Стюра слышала, как отец поздоровался с дочерью, бросая в сенях узду. Когда он перешагнул порог, Стюра заметила, как выгорели у него брови, как пропотела спина.

— Домоседничаешь? — Иван Засипатыч прошёл к столу. — Достань-ка попить.

Стюра нарочно замешкалась, не заторопилась, как бывало всегда, когда муж просил подать, принести что-нибудь, и Иван Засипатыч посмотрел на неё с удивлением и вопросительно.

— Выпили квас-то, — сказала она тем голосом, когда у неё появлялось желание немного поскрытничать, поводить мужа за нос. Но в словах Стюры были не только эти загадочность, шутка: было в её словах и другое — тревога, страх, и она хотела, чтобы муж услышал и почувствовал это.

Иван Засипатыч недоумевал пока, медлил, а Стюра прислушивалась: за ситцевой занавеской в большой комнате смолкло тонкое посвистывание, скрипнула кровать, и Стюра подумала: «Встаёт, проснулся, и будить не надо». А на ухо шёпотом сказала мужу:

— Щукотько здесь... О Господи...

Вспотевшее лицо Пылосова странно изменилось, брови мелко задёргались, короткие ресницы колюче встали над округлившимися глазами. Он поднял руку, хотел отстранить жену и встать, но не успел: гость сам вышел на кухню, стискивая ладонями узкое лицо.

— Ну, так я и думал: какой ты был, такой и есть, не усох, не обнизился, только вширь раздался. Здравствуй-ка, мил человек! Здравствуй, Иван Засипатыч!

— Садись, садись, — растерянно улыбался, волнуясь, Пылосов. — Я тоже об тебе думал, считал, что раз ты теперь



---

большой начальник, то пузо у тебя — ног не видишь! А ты всё такой же тощей.

— Откуда ты знаешь, что я начальник? — сиял Щукотько.

— Земля слухом полнится, так, что ли?

«А мне про то, что слышал о Щукотько, ни слова», — подумала Стюра.

— Ай, правда — тощей! Кормёжка плоха?

— Жара сушит, да и чай я навыв по-нарымски пить. А с чаю не растолстеешь, — словоохотничал гость.

Стюра то кидала глаза на него, то уводила в сторону, примечала, что раньше знала за ним, какие повадки, ужимки, а в мыслях всё вертелось: «Неспроста, неспроста». И об этом Щукотько сказал неспроста — о том, что Иван Засипатыч какой был, такой и остался. И раз он такой, на него по-прежнему можно надеяться. — А мы уж не те стали, — устало сказал Иван Засипатыч и потупился.

И Стюре это понравилось, как он сказал, но Щукотько прямо в лицо ему бросил:

— Горбы ещё не набил, вижу.

Ожёг взглядом, будто сквозь посмотрел. И от взгляда его Пыловос ещё больше сник: как худой конь отступил с дороги, давая пройти коню сильному.

Щукотько взгляд притушил, опустил тёмные веки, умаслился, хохотнул Пыловосу в плечо: близко сидел к нему, вплоть.

— Верно, ослаб ты, Иван Засипатыч! Такого, как ты, комар шутя с копылок свалит.

И Пыловос тоже дыхнул на него потом и смехом, но вдруг посерьёзnel: даже складки на лбу собрал. Глядел в колени себе, мусолил губы.

— К важному делу ты, брат, пристроился. Ведь болванка от вас идёт прямо на оружейные заводы. Важно, важно. У больших начальников на виду... А я вот всё больше вожусь со свиньями.

Щукотько с весёлой игривостью рассмеялся:

— Свининка — дело, и тож не шутейное! Я давно говорю: мы с тобой не пальцем струганы... Разговор к тебе есть особый, Иван Засипатыч.

Стюра поняла, что здесь она лишняя.

— Коров подою, тогда и на стол накрою...

От налитой самогонки, которую принёс с собой Щукотько, Стюра не стала отказываться, но пригубила чуть-чуть.

— Слабость: в ноги ударило, не могу. — Она поставила стакан на полку, под занавеску, прикрыла блюдечком. — Нанюхала — пускай стоит, пригодится.

---

— Запасливая, — насмешливо покосился Щукотько, — не дождёт — оставит. С каких это пор?

— Как в Дергачи переехали, так и за ум взялись, — проговорила не без раздражения Стюра и поглядела на мужа.

— Тот год трудно пришлось вам, — сказал Щукотько, опуская маленький костяной кулак на столешницу. — Слышал я. И мне не легко было...

Стюра скрестила руки, локти взяла в ладони.

«Посмотреть на него — мужичонка, а мой бугай перед ним робеет».

Щукотько держал на ладони горячую картошку, подсаливал её крупной солью.

Они пили уже по третьей.

— Фу, чёрт! — Щукотько тряс головой. — Не допьёшь — беда, перепьёшь — другая.

— Андрон-то Шкарин как у тебя? — спросил Иван Засипатыч зевая.

— Будто всю жизнь ружболванку колол, — покривился Щукотько.

— Бондарь. К дереву навык имеет.

— Ценный, сказать, человек, но лучше бы у меня его не было. Иногда он мне вот так! — Щукотько приставил ребро ладони к напрягшемуся горлу.

Ночевать Гаврила Титыч не остался. Он ещё постоял с Иваном Засипатычем на крыльце, и Стюра слышала из кухни, как муж убеждал его в чём-то:

— Раньше осени — нет, не могу раньше осени. Тут уж никак...

Щукотько, видать, возражал, торопил, а потом согласился:

— Ну, по себе гони. За мной дело не станет.

И с этим убрался.

— Зачем он к тебе? Что ему надо? — сдерживая себя, спокойно проговорила Стюра, когда муж вошёл в избу и сел у порога снимать бахилы. — Плохо бы не было...

— Знаю, не учи... Зажимают, холера! Стащи-ка!

Стюра нагнулась, взялась за левый бахил, потянула. Иван Засипатыч упёрся, и бахил съехал. Второй он свободно сбросил с ноги сам.

— Знаю, знаю, ох-хи...

Пылосов пошёл от порога к печке, на ходу разматывая ногами портянки.

---

По речке Чижапке, притоку ленивого чёрного Васюгана, стояло недалеко друг от друга несколько сёл: Вольжа, Калганак, Ерёмино, Селивейкино.

В Селивейкино, в чистых, стройных, обширных березняках, и жили заготовители ружейной болванки — человек шестьдесят. Они установили локомобиль, выстроили бараки. Андрон Шкарин, назначенный бригадиром стругальщиков, помог наладить приспособления: наструг, водила. Берёзовые болванки на них выстругивались, выравнивались — оставалось лишь обмакивать торцы в кипящую смолу и складывать на просушку. Уже высокие штабеля, тысячи штук, лежали клетками под навесами, продуваемые ветрами. Ружболванку ждала Тула, оружейные заводы других городов, ружболванку длиной сто шестьдесят сантиметров — для пехотинской винтовки, сто сорок — для кавалерийской. Штабеля росли, прибывали день ото дня: люди работали и в ненастье, и в вёдро.

А сегодня начиная с обеда штабеля не растут: стал локомобиль. Машинисту потребовалось заменить деталь, а деталь на складе в Ерёмино, и Щукотько, который ведаёт здесь всеми делами, чёрт его побери, уж третий день глаз в Селивейкино не показывает. У него там склады, в Ерёмино, в складах и запчастях, и харч. Ругаются на Гаврилу Титыча в Селивейкино: и машина стоит, и продукты мужики все подмели подчистую. Вчера заболтуху варили, а с заболтухи брюхо пучит и руки отваливаются: берёза — дерево крепкое, к берёзе силушку надо прикладывать.

Где же Щукотько, раздери его пополам? Словно как на мели ружболванщики: голодные, безнадзорные, и деталь, какая к золотнику нужна, им взять без Щукотько негде.

В Дергачи Щукотько подвёз от Каргаска катер-болиндер — дым из трубы кольцами, запах мазута, — подвёз и отправился дальше, по Оби вверх. Обрато уехать Щукотько мог только на пароходе, но к пароходу надо было переправляться от Дергачей на ту сторону, к Подберезникам: там пароход приставал. «Придётся упрашивать дергачёвского бакенщика, — думал Щукотько, идя из Пыжино. — Старик занудистый, ещё не поедет — ветер вон подымается, на Оби вал-плескунец, самый противный... И будет ли пароход к ночи? К ночи бы самый раз: ночью до Каргаска, а там, утречком, чуть свет, на почтовом катере до Чижапки».

Щукотько задерживался, и это его раздражало.

---

По дороге из Пыжино пришлось разуваться, штаны снимать — перебродить речушки Малю, Твегус, Капшар. Жалили комары, пауты наседали со всех сторон. Дёгтем Гаврила Титыч не мазался — провоняешь, потом как в постель к бабе ложиться? Была у него солдатка в Ерёмино — завмагазином Дейка Махотская...

Дёгтем Щукотько не мазался, а больше от гнуса мазаться было нечем.

Пока шёл кустами, березняком, талинником да черёмушником, где всё переплелось, перепуталось, где ветер шумел только над головой, неумоготу было. И ожил, свободно вздохнул, бегом побежал, когда путаница зелёных зарослей осталась у него за спиной, а перед лицом открылись пески с травкой-муравкой, сора, озёра в косматых гривах густой осоки. За сорами, озёрами — лес, там деревня Сосновка, длинная, в одну улицу, крутоярьё и ветряк на пригорке. Слева, сразу от тальника, бросалось раздольё Оби, маячил на той стороне пристанский домик, белые створы были чётко видны, а перед ним, вот уже рядом, на песчано-зелёной поляне, открытой ветрам, стояла кучка домов — Дергачи.

Ветер прогнал комаров. Кружили теперь только редкие пауты: им в силу было преодолеть ветер. Но и пауты скоро отстали. Гаврила Титыч подумал, что ветер и вправду сильный: на Оби плескунец только под берегом, а дальше, к середине, уж белогривые волны ходят. Обеспокоенный, он направился к дому бакенщика, к старику Маковею Зублеву.

Маковей Зублев был бородат, как все кержаки, и, почти как все кержаки, в давние времена жил богато: держал лошадей, много скота и никаким промыслом, кроме рыбалки и скотоводчества, не занимался.

В тридцать втором его раскулачили: дергачёвские, пыжинские, сосновские «бедняки-голодранцы» растянули его хозяйство, растащили на все три стороны — оставили Маковея с телком да с одной коровёшкой.

С тех пор лет немало прошло, а Маковей как сейчас этот день помнит: все лица мужичьи стоят перед ним, и сильнее других, ненавистнее — злая рожа Ивана Щепёткина, пыжинского охотника.

Коммуну начали строить — Щепёткин Иван первый стал глотку на Маковея драть, пальцем показывать. И однажды пришёл с мужиками, Маковею сказал, что хотят они на колени его поставить (это Зублева-то!), землю мёрзлую, занавоженную, заставить зубами грызть. Гнев неистовый накопился на Маковея — кинулся он в сарай, за топор схватился,

---

да замахнутья не дали: повисли мужики гирями по рукам... А Щепёткин меж тем конюшню открыл, двух породистых жеребцов Маковеевых вывел. За конями коровок свели, усадьбу обрезали. Раскулачили, словом.

Маковей отомстить поклялся Щепёткину — больше всего у него на Щепёткина злобы было, но судьба повернула иначе: Ивана Щепёткина летом медведь заломал — насмерть...

«Чёрт за меня счёты свёл!» — изругался тогда Маковей и харкнул себе под ноги. Слова Маковеевы сын Ивана Костя Щепёткин услышал, засольщик, окрысился, налетел с кулаками — больно стало ему, что кержачина отца его, покойника, и после смерти корит. Пьяный был Костя, на ногах плохо стоял, и жилистый Маковей насшивал бы ему под рёбра, да вырос тут между ними бондарь Андрон Шкарин — развёл, растолкал. На том всё и кончилось...

Маковей без жены уж лет пять жил: подрастали у него два ладных, могутных сына, а как подросли, ушли в леспромхоз хлысты вывозить с делян. Старик только и ждал того, когда его парни поженятся, жён молодых в дом приведут.

Сам он теперь заделался бакенщиком и перевозчиком. У бакенщика работа не хлопотная, но требует точности и порядка. А к точности и порядку Маковей с малых лет был приучен. Перевозчика дело куда рисковее: ветер ли там, гроза-молния, плескунец под яром, а пассажира вези — он торопится, ему некогда, и он тебе деньги платит. Мужиков возить было сподручнее, не канительно, а баб Маковей не любил брать. Другая из милости просит, чуть ли не плачет, а повезёшь — начинаются охи да ахи: волны забоялась, за борт обласка хватается.

Не любил Маковей женщин, и вообще с людьми был суров. Злоба таилась в нём сильная, особенно к разным начальникам — «причиндалам»: не мог простить за отобранное добро. Год от года старик становился черствее и сам о себе говорил, что он к людям одной стороной, а они к нему никакой: почти вся округа Маковою плевала в спину, и бакенщик-перевозчик об этом знал. С «рыла» он драл полусотку за перевоз, а то, смотря какой ты «наличности», и семьдесят пять лупил, не стеснялся. «Жалко? Жалкуйся сиди. Может, на брёвнушке поплывёшь: вон их сколько несёт от Нарыма, брёвнушек, каженный год боны возле шпалозавода рвёт».

Старик проводил на фронт двух своих сыновей. Не прошло и трёх месяцев, как ему принесли одну за другой две похоронные. Гибель сыновей чуть не свела его в могилу. Стал он ещё нелюдимее и страшнее.

---

Маковей перебирал перемёты, сидя на кортках, густая выбеленная бородища свисала ему на колени и мимо колен, картуз съехал на сторону. Кожа на шее морщилась, когда Маковей поднимал голову, и натягивалась, разглаживалась, когда голова опускалась: перемёт он вытягивал из-под себя, из-под ног, и складывал коленцами перед собой.

— Здорово живёшь, — сказал, переступая порог, Щукотько.

— Здорово, коли не шутишь.

— А мух у тебя — глаза выбивают! Вот наплодил!

И в самом деле: в избе чёртово скопище мух. На столе было что-то пролито, на полу под столом валялись рыбьи кости — и пол, и стол были черны от мух.

— А ты зажмуряйся, не выбьют, — запоздало ответил старик. — Ты с болиндером даве приехал? Я на песке был, видал... И какого ты кляпа хошь от меня?

— Перевоз.

Маковей не поднял головы, не сдвинулся с места. Знай вытягивал перемёт и складывал возле себя коленцами. «Хитруша, — подумал Щукотько, — не глядит, а видит. Куражится, чтобы побольше слупить. Ничего, на мне ты где сядешь...»

«Причиндал, видать по нему, — соображал Маковей. — Или вовсе не повезу, или семьдесят пять, и точка».

— Обедал я токо што, — икнул Маковей, — а после хлеба и соли Богом велено отдохнуть подоле.

— Что ж не лежишь — шарашишься? — Щукотько решил отвечать ему тем же тоном, не заискивать.

— Это не дело — безделица.

Перемёт кончился, Маковей распрямылся, хрустнули колени, пошарил рукой против сердца.

— Ветер насвистывает, волны — боязно ехать. Вывернешься из обласка — и до свиданья... Беготни с перевозом много, толчешься, руки наматывашь, а здоровья — тью-тью. У меня расширение сердца.

— Кержаки были всегда здоровуци, — усмехнулся Щукотько.

— Были, да сплыли. Ранешно время с теперешним не равняй.

Глаза у Маковея близко посажены через узкую хрящевинку носа и похожи на глубокие конские наступы, залитые ржавой водицей. Сейчас они сонно-ленивые, но могут и злом засветиться, остекленеть.

«Хитруша».

— Слушай, старик, вези-ка да не куражься. Мне недосуг: я ведь на службе. Задержишь — нажгут, не помилуют.

---

Маковой хлопнул по ляжкам.

— Напужал! Напустил с перетруху! — Лицо его озлобилось, губы задёргались. — Двух сынов у меня на фронте кокнули. Вся радость, вся жизнь моя в них была! Чуешь ты, проходи-мец дорожный? Не повезу!

Щукотько уж и не рад был, что сказал опрометчивые слова. Знать бы про сыновей, так и не заикался бы... Гаврила Титыч себя успокаивал: «Подожди, подожди — уляжется. Знать бы, знать бы...». Сидел он у порожка на лавочке, перебирал ногами.

Маковой думал о нём:

«Ты, язви тебя, как заяц в петле: вокруг меня будешь топтаться, как вокруг осины, покедова не задушишься».

— А мух сушёных теперь принимают, — проговорил чуть слышно Гаврила Титыч, и глаза его сузились.

— Чаво?

— Да мух, говорю, аптеки принимать стали, сушёных. И дорого что-то, читал я...

— Ври.

— Вот тебе! Да наука и тут дошла.

— А какой из них толк? На што они годны?

— Лекарство выводят. От изжоги помогает и пузыри мочевые лечат. У змей вон тоже яды берут. А муха чем хуже?

Маковой оглядел своё мушиное скопище, отвернулся и, кажется, потерял к разговору весь интерес.

Так сидели они, а на дворе ветер уже не свистел, а выл, поднимая мелкий песок, шуршал берестом на крыше и шевелил стёкла в расшатанных шибках.

— Чёрт с тобой, Господь с нами, — нарушил молчание старик. — Три четвертных, и вались к лешему. Давай, а то разгуляется — не сунешься.

— Маковой, у меня столько нету, — виновато сказал Щукотько.

— Ну, тогда и надёжу на меня выбрось! Не стакнулись.

— Я после отдам, верное слово.

— Я твоим верным словом брюхо не накормлю... Семьдесят пять.

Щукотько обшарил карманы, достал шесть червонцев. Маковой схватил деньги — не сдержался.

По Оби, и вширь и вдоль — от плёса до берега, — бурные волны бились в ноздреватую глину яров, ползли на пески, и гул носился вокруг. В гуле этом, в посиневшем пространстве, молчаливо металась чайки, и взмахи их тонких, изломанных крыльев одолевали упругую силу ветра.



---

Луна обливает белым чёрные крыши бараков. Луна — круглая, вымытая вечерним дождём — похожа на донце от кадки, какие давно-давно делал дядя Андрон.

С луной не так одиноко и скучно, с луной хоть ночи светлые: можно выйти и посмотреть, что вокруг делается. Максиму не хочется рано ложиться спать.

Живут они на Шестом терпимо, хлеб едят. Мать сама из чистой муки стряпает. Горошницу варят, овсянку.

Егорка у них подрастает: кое-какие слова выговаривать стал. Второй уж годик ему. Максим забавляется с ним: то щелчка даст, то бабочку словит, жука, то за руку да на речку бежит с ним — чебаков на крючок ловить. Коленки у Егорки в синяках, ободраны, уши комарами искусаны. Днём он терпит ещё, а к вечеру, когда гнус поднимается, уросит, падает. Мать тогда берёт его на руки и несёт, а Максим загоняет свиней один, будь они прокляты.

С Егоркой можно играть, хоть он ещё и глупыш. Одна забава — побегать с ним, а больше и не с кем... В Пыжино бы, к Пантиске, к Манефке. Да разве отсюда вырвешься?

Живут они — вроде день на день похожи: выгнать свиней, напасти, загнать в старый барак, приспособленный для свинарника, разбить по клеткам. Вроде все дни одинаковые, а приглядишься — разные. Солнце. Дождь. Ветер. Пасмурно. Холодно. Жарко. И каждый день что-нибудь да случается.

Третьего дня Максим опрокинул с плиты кастрюлю с супом. Жалко было: сам картошку чистил, овсянку-крупку засыпал. Мать побледнела. Максим думал, что будет бить, но мать поохала, повздыхала, и выгнала его вон — оставила без обеда... Хорошо, что не обварил никого и сам не ошпарился.

Позавчера Максим завёл Егорку на муравейную кучу, просто взял и завёл. А чего? Сам он уж сколько раз становился босыми ногами на муравейник. И кусали, и больно было, а он терпел... Егорка закричал как из-под ножа, свалился, поцарапал о сучок руку. Мать сгребла Максима и отстегала прутом.

Максим со злости разворошил, с землёй сровнял всю муравейную кучу. А куча была высокая, возле трухлявого пня. Муравьишки забегали, закопошились и начали стаскивать хвоинки, палочки, маленькие гнилушки — на старом месте строили заново дом. Максим проплакался, и ему стало грустно: сколько же муравьишкам придётся работать, пока они сделают снова такой же большой, высокий дом? А пойдёт дождь, будет холодно — муравьям некуда спрятаться.

---

Мальчик вспомнил, как было ему обидно, когда он опрокинул с плиты кастрюлю с супом. Столько готовил, старался — и опрокинул. Сам же своё погубил. А здесь он не строил, не мучился, не мок под дождём, а вот пришёл и нарушил чужое... Максим спрыгнул с колодины, на которую забрался после материнской лупцовки, подошёл к тому месту, где недавно ещё возвышалась муравейная куча, и начал руками сгребать хвою, мусор и муравьёв к трухлявому пню. Муравьи заползли к нему под рубашку, на шею, впивались в руки и ноги: они не хотели принимать его помощи. Он отряхивался, сбивал муравьёв с ушей, с головы, но всё-таки кучу сгрёб... Ночью он плохо спал: ему снилось, что старик Зиновий раздел его, посадил на свою красную корову, и отвёз, и кинул в большую муравейную кучу...

А вчера опять наказание!

Мать угнала свиней, Максима оставила дома: у Егорки на втором году резались зубы, ему нездоровилось. Максим усыпил братишку, а сам побежал на вырубку и натакался там на сморчки: просто страшно, сколько их было много. Он снял рубаху, завязал рукава и ворот, набил в рубаху сморчков — весь стол сморчками засыпал. Мать сморчки жарила, было вкусно. Максим тоже начал кухарничать: накрошил мелко в кастрюлю, сморчки стушились, и пахло от них вкусно.

Егорка не ел: может, потому, что зубы у него резались. Зато Максим налопался — в горле встали сморчки. И скоро его замутило, голова закружилась. Дед Зиновий спойл ему полкринки парного молока от своей красной коровы...

Весь день Максима тянуло одной зеленью, а к ночи будто полегчало. Сейчас прохладно. И луна, как донце от бочки...

Дни идут. Давно поспела черника, смородина красная по берегам осыпается, иван-чай как сдурел: загони в него седока на коне, и не видно будет. Свиньи выкапывают длинные белые корни иван-чая, нажираются до отвала. Нажрут, закопаются в грязь край болота или на берегу Пыжинки и лежат, греют щетинистые бока.

От сморчков у Максима всё ещё брюхо побаливает: зарежет, закрутит, упадёт он, навалится на коряжину — вроде замрёт боль, затихнет. Но матери не нравится, когда сын лежит: без Максима ей с таким стадом не совладать. Болеет Максим, а мать и верит, и нет. «Лодыря корчишь, — кричит, — от рук отбиваешься?» Злая опять стала, несносная... Эти свиньи хоть кого доведут.

Свиньи — враги Максима, но он с ними мирится, когда стадо лежит в грязи край болота или на берегу. Стадо спит —

---

можно рыбу ловить, ходить просто так, опустив голову, и смотреть. Максим мирится со своими врагами и тогда, когда время подходит гнать стадо домой. Он идёт к своему другу — Ваське-борову.

Васька-боров длинный, спина у него круглая, как печка, морда короткая, загнутая, глаза сонливые, добрые, не то что у маток с поросятами. Особенно добрые глаза у Васьки-борова, когда Максим, мать и Егорка садятся обедать. Тогда Васька подходит к ним, похрюкивает, и Максим кидает ему головы от вяленых чебаков, но мозг из голов сначала высосет.

Давно уж Максим ездит на Ваське-борове позади стада, как пастух на коне... К зиме Ваську будут колоть, мясо свезут рабочим на плотбище. Максим знает об этом, и ему борова жалко.

Голощاپов, дед Зиновий, сулился брать мальчика на глухаринные ловушки. Вот поспеет брусника, тогда... Глухари, косячи станут вылетать на гривы, в сосняки, к песку, ягоде.

Зиновий заходит в барак посидеть, покурить. Иногда он прибалывает, и мать доит его Краснуху, сливает молоко и ставит в подпол. Дед Зиновий велит ей отлить молока или взять простокваши с полкринки. Кряхтит, кашляет и идёт проверить, хорошо ли заперты свиньи, а то разбегутся ночью.

У Голощاپова есть огород, и мать к старику подговаривается, чтобы он оделил их зимой картошкой, а они ему отработают.

Дед Зиновий сильно болел, но теперь поправился. Из глаз его исчезли печаль, темнота, и они посветлели, заяснились, как небо, когда ветер смое с него хмурые тучи. Но лицо деда Зиновия исхудало: на опавших щеках топорщится белая щетина, под глазами припухла и наморщилась кожа. И ходит он сгорбившись, схватываясь за поясницу. А раньше ходил прямее, увёртливее.

Теперь уж и мать, и Максим точно знают, что старик поделится с ними своим огородом, потому что без них, одному, картошку ему не выкопать.

Старик купил себе поросёнка. Выбирал он его не спеша из всего стада, долго советовался с матерью, пока не остановился на толстеньком крепыше с розовыми ушами.

— Не храмлет, и ладно, — махнул дед Зиновий. — Вырастет — пригодится, сдохнет — собака съест.

Поросёнок теперь вырос в подсвинка: гладкозадый, справный. Держат его в хлеву, взаперти, и только изредка хозяин выпускает подсвинка на улицу. По утрам у подсвинка бывает глупая морда, перепачканная простоквашей. Максим увидел

---

раз простоквашу на рыле подсвинка, подумал: «Вот, свинья, а каждый день простоквашу жрёт. А я, мать и Егорка простоквашу едим изредка. Но кто виноват, что у нас нет коровы, а у деда Зиновия есть?».

Дед Зиновий когда-то жил со старухой, потом она умерла. Был у них сын, Пашка, так тот на фронте погиб. Максим видел фотокарточку Пашки. Парень как парень: курносый, в пилотке, чем-то похожий на деда Зиновия. Максим сколько уж раз замечал, как старик глядит-глядит на фотокарточку, отвернётся и выйдет на улицу.

Вчера он стоял на крыльце, дед Зиновий, был вечер, Максим с матерью только со стадом управились. Дед позвал Максима и спросил у него: какая будет погода?

За рекой вполнеба горела, переливаясь, малиновая заря. А над дедом Зиновием и Максимом в синем покое лежали ядрёные облака, как не прогоревшие ещё в костре угли.

— Ветер будет, — проговорил Максим.

— И ведро... Пойдём ловушки смотреть, которые третьего дня настораживал. Напопадало, поди, глухарей — не дотащим.

Максим обрадовался, как щенок, когда того потреплют за уши и пощекочут пузо. Максим задрал голову и глядел на жаркие, всё ещё не потухшие облака.

— Облака твёрдые, — сказал он, и голос его перехватило от радости.

— А ты их щупал? — скосил на него насмешливый глаз дед Зиновий.

— Да вы поглядите, — вытянул руку Максим.

— Мудруешь. — Дед пошёл к себе в избу. — Раньше, мотри, подымайся, а то опоздаем...

## 5

Кажется, никогда Максим не вставал так, как в это утро.

Было раным-рано, солнце лишь только проклюнулось: разметало зарю, а само ещё копошится где-то за лесом. Как росток весной: он уж и землю поднял бугорком над собой, а самого ещё не видеть.

И вот оно поднимается, солнце! Огромное, лысое, красное. Пока выбирается из колючих, острых, как зубья пилы, вершин, на него можно смотреть сколько влезет. Во все глаза гляди, не прикрываясь, не морщась, не отворачиваясь. Но

---

стоит солнцу подняться над лесом, и уж больно глазам, и уже не понять, какого оно цвета, солнце, — красного, жёлтого, белого?

А тишина — слышно, как стучает сердце: тук-тук, тук-тук! Где же ветер? Туман над рекой не движется, тайга молчит, будто тоже смотрит, как поднимается солнце. Свиньи в загоне тоже ещё все дрыхнут: не визжат, не тычутся рылами в двери. Ух, и рань! Постой-ка, кто-то вон там жужжит, в кусту... А, муха зелёная в сети попалась. Паук притаился, смотрит сверху и ждёт. В ячейках паучьей сети оранжевыми глазками горит на солнце роса. Она дрожит от мушиных рывков, и так это всё красиво — глаз оторвать нельзя.

— Пробудился — айда, — слышит Максим и оборачивается: дед Зиновий с ружьём за плечами, с пустым мешком на верёвочных ляшках, стоит, как старый, но ещё крепкий груздь.

— А ветра может не быть, — произносит тихо Максим.

— Это, Максимка, как ему вздумается: схочет — по уху даст, схочет — по перешнице. Потому как ветром мы с тобой не распоряжаемся.

Они вынули из ловушек двух косачей и трёх глухарок. Глухарок нёс сам дед Зиновий, потому что они были тяжелее. Максим помогал тащить косачей: взял за ноги и перекинул за спину. Косачиные краснобровые головы болтаются ниже спины...

А хвоей пахнет, смолой, багульником! А брусники по гривам — красным-красно! И никто её здесь не собирает, и уйдёт она вся под снег — аж досада берёт. Брусники этой кругом завались.

Дед Зиновий дал Сараевым копалуху-глухарку, мать для виду отказывалась.

— Ты нам лучше маленького, — показывала на косача.

Максим общипал копалуху, раскидал по ветру серые перья.

— Ты ветра ждал, вот он — лови его в горсть, да в карман.

Дед ухмылялся, спина его парилась, просыхала на солнце.

В день, когда был первый заморозок, приехал к ним на Шестой важный начальник, хозяин всех пыжинских лесоточек и плотбищ. У него был конь под богатым седлом. Он хвалил мать за работу и сказал, что в морозы их тут не оставят — переведут на Усть-Ямы. Там много народу зимой, а по весне стадо опять перебросят сюда, на богатые пастбища. Мать ходила следом за важным начальником, убирала с дороги вёдра, отодвигала кормушки: всё боялась, как бы в глаза что плохое не бросилось.

---

Ещё начальник им передал, что скоро здесь появится фельдшер — кастрировать молодняк. А больших свиней будут колоть и отправлять мясо рабочим леспромхоза к Октябрьским праздникам.

Приехал коновал-фельдшер — высокий, рукастый, с маленьким чемоданчиком. Мать нагрела ему горячей воды, он вынул блестящий ножичек, моточек тонких шёлковых ниток, распорядился, покрикивал на Пылосова, на мать, на деда Зиновия.

Боровков валили на спину, раздирали им ноги, истошный визг не смолкал ни на минуту. Пахло йодом. Все суетились, бегали, вертелись вокруг фельдшера-коновала, а он держал перед собой окровавленные, перепачканные йодом руки, бросал матерки налево, направо и снова резал, резал.

Поначалу фельдшер показался Максиму страшным: таких людей он ещё не видел. Но сели за стол, фельдшер налил мужикам понемногу спирту, мать поставила сковородку в обхват, на которой шипели, пошкваркивали, как спечённая рыба икра, поросычьи обрезки. Коновал во всё лицо улыбался, облизывал губы, и первым поддел с краю полную ложку жаркого. Сейчас это был вовсе не злой человек: будто не он какое-то время назад держал от крови красные руки и резал свиные зады острым блестящим ножом.

— Вкусная штука, — сказал, прожёвывая, коновал-фельдшер. — Но больше свиных люблю бараньи... Ты что, хозяйка, не пробуешь?

Мать отвернулась, прикрывая рот:

— Спасибо скажите — нажарила хоть.

— С голоду умирала — не стала бы есть? — оторвался от сковородки фельдшер.

— Не знаю...

— Ну и напрасно, совершенно напрасно: глупости это... Давай, Максим, навёртывай.

Мальчик осмелился: ему понравилось.

«Всегда эта мать что-нибудь выдумает».

С первым снегом стали колоть свиней. Пылосов выбрал двадцать четыре. Свињи вели себя беспокойно: чувствовали смертушку, как сказала, глядячи на них, мать. Максим оттаскивал ведра с густой дымящейся кровью. Кровь наплескалась ему на опорки, застыла чёрными жирными брызгами. Жареной кровью потом мать будет начинять колбасу с чесноком.

Пылосов с дедом Зиновием только пыхтели. Пылосов уж дважды подставлял ковш под бьющую струю крови и пил её,

---

передавая ковш деду Зиновию, и тот прикладывался и смахивал с губ красную пену рукавом телогрейки.

От всех этих картин Максим не чувствовал страха, но внутри у него что-то замерло, сжалось. Он тоже работал молча, почти со старанием, но когда Пылосов и Зиновий перешагнули в клетку, где лежал Васька-боров, мальчик не выдержал и сказал матери:

— Не буду глядеть, как Ваську-борова...

Васька-боров свирепо выставил клыки и сердито захрюкал. Мужики остоповали перед ним. Пылосов велел деду Зиновию нести ружьё...

Иван Засипатыч отвёл мать в сторонку и стал у неё спрашивать: интересовался ли тогда приезжий начальник всех лесоточек и плотбищ беглой свиньёй.

— Ну, той, которая убежала пороситься в заросли иван-чая?

— Так ту свиноматку нашли. Много за ней гонялись, но всех поросят тогда выловили, — отвечала мать.

Всех, и Максим помнит. Он тоже ловил поросят, весь исцарапался. Поросята на воле так откормились, что поперёк были толще... Помотала тогда людей эта свинья. Почти одичала — боязно было к ней подходить... Поросят везли в ящиках по реке на лодке, а свинья с хрюканьем, визгом бежала по берегу. Так её и сманили домой. О ней и вспомнил теперь Пылосов.

— Да знаю я, что поймали, — недовольно повёл он глазами. — Но спрашивал ли об этом начальник?

— Нет, об этом не спрашивал, — всё ещё недоумевала мать.

— Вот так и скажи, — повеселел Пылосов.

Он отослал Максима помочь деду Зиновию сделать настил в сенях для освежёванных туш.

— Арина, — вкрадчиво, тихо сказал Иван Засипатыч, когда мальчик убрался с глаз, — мы с тобой сговориться должны... Ты не будь душой и слушай: на ту свинью мной акт составлен, что она потерялась.

— Иван Засипатыч, как же так?..

— А так же. Акт подписан начальником леспромхоза, и дело забыто. Сколько у той поросят тогда было?

— Семь... Вон они все — подвинки, как сбитые.

— Смекнула?

— Ой, боязно что-то, Иван Засипатыч, аж сердце оборвалось. К таким делам я непривычная...

— Жить надо, Арина. Время такое, что не возьмёшь — не поешь. Тебе я немало доброго сделал и ещё сделаю. Будешь



---

сыта и обута. И детям твоим бедовать не придётся. Мясо на муку обменяем, матерьялец какой. Пимов достану. Не обде-лю...

— Жарко мне стало, Иван Засипатыч, — стиснула Арина виски. — Дети ведь у меня... малые. И я одна у них живая душа. Ан как откроется всё?

— Об них вот и думай, о детях... Да язык за зубами держи.

По реке плыли блинчики льда. Тёмный лес гляделся в тёмную воду.

Максим набрал полную горсть сухого холодного песка, отёр им скользкое сало с рук, набрал ещё горсть и бросил песок в реку: тихий шорох, как слабый дождь, родился и умер.

Дед Зиновий кричал Максиму, чтобы он шёл есть изжаренные на костре свиные уши.

## 6

А в это время далеко от Шестого, в Селивейкино по Чижапке, Сараевых вспоминал дядя Андрон. Он сидел у костра, катал в ладонях горячую печёную картошку и говорил мужикам-стругальщикам:

— Сгинул, можно сказать, ни за что человек. Тяжело жил и тяжело помер.

— А ты бы вот взял его ребятишек, бабу подобрал, и жили бы.

— Да мы уж и так сговорились. Арина согласна, но работу ей жалко бросать, а меня вот сюда занесло.

В чистых березняках сквозил ледяной ветер, и через первый снег ещё пробивался жёлтый, пожухлый лист. Над головой качались, гнулись в бледнеющем небе голые сучья берёз. Казалось, что и берёзы тянутся к дыму, к костру и шумят, сердятся, спорят из-за того, что всем у маленького огня не хватит места.

К костру, на берег Чижапки, подходили из глубины березняков пильщики, тесщики — краснолапые, багроволицые. Телогрейки у них были опоясаны супонями, за супони подоткнуты рукавицы-верхонки. Мужики всаживали топоры в пни, цепляли за сучки пилы лучковые и лезли к огню, потирая над дымом руки. И всякий раз затевался сам собой разговор.

— Прохватывает до мозгов, в стёганки надо оболотаться.

— Щукотько сулился всем по стежёным штанам выдать.

— С обещанием, знашь, не торопятся.

---

— Щукотько спит на перине с милашкой, ему не знобко.

Здоровый мужик, тёсщик Левонтий Типсин, обжёгся картошкой — так торопился, не прожевав, какое-то слово вставить.

— Стукни его по загривку — подавится! — посоветовал кто-то.

— Проскочило, — выставил зубы Левонтий и поглядел на всех мокрыми от навернувшихся слёз глазами. — К сладкой бабе подсыпался наш командёр.

— Всем взяла, да глаза скрасна, как у белой крольчихи.

— От зависти ты... Дейка Махотская баба — держи ухо мимо. Я только вот об чём думаю: командёра на ночку нашим Левонтием заменить — он подюжей будет.

— Разыноходились, язви вас, — сказал Андрон Шкарин. — Как кто про бабу вспомянет, так вы... Мало, знать, вас работушка мыкает.

Смеялись, а потом тяжело, надолго задумывались...

Широкими волнами клубился в вершинах шум, трещала, скручивалась береста на огне, пеплом подёргивались берёзовые угли. Ветер срывал пепел — и обнажались на углях красные, злые точки огня.

В сумерках собирались в бараках. Шарканье ног, голоса, треск поленьев в печах, жёлтые языки керосиновых ламп с бумажными абажурами, пар от пимов, спёртый воздух от множества тел и сотен выкуранных самокруток — всё это было из ночи в ночь одинаковое, постоянное, как постоянным был скрежет напильников за переборкой в углу барака, где правщики вострили пилы и топоры.

Вертелось точило в высокой колодине с ржавой водой, и хлюпающий протяжный скрежет то нарастал до страшного воя, то падал, будто бы стачивался. Под этот мокрый скрежет с непривычки нельзя было уснуть. Новички пальцами унимали свербящий зуд в ушах.

— Ужжит, зараза! Ухи закладывает.

С вечера и по ранним утрам на красной плите кипело с десятков больших котелков, булькало, клокотало, кто-то снимал уже сваренное, кто-то пристраивался, кому-то советовали:

— Скрошил бы картоху помельче, похлёбка разваристой будет.

— Обеззубел, што ли?

— Овсянки брось, гороху — не надо, он долго варится, а керосин, гляди, догорат.

— Щукотько должен был сёдня подъехать на лодке.

— Говорили ему: вертайся быстрее, не задерживайся.

---

— Ты говорил ему сквозь зубов, а ему надо было ласково...

— Буду ещё дурака из себя корчить. Ему бы ласково шею намылить, ещё за старое. Локомобиль летом три дня простоял, и мы без жратвы насиделись.

— Он извинялся — мало тебе? Сказывал же, что бакенщик Зублев его обобрал, а после они под берегом навернулись.

— Этот набрешет — слухай его.

Щукотько действительно набрехал. Зублев его тогда перевёз хорошо, он успел к пароходу, а в Каргаске утром договорился с почтовиками, и к обеду уже был в Ерёмино. В Селивейкино он в тот день не поехал: его задержали Дейка Махотская, уют её дома и крепкая самогонка.

— Такого топи — не утопишь: ужом вывернется. И не обманешь его: масло с водой смешает. А ты попробуй...

— Ты, Андрон, с первых дней под него подкапываешься, — шуточно высказал Типсин Левонтий. — Мотри, а то забудет.

— Об меня он рога ломает: я как-никак фронтовик... Мне бы вот в район вырваться, я бы ему показал кузькину мать.

Точило смолкло, но кто-то всё ещё с нажимом прикладывался напильником к зубьям пилы.

— Ширикает.

— На Гитлера зуб точит.

Огонь оседал в лампах, густел полумрак, и лишь на полу и на потолке жёлтыми полосами дрожало печное пламя.

От реки послышался крик.

— Эй, командёр приехал, наверно, зовёт мешки на берег таскать. И керосин привезли, айдате!

Щукотько всех поразил такими словами:

— Из Ерёмина будем склады сюда перебрасывать.

— А вы не хотели тогда, супротивничали, — сказал Андрон, подставляя спину под куль с мукой. — Где производство, там и склады надо. А то корову на баню таскаем.

— Не с руки, не с руки — верно, — говорил с придыханием Щукотько. — Далеко из Ерёмино ездить...

— И что с ним случилось? — спросил Левонтий Андрона. — Какая муха его укусила?

Андрон шатнулся, кинул мешок под навес.

— Теряюсь, брат, рассудить...

А причина была.

К Дейке Махотской вернулся мужик с фронта: на костылях, без ноги. На глинистом берегу оскользнулся, увяз, вымарал новые чёрные брюки с подоткнутой за ремень штаниной, выругался не зло, от души: домой ведь приехал, к жене, подумаешь — грязь!

Грязь не сало, помял — отстало... Он выбрался на берег, обтёр костыли о сухую траву, и тут увидела его белолицая Дейка, жёнушка милая, долгожданная: увидела из магазина. Магазин, где она торговала, стоял от причала сразу, окнами на реку. Защекотало у солдата в горле, сдавило грудь — заторопилась нога к порогу, сжали руки холодные костыли. Вот она, жёнушка, бросится, зарыдает, обоймёт шею руками горячими, бабьими... Минута, мгновение, а сколько дней и ночей ждал их солдат Махотский, счетовод из конторы селивейкинского лесопункта. Эх, чёрт подери!

Упали тугие Дейкины груди на мужнину грудь, притиснулись. И голос, слезами сдавленный:

— Не писал... ни словечка... потеряла тебя... не ждала...

— Это как не ждала? Это пошто ж не ждала? Схоронила, поди, и забыла, как звать? — говорил ей солдат Махотский, а сам прижимал к себе крепче — готовый дух от радости из неё выжать.

«Не писал. Не ждала».

Дейка и впрямь не ждала, не гадала... Как проводила — ещё помнила, а после, как письма не стали ей приходить от него, забыла: будто его и не было у неё, Ивана Махотского. С Щукотько какую-то ночь был у них разговор о нём, о солдате Махотском. Первым завёл его Гаврила Титыч. Уткнулся носом под грудь, спросил:

«Вернётся мужик, что будешь делать?»

Она сказала:

«Раз писем нет больше года, то нет и в живых».

В душе она, верно что, похоронила его. Щукотько эти слова её не понравились, он повторил:

«А всё ж таки, если вернётся?»

Она отодвинулась. Он чувствовал, какими глазами глядит она на него в потёмках, и догадывался уже, что она ему скажет. И Дейка сказала:

«Вернётся — место твоё займёт. Чему ты радуешься?»

Он ничему не радовался: он хотел, чтобы всё пока оставалось как есть. Но если придётся ему отрываться, то надо вы-

---

яснить всё заранее. Ответ Дейки его и обидел, и обрадовал. Конечно, лучше, если бы всё оставалось как есть...

Дейка старалась не глядеть в глаза мужу. Поспешно она закрыла свой магазин, потянула Ивана с крыльца.

— Домой пошли... Вернулся! Ах ты, золотенький. Исклечили, изрубили...

Они направились к дому. Дейка держала его под руку, заплаканное лицо её выражало страдание: «Сейчас, сегодня же всё откроется, узнается».

Встретилось им несколько ерёминских баб. Они со стонами, охая, радуясь, здоровались с Иваном Махотским, поздравляли его с возвращением. И зависть была в их глазах вместе с радостью: у них-то мужья уже полегли или пропали без вести. Дейку же встречные бабы обжигали глазами, корили, сулили несчастье. Все они забегали к ней в магазин на дню семь раз, часто жили её милостью, уступчивостью. Но Дейка знала, что они не простят ей того, что было.

И Дейка сказала мужу:

— Ох, и напьюсь я сейчас!.. Я тебе всё расскажу, скрытничать, Ваня, не стану...

Нет, думала ли она, что в такие вот чувства, страдания вгонит её вернувшийся муж?

Да, она скажет ему — уж лучше сама, чем после будут ходить да нашёптывать, наговаривать. Скажет и душу облегчит... Сейчас она ждала и хотела, чтобы мужик побил её, наорал: скорее бы уж, сразу.

Но Махотский, узнав, не стал её бить и даже судить не стал. Вообще ничего не сказал, ни слова. Он сжал костыли и пошёл на склады, где копался в товарах Щукотько.

Тому уже передали о том, что вернулся Махотский. Гаврила Титыч трусил: если дело раздуют, его могут спихнуть с работы, как игральную бабку. Отберут бронь, отправят на фронт, а этого он ужасно боялся, от этого у него холодела спина. И Щукотько сказал себе: «Мужик мужика поймёт».

Махотский вырос перед ним в дверях склада. И произнёс почти так, как думал Щукотько:

— Ты откуда взялся? Ты как это здесь пристроился?

И фронтовик, инвалид Махотский быстро нагнулся, поднял с пола порожний ящик из-под гвоздей — запустил им в Щукотько.

Гаврила Титыч едва увернулся и юркнул под стол-топчан, крича оттуда страшным, перепуганным голосом:

— Не самосудничай! Ты разберись сперва! Я с большими начальниками всю жизнь проработал, правой рукой у них был!

---

Костыли торопливо стучали к столу-топчану.

— Если я, фронтовик, калека, убью вот такую крысу, мне ни черта не будет!

— Ничем не докажешь, — дрожал под столом Щукотько.

— Сама мне всё рассказала, падло! Как ты её тут принуждал...

— Это я-то, я принуждал? Спроси-постарайся, кто первый, потом бузу подымай...

Второй ящик, но теперь с гвоздями, упал на стол-топчан, под которым сидел Щукотько. Сотрясся пол, хрустнули над головой у Гаврилы Титыча доски. Он замер: со второго такого удара он ждал смерти... Крикнуть хотел на помощь, но в глотке заклинило.

— Вылазь, охламон!

Голос Махотского прозвучал без гнева, даже с какою-то прощающей добротой. Щукотько ушам не поверил.

— Разберись... сначала, — отряхивался Щукотько от пыли, не спуская, однако, глаз с лица Махотского, которое гвоздило его к стене и пьяно оскаливалось.

Когда они оба предстали перед плачущей Дейкой, Гаврила Титыч, глядя мимо неё, спросил смятым, затрёпанным голосом:

— Скажите, гражданка Махотская: насильно я вас заставлял или подобру вы согласились сами?

Он глядел и не узнавал прежнюю, резвую, громкоголосую Дейку.

— И не по силе, и не по согласию... Попервости как-то всё так получилось...

— Агитировал я вас или нет?

Дейка молчала и тоже не узнавала Щукотько.

А тот продолжал играть роль дурака:

— Э-ээ, гражданка Махотская... Если со стороны вашего мужа будет на меня покушение, кто будет отвечать?

Дейка развела белыми, полными руками.

— Не знаю...

Иван Махотский захохотал, заводил кулаком по костылю, видно, кулак у него чесался.

— Дерьмо ты, — сказал он тихо и простодушно, — и катись-ка ты отседа к едрёной матери!

Он сильно подтолкнул Щукотько к дверям, Гаврила Титыч споткнулся, но не упал — выскочил на крыльцо...

Вот почему с такой торопливостью решил Щукотько перебросить склады из Ерёмино в Селивейкино.

---

— Разумные слова говоришь, — сказал Андрон Шкарин. — Тут всё завсегда под руками будет: и керосин, и хлеб, и всё, чего, знать, работа требует..

Андрон осекся: голова его закружилась, он пошатнулся под тяжёлым мешком и упал.

Это был уже второй случай, когда вдруг у него темнело в глазах и помрачались мысли. И второй уже раз поднимал его сильной рукой тесщик Левонтий Типсин.

— Эх, свалило тебя, брат, сызнова... Отрыгается фронт-то.

Локобельный гудок поднимал людей на работу, бился, петляя в белых березняках.

В это утро бригадир Андрон Шкарин не встал с постели.

## 8

— Як-корь его! Раскололся! Так посерёд пуза и лопнул...

Анфим обошёл вокруг обласка, который они когда-то выдалбливали с Егоршей Сараевым, подивился на трещину по-вдоль всего днища, погладил рябое лицо.

— Рано старился — мало ездил.

Лёвка складывал в широкий мешок мокрые сети, был сумрачно-безразличный; к нижней отвислой губе прилип огарок сигарки; на согнутые плечи падал сухой мелкий снежок.

Всё — отъездились они на обласках по курьям и протокам — передышка до ледостава, а там запрягай в нарты собак, складывай снова саки и пешни, да на широкую Обь самолы ставить.

Сетями это лето они промышляли споро, без рыбы не приезжали. Насушили, навялили — будет себе и собакам. Приёмщику много сдали — Пылосову. Недаром и обласок у Анфима лопнул: изо дня в день потаскай-ка волоком с курьи на курью, с перетаска на перетаск. По кочкам днище обдирается.

От отца и сына густо несёт рыбной слизью, дёгтем, илистой сыростью, табаком. Лёвка будто со стороны оглядывает себя, морщится. «Опять Калиска скажет, что от меня чердаком пахнет, засольной». Прошлый раз, в августе, Лёвка схватил горсть колючек с репейника, закатал их в Калискины косы. Она вырвалась, обозвала его мордой остяцкой, узкоглазником, и убежала... А Лёвка потом жалел её, глядя, как девка на крыльце выпутывала репьи из волос. Глаза её были тогда, как у злющей собаки.



---

С Калиской он помирился, она приходила на вечеринки, плясала, пела частушки под балалайку. В Лёвке от её голоса буйствовала, носилась по жилам кровь: ему хотелось куда-нибудь заманить Калиску, остаться наедине с ней. Чтобы только берёзы были, травы, солнце, небо над головой и никого больше. Но Калиска пугливо озиралась на дом: там был отец, который не разрешал якшаться с Лёвкой. Хорошо ещё, что хоть на вечеринки пускает, хоть возле дома можно попеть, потолкаться.

На покосе, тоже тогда ещё, в августе, им раз удалось застрять в кустах смородишника. Лёвка видел, что Калиска идёт за ним покорно, готовая ему подчиниться. Он это не только видел — чувствовал, потому что знал за собой и силу, и то, что на мордаху приятный. Лёвка облапил Калиску, прижал — у неё косточки захрустели, глаза закатились и жар на щеках выступил. И всё бы у них решилось в эту минуту, и тогда Иван Засипатыч никуда бы не делся — отдал бы девку свою за Анфимова сына. Но Иван Засипатыч нигде не спускал с них глаз и тут не замешкался: услышали они, как за кустами зашароборилось, запыхтело.

«Отец!»

Замелькали Калискины голые ноги-бочоночки, завихлял кругленький зад, замотались по сторонам руки с пухлыми локотками... А Лёвка готов был упасть на четвереньки и пособачьи ногами землю скрести.

Лёвка не стал ждать, когда покажется на поляне Пылосов, повернулся и скорёхонько пошагал в ту сторону, где за кустами скрылась Калиска. Пришёл он к отцовскому балагану, чай пить со злости стал. Отец тогда сказал:

«Чай пьёшь — далеко видишь, а идёшь близко».

Смеялся над сыном...

Лёвка часто об этом всё вспоминает, и вот опять вспомнил.

— О девке думаешь, паря? — спрашивает Анфим, наступая на расколотое днище.

— Как в прорубь глядел, — отвернулся Лёвка.

— Ладно, поди што, женим тебя.

— Остячку я не возьму, тятка, — упрямо сказал Лёвка, и лицо его стало не по годам суровым.

Остяк узкими щелками вскользь посмотрел на сына.

— Тётка Катя што сказывала? У поварихи на Усть-Ямах мужик скончался. Был худой, да травился ишшо. Прости Бог, очокурился. К поварихе с тобой и посватамся.

Сын глядел мимо отца, на сжатых сурово губах у него собиралась улыбка.

---

— Видал я её... По мне она будет, как собакам дорога по первотропу: убродная.

И рассмеялся печально: только зареветь осталось.

В августе же, как отошли покосы, Иван Засипатыч отослал Калиску подальше с глаз — гостить в Сосновку к тестю, трахомному старику Гавриле Гонохову. Калиска всё и жила там, отиралась. Сосновка — Пыжину не чета. В Сосновке дворов в десять раз больше и парней полно. Лёвку Мыльжина не проведёшь: крутилась Калиска там с хахалями, обжимали, поди, её, тискали, песенки под гармошку пели. Иначе чего бы ей носом вертеть? Это пуще всего и выводит Лёвку, что Калиска с недавних пор не хочет его замечать, видеть не хочет.

Ну, вернулась она из Сосновки, повстречал её Лёвка, она ему «здрассте» сквозь зубы — и мимо, бочком от него. Лёвка ей дорогу переступил, спросил напрямик: чего она, мол, кочевряжится? Она отвечала, что ничего, что просто у неё настроения нету. Обидел кто? Нет, говорит. И с этим ушла от него.

Тяжело вспоминать Лёвке, тяжелее, чем ношу нести.

Согнулся он: от мокрых сетей, которые нагрузил на него Анфим, промокла спина. В волосах за ушами запутались белые рыбки чешуйки. Руки тонкая тетива нарезает... Бросить бы всё средь дороги, отмыться в бане, надеть одежду чистую и спросить Калиску: пойдёт ли она за него замуж. Пусть скажет раз навсегда.

Анфим рыбу несёт. Тропка осклизлая: снег на ней с глиной перемешался.

— Вконец обмелела Пыжинка, кулику по колено, — с тоскою сказал Анфим. — К зиме речка старится, как всё равно человек... Морщинится, сохнет речка, чисто старуха...

А Лёвка пыхтит под связкой мокрых сетей и думает зло: «Подкараулю Калиску, подкараулю...».

В тот день он встретил её, но она опять ему ничего не ответила: сидела молчала на посиделках, грызла орешки, плевала шелуху в подол — слова не обронила. Была она с виду как день с дождём. Есть дни, когда нет ни ветра, ни голубой просветинки на небе, а сеет дождь-сеенец, сидишь в обласке, выбираешь сети, рыбу выпутываешь, а самому спать хочется... И, на Калиску глядя, Лёвке тоже захотелось спать.

Второй раз об одном и том же он спрашивать уж не стал: заела гордость, заскребло лапой кошачьей под сердцем. Другой бы с досады взял и нашёл себе девку другую, а на ней, на Калиске, и глаз бы не остановил. Но хоть задавись — никто ему в Пыжино не мил.

---

Грызла Калиска орехи — ни вниманья, ни полвниманья на Лёвку. А до Сосновки заглядывалась, куда как была ухажёриста.

К Лёвке липнут, привязываются девки-остячки, да он их всегда сторонился.

Посидела Калиска — ушла, незаметно от Лёвки ушла, скрылась. А он, спохватившись, думал-гадал: как же она от него улизула, если он глаз с неё не спускал?

«Изгаляется, лучше меня завела. Ну, я тебе так не спущу, я с тобой чо-нибудь вытворю».

Лёвка ушёл с посиделок один: и брата Порфилку не стал дожидаться. Снег всё так же, как днём, сухо, с шуршанием, ложился на землю, на крыши, на сараюшки. Сквозь мглу на небе мутно просачивалась луна, и лютущая, яростная тоска сдавила сердце Лёвки... Избы — как лица людей: обветренные, шелушащиеся, блёклые, источенные жуками, все старые, кроме пылосовской избы. В этой крепкой высокой избе живут не так, как у них, и спят не так, как у них. И там краснощёкая русская девка. Эх, смотреть на Пыжино тошно! Выпал бы снег скорее, густой, хлопьями, снег и завалил бы всё к чёрту...

Зима много прячет от глаз.

Первый большой снегопад не заставил себя долго ждать: занепогодило, забуранило, побелела земля, и, когда после буйства ветра и снега очистилось небо от туч, когда свободно стало разгуливать солнце, каждый подумал: «Жди холодов».

И холода наступили. С холодами пришёл большой ледостав. Зима не шутила: вот и пришло время пересаживаться остякам на нарты. Из сеней, с чердаков, из кладовок выносили лыжи, подбивали кисами — лосиными шкурами, чинили крепления: скоро на Обь. У собак поубавилось резвости, опустили собаки головы, поджали хвосты: пришла пора и им тянуть трудовую лямку.

Зачастили бураны, без лыж уже нельзя было сунуться ни на рыбалку, ни по сено, ни за дровами.

Как раз перед Рождеством было дело, Анфимов Лёвка вышел раненько во двор, а на их, мыльжинской, сараюшке, куда они заматали две возовушки сена, стоит пылосовский баран с витыми, толщиной в руку, рогами. Жрёт чужая скотина сено, а у соседей ни совести, ни стыда. Неужто Пылосовы не видят, что их баран соседское сено на сараюшке жрёт? «Хе, видят, да виду не подают! Это на Пылосовых похоже».

Появился Порфилка, зажал в руках флакон со скипидаром. Подкрались они к барану, сцапали и налили под хвост.

---

Тот на сено взбирался по куче навоза, а теперь ему путь к этой куче отрезали. От скипидара он взвился, рога приложил к спине, остервенело баякнул и с отвесной стороны брыкнулся в глубокий сумёт. От тяжести и от прыжка он чуть не весь зарылся в сумёте и, баякая, через голову и по-всякому пошёл выкручивать на снегу такие фокусы, что даже выскочивший Иван Засипатыч застыл от удивления, глядя на своего барана.

Парни успели спрятаться за сараюшкой, и Пылосов их не увидел. Он забежал в мыльжинскую ограду, стал выгонять барана на улицу, а тот от страшного зуда не различал ни ограды, ни ворот, ни хозяина. Когда Иван Засипатыч забежал сзади, чтобы направить барана в воротца, тот развернулся круто, почти на месте, и, наклонив голову, врезался Пылосову промежду ног, Иван Засипатыч не устоял и опрокинулся.

— Да взбесился ты, што ли?

— Боров, а сбрыкал, как мячик, — сказал в сенях Лёвка.

Они хохотали с Порфилкой, покатывались.

— А мы с тобой в ночь на Рождество ещё не такое выдумаем...

И Лёвка открыл Порфилке свою придумку, которая недавно пришла ему в голову.

— Так она же помрёт со страху, — перестал смеяться Порфилка. — Вот напридумывал...

— Мотри, рот на защёлку, а то...

Лёвка подставил кулак к приплюснутому Порфилкиному носу.

Высунулся из избы Пантиска.

— Женихи! Вы чо тут: шу-шу-шу?

— А тебя ждём, — ответил грозно Лёвка и втокнул Пантискину чёрную голову обратно в избу.

## 9

С каких-то пор Калиска стала искать дружбы с Манефкой, а то они жили ссорясь. Калиска старшая в доме, а старалась увёртываться от работы, перекладывала свои дела на Манефку.

У Манефки добрый, чистосердечный характер, она управлялась и за себя, и за Калиску, и книжки ещё успевала читать. Она не имела привычки ябедничать, жаловаться отцу, мачехе. Но худо было, когда Иван Засипатыч узнавал, что Калиска

---

лодырничала, а Манефка работала. Уж тогда спуску Калиске не было: Иван Засипатыч любил её меньше Манефки.

В этот год Калиске пошёл семнадцатый, она уже совсем заневестилась, и Манефка, которой ещё не исполнилось и четырнадцати, смотрела на неё украдкой, исподтишка, при-мечая: как она ходит, садится, как стоит перед рябым от старости зеркалом, как укладывает по утрам полные груди в сшитый ей мачехой лифчик.

Всё это было Манефке ещё неведомо, непонятно и стран-но, но что-то уже заставляло её всё примечать и запоминать.

Из Сосновки Калиска вернулась не такой, какой уезжала. И это тоже не прошло мимо Манефки. Старшая сестра стала молчаливой, словно прислушивалась, что у неё внутри дела-ется, в душе. И ночами на койке ворочалась. А то как спала! Упадёт и носом посвистывает, до утра на одном боку могла вылежать.

Однажды в полночь Калиска разбудила сестру. Манефка открыла глаза: в дальний угол светила луна, у той, противо-положной стены спали отец, мачеха.

— Ты что? — удивлённо спросила Манефка.

— Давай с тобой поворожим под Рождество!

Глаза Калиски были широко-широко открыты и ожидали.

— Да ну, чепуха всякая... Будит ещё среди ночи.

Манефка повернулась к стене.

— Да гляди ты сюда, — шептала Калиска, пихая её под бок, — когда подойдёт на стрелках двенадцать, мы только с тобой забежим в хлевушку, где овцы, вырвем у них по клочку шерсти: узнаем, кому какой масти жених достанется.

— Бессовестная, — протянула Манефка, зарываясь в поду-шку.

— Ладно, ты забегать в хлевушку не будешь, я одна. Ты просто так постоишь, меня подождёшь... А то мне одной не-бось страшно.

Гадальная ночь наступила. Все поджидали двенадцати, и никто с уверенностью не мог сказать: когда же точно будет двенадцать? Во всех пыжинских домах часы шли по-разному. Поэтому Лёвка боялся прокараулить, когда Калиска пойдёт гадать, а это ему надо было знать точно. Он и послал Панти-ску узнать у Пыловых, сколько времени на их часах. Панти-ска узнал, и Лёвка поставил свои ходики по пыловским.

Потёмки были колючие: погуливал ветерок, секла по лицу льдистая изморозь. Луна, окружённая жёлтым кольцом, за-бралась высоко на небо.

— Я разболокаться не буду, — нахохлился Порфирка.

---

— Ты только овечек отожди в угол...

Они говорили шёпотом, обошли по задворкам пылосовский дом, в котором, как и в других домах, светились окна, из трубы валил клубом чёрный дымище. Снег поскрипывал, и они осторожничали, тайком подбирались к хлевушке, где у Пыловых были заперты овцы.

— Запри меня, а сам погоди на сеновале, — сказал Лёвка.

Он прошмыгнул в хлев: тёплая кислая темнота обняла его. Овцы повскакивали, закутились в тесной клетушке. Он постоял, давая успокоиться овцам, и сам успокаивался. Вспомнил барана, которому налили они скипидару под хвост.

Лёвка скинул с себя телогрейку, старенький пиджачишко, рубашку, штаны, бельё исподнее — начал топтаться на месте, чтобы не заколеть. Он дрожал от озноба, от внутреннего волнения, но был радёшенек, что узнал накануне про Калискину ворожбу. Сначала он хотел её поддурить по-другому, хотел напугать, в белое привидение вырядиться. А тут Манефка неожиданно выболтала: Калиска на жениха воровать будет, в полночь пойдёт шерсть у овечек дёргать! Лёвка с Порфилкой задумку свою перестроили. И вот...

С робостью шла Калиска вдоль поленницы, мимо зарода сена, за которым хоронился Порфилка, прошла весь двор и замерла возле дверей хлевушки. Входить было боязно. «В новогоднюю полночь черти повсюду кишмя кишат: в колдовстве, в ворожбе пособничают», — говорила ей мачеха. Манефка — противная морда, не захотела пойти вместе с ней.

Калиска нащупала щеколду-защёлку. Она была всё же высокая девка, а вход в хлевушку был низкий. С замиранием души шагнула она в затхлую темноту.

Как слепая, она протянула вперёд руки, нагнулась, нашаривая кудрявую мягкую шерсть овец. Овцы дышали где-то в другом углу, дальше, и ей надо было ступить в глубину хлева, запустить пальцы в шерсть, вырвать клочок и бежать, чтобы после на свету рассмотреть, какая она, шерсть: серая, чёрная, белая?

Калиска сделала шаг, и рука её вдруг коснулась чего-то холодного, скользкого, гладкого и дрожащего. Ужас охватил её всю. Она и закричать не могла от страха, она кинулась к выходу, забыв пригнуться, и врезалась головой в верхний косяк. Упала, как захлестнулась.

Лёвка сгрёб в охапку одежду, пимы и голый, в одних носках припустил по снегу к дому. Так бежал, что Порфилка угнаться за ним не мог. В сенцах своей избы Лёвка быстро оделся и, синый весь, перепуганный ввалился домой. За ним Порфилка.

— Черти вас напугали, ли чо ли? — спросила Анна.

---

За столом резались в карты, было сильно накурено, накопила коптюшка, под потолком плавал угарный чад.

Лёвка с Порфилкой залезли на полати. Порфилка допытывался подробностей, а брат молчал. Он представлял себе, как девка раскроила об острый косяк лоб, как обеспамятовала, лежит на соломе, её обнюхивают, лижут овцы. Иман фыркает и трясёт над ней рогатой башкой... Так пробежит час, другой, Калыску хватятся дома, побегут искать, найдут, а она уже мёртвая.

Жалость пересилила страх перед Иваном Засипатычем.

Лёвка спустился с полатей и, когда отец заворчал: «Чо вы бесперечь носитесь?» — ответил: «Брюхо чего-то пучит...».

## 10

Нигде так не было хорошо и забавно жить, как зимой на Усть-Ямах.

Максим всё реже теперь вспоминает Пыжино, хотя и туда ему хочется: там у него остались друзья.

В Пыжино он хотел бы появиться неожиданно: этак подкатить на санях, пройтись по улице козырем, подвернув уши на шапке, пощеголять в пимах, в новой чёрной фуфайке — посмотрели бы на него Манефка, Пантиска, бабка Варвара, дядя Анфим. И дяде Андрону он бы хотел показаться, но дядя Андрон совсем далеко отсюда, только письма им присылает и к весне обещается в отпуск. И штаны сшили Максиму новые, простежённые. Мать ругалась ещё, что много ушло материалу: вырос Максим. В штанах два кармана, как у больших. Теперь у Максима дяди-Андронов подарок всегда при себе — ножик немецкий с зелёной костяной ручкой. На этот ножик уже многие зарились, и взрослые дядьки продать просили, да разве он кому этот ножик продаст? Да ни за какие деньги!

Разбогатели они, Сараевы. И откуда у матери столько всего взялось? Говорит, что это они с Максимом заработали... Конечно, даром, что ли, мантулят они, покоя не зная?

Народу зимой на Усть-Ямах полным-полно, особенно утром, когда лесорубы коней запрягать идут. Мгла холодная над тайгой, над сорами. И река, и всё кругом изъезжено, избито копытами: от полозьев дорога санная, по которой лес возят, блестит, как маслом намазанная. Фыркают, разминаются кони, скрипят волокуши, подсанки: от хомутовки конюхи тащат тёплые хомуты; воробьи прыгают по колодам-кормушкам; от свежих конских кругляков пар поднимается.



---

Лесорубы смешались, одеты все одинаково: в стежёные брюки, ватники, на головах шапки с опущенными ушами, шеи вязаными шарфами обмотаны. Все курят, бранятся негромко, и не сразу поймёшь, где мужики, где бабы.

Вот тётку Катю — где её узнаешь? Что мужик, что она. И походка, и голос, и лицо — всё почти что мужицкое. Не видел бы её никогда — не сказал бы, что это баба...

В бараке, вечером, когда тётка Катя разденется, когда волосы свои чёрные по спине распустит, заплетаться начнёт — тогда видно, что это женщина. И вздыхает она и охает, когда мать ей ворожит.

Мать опять ей ворожит...

На Усть-Ямах Максим первый раз в жизни увидел кино.

Кино привезли к Новому году. На толстой и длинной лавке привернули, как мясорубку, «динаму». Два парня крутили «динаму» попеременно: за это им было кино бесплатно. Максима тоже пустили смотреть: надоел он киномеханику, обещал ему в другой раз серы лиственничной наколупать — для жвачки. И «динаму» Максим вызвался крутить. Попробовал, изо всех сил старался — вспотел, устал и заспотыкался. Свет на стене мерк, и лесорубы кричали:

— Пошто шалишь? Крути шибче! Прибавь!

От «динами» Максима взашей протурили, и он обрадовался: теперь он хоть всё кино посмотрит, а когда крутишь «динаму», то смотреть некогда.

Картина была про войну, и Максим как лёг на полу впереди первых скамеек, так и лежал: не то что пошевелиться, боялся глазом моргнуть. Кино было немое, и механик читал белые надписи вслух. Двигались танки, машины, пушки, наши солдаты гнали фашистов, падали, умирали, но больше, чем наших, падало и умирало врагов. Особенно страшно было, как немцы в какой-то деревне выгнали бабушку с дедушкой на снег, на улицу, убили, а избушку с соломенной крышей сожгли. Потом опять наши пошли наступать, танки попёрли, и один танк вперёд других вырвался. Переваливаясь, взметая снег, танк лез на окопы, из окопов выскакивали скрюченные фашисты, вскидывали вверх автоматы, разевали страшные рты до ушей и валились под гусеницы.

— Так им, стервам, массаж с растиркой! — кто-то выкрикнул радостно, и весь барак загудел, оживился.

Кино и дальше ещё продолжалось, механик-киношник читал белые надписи, Максим хоть и сам мог прочитать, но не читал, боясь пропустить картины. Максим слушал, что читает киношник, и старался запомнить все новые слова. И Мак-

---

сим ещё вспомнил дядю Андрона: ведь дядя Андрон тоже на фронте был. Вспомнил и ждал, что на белой стенке и дядю Андрона покажут. Раз воевал — должны показать.

Но дядю Андрона так и не показали.

С этих пор у Максима не было больше, сильнее желания: кино он мог бы смотреть бесконечно, не спать, не есть. Лежал бы на полу впереди первых скамеек и не вставал бы.

Максим так намозолил глаза киномеханику, что тот понял: бесполезно мальчишку гнать от себя, и посылал его за чем надо и не надо, а Максим из услужливости лоб был готов расшибить. Дружбу с киномехаником он закрепил тем, что натопил ему много розовой лиственничной серы, вытянул серу в трубочку, нарезал кусочками и принёс в бумажке. Пускай киношник серу себе берёт, подарит девкам, бабам, а Максиму за это кино разрешает смотреть.

Какие картины привозят — Максим их все назубок помнит. Ночью его разбудит, спроси, какая картина в каком месяце была, — скажет.

Вот ещё где интересно бывать — в хомутовке: там сбрую шьют для леспромхозовских лошадей. В хомутовке пахнет деготьком, конским потом, дратвами, варом. С гудением топится печка на кирпичах, сделанная из бочки. Печку тоже называют «буржуйка». В хомутовке можно набрать сырмятных ремешков-обрезков, лоскутков кожи, обрывков дратвы, вырезать тёплые стельки из войлока. В хомутовке шорничают мужики тихие, сговорчивые, Максима они не гонят, будто бы даже рады, когда он приходит, спрашивают его. Им, конечно, скучно сидеть одним целый день взаперти.

К весне лесорубы часто начали простывать: дорогу стало расквашивать. Едут, а под санями хлюпает, синенькая водица в бороздах от полозьев змейкою проступает. Пимы промокают — где тут не простывать мужикам. Лесорубы почти через каждого пошли чирьями мучиться. На другого смотреть муторно: понасядут, как грибы-мухоморы, повдоль, поперёк поясницы или по плечам, на лопатках. А то на самом что ни на есть низу — бедному мужику ни сесть, ничего. А иной ещё с шуткою приговаривает: «Чирий-василий, сядь пошире — место просто, сядь девяносто».

И смех и грех. Мужики выдирают шерсть клочками из заячьих шкурок и с мылом на ночь прикладывают, чтобы прорвало. Хорошо ещё лук печёный. Но лук не у каждого есть, а заячьих шкурок у всех хватает — по стенкам над топчанами висят. Петли зимой на зайцев многие ставили. Максим и то ходил, только ему не попадались.

---

К весне поближе кино совсем возить перестали: Максим и ждать устал. Он начал ловить корытом жуланов, синичек. Насторожит корыто, поставит его на ребро, подопрёт коротенькой палочкой, а под корыто сыпнёт овса — для приманки. Длинный шнур из обрывков дратвы уведёт за угол барака. Станут жуланы, синицы овёс клевать, залетят под корыто, он за шнурок дёрнет — корыто захлопнется, и птички в ловушке. Сколько жуланов, синичек Максим переловил. Покажет Егорке, поиграет и выпустит.

В какой-то день привезли с лесосеки тётку Катерину. Лошадь была мокрая, из ноздрей у неё вырывался тяжёлый пар, она хлестала хвостом, подкидывала настёганным задом. Только на лошадь взглянуть, и то скажешь, что недоброе на деяне случилось. Максим со всех ног пустился к бараку, куда подвезли тётку Катю.

Она тихо, шатаясь, вышла из розвальней, правой рукой прижимала к животу левую, несла её в рукаве полушубка с бережью, как запелёнатое больное дитя. Не плакала тётка Катя и не стонала, но с лица показалась Максиму страшная, чёрная. Лоб исхлестали морщины, волосы выбились из-под шапки и от быстрой езды и ветра заиндевели. Катерина морщилась, узкие щели глаз затекли водянистой мутью.

Максиму в эту минуту вспомнилась почему-то весёлая Катерина, пьяная, когда она пела частушки у бабки Варвары и всеми пальцами била по балалайке...

Её завели в барак, помогли снять полушубок, и, когда ей пришлось разгибать левую руку, она люто сверкнула глазами и матерно выругалась.

Максим увидел на рукаве у неё кровь, а вся рука была вялая, посинелая. «Бревном придавило, поди... Грузила на волокуши, оскользнулась, наверно, попала рука между брёвнами. А они вон какие тяжёлые, толстые. Только косточки, поди, хрустнули...»

Прибежала толстая повариха, та, у которой «смех конячий», как говорил тогда Пылосов. Подпёрла повариха косяк у порога и, как захватила ладошкой разинутый рот, так и стояла, выпучив перепуганные глаза.

— Ступай принеси человеку чаю покрепше, погорячей, а я пока лошадь перепрягу, — сказал мужик, что привёз Катерину с деяны.

Он выпряг уставшую лошадь, заложил свежую, помог Катерине снова одеться, и та пошла к выходу, так и не выпив кружку горячего, исходившего паром чая.

Выйдя крадучись из ворот, Лёвка пошёл край дороги по цельному снегу, чтобы скрипом не выдать себя.

Была тишина кругом, в доме Пылосова ярко горел свет. Лёвка подошёл к изгороди, и отсюда ему увиделось, что Калиска сидит у стола, прислонясь к стенке, голова у неё запрокинута, а вокруг суетится, хлопочет маленькая, сжавшаяся тётка Стюра. Стоят поодаль Манефка, отец. У тётки Стюры в руках белая тряпка. «Так и думал: лоб раскроила. Перевязывают... Должно, не сильно зашиблась, сама, поди-ка, очухалась».

Пойти и сказать, что это он учудил сдуру? Хотел пошутить, а вышло... Но Лёвка тут же подумал, что Пыловос зашибёт его, как пойманного налима.

У Пыловосых свет погасили. Чуть успокоенный, Лёвка вернулся домой. Уснуть он долго не мог: с нежностью, жалостью думал о перепуганной насмерть Калиске...

Прошло времени с месяц после этого случая.

Однажды в пыловоской избе на всё Пыжино поднялся крик, шум, беготня. Хлопали двери, бабий пронзительный визг переплетался с мужицким рычаньем. Казалось, в избу залез медведь и громит, перевёртывает в ней всё вверх дном. Сквозь весь этот шум-тарарам можно было разобрать крики Пылосова, что он по миру пустит, разорвёт, уничтожит и вообще — будьте все трижды прокляты! Он не потерпит позора!

Все Мыльжины выставились из сеней, слушали, и никто не решался ничего предпринять: в семейные драки у остяков не заведено было вмешиваться. Но Анна всё же накинула полушалок, сиганула с крыльца, как молодая.

Прибежала обратно бледная, сверкнула на Лёвку глазами.

— Батюшки-матушки, изба ходуном! Сам-то утюжищем по столу грохнул — стол проломил.

Анна чего-то недоговаривала, и Анфим поторопил:

— Чо стряслось-то, скажи ладом?

— Калиска у них брюхатая, вот чо. Мачеха-то её собой заслоняет, а он, отец-то родненький, кулаками трясёт. Приступил к девке, как с ножом к горлу, одно кричит: «Анфимов? Анфимов? Сказывай! Он тебе подолы задирает! Он?». Калиска божится — не он, не Лёвка, а в Сосновке какой-то...

Села Анна на лавку, передохнула.

Лёвка шарился по карманам, будто какую важную вещь потерял и теперь вот найти хотел, и от этого будто сердился, озирался вокруг себя, переступал с места на место подшиты-

---

ми пимами. В карманах Лёвка ничего не нашарил, и вокруг себя ничего не попало ему на глаза. Он пошёл, спотыкаясь, к порогу, шапку молча на голову нахлобучил, а телогрейку забыл или не хотел надевать — так и вышел на мороз в сени.

Анфим повернулся, прошёл к столу, сел, хотел закурить, но отложил кисет — не в карман положил, куда клал всегда, а в сторону. Попросил чаю и долго пил, упершись глазами в выбитый сук на столешнице. И проговорил вдруг, повеселевши:

— Теперича чо жалеть Лёвушку-то? Не он успел, другому досталась, не робше который... Н-ня, вот...

Анфим допил чай, отставил кружку, передумал, пока чай пил, все свои думы и сказал тут слова, которые больше годились Лёвке, чем Анне. Но Лёвки здесь не было, и он сказал их всем, кто был в избе:

— Чай, Иван Засипатыч теперича подобреет: мужик Калискин не сыщется, за Лёвку, поди, отдаст... Теперича ей куда с суразёнком-то? Была бы она остячка, а то же русская.

Анна вздохнула и не ответила ничего.

## 12

В сорок третьем году из Селивейкино вывезли двести тысяч ружейных болванок. В Каргаске дорогое изделие принимала комиссия. Болванки брали из штабелей, оглядывали ровно отпиленные торцы, постукивали, хвалили селивейкинских трудоармейцев.

Гаврила Титыч для виду смущался, прятал свои провалившиеся глаза. Он и оделся для этого случая в спецовку, прожжённую искрами. Торопясь поспеть вперёд комиссии, Гаврила Титыч говорил:

— В нутро, в нутро загляните. Снаружи-то её ветром обвеяло, снаружи она так хорошо не выглядывает, как изнутри: там она белая, ни сердцевинки в ней, ни прожилины.

С десяток ружейных болванок пополам раскололи: чистый и белый скол был у всех, древесина сладковато пахла весной, берёзовым лесом. Многие из комиссии нюхали расколотые болванки, одобрительно говорили:

— Берёза! Дивное дерево всё ж таки: и мёртвая радуется человека. Запах-то какой, а?

В комиссии был районный комиссар на протезе. Он подошёл к Щукотько, спросил в задумчивости: как там Шкарин Андрон поживает? Есть у него, у Щукотько, такой бригадир?

---

Гаврила Титыч смешался сначала: почему это вдруг об Андроне тут вспомнили? Потом руками взмахнул, обрадовался:

— Бригадир — лучше не надо! Правая моя рука... Прихватывает после контузии, говорил ему до больницы съездить, да он отказался...

К весне сорок четвёртого ружейных болванок было уже не двести, а триста тысяч. Огромные штабеля под навесом ждали отправки.

Ружболванку перевозили на паузках, а чаще плотами с подплотками из сухостойного кедра. Торопились не упустить большую воду, иначе речка Чижапка, да и сам Васюган обмелеют: перехватит их чуть ли не поперёк песчаными косами, тогда ни с плотами, ни с баржами не пройти.

Весной сорок четвёртого по Васюгану и васюганским притокам паводок был на редкость низкий. А тут ещё не подали вовремя барж. Баржи курсом на Селивейкино вышли из Каргаска с опозданием и застряли на полпути.

А берега на реках обнажались всё глубже, запестрели жёлтые, белые отмели, течение стало ленивым, еле приметным. Постоянно держалось ведро: ровно светило солнце, дни были в меру жаркие. Не парило, не собирались на небе тучи, и дождей, которые бы подняли воду, не ожидалось.

Ясное, чистое было небо, но чёрные тучи собирались над головой Гаврилы Титыча: уже истекли все сроки поставки ружейной болванки, а ещё не было вывезено ни одной штуки. Гаврила Титыч понимал, какая гроза может над ним разразиться, и метался, не зная, с чего начать, в какую сторону кинуться. Станут копать — вину его сразу докажут: занялся переброской складов из Ерёмينو в Селивейкино, засуетился и в нужный момент, загодя, не подал заявку в управление малых рек. А там, в управлении, откуда им знать, готов Щукотько к перевозке или не готов. Дитя не плачет — мать не понимает... Теперь он шумел, торопил, сам к баржам ездил, но всё напрасно: суда стоят, и нет им ходу по такой малой воде.

И плоты с подплотками из сухостойного кедра тоже сейчас не годились. О плотях Гаврила Титыч уже какой раз заикается, да бригадир Андрон и все в голос: «Плоты посадим, нельзя плотами».

Мечется, крутится Гаврила Титыч, и так был тощей, а тут совсем от забот, от переживаний на нет сошёл: штаны сползают, хоть гвоздём прибивай. Поглядел бы сейчас на Щукотько бакенщик Маковой Зублев, помотал бы своей бородищей белёной и мог бы не только что подумать, а вслух сказать:

---

«Ты теперь вроде как заяц в петле: будешь вертеться вокруг осины, покедова не задушишься».

Сидел раз Щукотько на берегу, на самом что ни на есть солнцепёке, глядел на жёлто-белую пестроту отмелей по Чижапке, и голова его сама собой никла, подкашивалась на исхудавшей шее. Подошли к нему сзади Андрон Шкарин с тещиком Левонтием Типсиным.

— Сидим, глядим, думу думаем, — проговорил с укором Андрон.

Щукотько резко оборотился, обшарил их лица глазами, будто узнать торопился: не с новостью ли какой пришли? Думалось всё, надеялось: вдруг придёт она, новость, задумка, вдруг кто спасительную мыслишку подаст.

— Что скажете? — спросил Гаврила Титыч.

— Чо сказать, когда нечего, — повёл плечами Левонтий. — Пырסקали, пырסקали — воду пропырסקали.

— Это я уже слышал, — недобро сощурился Щукотько. — Зачем балоболить о том, что и без вас дураку ясно?

— Ладно, — сказал Андрон, — препираться не время. Есть у нас предложение: неводниками, на лодках ружболванку перевозить.

— Да ты обалдел? — изумился Щукотько. — Ты только себе представь, сколько мы дней так пулькаться будем?

— Долго, конечно, но другого, чем бы нам выручиться, не вижу.

Щукотько соображал, склонившись, нашёптывал, что-то подсчитывал.

— Нет, краса моя, не получается: триста тысяч болванок настругано, на неводник больше тыщи не погрузить... Неводник гнать сто вёрст туда да столько же по течению вверх... Так всё лето и будем пулькаться.

— Другого выхода нету, — осердился Левонтий. — Мы с Андроном уж всяко мараковали.

Гаврила Титыч вскочил, будто его шилом ширнули:

— Дурни мы, вот дурни! Ведь есть же способ всю партию сплавить, всю до единой болванки!

И сразу он стал надутым и важным: «Думали вы, шурупили, а что придумали? Пшик от ваших придумок остался. И я тут с вами, бестолочами, измучился. Эх, такой простой мысли сразу в голову взять не могли».

— Ружболванку мы пустим молем.

— Безумное дело хочешь затеять, Гаврила Титыч, — протёр казанками измученные глаза Левонтий.



---

— Модем она не пойдёт, — поддержал Левонтия Шкарин, взглядываясь сухими глазами в крутой изгиб реки сразу за ровным прямым плёсом.

— Пойдёт. Ещё как пойдёт! День — на Васюгане, три — у Каргаска. А там закошелить, бонами перекрыть. И выгружай на берег, дай ей обсохнуть, потом на баржи и — фьють! — прямиком на заводы.

Андрон слушал, потирал нос и не соглашался:

— На словах оно так, на деле иначе выйдет... Вот глянь сюда: пока ровное плёсо — болванка плывёт, верно што, как гусь: чего ей не плыть — сухой да лёгкой? А дальше — затор, на поворотах её сгрудит, прижмёт, понатурит в заводи. И будет она там крутиться, как добро в проруби. Я так считаю.

— А как же ещё считать? — подтвердил и Левонтий. — Всё так и выйдет.

Щукотько задумался: вроде резонно говорят мужики. Но уж слишком заманчивой казалась ему пришедшая мысль: по крайней мере, молевой сплав решал дело разом.

— Попытка не пытка! — Он рассмеялся, толкнул Андрона в плечо — тот пошатнулся даже. — Не страшай, бондарь, бабу... — и прибавил матерщинную присказку.

— Это верно ты сказываешь — про бабу, — смахнул ладонью улыбочку с губ Левонтий. — Но про сплав мы дело тебе говорим. Неводниками хошь долго, да верно.

— Я в леспромхозе работал и толк в сплавных делах понимаю, — упёрся Щукотько. — Всё, болтовню побоку. Кликайте живо народ, начинаем болванку подтаскивать к берегу.

На этом они и кончили толковать. Только Андрон Шкарин заметил:

— Ты начальник, тебе перед миром ответ держать...

Шло начало июня, жара только входила в силу, но Андрона уже одолевала слабость: после контузии и ранения он легче переносил зиму, чем лето. Зимой его лишь временами пошатывало, кидалась в глаза больная резь, пестрота от мелькания, кружения множества красных, синих, зелёных точек. От этого обносило голову, и он, если успевал, опускался под дерево и так сидел, пока головокружение не проходило. Бывало и хуже — когда он упал под мешком на берегу Чижапки. А потом повторилось с ним это на циркулярке, где он пошатнулся и чуть не угодил под пилу... И всё же зимой он чувствовал себя здоровее. В жару его расслабляло почти до бессилия...

Вот и понесло, подхватило болванку небыстрым течением Чижапки. За короткое время в воду посбрасывали все зимние

---

заготовки. Триста тысяч болванок покрыли реку от берега к берегу — блестели на солнце смоченные торцы.

— Видал — пошла! — взбодрился Щукотько. — Гусем идёт. Пять дней — и держи её на Усть-Васюгане.

— Посмотрим, — недоверчиво покачал головой Левонтий. — Этот бы «гусь» да на мель не сел.

Чтобы не застревала болванка на поворотах, не сбивалась в заводях, не лезла на мель-пески, Гаврила Титыч снарядил все лодки, какие были у них в Селивейкино, посадил на лодки народ: «Поезжайте следом, расчищайте заторы, гоните болванку по Чижапке на Васюган, по Васюгану в Обь». Перед отплытием Щукотько выдал всем по стакану водки, которая осталась ещё от майских праздников. Это было не лишним, потому что за первым же плёсом все набродились так, что нитки сухой не было. Болванку толкали шестами, распикивали, а она вертелась, крутилась, как сор на воде: его веслом, он за веслом.

Умаялись. По берегам в черёмушнике, калиннике дрозды-пересмешники надрывались в весёлом крике, синицы порхали, разные птицы. На все голоса заливались они, будто смеялись над чужаками людьми.

И Гаврила Титыч уже прикидывает: один поворот столько времени отнял, а таких поворотов по Чижапке, по Васюгану не перечесть. Не зря мужики ему толковали.

## 13

Миновал день, третий, неделя, а извилистому васюганскому черноводью конца не видно. Щукотько на той лодке, где Андрон Шкарин с Левонтием Типсиным. Щукотько вместе с ними мозоли кровавые натирает, только видит: пустое дело затеял, не послушался, махнул сгоряча. Да теперь ружболванку на берег обратно не вытащишь: по всей реке на километр, поди, растянулась.

Когда проносило их мимо Ерёмино, Щукотько с лодки башку на яр задирает: вон магазин, вон склады, вон дом Махотских. Нет больше Дейки там, увёз её мужик далеко отсюда. Дом, огород оставил. Увёз, чтобы забыть обо всём и не вспоминать больше.

А на реку кругом и не смотреть лучше: перед глазами болванка, как моль, мельтешит, за коряжник цепляется, за кусты, что в воде. На мель, на пески лезет — не успеваешь сбрасы-

---

вать. Но страшнее всего, когда в заводях, в водоворотах под крутоярем сплошной шапкой она сбивается: часы уходят, пока протолкаешь её, дальше вниз по реке пустишь.

— Сколько мы с ней проваландаемся? — охрипшим от крика голосом говорит Щукотько. — Что же делать нам, а?

Левонтий положил на раздвинутые колени шест, скручивает сигарку, пальцы не слушаются его — просыпают махорку.

А Гаврила Титыч своё:

— Как же нам быть теперь, мужики?

Андрон Шкарин всё больше молчком. Усталость его пошатывает, Левонтий с него глаз не спускает: больной человек, кабы не случилось что, не ровён час. Сегодня перед закатом солнца, на пятнадцатый день их мытарств, Андрон тихо вынул из ножен нож, выловил за бортом болванку, упер её в днище лодки и принялся стругать. И чем дольше стругал, тем сильнее мрачнел. Бросил настроганную болванку, ещё вытащил из воды несколько — все их перестругал. Закусил губы.

Щукотько с кормы по сторонам смотрел — невдомёк ему было, к чему это Андрон болванки стругает. Так, наверно, от нечего делать, потому что выдался длинный плёс по Васюгану, можно шесты опустить, передохнуть спокойно. Но голос Андрона, воспалённый, как после болезни, заставил его оглянуться:

— От воды и жары почернела. Такая болванка теперь никому не нужна: из такой топорщица не выстругаешь, не то что ложу к винтовке.

Щукотько с кормового сиденья стал на колени, подполз к Андрону, начал стружки перебирать, перекидывать заструганые болванки. Глаза его расщелились, были испуганные.

Левонтий заговорил с презрением:

— Допулькались... За что зиму морозились, хребтину ломали? За что вторую неделю не жрамши, не спамши воду мутим?

Гаврила Титыч поднялся, расставил покрепче ноги, и голос его, жёсткий, как осока, обрезал:

— Замолчь!

— Не гаркай, — спокойно сказал здоровяк Левонтий Типсин, и Гаврила Титыч понял, что с этим спокойным «не гаркай» власть его здесь раз навсегда кончилась и сам он больше теперь никто.

Щукотько забылся в отчаянье; сидел, опустив руки, пока не кончился длинный плёс и не показался на песчаном берегу Наунак — полуостяцкий, полурусский посёлок. Только тут он стал всматриваться в дома, в дорогу, которая поднималась

---

по извозу в посёлок. И посёлок, и эта дорога напомнили ему тот ушедший в прошлое год, когда взбунтовались на Жёлтом Яру смолокуры, раздели и среди зимы на погибель пустили Пылосова на одичавшей лошади.

В эту ночь не было звёзд, не было месяца: по небу разбрелись клочковатые тучки, они сгустили темноту и разродились к полуночи дождём. Поднялся встречный ветер, стрежь реки напружинилась, натянулась и вздыбилась невидимыми во тьме волнами. Среди плотного крошева болванок шли лодки, к бортам их накатывались валы, деревянно стучали в обшивку болванки, вода от дождя пузырилась, шипела, а вокруг ни огня, ни светлячка: мокрая тьма подступала к колючим, щетинистым лицам. Люди ёжились в жухлых дождевиках, подбирали под себя ноги. Долго кто-нибудь чиркает отсыревшей спичкой о коробок, засветится слабенький, как без души, огонёк, вздрогнет и умрёт тут же. Замаячит во тьме красный, трахомный глазок самокрутки, раскалится от сильной затяжки и вдруг зашипит, померкнет: хлестнуло каплей дождя.

По берегам кусты шуршат, клонятся по ветру осинники, березняки, а за ними гулко ропщет тайга — расстоналась, сердится. Иногда над рекой прорывается чей-нибудь голос:

— Лева держи!

Лодка, где были Щукотько, Левонтий, Андрон, жалась к правому берегу, к круче. Остальные лодки шли в русле, одна под тем берегом. Под правобережьем течение на Васюгане бойкое. Днём видно, как чёрная вода скользит по кромке коричневой глины, вспарывается на корягах, заломинах, плещется и проносится дальше. Ночью же, когда нет ни луны и ни звёзд, — на реке всё черно, не различить берега, и не знаешь, куда тебя тащит, в какую протоку.

— Бойся! Ложись!

Лодку затащило течением под нависшую над водой сухостоину, острые сучья пробороздили по спинам, сорвали с Левонтия кепку. Он повернулся к Андрону, чтобы сказать ему что-то, но неожиданно новый удар сбил его с ног на ребристое дно. Левонтий Типсин простонал, невнятно выругался. Лодка ударилась носом о корневище какого-то дерева, крякнула, скрипуче отозвалась всеми швами, заклёпками. Носом она ещё держалась в лапах-корнях, а кормой разворачивалась на стрежень.

Андрон — он задремал было под шорох дождя — выпростал ноги из-под дождевика, вскочил, схватился двумя руками за шест. Его покачнуло, он выронил шест, поймался за

---

борт, оттолкнулся с усилием. Ему показалось, что Левонтий за борт свалился.

— Левонтий? Где ты, Левонтий?! — крикнул Андрон, вглядываясь в мокрую, пляшущую черноту.

Ему ответил Щукотько:

— Здесь он, в лодке. Садись! — Щукотько отплёвывался не то от воды, не то от крови. — Нас приглушило с Левонтием.

Голова у Андрона кружилась, он с трудом удерживал равновесие. Ему бы так и сидеть, держаться покрепче за борт, а он поднялся, хотел шестом лодку выправить. И в эту минуту лодку опять обо что-то сильно ударило. Мысли Андрона помутились, глаза совсем залепило тьмой. Он пошатнулся, подогнулись колени. И Щукотько сквозь ветер и дождь ясно слышал всплеск от упавшего в воду тела...

— Андрон! Левонтий! Левонтий... Да очнись же ты... — Гаврила Титыч дёрнул на себя ничком лежащего Левонтия — затрещала спецовка, но Левонтий не шевелился. Щукотько на колених докарабкался до середины лодки. — Без ножа ты меня зарезал, Андрон-он!

В борта дощаника волны стучались бесчувственным, деревянным стуком ружейных болванок...

## 14

Когда всё открылось Ивану Засипатычу, он готов был убить беспутную свою дочь: приподнять и об пол шмякнуть, чтобы сразу же дух вон. Но Стюрка загородила собой Калиску, с такой рьяностью защищала, будто она ей в самом деле дитя родное, а не какая-то падчерица.

Смягчило Ивана Засипатыча и то ещё, что виновником был не Анфимов Лёвка, полукровка-остяк, а сосновский парень... Калиска призналась, кто — Ларька Типсин, охотник. Левонтий Типсин Пылосоу был хорошо знаком: этого мужика великанского роста он помнил ещё по тем временам, когда Левонтий рыбачил на стрежевом песке. Рыбачил, но потом почему-то рыбацкое дело бросил, переехал в Сосновку и стал там плотничать. Сына же его, Ларьку, Иван Засипатыч не знал.

«Не знаю, так надо узнать. Пойду по горячим следам, пойду и скажу!»

Иван Засипатыч скажет. Он скажет! Пылосова в таких делах не учи.

---

И, кроме этих дум и забот, никакие другие заботы и думы на ум Ивану Засипатычу не шли. С ними он и отправился в Сосновку.

Остановился Пылосов у своего тестя Гаврилы Гонохова. Стюркин отец совсем захирел: и видит плохо, и слышит неважно, но гостю обрадовался. Иван Засипатыч принёс ему кое-что из харчей, старик принял подарки, отнёс их в ларь, чай вскипятил, за стол сели.

Пылосов развесил у печки сушиться онучи, носки вязаные — намок дорогой. Сидел босой, спрятав уродливые свои ноги под стол, пил чай и думал: «Как бы спросить поудобнее про Калиску, про то, как жила она здесь прошлое лето в августе?». Эти мысли его разозлили. Он потёр кулаком лысину, высморкался в платок. «Как жила? Как жила — уже знаем, повторять нечего... Про этого парня выпросить надо».

— Далеко от тебя Типсин Левонтий живёт? — спросил он тестя, разгрызая кусочек сахара.

— На том краю, — сказал Гаврила Гонохов, прикладывая к глазам тряпочку.

Пылосов пожалел тестя: одинокий, больной, детей сколько вон схоронил, а какие остались — тех жизнь по разным концам расшвыряла.

— От меня, почитай, с версту, Левонтий-то, — уточнил старик, позёвывая. — Село у нас — одна улица: идёшь, идёшь, да и дурно.

— Левонтий у них на войне али как?

— В трудармии. По Чижапке в березняках ружболванку колют.

— А-аа, про это я знаю, — разинул рот Иван Засипатыч и вытер масло с жёлтого подбородка.

— А ты к нему как, по делу?

— Я не к нему, отец. К нему бы, конечно, больше с руки, да раз его нету... Сын у него какой, Ларька?

— Удачник: охотничает от «Сибпушнины». Добывает много, хорошо отоваривают. Себя кормит и семейство всё.

Опять на Ивана Засипатыча нахлынуло раздражение: говорит старик как ни в чём не бывало, будто не видел, как тут Калиска с этим Ларькой хороводилась. «Отослал тогда дочь от беды на беду... А может, всё это ещё добром обернётся? Старик не знает, сказать надо».

— Такое вот дело, отец: Калиска от Ларьки дитя понесла.

Красные, изъеденные болезнью глаза тестя ослезились, замерли на лице Ивана Засипатыча.

---

— Да Бог с тобой! Жила она тут у меня, шарaborилась с ним, было дело. В их-то годы чего? А до крайности чтобы дойти... не подумал бы.

Положил на столешницу Иван Засипатыч лапы, уперся ими и встал.

— Пойду до них... Ларька-то дома?

— Нету, кажись... Кажись, где-то берлогу нашли, за смолокурным, так бригадой ушли заламывать.

Пылосов постоял с наклонённой головой.

— Ишь ты, и на медведя ходит? — А про себя подумал: «Такому девку чего не смять».

Дома у Типсиных пришлось называть себя, долго, издалика объяснять белолицей, юркой, растрёпанной бабе — матери Ларьки, — зачем он пришёл сюда. Она сухо всплеснула ладонями.

— Мой Ларька? Да кады ему с девками нюхаться? Кады любви крутить? Он в тайге пропадает. Один он у нас дома кормилец.

Пылосов сроду не вёл таких разговоров: было ему унизительно, больно, но он побеждал в себе гордость, потому что надеялся: «Баба выслушает, повздыхает, как это за ними водится, и на мою сторону станет». А она, эта растрёпанная, белолицая баба, отмела все слова его, отмела, как золу, как пыль с припечка. Пылосов чувствовал, что наливается гневом, кровью, что ещё один шаг, и он будет махать кулаками. Но опыт прожитых лет подсказывал ему, что этим он ничего не возьмёт.

«Дело сурьёзное: не картошка, не шишка кедровая — кулаком не раскрошишь».

— Дочь сказывала — зовут его Ларькой, — продохнул Иван Засипатыч.

— Да мало ли Ларек у нас по деревне-то кобелятся? — тоже начала сокрушаться жена Левонтия. — Понарастали, мужиков да взрослых парней война отняла, по всем городам-деревням подчистила. Вот подростки заместо них и управляют. — Она улыбнулась крадучись, в сторону. И, спохватившись, добавила: — Но с вашей девахой не мой Ларька был, не мой.

— Ваш, Ларька Типсин... Не в бреду, в здравом уме говорила.

Иван Засипатыч сказал эти слова внушительно, но и достаточно мягко: сказал, как на стол положил. Баба Левонтия Типсина почесала живот, скомкала горстью фартук, вздохнула и охнула:

— Не знаю. Может, скоро Левонтий вернётся, Ларька с охоты придёт. Моё дело бабье...



---

Пылосов с тем и ушёл. Был он, как волк травленный, но сдержался. Понимал, что понуканием да криками делу тут не помочь. Ждать надо было, ждать...

А Калиска в тяжёлых муках принесла сына.

После того Иван Засипатыч ещё дважды ходил в Сосновку, но опять у Типсиных, кроме упрямой, шумливой хозяйки и младших детей, никого не было. Самого Левонтия в это время Щукотько гнал сплавлять по Чижапке болванку, а Ларька прятался.

А в Пыжино к мрачному Пылосову подступал, как с ножом к горлу, сосед Анфим Мыльжин со своим Лёвкой.

После Калискиных родов, дней через двадцать, как пронесло шугу, Анфим отправился со старшими сыновьями на Осиновый остров искать подходящее дерево для нового обласка. Загнав лодки в тальник и выйдя на полузатопленный берег, они услышали стук топора. Пройдя немного, остяк увидел Пылосова: короткими ударами тот скалывал кору с толстого осокоря. Изредка он промахивался, и тогда красноватые крошки балберы брызгали, осыпались на влажную землю.

— Однако, думаю, старые сети сосед переставить хочет? Балберку на наплывы тешет, — сказал с весёлым покриком Анфим, останавливаясь в стороне. Позади него переминались Лёвка с Порфилкой.

Пылосов сильно вонзил топор в осокорь, глянул на остяка с досадою: дескать, эх, не мешал бы ты мне — без тебя тошно!

— Дели достал, бредешок саженой на восемь налажу, — проговорил, как великое одолжение сделал, Иван Засипатыч.

И за топор опять взялся, потому что чуял: снова затеет Анфим старые разговоры. А на старые разговоры у Ивана Засипатыча нет другого ответа.

Анфим сел на колодину, по бокам от него уселись и сыновья. Анфим полез за кисетом, и это окончательно убедило Пылосова, что старой песни не миновать. Попусту Анфим не стал бы садиться да лясы точить, занимать человека досужими разговорами.

Злясь на всё это, Иван Засипатыч отдирает топором кору и старался не обращать на Анфима внимания.

— Якорь его, Иван Засипатыч! — дождался Анфим минуты, когда Пылосов стал собирать балберу в большой рогожный мешок. — Отдай нам дочь! Раз Лёвке моему любитя, раз ему невтерпёж без неё, пошто супротивничать? Без мужика ей тоже какая будет жисть, сам рассуди.

---

Иван Засипатыч обозлённо запикивал кору в мешок — уже толкать было некуда, и так торчали толстые, слойчатые осокорины, а он всё пихал, утрясая рогожу.

Анфим щёлкой зыркнул на Лёвку: тот прикуривал вторую уже самокрутку от Порфилкиного «бычка». Глаза его были сощурены так, что казались закрытыми. «Исхудал, как собака глиставая», — подумал о сыне Анфим.

Отец боится за Лёвку. Если думы о бабе в башке застряли, если они по ночам спать не дают, на рыбалку и на охоту, как тень, за тобой тащатся, — худо, выходит, дело. Ни кулаком, ни плетью дум этих не выбьешь. Одно остаётся — женить сына.

Лёвка уже большой, поперёк лавки его не положишь. Он как-то сказал отцу: «Уйду из дому в соседние юрты — в Тюхтерево». Анфим ухватил его за руку, да Лёвка как дёрнется, так чуть отца с ног не свалил... «Обалдел он от этой девки. Женить, женить, а то ни работы не будет, ни сладу». Не для того Анфим на старость растил помощников, чтобы они в соседние юрты бегали, в Тюхтерево...

— Загуляли бы к осени, а? Лёвка бы перед гоном сохатого добыл, жирного. Бражки бочонок поставили бы. Ну, чо ты, Иван Засипатыч?

Искренность Анфимовых слов подкупала Пылосова, но не лежала душа у него к остяцкому парню. Не лежала душа, а против души он идти не хотел. Да и что было тут рассуждать? Уж если Калиска, не спросясь его, сураза нагуляла, то будет ли она спрашивать, за кого выходить ей замуж? Эта мысль показалась ему удобной для отговорки. Иван Засипатыч подошёл к остякам, тоже присел, притулился к колодине.

— Дай огоньку, — попросил у Анфима, — спички дома забыл... Забывчивый стал... Ты говоришь — замуж. Замуж силком не вытолкаешь. Любит она того ветродуя, и ништо ты с ней не поделаешь. Дитя она кормит. Начни её гнать-неволить...

Запыхтел Анфим, заворочался. Трубку свою докурил, а новую набивать не к чему было: беседа кончилась. И, крякнув, поднялся, а следом за ним и Лёвка с Порфилкой. Лёвка острый топор с руки на руку перебросил, глаза его сильно под лоб ушли, будто Лёвка увидеть хотел свои чёрные брови — сдвинутые, сердитые. «А ведь так ничего парень, — подумал Иван Засипатыч, — как-то раньше к нему не присматривался...»

Иван Засипатыч посидел ещё на валежине и поднялся, когда слышал частый перестук топоров: Мыльжины за кустами рубили облюбленный осокорь.

---

Балберы Пылосов наколол, натесал; больше ему на Осиновом острове нечего было делать. Иван Засипатыч спихнул на воду свой пузатый, с бортовыми нашивками, обласок, оттолкнулся веслом и поплыл, загребая не часто, но сильно, упруго. Он был тяжёл, Иван Засипатыч, и от этого нос у обласка задрался высоко: до половины почти оголилось днище. Корма загрузла.

Так вот, негромко взмахивая веслом, он миновал обскую протоку — серую воду, и въехал в неширокое устье Пыжинки, попав из серой воды в торфяную, коричневую.

По берегу, со стороны Дергачей, шёл человек. Когда человек поравнялся, Иван Засипатыч, приложив ладонь козырьком и близоруко сощурился, увидел, что это женщина. «Кто же она, откуда?» Иван Засипатыч подосадовал на свои глаза: вроде и баба знакомая, а он разглядеть не может.

Пылосов так и ехал какое-то время, держа весло в одной руке и загребая им, словно балуясь, а другую руку не отрывал от глаз. «Кто же такая, откуда? Вот одолел меня зуд!» Ему подумалось, уж не баба ли это Левонтия Типсина, Ларькина мать? «Нет, кто о чём, а вшивый о бане... За какой ей холерой сюда переться? Если бы у неё был не Ларька, а Манька, и если бы эта Манька ей сураза принесла, тогда бы она забегала. А то ей — што? Парень, мужик... А дело мужицкое не рожать...» Иван Засипатыч ядовитенько усмехнулся — сам над собой. И жалко себя ему стало.

А баба на берегу повернула к реке, спрыгнула с бугорка, зашла в осоку, которая достигала ей до подола юбки, коряво вскричала:

— Здравствуй-ка! Глаза сломашь, как пялишься! Подворачивай — забери. Я тебе новостей на скажу.

И Пылосов по голосу тут же узнал: «Да это же Катерина!».

Он принял её в обласок. Она уселась, и нос лодки сразу прижало к воде.

— Ну, как рука твоя, Катерина?

Кожа на скулах у Катерины дрогнула, от губ поползли полукольцами складки. Трудно было понять — улыбается или кривится? От Катерины пахло больницей, лекарствами. Этот запах Пылосову был неприятен: вспомнилось тут своё, далекое, когда он валялся с обмороженными ногами.

— Рука ухватом — срослась неровно, — сплюнула сквозь щербинку в зубах Катерина.

— Долго тебя держали. Это сколько же дней?

— Двенадцать недель, чо ли...

— И всё с рукой?

---

— Болесь пристала ишшо, желтуха.

— Поди ж ты, всё в одночасье. Этак бывает.. Куда ты теперь?

— Дома покуль посижу, а после опять в леспромхоз...

— Ты прямо из Каргаска сейчас?

— Оттуда... Там твой знакомый один меня разыскал — пыжинский нужен ему человек был. Переказывал тебя повидать и сказать, што его больше нет на том месте.

— Как нет? Помирать он собрался, што ли?

— Засыпался он, так вроде...

— Да кто же такой, скажи-ка путём? — Иван Засипатыч грести перестал.

— Греби, греби, а то назад понесёт. — Катерина поморщилась, сгибая и разгибая покалеченную руку.

— Щукотько? — выкрикнул Пылосов и так принялся грести, что захрипела вода под веслом. «Зашился! Теперь и меня, будь ты проклят, потащит...»

— Что ж с ним, сердешным, случилось? — Иван Засипатыч с трудом заставил себя улыбнуться.

— Я не допытывалась, — угрюмо отозвалась Катерина. — Ходят, однако, слухи по Каргаску, што он ружболванку всю погубил. Река обмелела, баржи застряли. Болванку модем пустил — почернела болванка... Андрона Шкарина утопил, башка беспутная!

— Да разъязви тебя! — испугался Иван Засипатыч. — И как угораздило, туды его растуды?

Худое плоское лицо Катерины было озарено солнцем, но сидела она задумчивая, бессловесная, изредка — видать, уже по привычке — прикасаясь к кривой руке другой, здоровой. Пылосов не спрашивал её ни о чём больше и тоже сидел весь остаток пути молча, пока они не приехали.

— Ну, вылезаем. — Он воткнул весло в илистое дно, придержал обласок, чтобы Катерине было удобнее выйти.

Катерина ступила на берег и пошла, не оглядываясь, на ходу поправляя юбку и кофту; к ней подбежала чья-то собака, натопорщила уши, гавкнула, отпрянула в сторону и, узнав, завильяла хвостом.

«Что же с ним будет теперь? — подумал Пылосов о Щукотько, выбрасывая на берег рогожный мешок с балберой. — Срока не миновать, или отправят в штрафную роту».

— Калиска! — крикнул он, увидев, что дочь его сходит с вёдрами под гору.

Она остановилась — полногрудая, растолстевшая. Старое девичье платье было туго натянуто в талии, подол впе-

---

реди поднимался, открывая колени с круглыми чашечками. На коромысле покачивались, точно всхлипывая, пустые ведра.

— Чего тебе, тятя? — спросила, выжидая, Калиска.

— Да так я... Забыл уж, чего хотел, — отвернулся Иван Засипатыч и пошагал к дому.

Калиска подумала, что отец сегодня какой-то странный.

## 15

О смерти Андрона Арина узнала на Шестом, куда опять перебросили стадо: уж больно хорошие пастбища были там. Эту весть ей принёс дед Зиновий, который зачем-то ходил на Усть-Ямы. Лицо её сделалось глупым, растерянным. Она стояла с обломанной хворостиной у свиного загона — вот только только пригнали они с Максимом стадо. Стояла против закрытых ворот, в колени её уросливо тыкался носом Егорка, мать взяла его на руки, прижала к себе, бессознательно приговаривая:

— Ах ты, горе моё, наказание моё... Заели мошки Егорушку...

Егорка взял её щёки в мягкие маленькие ладони.

— Мама, — пожаловался Егорка, — а Максим мне нозысек не даёт.

Максим прильнул головой к боку деда Зиновия, вертел в руках немецкий складень с костяной ручкой и вспоминал то утро, когда дядя Андрон сидел за столом и пил чай. Мать подавала ему — весёлая, добрая. Дядя Андрон тогда улыбался Максиму, подозвал и протянул ножик. «Немецкий. Ножи они делать умеют, гады». Бондарь всегда жалел его и любил... И вот говорят, что дяди Андрона нет, утонул в Васюгане-реке. «Да как же он мог утонуть? Да как же поверишь, что нету дяди Андрона?»

— Мама, — сказал Максим, — про дядю Андрона врут. Может, и утонул кто, только не дядя Андрон.

— Да, сыночка, да, милый, не может Господь одних людей всё время наказывать...

Она опустила Егорку на землю: вся бледная, как будто её мучила тошнота.

— И не нашли? Не поймали?

— Так я слышал, Арина... Можя, теперь и нашли. Можя, и во все канул... Ты, Арина, поплачь, — проговорил старик, видя,

---

как сжалась вся и душит слёзы в себе Арина. — Поплачь да утешься.

Но Арина не плакала — пустыми глазами смотрела на реку, где клубились по берегам зелёные кустики, розовел иванчай. За зелёными кустиками лес начинался — ёлки, кедёрки, сосны, а над ёлками и кедёрками высоко-высоко поднимались выбеленные сухостоины. За ними летом всегда зажигались зори, вставало солнце, если на небе не было туч.

Солнце уходило за лес с противоположной от сушин стороны, пряталось за вершины: красный свет его золотой паутиной сеялся в воздухе. Пищали редкие комары, от болот тянуло прохладной сыростью: днями крепко прожаривало и землю, и воздух.

— Догорает денёк, — вздохнул дед Зиновий, закатывая ладонью вихор на Максимкиной голове. — Корова подоена, чай скипятим... Пошлите ко мне гостевать. Эх, рюмочку бы — за упокой души...

Максим стряхнул с головы руку деда Зиновия.

— Не буду! Ни пить, ни есть. Не хочу!

Он побежал трусцой — сверкнули голые пятки.

— Куда ж ты, вернись, — простонала вслед ему мать, взяв за ручонку Егорку.

Она повела его к дому деда Зиновия.

— Придёт, — успокоил Арину старик, — придёт, болезный...

На берегу Максим срубил краснопрутник и стал вырезать на его коре звёздочки. Потом ему надоело вырезать звёздочки, и он начал сердито и как попало стругать прут. В воду летели красные крошки коры, кружились на месте и медленно уплывали. Он весь прут исстругал и палец порезал. Хлынула кровь, он зажал рану в кулак, а кровь всё равно текла, но ему было не больно.

Торчал ножик, воткнутой в песок, пересвистывались, чивикали птахи, всплёскивались в осоке под берегом щуки. Под коряжиной чуть позвенькивала вода. Ему надоело смотреть на речку, на глинистые её берега. Зажмурился, лёг на спину...

— Ты спишь? — услышал он голос деда Зиновия.

Максим поднялся, сел, прижал колени руками. Дед опустился с ним рядом, засопел ему в ухо: в носу у деда посвистывало.

— Каво зажал в кулаке-то?

— Никого...

— Стало быть, ясно... А пальцы надоть беречь. И голову, и живот, и глаза. Пуще всего — глаза. И есть надоть, когда зовут.

---

Пойдём вечерять. А там поспим да рано утречком сети проверим.

Мальчик молча пошёл за дедом. В песке остался торчать забытый ножик с каплями крови на зелёной костяной ручке.

Чуть свет они ездили проверять сети. Попалось им больше ведра чебаков и две тоненькие щучки-травянки: дед их называл шурагайками.

— Отпустим? — спросил Максим.

— Как бы не так, — ответил Зиновий. — Кидай в обласок — всё не щепка.

Мальчик сказал, что такие слова он уже слышал.

— Слова летают, как ветер, — ответил старик. — Можя, кто от меня перенял, можя, я от кого. Можя, с кем враз придумали...

В середине августа на леспромхозовских свиней напал медведь. Он задрал трёх больших кабанов и подсвинка. Стадо как раз отдыхало возле болота, когда он напал, поэтому так много и жертв было. Максим плохо помнит, как мать убежала с ним и с Егоркой, как гнался за ними торжествующий рёв зверя и храп одичавших свиней.

Стадо перегнали на Осиновый остров, который был на Оби, близко от Пыжино. Мать радовалась: всё ближе к людям; дед Зиновий печалился: опять он один остаётся, теперь уж, наверно, в одиночестве и померёт...

Когда стадо перегоняли на Осиновый остров, остановились на день-другой в Пыжино. Опять же в доме бабки Варвары. Мать стала рассказывать о своей жизни, о медвежьем разбое, а Максим побежал первым делом проведать Пантиску.

Анфимова баба, Анна, мыла полы, уже домывала порог, выжала тряпку, бросила под ноги.

— Вытирай, проходи... А Пантиску отец в Каргасок отвёз, в интернат северный. Учится там...

Радость первой минуты пропала, но мальчик прошёл и сел на знакомую лавку.

— Большой стал Пантиска у вас?

— Подрос, да поменьше тебя. А ты шибко заматерел. За свиньями бегал — развился. Сколькой уж тебе?

— Одиннадцатый, поди-ка...

Анна запихала половую тряпку за чурбан, на котором стояла шайка под умывальником, сказала, вздохнув:

— А Лёвка от нас так-таки убежал в Тюхтерево. Теперь вот отец уехал его ворочать... Забил башку себе девкой Лёвушка.

Максим уже слышал об этом, и тоже стал рассуждать, как взрослый:



- 
- Не пошла за него?  
— Да, может, пошла бы, да Иван Засипатычу узкий остяцкий глаз — как нож острый: не желает с остяками родниться.  
— Дурной он, Пыловос...  
— А ляд с ним! Лёвка-то перебесится да умней станет. Может, Калиска и в самом деле не пара ему? Дерево по себе надо рубить.  
Не сиделось Максиму.  
Только прихлопнул воротца, закинул петельку — из-за угла Манефка вприпрыжку бежит, рукой ему машет, во весь рот улыбается.  
— Здравствуй!  
Максим от волнения открутил на рубашке пуговицу, зажал в ладошке.  
— А книжку твою я всю прочитал. Писать печатными буквами пробовал...  
— А папка у нас в Каргаске... Ты заходи!

## 16

Осиновый остров порос калиной, черёмухой, красноталом, крушиной, шиповником и густыми травами. И над всем этим возвышались осины и осокори в обхват. Берег со стороны протоки был очень пологий, низинный, по илистым сливам буйствовал дикий хрен. Идти по таким местам было топко, под ногами листья и корни хрена щёлкали, разрывались, и тогда к особому тинному запаху ила примешивался крепкий запах свежего хрена. Берег со стороны Оби был обрывист, крут: настоящий яр.

Остров был километрах в двух от Пыжино, поэтому тётя Стюра отпустила Манефку с Максимом до вечера, разрешила помочь им свиней перегнать.

Стадо благополучно перебралось на остров, переплыло узенькую, всю в мелях, проточку, разбрелось по кустам, а Максим с Манефой пошли осматривать остров.

С верху реки шёл большой пароход, белый, с двумя красными трубами, из которых клубами выдыхался чёрный дым.

— Увижу здесь все пароходы — и какие ночью пойдут, и какие днём. Весёлое место — Осиновый остров! — возликовал Максим.

Манефа открыла рот, подставила ветру и солнцу и засмеялась. Её потянуло к самому крутоярию. Наклонившись и вы-

---

тянув шею, она смотрела на водоворот под обрывом: наверно, ей очень хотелось показать, что она смелая, не боится встать над яром у самой черты. Максим представил себе, как Манефа срывается с осыпи, летит и падает в омут. Вода её крутит, он бросается следом и спасает её.

Одно время, когда они жили в Пыжино, ему даже сны снились такие. Снилось, что Манефа попадала в беду, а он выручал...

— Отойди — сорвёшься. Ямина там глубоченная.

— Не указывать, — капризно сказала Манефа, но от обрыва всё-таки отошла.

Ветер с шумом прошёл по кустам, по вершинам деревьев. Мальчик остановился, вглядываясь и вслушиваясь.

— Залопотали осины с осокорями, — проговорил он радостно. — Вон как листочки дрожат, будто живые.

Время подкатилось к вечеру. Арина покормила их свежими лепёшками, и Максим отправился провожать Манефу с острова до Пыжино.

Возвращался он уже ночью. На бледном небе черно маячил остров. На плоских, широких вершинах деревья держали ещё клочок зари. Кричали филины. Страшной казалась чернота кустов, где ни треска, ни вздоха — мёртвая тишина. Всегда боишься того, чего не знаешь.

Смутно сереет водная гладь. Если глядеться, то можно увидеть, как морщится вода, складками разбегаясь от носа лодки. Глаза к темноте привыкают. Далеко-далеко видится слабенький огонёк бакена. Это, должно быть, бакен у Подберезников: его зажёл бакенщик-перевозчик Маковой Зублев.

За островом где-то пыхтит пароход. По звуку и по тому, как небыстро молотит он плицами, можно понять, что это буксир с баржами... На баржах увозят вверх по Оби лес, бочки с солёной рыбой, копчёных язей в ящиках, муксунов, стерлядь. На баржах увозят клёпку, балберу, дуб-корьё, связки мехов. И всё это, как говорил Иван Засипатыч, пожирает, проглатывает война... И людей. Сколько их поуходило на фронт отсюда, а сколько вернулось? Из Пыжино только дядя Андрон пришёл, и тот утонул в Васюгане.

Лодку в протоку сносило, Максим начал грести быстрее и скоро уткнулся в пологий берег острова. И когда привязывал лодку на цепь, увидел, как стороной проплывает маленький обласок и сгорбленный человек в нём.

Мать с Егоркой сидели у костерка. В загоне лежали, прижавшись друг к другу, свиньи. Мать поднялась над огнём.

---

— Глаза проглядела, всё жду... Знобит меня что-то. Уж не лихорадка ли снова пристала? Завтра один погонишь свиней. Максим промолчал.

Они посидели ещё у костерка и ушли в карамушку, выкуривать комаров.

— Мама...

— Чего тебе?

— Я видел сейчас человека на обласке, горбатого.

— Как горбатого?

— Ну, ехал он, грёбся и пригинулся.

— Рыбак, поди, какой. Спи...

Остров весь потонул в раннем весёлом солнце. Дул ветер с реки, шелестел мокрой листвой, гнал поверху жидкий туман, прижимал к земле жёсткие волосы длинной осоки.

Мать сварила затируху, заправила капелькой масла. Максим похлебал, сунул в карман краюшку чёрствого хлеба, ржаного, покосился на свежие пшеничные булки. Максиму хотелось свежего хлеба, но он подумал, что просить бесполезно, — мать для Егорки их берегла.

— Гони к протоке, — сказала мать, — там корневищей много.

Максим выпустил из загона свиней, хлестнул по земле прутом и, оглушённый хрюканьем, визгом, погнал под уклон, к протоке.

И только стадо скатилось за тальниковые заросли, как изпод яра, со стороны Оби, выбрался к карамушке заросший, худой человек, одетый в грязную рвань. Он глядел на Арину глазами голодного зверя. Человек сел в проёме двери и улыбнулся. От этой улыбки Арине сделалось страшно. Она стояла остолбеневшая, не в силах унять дрожь под коленками.

Человек продышался и голосом ломким, сухим сказал:

— Ждал, когда твой пострел со свиньями умотается.

Он скособочился, сморщился, повернулся через плечо и схватил грязной рукой булку. Стал кусать её, как собака, задышался и кашлял. Арина будто бы пробудилась от страшного сна: до злости ей стало жаль хлеба.

— Господи. Да кто ты, откуда?

— А ты меня, знашь чо, не бойся. Я тебя знаю, Арина. И ты на меня погляди хорошень своими гляделками, тоже признаешь.

Он выхватил из-за голяшки нож, развалил пополам хлеб: целую половину спрятал в котомку, накусанную положил на колени себе.

— Рассчитамся в аду горячими угольками...

---

«Кто? Кто? Кто?» — стучало сердце Арины.

— Ишь вот — голод не тётка, велит сопливого любить.

— Боже ты мой! — вдруг простонала она, делая шаг вперёд. — Костя Щепёткин, не ты ли?

— Признала, вот вишь, — облизнулся Щепёткин.

— Так чего ж ты к ней не идёшь, к Катерине? Чо ж по острову шляешься? Сердешная, ждёт она тебя не дождётся.

— Вот я к тебе и пришёл за помощью...

— Да ко мне-то пошто? — сложила руки Арина.

— Дура... Сбежавший я.

Только тут Арина всё поняла, только тут жар из души холодом выдуло.

— Чем же я помогу тебе?

— Шепни моей, мол, здесь он, на острове. Да чтобы больше никто не знал. Учти, Арина. — Дезертир Костя Щепёткин обтёр нож о штаны, сунул снова за голенище, на Арину смотрел устрашающе. — И пацану своему — ни-ни... Это он вчерась ехал через протоку на лодке?

— Он ехал, в Пыжино был...

— Посля сквитаемся — добром отплачу.

— И как ты живёшь-то вот так, скрываючись? — отходила после испуга Арина.

— Так и живу-горюю, каждой вороны боюсь. Сплю на земле, на воде, где придётся... Хлеба месяц в глаза не видал. Отощал как, вишь: брюхо к костям приросло...

Заворочался Егорка, захныкал во сне. Костя скрылся за карамушкой. «Какая это жись, — подумала Арина, — когда боишься ребёнку попасть на глаза».

— Я ухожу, — сказал ей тихо голос с улицы. — Не помни зла. Пускай Катерина ночью завтра придёт. Буду на том конце острова, где тальники густые... Учти, Арина, добром прошу! — голос его перешёл в гадючье шипение. — Враз посчитаюсь, ежели што.

Дезертир скрылся. Она пошла посмотреть на него с яра. Под яром стоял обласок. На дне обласка лежала берестяная куженька — воду отчерпывать, две белые рыбёшки, ружьё-одностволка и запасное весло. Он сильно пригнулся и крадучись поплыл вдоль берега.

— Господи, какая это жись?

В полдень на остров приехал Иван Засипатыч — из Каргаска вернулся. Тяжкие думы лежали на его сморщенном жёлтом лбу.

— В беду человек попал, давний мой друг, каргасокский. Чуешь, Арина?

---

— От вас же слыхала, Иван Засипатыч, в тот ещё раз...

— Слыхала, так дальше слушай... Попробовать выручить надо. Свиношек пяток быхватило, да не приложу ума — как это дельце обтяпать.

Арину вдруг стало трясти от слов Пылосова.

— Разнешасная я, горемычная! — запричитала Арина, закрыв пол-лица ладонью. — Да пошто же мне жись такая паскудная выпала? Да кто пожалеет меня, посочу-увствует? — тягуче, рыдая, выла она. — Оставьте, уйдите, Иван Засипатыч. Я сны по ночам страшные вижу. Я не хочу, не хочу чужого! Я с работы уйду. Нет моей моченьки больше!

Иван Засипатыч ни слёз этих, ни слов от Арины никак уж не ожидал: и в мыслях не мог держать, что встретит она его так.

Он принялся её утешать, даже погладил по спине, бормотал пустынькие словечки, но Арина дёрнулась, побежала от него за карамушку, к реке.

Пылосов постоял ещё, опустив голову, что-то решить хотел, но ничего не решил: побрёл косолапо, шатаясь, как обухом оглушённый.

## 17

— Мама, а где хлеб? — сердито спросил Максим, обнаружив пропажу.

— Хлеб у нас утащили, сынок.

— Вы его съели, пока я свиной пас?

— Грех так, сынок, думать. Когда это ваша мать детей своих объедала?.. Хлеб у нас кто-то взял. Егорка спал, я за дровами ходила. Вернулась — буханки нет.

— Да кто мог украсть, ну, мама?

— Не знаю. Я пойду в Пыжино, перевези меня на ту сторону.. Пойду за солью, за спичками.

Мать ушла, сказала, что будет утром. Им предстояло спать эту ночь вдвоём. Ну и пускай, на острове нет ни медведей, ни рысей. Закинут они дверь на крючок, прижмутся друг к другу и проспят до утра. А утром мать на той стороне закричит, позовёт Максима, он пойдёт и перевезёт её.

Максим стал готовить ужин, Егорка помогал ему мыть сморщенную прошлогоднюю картошку; новую ещё не подкапывали. Над водой разливалось солнце, окрашивая её в бледно-розовый цвет. По Оби прогуливались пугливые, глад-

---

кие волны, и низко и высоко над яром носились стрижи. Вороны у нор подкарауливали птенцов. Максим запустил в них чёрной гнилой картофелиной. Вороны снялись и улетели.

Ужинали из одного котелка, не разливая похлёбки по мискам. Егорка лез деревянной ложкой на самое дно, доставал гушину, капал себе на колени и обжигался.

— Не жгись, заглотишь! — обругал Максим брата. — Успеешь, никто за тобой не гонится. Кусок сожрал, теперь горячо без хлеба. Смажу вот ложкой по лбу..

— Отрежь малюхонький, — попросил Егорка, облизывая ложку и глядя на початую буханку.

— Вот тебе! — Максим подсунул брату кукиш под нос, но хлеба всё же отрезал: тоненький ломтик, да ещё откусил прежде, чем дать Егорке. Максим всё ещё был обижен на мать за то, что они «съели» буханку.

Когда Максим откусывал от тоненького ломтика, трёхлетний Егорка сказал плаксиво:

— Не ешь!

— Не жадуй. Я работаю.

— Я тоже..

Егорка отквасил сжатые губы, а Максим стал перебирать по ним пальцами. Губы шлёпали, Максим приговаривал:

— Ёрш. Чебак. Окунь. Гу-бо-шлёп!

Егорка закуксился:

— Маме скажу.

— Ябеда! Лопай. Доскрёбывай.

Старший оставил младшему выскребать котелок, облизывать ложки.

Через минуту Егорка был в саже, как чертёнок.

— Айда к речке, хоть брюхо отмою.

— Мама туда мне не велит.

— Мы не под яр, а где низко.

Максим ухватил малыша за ручонку, и они побежали.

— Пойдём вместе, найдём двести, разделим пополам, — припевал Максим.

На берегу они замерли: к ним приближалась моторная лодка, в лодке сидело три человека, над бортами торчали стволы незнакомых Максиму ружей.

— Мальчики, вы чьи и что здесь делаете? — спросил пожилой, который сидел за рулём.

Моторка заглохла, но люди не выходили на берег.

— Это Осиновый остров, — сказал Максим погодя.

— Знаем, что не берёзовый, — говорил всё тот же, что был на корме. — А вы-то откуда и как попали сюда?

---

— Мы сараевские, пасём здесь свиней... орсовских, от леспромхоза... А мамка ушла в Пыжино, с ночёвкой... Дяденьки, что это у вас за ружья?

— Винтовки, мальчик... А скажите, ребятки, тут кто-нибудь был... чужой?

— Нет, мы никого не видали.

— А если получше вспомнить?

— Да, ей-богу, не было никого! — бойко сказал Максим, а сам уши наострил: интересно! — А вы что, кого ищете?

Кормщик не торопясь закурил, закурили и те двое. Кормщик сказал, обращаясь уже не к ребятам, а к ним:

— Надо бы остров всё же обшарить. Я так считаю.

— Покудова солнышко не упокоилось.

— Без толку. Будь он здесь — к пастухам бы вышел, не испугался.

— А у нас хлеба буханку украли, — проговорил с печалью Максим.

Тот, кто был за рулём, бросил окурочек в воду, шагнул в броднях за борт и приблизился к ребятишкам.

— Ну-ка, храбрые пастушата, расскажите путём, что у вас тут случилось? Ведите меня к себе в избу. Есть у вас здесь изба?

— Мы в карамушке живём, айдате.

И Максим, не выпуская руки Егорки, понёсся вприпрыжку по выбитой тропке.

— Дядя, а вы нам стрельнуть дадите?

— Когда-нибудь после, мальчик...

Поговорив с Максимом, кормщик вернулся к лодке, и вскоре все трое с винтовками прошли мимо их карамушки.

Не было их долго. Максим всё жёг костёр и тянул шею в ту сторону, откуда должны были появиться эти загадочно-странные люди.

— Я спать хочу, — сказал Егорка и разинул в зевоте рот.

— Иди и дрыхни, я тебе чо?

— Один боюсь, с тобой...

— Погодим ещё чуть: дяди вернутся, чай будут пить, может, сахарку нам дадут.

Чернота обступила костёр, карамушку, дым расстилался над мокрой травой и исчезал за чертой света. Ветер давно утих, никаких звуков не раздавалось, одни искры потрескивали.

— Спать хочу, — уросил Егорка.

Максим не стал больше ждать. Они вошли в карамушку, закинули дверь на крючок и уснули.

Или во сне, или сквозь сон наяву Максиму слышались, чудились голоса, шаги, кашель, тарактение моторки. Потом



---

засветилось солнце, запели птицы, захрюкали, завозились в загоне свиньи, и с той стороны протоки донеслись разорванные слова:

— Эй-ей, ей-ей! Пе-ре-воз!

Мать вернулась.

Мать пришла не одна: на той стороне с ней была тётка Катя.

— Рыбу будем ловить, нельму, стерлядку, — ласково, как никогда, сказала ему тётка Катя, кладя в нос лодки две новые сетки.

— Вчерась дяденьки были, с винтовками.

Катерина курила — поперхнулась табаком, как, бывало, случалось с Анфимом, закашляла. Кашляла она долго, до слёз, покраснела, и глаза её стали колючими, как у напуганной из-за угла собаки.

— Дяди... уехали? — спросила сбивчиво мать.

— Мы ждали их допоздна...

Катерина и в карамушке долго курила и кашляла. Потом она уходила куда-то и вернулась другая — весёлая. Она заплевала окурок и позвала Максима:

— Переберём-ка сетки да кинем пойдём. К утру штоб у нас рыбка была!

Катерина жила у них и день, и другой, и третий. Жила, наверно, с неделю. За это время раза четыре ходила в Пыжино, притащила ружьё, много патронов. Вечерами охотилась. Когда брала с собой Максима, а когда нет. Но когда брала — давала ему стрелять. Максим привязался к ней, как к деду Зиновию, и готов был пойти в ночь-полночь в любой конец острова, плавать за подбитыми утками.

Однажды тётка Катерина исчезла. Максим затосковал, ходил, не зная, куда себя деть.

За кладбищем в Пыжино, как только пройдёшь кедрачи, начинались заросли чёрной смородины, боярышника и крушины. Крушины в этом году уродилось так много, что все кусты были черны от круглых ягод. Летом красные были, теперь почернели.

Мать попросила Максима набрать ягод крушины и выкрасила кусок белого ситцу, чтобы сшить им с Егоркой рубашки — «немарки». Материя получилась серая с синим, неровная, пёстрая. Но Максим сшитой рубахой был очень доволен: неважно, что пёстрая, зато новая.

Босиком ходить уже холодно было, и тут ему тоже справили обновку: достали кожаные головки на толстой деревянной подошве, к головкам пришили рукава от старой фуфай-

---

ки — вместо голяшек. Он подвязывал их выше колен. В этой «обуви» ходить ему было стыдно.

— Вот ты теперь и одет, и обут, — говорила мать. — Только работай, мне помогай.

Максим знал, к чему она клонит: не хочет пускать его в школу. А у Максима все думы были о школе. Пантиску и того в интернат отдали, Пантиска и тот учится.

Не так давно в Пыжино приходила молоденькая учительница, Тамара Ваковна. Она побывала здесь в каждом домишке и записала ребят, которым пора было в школу.

— Мальчик, а сколько тебе? — спросила она Максима, когда тот загонял свиней.

— Я уже большой, и мне давно надо в школу ходить, а мамка всё не пускает.

Тамара Ваковна, учительница из Сосновки, долго говорила с Ариной, а у той на всё был один ответ:

— Мне с ними не разорваться. Не могу я, хорошая вы, отпустить его в школу: и не в чем, и не на што... Оборванцев таких ещё там не видали.

После того, как Манефа сказала Максиму, что вот и она на днях уходит в Большие Подъельники поступать в пятый класс, мальчик совсем извёлся. Но мать на своём стояла. Максим поругался с ней и надумал бежать.

Третьего сентября он снял дома с подушки наволочку, накопал в неё крупной картошки и с петухами пошёл в школу. В Сосновку идёшь — Дергачи не минуешь.

В Дергачах встретил его упругий холодный обской ветер, тревожные крики чаек, лай незнакомых собак. Под берегом, возле первого дома, у лодки, сидел бакенщик Маковой Зублев. Он посмотрел нелюдимо на мальчика, поманил его пальцем.

— Чей?

— Сараевский.

— Деньги есть?

— Нету...

— А перевоз, поди, к пароходу запросишь?

— Мне вон туда — в Сосновку.

— Тоды не задерживайся.

Максим обошёл Дергачи по песку, вышел на чистое место, где росли редкие и высокие вётлы. Стало видно деревню, бор, крутоярье — белое с жёлтым, и мельницу на пригорке с неподвижными чёрными крыльями.

---

---

# Часть третья

## 1

Дома, получше и понаряднее, чем в Пыжино, тянулись вдоль одной длинной улицы. Под окнами рдела рябина, дожидаясь первого заморозка, а черёмухи стояли без ягод, заломанные и общипанные. На пустых огородах ворохами лежала картофельная ботва; капусту ещё не рубили.

За полями, позадь села, каёмкой тянулись прогонистые сосняки: они краснели и золотились в предзакатном лучистом солнце.

Село стояло на крутом берегу обмелевшей обской протоки. За протокой стелились луга с голубыми озёрами. На всю эту красоту заглядывался Максим.

Он ожидал, что село встретит его лаем собак, но собаки молчали. Из узенького проулка, с поля или откуда, вывернула длинная телега, нагруженная доверху льном-долгунцом. Рядом с телегой шла угрюмая баба, держала вожжи в руках и покрикивала изредка на тощую лошадёнку. Лошадёнка едва поднимала лохматые ноги, а спина у неё была впрогиб. От каждого её шага под копытами облачками взрывалась пыль. Максим засмотрелся. «Не кормят, замучили... Надо у тётки спросить, где тут у них школа». Он спросил, но баба не обернулась, так и прошла — сердитая — мимо.

Мальчик поправил за плечами наволочку с картошкой, хотел идти дальше по длинной улице, но прямо на него, распустив слюни, надвигалась корова с рогами, как шилья. На лбу у коровы болталась дощечка, и он успел прочитать большие — с потёками — красные буквы: «Бойся, будат».

Максим перескочил через изгородь чьего-то огорода, наволочка за спиной лопнула, картошка покатила в дорожную пыль. Корова остановилась, фыркнула на картошку и пошла себе дальше, сваливая рогастую голову то влево, то вправо, потому что дощечка сбивалась ей на глаза и мешала глядеть.

— У, тварюга хвостатая! — опомнился мальчик и стал шарить глазами, чем бы таким запустить в бодливую скотину.

— Порснул ты от неё! Ловко. Ограда высоконькая, а ты, как мячик, перелетел.

---

Худой мосластый старик с красными воспалёнными веками глядел на Максима, приподняв бороду.

— Картоху просыпал? Вот наказание. Погодь, я иголку вынесу, зачиним, да ты соберёшь.

Наволочку зашили, мальчик собрал картошку, спросил, как пройти ему к школе.

— Школа эвон де! Где ветряк торчит, так школа ближе... Ты откуль расшагался?

— Пыжинский я, Сараев.

— Пыжинский? Ну, тоды погоди, я тебя расспрошу... Иван Засипатыч как там? Семейство его?

— Да когда они плохо жили? — ответил Максим недовольно.

— Всяко, милок, бывало: и криво, и косо, как бог велел... Стюрка ведь дочка моя... Гонохов я, дед Гаврила.

«Это тебе Иван Засипатыч муку турил, а спёр на меня с Пантиской? Тебе, тебе — бабка Варвара, поди, говорила. Она, поди, знает». Но мальчик вспомнил сейчас об этом без злобы, с лёгкой душой, как о чём-то далёком, давно забытом. Он сказал ласково:

— Тётя Стюра — та добрая. И Манефка у них — славная...

— У тебя тут родня али как?

— Никого. Я из дома ушёл...

— А жить чем будешь? Милостыней? Чего же, спросить — не украсть.

— Ещё чо... Мы не из вороватых.

— Вши есть?

— Ещё чо! Нас мама ладом обихаживала.

— Со вшами в школу не пустят.

Гаврила Гонохов подступил поближе.

— Видишь вон чёрное поле? На том поле колхоз картошку сажал. Приди потом, лопату возьми у меня да по лункам ступай перекапывать. Где целые, где обрезки. Насобираешь, в подпол кому-нибудь ссыпешь. И будешь зимой печенки печь.

Переступив щепастый — сплошные занозы — порог, он оказался в пустом коридоре школы. Опустив осторожно наволочку с картошкой в угол, он постучался в дверь класса, который был ближе к нему. Просунулось рябое лицо высокой и полной женщины. Глаза её поглядели на мальчика строго.

— В Пыжино учительница была, звать... ну, Тамара Ваковна. — У Максима язык заплетался, как никогда в жизни. — Она... записала меня в первый класс... Мама меня не пускала, но я всё равно пришёл.

— Хорошо. Как тебя звать?

— Максим... Сараев Максим Егорович.

---

— Славно, Максим. Ты будешь учиться в моём классе. Называть меня будешь Ирина Петровна.

Входя в класс, он старался ступать неслышно, но деревянные подошвы бухали по полу, как по пустой бочке.

В классе так необычно пахло, так густо было набито ребят, что Максим совсем растерялся: от множества лиц глазам его стало жарко. Учительница шла позади Максима, она сильно прихрамывала. У стола она велела ему остановиться и сказала классу:

— Ребята, это новый наш ученик Максим Сараев.

Класс загалдел, завертелся, а Максим никак не мог вспомнить имя учительницы. С задних парт тянулись его разглядывать. Какая-то озорница закрыла ладошкой смеющийся рот, картаво проговорила:

— Рукава от фуфайки вместо голяшек. И вата торчит! Хи! Максим стоял и трудно дышал от злости.

— Смеяться над другими нехорошо, — заметила учительница.

— А длинный, как кол в огороде! — почти выкрикнул с заднего ряда мордастый мальчишка.

— Мальчик он рослый, видно, сильный, и задирать вам его не стоит, — погрозила пальцем учительница. — Максим, садись к Кеше Ягодкину. Вон к тому, который назвал тебя длинным.

Надутый, красный Максим сел за парту, подумал, что не мешало бы пнуть хорошенько мордастого Кешку, но не решился.

Кешка Ягодкин стал выведывать:

— В лапту играешь?

— Ещё бы.

— А в бабки?

— Не приходилось.

— Рыбу удишь?

— А то!

— Крючки есть? Окунёвки, жерлицы, заглотыши?

— С крючками плохо... Рыба откусывает, а достать негде.

— Не бойся — обрежем.

Учительница постучала красной ручкой в серый стол.

— Новичок, на уроке нельзя разговаривать. Кеша, а тебя я поставлю к доске.

Прозвенел звонок.

— Дети, ступайте домой, а новичок останется.

Когда они остались в классе одни, Ирина Петровна спросила:

— Ты ел сегодня?

---

— Я не хочу, — застыдился Максим.

— Не стесняйся. Пока ты поешь и поспишь у меня, а вот дальше... Дальше не знаю, что с тобой делать, — проговорила Ирина Петровна, выслушав всё, что рассказал ей мальчик о себе и о матери.

— Я мог бы и в школе остаться жить: спал бы на столе у печки...

Дома она усадила его на высокий сундук, поставила перед ним тарелку с пареной морковкой. Голодный мальчик не оставил и хвостика.

— Тебе понравилось в школе?

Максим закивал головой и зажмурил глаза.

— Пришла бы Тамара Ваковна раньше, я бы давно учиться ушёл.

— Ничего, Максим, наверстаешь. Будешь во всем успевать — примем тебя в пионеры. Ты уж большой мальчик.

— Я пионеров видел — в кино на Усть-Ямах. Они взрослым с немцами воевать помогали. У них галстуки...

— Ты говорил, что умеешь читать? Почитай, я послушаю.

Он взял из рук учительницы книжку с картинкой на корочке.

— Букварь, Уч-пед-гиз.

Лицо Ирины Петровны, изрытое оспинами, как у дяди Анфима, стало добрым и кротким.

— А здесь — читай. — Она открыла букварь на середине.

И тут Максим прочитал без запинки и быстро.

— Умник. Со второго полугодия мы можем перевести тебя во второй класс... Иди побегай, а спать я тебя на сундук положу.

Максим затолкал пальцем вату, которая торчала из дыр фуфаечных рукавов, пришитых вместо голяшек, заметил, как пристально смотрит на него Ирина Петровна, и понял её по-своему.

— Одежку мою недавно в бане прожаривали...

Ирина Петровна вышла за ним в сени и дала ему клубок гороховых стеблей с высохшими стручками.

## 2

С краю чёрного поля копались свиньи, до глаз зарываясь в землю, выпаживали картофелины, чавкали их пополам с грязью, брызжа крахмалом. Морды свиной были довольные,

---

сонные, они помахивали завитушками тонких хвостов и похрюкивали, не вытаскивая пятаков из земли.

Максим зашёл с другой стороны поля. Земля была мягкая, копалось легко, и мальчик работал с такой прилежностью, с какой, может быть, никогда не работал раньше. Он радовался, если из-под лопаты выворачивались большие клубни с отростками, кидал их в погнутое ведро. Школьная сторожиха тётка Полина, немолодая, чёрная, похожая на цыганку, пришла посмотреть на занятого мальчугана.

— Упрел-то! Я в подполье у себя сусек тебе досточками огородила. Сколько нароешь — ссыпай.

После работы Максим отмылся у тётки Полины под ручной мойкой и направился к Ирине Петровне.

Учительница топила печку, он натаскал ей сосновых поленьев, принялся колоть чурки, но колун застревал, и чурки не разлетались.

— Оставь, Максим, я сама потом, или кого попрошу, а то ещё ногу порубишь.

— Не порублю, я дома всё время дрова колол, больше никому было.

Как хотелось ему, чтобы чурка сейчас лопнула с хрястом! Но чем больше он бил колуном, тем больше слабел, а упрямство и стыд перед учительницей не отпускали его от чурки.

— Максим! — позвала Ирина Петровна. — Сходи поищи на грядке укропу.

Ирина Петровна покормила его щами, в которых ложка стояла от овощей, но не было ни кусочка мяса и ни жиринки. Но щи ему показались такими вкусными, что он выхлебал две тарелки с добавком — ел, пока пуговица от штанов не оторвалась и не отскочила ему на колени.

Это была «главная» пуговица, на которой держались штаны без ремня. Жёлтая, большая, с чёрными дырками, и потерять её было страшно. Где ты потом возьмёшь такую? Придётся выстругивать палочку, пришивать палочку нитками за серёдку и продевать в петельку. Обойтись можно, конечно, да пуговицу — жёлтую, с четырьмя дырками — разве сравнишь с деревяшкой? Максим нашарил пуговицу в коленях и обрадовался, что не надо лезть под стол, искать, позориться.

Пуговица в руке, он попросит у школьной сторожихи тётки Полины иголку с ниткой и пришьёт пуговицу сегодня же, у печки... А сейчас встать и уйти незаметно. Не станет же он пуговицу к штанам пришивать при учительнице?

Она собирала со стола в деревянную шаечку с ручками грязную посуду.



---

— Спасибо, Ирина Петровна. А спать я пойду в школу. Уборщица тётя Полина сказала, что даст мне под голову душгрейку.

И он выскользнул боком из-за стола.

В классах печи стояли высокие — до потолка, белые, с вьюшками. Такая же печка была и в учительской. К печке Максим придвинул стол, под голову подложил гладкое, без сучков, полено, на полено накиннул рукав телогрейки. Спину прижаривало, он лёг и уснул как убитый.

Снов ему никаких не приснилось.

Солнце играло на стёклах старинного шкафа с книгами. Книги стояли рядами, и было их много — больше, чем когда-то имел отец Максима. Мальчик соскочил со стола и, тыча пальцем в стекло, стал пересчитывать, но скоро сбился со счёта. Хотелось подержать книги в руках, понюхать их, пересмотреть до единой.

После уроков он выбрал Пушкина. Ирина Петровна советовала ему взять другую, с крупными буквами, но он заупрямился.

Вечером Максим опять ходил перекапывать поле. Тётка Полина хвалила его. Он наелся печёной картошки — горячей, рассыпчатой, вымыл руки, вытер их о штаны, открыл в учительской дверцу печи, уселся на пол и распахнул книгу. Красное пламя озарило страницы, жаром обдало руки.

Как ныне собирается вещей Олег  
Отмстить неразумным хозарам...

Отчего-то заколотилось, замерло сердце... Так и сидел он, читая, пока не зарябило в глазах. Тётка Полина подошла пошуровать прогорающие поленья.

— Ишь, как за книжку-то уцепился. Слаще хлеба небось? Читай, читай, я не мешаю...

### 3

Плита в закутушке у сторожихи топилась весь день: тётка Полина любила погреть свои кости.

Максим к ней вошёл, чтобы достать картошки из подпола. Штаны у него сползали, и он поддёргивал их поминутно, надувая тощий живот... Когда в прошлый раз пришивал пуговицу, то перенёс её дальше от старого места. И было туго тогда, а теперь хоть бери и перешивай сызнава.

---

— Весь день голоднёшенек, — распевно сказала тётка Полина. — А ты пошустрей будь: просить не стесняйся. Какмышь за веник не прячься. Поди-ка поближе...

Она подвинулась на постели к стене, усадила его на краешек.

— Тут об тебе даве был разговор в учительской: хочут помощь тебе схлопотать у колхозного председателя.

Максим начистил картошки, подкинул дровец в плиту. Тётка Полина следила за ним с постели, подхваливала. Кастрюля кипела, пар наполнял каморку вкусным крахмальным запахом.

Дома, у бабки Варвары, он бы и ждать не стал, когда картошка доварится: достал бы снизу горячую, разрезал ножом и навёртывал бы, обжигался. А здесь, у чужих людей, надо сидеть и ждать: стыдно... А в животе урчала, перекатывалась какая-то пустота.

Вспомнились мать, Егорка. Пожалел, что ушёл из дому, не сказав им и слова хорошего. Мать догадается — искать не пойдёт, и всё же плохо он сделал... Дядя Андрон за это не похвалил бы.

Наелся картошки, выдул воды полковша и сел в классе за парту — письмо писать. На тетрадный листок криво и косо ложились крупные буквы: «Мама нисирдис я учус вшколи». И с радостью вдруг подумал, как мать получит эту бумажку, будет её вертеть, удивляться, а потом понесёт к гундосому Пылосову, как носила тогда письмо дяди Андрона, которое он прислал им из госпиталя. Стал раздумывать: с кем же теперь он отправит письмо? «Поспрашиваю сосновских, может, пойдёт кто в Пыжино».

Максим измерил село из конца в конец, разных людей останавливал, но ни у кого не было заделья идти в Пыжино. «Пыжино наше совсем тайга, и кто там чего забыл?»

— А я по улице лётаю, ноги старые бью!

Гаврила Гонохов, тёти-Стюрин отец, от протоки по тропке шагал, посошком-палкой постукивал.

— Это вы мне говорите? — остановился Максим.

— А то ж кому... Цопкий мальчонка. Запал ты мне в память, как от будучей коровы через заплот махнул. Я тут вот что, послухай... Тётоньке про тебя одной ласковой сказывал. Просила тебя показать. Я тут живу, — он показал на старый домишко; Максим и так уж запомнил его, — а тётонька эта — через дорогу. Коровушку держит, паёк большой получает — два сына у неё в армии, офицеры. Сейчас её вроде как дома нету, а утречком ты подбеги. Я прямо к ней и сведу.

---

Максим задумался.

— Письмо мамке домой написал... Переслать не с кем.

— В Пыжино? Завтра я туда собираюсь. Подскочи поутру: и писульку свою отдашь, и к тётоньке ласковой сходим.

Солнца в то утро не было. Стался туман — осенний, сырой. Трепетал на лёгком ветру ещё не облетевший осиновый лист. Дым из труб поднимался рывками: казалось, кто-то невидимый тянет над крышами ленты застиранной марли.

— Утряна, Утряна, постой, моя барыня, доить тебя буду...

Голос женщины доносился со стороны. Максим догадался, что кличет она корову — ласково кличет, будто бы человека зовёт.

— Слышал? — спросил Максима Гаврила Гонохов, который уже сидел на крыльце одетый, обутый, с пустым мешком, притороченным сбоку верёвками. — Это она, Степанида Марковна, та самая тётонька душещердечная. Сядь пока, посиди, не будем мешать.

Глаза трахомного старика слезились зеленоватым гноем, он тёр их скомканной тряпкой. На вдавленных висках бились тонкие жилки: редкие волосы и кожа вздрагивали. Нос на худом лице высунулся, да старик ещё так сидел наклонно, что казалось, будто он хочет опереться на свой нос, как на палку.

— Рано собрался. А то слепому куда потемну? Глаз на сушок повесишь, — прикрикнул старик.

Запоздало заголосоил петух, затыкал где-то щенок от обиды или от голода, бухнули колуном по чурке, острые струйки вспарывали парную пену в подойнике.

Они терпеливо ждали. Гаврила всё крепче склонялся грудью к коленям, клевал носом, как человек утомлённый и недоспавший.

Наорался петух и смолк, щенок перестал скулить, и кончили бухать колуном по чурке, не вжикали больше острые струйки: наступила минута утренней тишины. И снова ожило, завозилось село, наполнился звуками воздух.

Как ветер сорвался откуда-то молодой гонористый голос:

Эх, сыпала-посыпала

Погода сыроватая...

Максим и старик подняли головы.

Эх, девочки-беляночки,

Что у вас за ямочки...

И опять частушка оборвалась: будто певец дразнит, задорит кого-то.

---

— Поёт мотивно, а слушать противно, — сказал старик и плюнул.

— Нет, хорошо поёт, голосисто. Только пошто так: начнёт и бросит? — дёрнул плечами Максим. — Чудной какой-то.

— Да это же Ларька Типсин, олух известный, — подобрал губы Гаврила Гонохов. — Шибко живёт хорошо: объедки после себя кругом оставляет. Так-то... всем парень што надо: и смел, и востёр, и сила мужицкая в ём, а удержу-меры не знает... Но есть тут зазноба одна — не даётся ему... Вот он и ходит, шалава, частушками её дразнит. У Калиски-то от него малышок. Эх-ва!

Максим сидел и хлопал глазами. Очень хотелось ему побегать посмотреть на Ларьку поближе...

Во дворике через улицу женщина встала с подойником. Одно плечо у неё ниже другого было: полный подойник оттягивал. «Корова — ведёрница», — подумал Максим. И пока они переходили со стариком широкую улицу, разглядывал Степаниду Марковну.

У Степаниды Марковны лицо было чистое, без морщин, а зубы крепкие, белые: такими зубами можно было и орехи грызть, и кости обглаживать. И одета она, заметил Максим, богато: тужурка чёрная, толстая, платок клетчатый, синяя юбка, на ногах ботики — новые, не выпачканные в навозе.

Перекинув голову через прясло, к ней тянулась корова. И корова была не такая, как у других: породистая, высокая, длинная, с загнутыми, как лук, рогами.

Издалека всё ещё долетали Ларькины песни, но разобрать уже было нельзя, о чём он поёт, да Максим больше и не прислушивался.

Степанида Марковна поставила на крылечко подойник, выпустила корову и притворила калитку. И корову она проводила певучими ласковыми словами:

— Ступай, моя милая, моя славная...

И только теперь обратила глаза свои на вошедших.

— Здравствуйте... — Максим хотел прибавить ещё «тё-тонька», но что-то помешало ему.

— Доброе утречко, — улыбнулась и тут же стёрла улыбку Степанида Марковна.

Максим ждал, что старик Гонохов станет сейчас о нём рассказывать, просить о чём-нибудь эту женщину, но Гаврила лишь высморкался в ту тряпку, которой глаза гнойные вытирал, постучал посошком-палкой и молча ушёл по дергачёвской дороге.

---

И Степанида Марковна покуда ни слова не говорила: она просто пошла себе в дом, и Максим за ней прошагал по ступенькам, через сени, переступил порог.

Она всё молчала. Он топтался возле двери, а Степанида Марковна молоко разливала по кринкам — много кринок подряд налила, через марлю процеживала. «Чистоплотная. У Анфима молоко никогда не цедили. И дед Зиновий на Шестом не цедил». Хозяйка кринки под лавку составила, из одной отлила молока в кружку, достала с полки круглую булку домашней выпечки — краюшку отрезала, положила перед Максимом. И молоко поставила. И опять хоть бы полслова сказала.

Максим не знал, есть ему или нет. Он не притрагивался ни к хлебу, ни к молоку, а запахи дразнили его: трудно было оторвать глаз от хлеба.

Хозяйка села к столу, набожно глянула на иконы, потом на Максима. Глаза у неё блестели, как мокрые стёклышки.

— Ты веруешь в Бога? — спросила она, будто сейчас ото сна пробудилась.

— Мамка моя набожная, — проговорил Максим с какой-то весёлостью. — И в карты ворожит... Только она все врёт, я знаю. А папка у нас над Богом смеялся. И дядя Андрон тоже, бондарь с сельповской засольной. Слыхали?

Степанида Марковна повернулась к иконам, перекрестилась, что-то шепча.

— Ты грешно говоришь, — сказала она, округляя глаза и слегка бледнея. — Над Богом смеяться нельзя... Твой папа и дядя Андрон были безбожниками, нехорошими...

По щекам Максима пятнашки пошли, он трудно дышал, глаза кидал то к полу, то к потолку.

— Неправда! — выпрямился Максим.

— Ладно, крошечка, ладно, — подняла подбородок Степанида Марковна. — Садись да поешь. Мы потом, потом... Если жить у нас станешь — будешь нам помогать: сена корове в ясли набросать, в стайке почистить, воды принести из колодца.

— Я работу всякую могу делать, — передохнул Максим.

— И славненько. Ничего, приживёшься, поймёшь, образумишься... Слыхала я от старца Гаврилы — картошку ты перекапывал. Снеси её к нам в подполье... А спать ты будешь на русской печке. Клопов, тараканов не держим. Сверчков тоже не слышно. А покуда побегай иди.

Ветер туман разгонял на улице, колхозники шли на работу с граблями и вилами, ехали на телегах, скрипели несмазанные колёса. Было холодновато, сыро. Максим, обиженный,

---

брёл вдоль обочины печально и думал: «Папу и дядю Андрона никому не дам оговаривать... Небось!».

К школе свернул Максим, по пути засмотрелся на вывеску, что была на колхозной конторе. В пустом окне без занавески показалось лицо Ирины Петровны. Учительница делала знаки рукой, чтобы Максим в контору вошёл.

#### 4

За столом грузно сидел председатель колхоза Полковников, над головой у него, в простенке, висели часы — длинные, с круглым блестящим маятником. На часах было семь: время определять Максим давно научился.

— Доброе утро, — сказал Максим, вспомнив, как только что отвечала ему и Гавриле Гонохову Степанида Марковна.

— Ну вот, — кивнул большой круглой головой председатель, отодвигая толстой короткой рукой бумаги и счёты.

С двух сторон председательского стола прилепились на табуретках Ирина Петровна с Тамарой Ваковной.

— Ты как петух — рано встаёшь, — улыбнулась Ирина Петровна.

— Блохи цыганские спать не давали, — весело шевельнул белыми кисточками бровей председатель и сморщил кожу у переносицы.

— Я с дедом Гаврилой письмо посылал... мамка чтобы не беспокоилась.

— Вот и возьми его за рупь двадцать! — удивлённо сказал председатель. — Молодец-огурец. Не успел в школе порог переступить, уже письма матери пишет.

— Писать — не знаю, Степан Иванович, а читать он умеет, — повернулась с улыбкой к Полковникову Ирина Петровна.

— Возьми-ка, брат. — Степан Иванович подал Максиму бумажку. — Сыщи бригадира Серякова, сходи с ним на склад — получи.

Максим горячей рукой, набычившись, взял бумажку, вертел её так и сяк, не зная, куда положить и что дальше делать.

— А меня... Степанида Марковна в дом взяла жить.

Учительницы и председатель переглянулись.

— Это, конечно, дело, — сказал, отдуваясь, Степан Иванович. — Дом чистый, просторный, корова из племенных... Налог не платят. Лучше-то кто у нас тут живёт?

---

— Ну ведь... Степан Иванович, — запнулась, как оступилась, Тамара Ваковна.

— А там Валерия Яковлевна, комсомолка... Она за ним доглядит, ежели что. А так-то куда? Ну, куда? В школе на жёстком столе валяться? Сами вы по квартирам... У других через двор по шесть душ в доме.

Ирина Петровна встала, хромая, от стола отошла.

— Спасибо, Степан Иванович. Мы уж тут школой всей отработаем, в долгу не останемся... Идём, Максим... Что же, живи у Маковых. Мы тебя навещать будем.

До уроков в это же утро Максим разыскал на конном дворе бригадира Серякова, длинного, пожилого, ссутуленного, с лицом морщинистым, как печёная брюква. Он выдал Максиму гороху пять килограммов, насыпал без весу крупы-овсянки и наказал, чтобы мешки ему после Максим вернул.

С этой ношей и притащился мальчишка в дом к Степаниде Марковне Маковой. Все уже пробудились, и даже маленький Котька, внучек хозяйки, шлёпал босыми ножками по тёплому полу. Валерия Яковлевна, узколикая, большеногая молодуха — Максим хорошо её не успел разглядеть, — прихорашивалась у зеркала, дёргала гребнем длинные волосы, морщилась — видать, торопилась.

Степанида Марковна приняла от Максима всё, что он принёс, погладила его по голове, отрясла ему сзади рубашку.

— Ступай, ступай — учись...

— Мешки велели отдать — колхозные.

В школе появился ещё один опоздавший: Виссарион Болотов, или Виска, огненно-рыжий, тугой, как гриб-боровик. Говорил Виска басом.

На уроке пения Ирина Петровна разучивала с ребятами две песни: «Ой, туманы мои, растуманы» и «Бьётся в тесной печурке огонь». Виска Болотов так тянул, что учительница сказала:

— Смотрите, какой к нам голос пришёл! Мы подготовим с вами хорошую самодеятельность и на Октябрьских праздниках выступим в клубе.

— Мирowo, — раскатился по классу Виска, и все рассмеялись.

До конца урока только и смотрели на Виску Болотова.

Максиму Виска тоже понравился. Наплевать, что они оба рыжие и все их будут дразнить. Они станут ходить вместе: он, Кешка Ягодкин, Виска. Ну и другие, кто захочет с ними дружить.

После звонка Ирина Петровна предупредила:

— Завтра всей школой на молотьбу.



---

Уроки окончились, а ребята толпились в классе: Виску разглядывали. Кешка Ягодкин даже сказал:

— У тебя глотка, что ли, лужёная?

Хохоту было. Виска сносил всё терпеливо, только краснел багрово.

— А ты в школу пошто опоздал? — Максим дотронулся до Вискиного плеча.

— Болел я... Два года из-за болезни пропали. Но зато я читать умею!

— Болел! — хмыкнул Кешка. — А сам ревёт, как порос.

— Один мне дед говорил, будто голос у меня дьяконский. Дьякона раньше в церквах пели. — Виска блестел и лбом, и щеками.

— Ты из какой деревни? — спросил Кешка.

— С соседней, с Востока. На заводе отец работает. Как вернулся с войны, так работает.

— Раненый?

— Без глаза... Осколком вышибло — левый.

И смеха больше не было слышно, и тихо так стало в классе. Мимо школы — видно было в окно — шли трое парней в рваных одежках.

— Вон они, вон они! — прильнули к окнам ребята.

— Фрицы идут!

— Да это же побирушки с мешками, — пробурчал Виска. — Они и к нам приходили, во всех дворах попрошайничали.

— Их с Волги сюда привезли, чтобы фашистам они не пособничали. Степан Иванович, председатель колхоза, тятке нашему говорил. А тятка мой — бригадир рыбацкой бригады. — Кешка слюнявые губы вытер. — Мы к тятке на тони поедем, на стрежь-песок.

Вернулся из Пыжино Гаврила Гонохов, принёс Максиму привет от матери, от Егорки, от Анфима, который только недавно пришёл из Тюхтерева и привёл с собой, чуть ли не силой взял, беглеца Лёвку.

Мать на Максима больше не сердится. Вспомнила об отце, Егорше Сараеве, как он собирался Максима учить, вывести в люди, да не ко времени помер... Обещала к зиме сыну пимы справить, а пока посылает лепёшек... из толчёного жмыха.

Шумела под тёмным навесом молотилка — крутили её лошади, которых гонял по кругу старик Гонохов. Щёлкала плётка, летела пыль, шуршала солома — выплёвывалась клочками сзади. А впереди, на утоптаный ток, лилась пшеница.

Максим стоял на подаче: к нему подтаскивали снопы, а он подавал их бригадиру Серякову. В кургузой стёганке, огром-

---

ных броднях, Серяков подхватывал связанные колосья деревянными двухрожковыми вилами. Сноп взлетал, описывал полукруг, и молотилка заглатывала колосья, вся сотрясаясь и вздрагивая.

Был небольшой передых. Пришёл припоздавший Полковников и тётя Валерия, сноха Степаниды Марковны. Максим уже знал, что работает она в медпункте, а председатель Степан Иванович ходит к ней на уколы: с сердцем у него плохо бывает.

Председатель ощупал, встряхнул кули с зерном, начал ворочать их на телегу.

— Да вам же нельзя! — крикнула тётя Валерия.

Степан Иванович её не послушался — продолжал мешки ворочать.

Тогда Ларька Типсин тряхнул плечами, размашистым шагом к мешкам подошёл и без натуги, легко, набросал две телеги.

— Хотели перекурить, уж потом... Не терпится вам, — чуть задышался Ларька.

А председатель грудь распахнул, дышал, как мех в кузне.

— Ослушник вы, — сказала тётя Валерия.

— Перед бабами стыдно, — весело отвечал Полковников, — вот перед ними. — Он показал короткой рукой на Максима. — Ну, как ты, малец? Тепло тебе, сыто?

— Хорошо, — засмутился Максим и поглядел на учительниц.

— Помогает, — сказала Ирина Петровна.

— Так и быть должно, — отдышался Полковников. — Ешь — потей, работай — мёрзни. Весёлая жизнь.

Прошёл по овину смешок, председатель руки короткие растопырил и выкатился из-под овина, сказал, что на лён ему надо...

Три брата немца тут же были — на молотьбе. Когда бригадир Серяков кiset вытащил, самокрутку скручивать стал, они бочком подошли, по старшинству друг за дружкой выстроились: Давыд, Егор, Манель. Лупили глаза на бригадирский табак. Серяков насыпал всем по щепотке махорки, дал по клочку газеты. Они покивали лохматыми шапками, прошепестели рваньё — ушли курить за овин.

— Угодливые ребята, — проговорил бригадир Серяков.

— Турнуть бы отсюда этих угодливых! — громко сказал Ларька Типсин.

Стоял он бочком, Ларька, прислонившись к столбу, в зубах перекидывал, мял длинную папиросу. Папиросы у него видели часто: поедет шкурки сдавать в Каргасок, в «Сибпушнину», папирос привезёт. Но мужики папиросам предпочитали

---

махорку, а пуще махорки ещё самосад, завяленный на чердаке, высушенный на печке и рубленный топором в корыте.

Ларька курил папиросы, а ему не завидовали. А он, может, потому и курил их, чтобы ему завидовали, чтобы молодая училка Тамара Ваковна его примечала — не отворачивалась. А она, чертовка, и смотреть не хотела на красивого Ларьку. Особенно с того дня, как слух по Сосновке прошёл, что от Ларьки какая-то пыжинская Калиска сураза принесла.

Тамара Ваковна, маленькая, в брючках, сапожках, хорошей курточке, лежала сейчас на соломе — отдыхала. Ларька про этих оборвышей немцев нарочно сказал: и тут хотел досадить училке Тамаре Ваковне. Он и раньше с ней схватывался — ругал немчурят-подростков. Тамара Ваковна Ларьке доказывала, что это дети, без отца и матери, и что вообще немцы — одно, фашисты — другое. Но Ларька Типсин из-за упрямства не уступал. Тогда говорил и теперь повторяет:

— Одно племя — собачье.

Покуривал ароматные папиросы и выгибал гнутую бровь.

— Тебе, паря, только бы суд судить, — покашлял сердито Гаврила Гонохов.

По спине старика змеилась плётка, а кнутовище свешивалось на грудь. Прочихавшись от хлебной пыли, он уставил трахомные глаза на Ларьку. Ларька брезгливо сморщился и отвернулся.

Потом совсем отошёл в сторону Ларька Типсин: не хотел, видать, чтобы старик старое вспомнил. Начнёт, чего доброго, Калиской его попрекать при Тамаре Ваковне, разворчитя, как грыжа к ненастью.

В дальнем конце овина Ларька собрал ребятишек, бывальщину им рассказывал:

— Развиднялось. Стою я, смотрю на восток: заря наливается соком, как алость по небу бежит. А в ту сторону, где заря, всё туман, всё туман гонит. Так небо в тот день и забило туманом — не показалось солнце.

Ларька передохнул и продолжал говорить, как бы складывая стихи:

— Горел, дымился костёр, лежали собаки, а надо мной какая-то птица летала и всё хоркала. От росы по берегу речки осока легла, расстелилась, а белый песок был сырой-сырой. А карамушка, где ночевал я, без окошек стояла, чёрная... Потом пошёл я болотом, поньжей, и собаки вскорости натакались на мишкин след. Медведь по болоту бежал — мох выворачивал, как леший какой...

— Ну и убил ты его? — спросил Ягодкин Кешка.

---

— А как же, паря. Иначе и быть не могло...

Вот слушают Ларьку мальчишки, и понимают, и радуются, а училка Тамара Ваковна смеётся над ним: прицепится к какому-нибудь словечку и пойдёт, и пойдёт — терпеть устанешь. Это слово неправильное, другое не так, третье не этак. Сказал он как-то, что была у него собака забежистая, а Тамара Ваковна ему: нету такого слова — «забежистая». Ларька только рукой махнул, спорить не стал. Уж Ларька-то знает, какая такая собака забежистая: день по урману носиться будет и не устанет. Способная, значит, собака, охотничья...

Погонщик щёлкнул ремённой плеткой, всхрапнули кони, и зашумела, загрохотала ожившая молотилка.

Не прерывались больше до самых потёмок. Зажгли фонари «летучая мышь», развесили по углам. Поздно пришла новая смена. Максим еле ноги передвигал, но ему было хорошо среди новых, пригревших его людей. И харч с колхозного склада взял не даром: работает, сам себя кормит.

Сбившись стайкой, тише других двигались по дороге немцы. И опять о них разговор затеялся.

— Не мы войну начинали — их же сродственники.

— Так оно так, но всё ж таки...

— Наш-то народ уж куда как жалостливый.

Маячила в сумраке тонкая маленькая фигурка Тамары Ваковны, а за ней, опустив голову, шёл по следу Ларька Типсин. Разговор мужиков на них перекинулся.

— Идёт, смотри-ка, как бык за тёлкой.

— Видать, всурьёз втрескался.

Максиму Ларька поглянулся и силой, и ростом, и видом. Максим подумал, что Калиска Ларьке не пара...

## 5

С тех пор как дергачёвский бакенщик Маковой Зублев узнал, что где-то скрывается здесь по обским островам пыжинский дезертир Костя Щепёткин, старик стал совсем одержимым. С рассвета и до темна петлял он неслышно на обласке по курьям и протокам, лазил по зарослям островов, но нигде не встречал следа беглеца. Щепёткина будто видели только раз, с весны ещё, гнались, но он улизнул, и след его совсем затерялся.

А Маковой всё рыскал в поисках человека, которого знал давно, которого вместе с двумя сыновьями своими перево-

---

зил в весну сорок первого года из Дергачей в Подберезники к пароходу. Сыны его полегли. Душа старика при одной думе об этом сжимается в ком: была она у него чёрствой, душа, теперь же совсем очерствела, как берёзовый трут, и слезами не размочить.

В тот день над Обью у Подберезников и Дергачей поливал дождь. Маковей, ложась спать, думал, что завтра и дождь его не задержит. Лёг спать он рано, нераздетый и неразутый; во сне явился ему, как живой, отец Кости Щепёткина — раскрыл калитку, впустил мужиков, и они повели у него со двора двух породистых жеребцов. Всё было в точности как тогда, в тридцать втором, только Иван Щепёткин никаких слов паскудных Маковею не говорил. Маковей закричал и проснулся...

Погода наутро выдалась ясная, тёплая, лишь низкий туман в беспорядочности клубился повсюду. Казалось, кто-то перемешал, переболтал вчерашние тучи, и теперь они серыми, мокрыми клочьями ложились на землю.

Маковей осторожно ехал протокой Пего к ильинским застройкам. По илистым отмелям ходили, раскланиваясь, кулички. Мычали коровы где-то в тумане. Туман стал подниматься и закрыл солнце, но скоро оно показалось снова, и в воде отражение его было похоже на раскалённый меч, который только что отковали и опустили закаливать. И чудилось, что вода закипает от раскалённой стали, беззвучно исходит белым и тёплым паром. Лодки и обласки у причала поодаль гляделись в воду, как в зеркало, на которое подышали с мороза. Стрижи над яром летали молча, словно боялись нарушить минутную тишину вставшего утра.

По берегу за кустами кто-то шагал на луга: Маковей отчётливо голоса слышал, но не хотел никого видеть. Он повернул от ильинских построек в обратную сторону.

За истоком были маковеевские покосы, и его потянуло осмотреть стога: как осели они, не пробило ли дождём. Сена себе Маковей накашивал каждый год много. Сено к весне можно было продать и выручить деньги.

Он вылез на берег, пошёл по невыкошенному: в кустах траву не выбивали литовками. Жухлый пырей, красноголовник, маренник хлестали его по бродням. Он сбавил шаг: надо идти неслышнее. Тут вот тропа утоптана, мимо мелкого озерца.

К озерцу ещё жался туман, но лучи уже рвали его на клочья. Озерцо заросло травой-сарбой. Трава эта в колючих рубцах. Босым пройти — ноги все иссекёт. Зимой ильинские колхозники приезжают сюда на коробах с пешнями, долбят проруби и вычерпывают сарбу сачками — свиньям скармли-

---

вают. Маковей сорвал водянистый зелёный лист сарбы, сжал в кулаке: холодный сок засочился меж пальцев.

Он повернул в плотные тальники, за которыми стоял у него первый смётанный стог. Прошёл тальники, норовя не шуршать, и замер: под старой дуплистой ветлой, за стожком, сидел у маленького костра долговязый худой человек в грязных исподниках и сушил растянутые на палках штаны. От штанов валил пар, пар смешивался с дымом, человек вертел головой: ветер менял направление и наносил ему едкой гарью в лицо.

Маковей разглядел, что к старой ветле приставлена одностволка, а на нижнем суку висит тощенькая котомка. Лица человека из-за дальности и дыма он не мог разобрать.

«Вроде бы он... Поджарый, как сука, которую затагнули щенята... Или не он? А, всё едино, взять вот на мушку, заставить руки поднять, послая разберёмся... Нет, пошто ж так пугать человека? Нешто иначе нельзя? Не блох имать — куда торопиться».

Закинув двустволку за спину, он вышел свободно из тальника и с усталостью к стогу побрёл — наклонил голову, будто рассматривал, что под ногами. А когда поравнялся со стогом и медленно голову поднял, то натолкнулся на рысьи глаза Кости Щепёткина. Дуло ружья чёрной дырой нацелилось в грудь старику. «Не пальнул раньше, теперича не пальнёшь... Изглодали тебя страх с голодом, в чём и душа. Ну, благослови, Господь!»

— Свят, свят, — прошептал Маковей, пятясь. — Ты ли это, или привиделось мне?

— За мной гоняешься? — сквозь зубы сказал Щепёткин.

— Да што ты, милай, што ты! К стожкам пришёл, тут мой покос, сенцо проверить... Эй, штаны-то чадят!

Не опуская ружья, Костя свободной рукой сдёрнул штаны с рогатулины, надел недосушенные. Маковей вздохнул, расслабился, подсел к костру и молча, с блаженством закурил. Ремень двустволки лежал у него на груди, и это, видать, успокоило Костю Щепёткина. Он положил ружьё подле себя, сел на траву. Всего его вдруг повело набок, и он поморщился, как от сильной боли. «Ранен, собака, где-то царапнули: или на фронте, или уж здесь».

— Брось мне кисет, — резко сказал Костя.

Кисет Маковей бросать не стал: потянулся через костёр, угодливо из рук в руки подал. Щепёткин принял кисет с осторожностью, не сводя глаз с бакенщика.

— Из Дергачей? — спросил Костя, слюнявя сигарку и подбирая губами табачные крошки.

---

— К ильинским заезживал. За полоем у них конюшню строят — гвоздей расстараться. Да у самих, говорят, мало — не дали. — Маковой головой покачал: — Вернулся, сокол, один ты из пыжинских. Ещё Шкарин Андрон приходил, да тому не судьба: утоп. Можя, слышал?

— Поди ж ты... А был мастак по бондарным делам.

— По сих пор в его бочках капусту солим. Огурец. Рыбу.

Гимнастёрка на Косте Щепёткине обремкалась: без пуговиц, с продранными локтями. Кожа на шее и на груди расцарапана. «Вши заели, чешется. Шкуру содрал, как усердствует».

— Всё же скажи: давно обо мне прослышал? — Щепёткин накрыл худые колени ладонями. — Знаю, тут за мной много гоняются.

— Ни сном ни духом — уж ты поверь. — Маковой усмехнулся. — Поди, не забыл, как в сорок первом провожались? Как у меня за казёнкой пили?

— Помню, а как же... Перепились тогда...

— Ты размахнулся, хотел кулаком по столу, а угодил по стакану. Стакан-то был тонкай — так руку ты всю об него и развалил... Наядливый был ты драться. Схватился с моим меньшим — колобком по полу. Водой окатить пришлось. Ты осерчал вконец, на чердак стал пялиться, удавку просить. Я тоже окрысился: за сына меньшого заело. Ты орёшь: «Задавлюсь!». А я: «Давись, чёрту душу надо! Дома верёвки не сыщем, так на конюшню схожу». Не помнишь, страсти какие были?

— Как же, память не вышибло, — откинул голову Костя, будто стыдясь.

— А отец у тебя был смиренник...

— Теперь и меня усмирили, смирнее некуда.

— Вот ведь: не думал, не чаял повидаться с человеком об эту пору, — заморгал Маковой. — А мои как ушли, так с концом... Скоко с этого горя я пережил, переболел — конь не увезёт.

Щепёткин от неловкого, резкого поворота опять покоробился, щека и левый глаз искривились. Он прижал ладонь к боку. Маковой повёл носом, принюхался.

— Или вода с озера илом так отдаёт, или — правда што — вонью пахнет?

— Рана гниёт... Живвала, опять открылась, — стиснул зубы Щепёткин.

— Дохтуру показаться бы, да нельзя.

— Травами вылечусь, собаки залижут, — язвил Щепёткин.



---

— Катерина приходит?  
— Бывают... Смотри, болтовню не пусти.  
— Стал бы я тут с тобой рассусоливать! Как даве из тальника увидал, так бы и взял голенького.  
— Скажи, Маковей, хоть как ты живёшь? — с доверием, ласково обратился к нему Щепёткин.  
— Живу мало-мало... Да, дело у тебя пахнет хмелем: бок-то гниёт. Вонища какая... Хошь, провожу тебя к знахарю в Тюхтерево? Тут сухопутком близко.  
— Никуда не пойду: ног мне до Тюхтерева не дотащить... Бабка Варвара в Пыжино тоже травами лечит. Всё ж таки — сродственники.  
Маковей зашевелился, вытянул ушастую лохматую голову.  
— Слышь-ка? Какая-то боль идёт!  
И Маковей сдёрнул двустволку.  
— Сядь, баба моя, Катерина...  
Она вышла из-за кустов, остановилась: была у неё большая котомка в руках, бердана через плечо.  
— Иди, иди, не бойсь, — стал махать ей Щепёткин.  
Катерина скупно поздоровалась, положила к ногам мужа котомку, сняла бердану, прислонила к старой ветле. Села, и больше ни звука: как в рот воды набрала.  
Бакенщик вскользь наблюдал за ней. Она показалась ему ещё больше худой, чёрной, чем тогда, перед самой шугой, когда привезли её с плотбища искалеченную.  
— Натерпелся тогда я страху, — сказал Маковей, глядя на Катерину ласково. — Совсем плохая река была — в промоинах. А везти тебя надо было в больницу — душа винтом. Как она, ручка, — сгинается? — упрямо клонил суровый старик.  
— Сгинается, поди, ничо. — Катерина сжала и распрямила пальцы. — Однако спасибо за старую выручку.  
— Да чего там — выручил, перевёз — на здоровье.  
И Катерине, и Косте, видно, эти слова понравились. Щепёткин взял мешок, стал торопливо развязывать. Вынул сала кусок, лепёшки, сушёную рыбу. Губы его дрожали, вспыхивали голодно глаза. «Худо, знатьё, дезертиром-то быть? И голодом мрёшь, и спишь, как собака, и страх каждоминутно тебя протирает. Хуже вора, поди-ка. Ни-ч-чаво, успокоишься скоро».  
— Подвигайся поближе, ешь, Маковей, — пригласил Костя Щепёткин. — Теперь мы почти што родные.  
«Это пошто же ты так? Меня с собой уравниал? Хренушки, милай! Не спеши-пляши — подлаживай».  
Солнце как раз совсем одолело туман — всю голубело небо. С шелестом осыпала листву старая, с дуплиной, ветла.

---

— Простоял бы сентябрь весь такой, да зима бы была сиротская, — мечтательно, сыто сказал Щепёткин и осторожно, чтобы не потревожить рану, опустил на локоть, с локтя на спину.

Катерина подложила ему под голову пучок сухой травы и мешок. Потом взяла котелок, долго копалась чего-то, бренчала и наконец ушла к протоке по воду.

Когда же она вернулась, то увидела, что муж её, Костя Щепёткин, которого она так долго и трудно ждала, гадала о нём чуть ли не по семь раз в неделю, мужик её грешный прижался к старой ветле, а бакенщик Маковой Зублев держит наизготовку двустволку и за спиной у него крест-накрест висят бердана её, Катерина, и Костина переломка.

— Хватит мне с вами здесь шутковать, — повёл ружьём Маковой. — Чем ты лучше сынов моих, враг? Косточки ихние на чужой земле зарыли, а ты притаился сюда, язва воющая! Убить мне тебя не жалко...

— Маковеюшка, — ныл, скривившись, Костя Щепёткин, припадая ладонями к дереву. — Ты не попомнишь зла, не попомнишь! Не затем я страдал столько, мучился... Отпусти! Всю жизнь служить тебе буду...

— Ни слезой тебе, ничем меня не пронять. Очерствела в горе душа моя, ссохлась. Ступай вперёд без разговоров!

— Я больной — бок у меня разорванный. Я ни на что уж не годный!

— Сходный ишшо, на что-нибудь да сгодишься.

Катерина стояла, опустив котелок к ноге; глаза её в узких прорезях выкатились.

— А ты иди, откуда пришла. Тебе, баба, мне сказать нечего: ты за жизнь свою намытарилась. Иди, проживёшь без предателей.

— Куда ты меня поведёшь? — задыхался Щепёткин.

— Куда следно, туда и пойдёшь... Али ты думаешь — на ушицу к себе позову? На кружку бражки? Ха-ха-ха!

— Ты зверь! Ты за отца мне всё мстишь!

— А хошь бы и так: с тобой я кругом буду прав, за тебя мне ишшо спасибо скажут... Ну-ну! Не ложись!.. Катерина, не подходи! До греха недалеко. Не пятнай себя, говорю. Без предателей обойдёшься.

Катерина поставила котелок с водой, ноги её подогнулись — она села на кочку и закачалась из стороны в сторону.

— Мож, не стал бы я за тобой гоняться, — плюнул старик, — да за сынов не прошу.

---

Костя поднялся с земли, побрёл через силу.  
— Катерина! — крикнул Маковой. — Еду подбери. А берда-на пока у меня поживёт...

## 6

У школьной сторожихи тётки Полины только и было хвалить Степаниду Марковну.

Увидит Максима и начинает:

— Живёшь ты, парень, как у Христа за пазухой. Уж ты её почитай, голубок, и помни: ласковый телок две матки сосёт.

Тётка Полина говорит быстро, заглатывает слова, с губ слюна брызжет, а сама, наставляя Максима, крутится по тесной своей комнатухе, задевает то за ведро, то за лавку, то ещё за что-нибудь.

Попервости мальчик выслушивал её молча, а потом надоело ему выстаивать у порога и слушать. Прошмыгнёт в класс, сядет за парту к свету поближе и начинает читать новую книжку, картинки рассматривать.

Никто в школе не читает столько книжек, сколько Максим. Ирина Петровна за это хвалит его, а он и без похвалы рад стараться: ему интересно. За книжками и про еду забываешь, и про игры с ребятами. Кешка Ягодкин за это на него сердится, обзывает тихушником, молчуном. После уроков в лапту бы сыграть, в городки, а Максима не дозовёшься. А если и вытащишь Максима из класса или из дома Маковых, то ненадолго. Играет-играет и в самый азарт выйдет в сторону, махнёт рукой: не хочу больше, потом приду.

Попалась Максиму книга одна, под названием «Удар и защита». Книга с картинками, и чего только нет в ней: тут тебе написано и про древних людей, про оружие, с каким они воевали, написано, как появились первые танки. Самый большой танк сделали итальянцы: семьдесят с лишним тонн! Чуть не пять тысяч пудов! В книжке он был показан на всю страницу — целая гора стали, перед которой люди казались карликами. И ещё в этой книжке было совсем удивительное: механический человек, который держал в железной руке пистолет. И была подпись: «Альфа» стреляет из пистолета». Эта книга поразила Максима так, что даже на уроках он стал рассеянным, глядел в окно и думал о механическом человеке «Альфа», который мог двигаться и стрелять.

---

Книгу «Удар и защита» у него забрала Ирина Петровна, полистала, поусмехалась.

— Читай, что тебе хорошо понятно. А чем не следует — голову не забивай.

После уроков в класс, где учился Максим, пришла Тамара Ваковна и с ней старшие школьники. Они сели на первые парты, поправили красные галстуки. Тамара Ваковна велела Максиму тоже остаться с ними.

Тамара Ваковна стала читать ребятам пьесу.

Жил в одной белорусской деревне пионер Костя Ветерков. Родителей у него убили немцы, и жил он с дедом Савватеем. Деда Савватеея тоже забрали немцы, избили и бросили в холодный сарай, часового приставили. Немецкий офицер узнал, что дед Савватеей уводил партизан в глухие леса. За это его и заперли в холодный сарай. А Костя Ветерков со своими друзьями решил выручить деда. Ночью он залез в дом к немецкому офицеру, утащил у него пистолет на ремне с кобурой и две гранаты-лимонки. Пистолет и одну гранату они припрятали про запас, а второй лимонкой той же тёмной холодной ночью убили часового. Дед Савватеей, Костя Ветерков и его друзья убежали к партизанам...

И вопросов же было, когда Тамара Ваковна пьесу читать кончила. И сколько Косте Ветеркову лет, и где они возьмут немецкую форму, и как обойтись без гранаты-лимонки: ведь надо, чтобы на сцене был взрыв? Максим больше всех спрашивал, рта не закрывал — он не видел в жизни ни одной постановки.

Тамара Ваковна всё объяснила, растолковала, начала роли распределять. Максим сам вызвался сыграть старика Савватеея.

— Бороду привяжем тебе из кудели, — сказал Виссарион Болотов.

Виску Тамара Ваковна сразу «поставила» часовым: немецкий часовой должен кричать: «Стой! Кто идёт?», а у Виски голос из всех ребят самый зычный.

Максим все слова, которые дед Савватеей говорит, наизусть выучил. Тамара Ваковна им довольна, хвалит его, другим мальчишкам в пример ставит, а Максим краснеет и хмурится: не привык он к такому.

Ещё занятно Максиму про войну книжки читать — рассказы, где про храбрых сибиряков написано, как они немцев лупят, стреляют по-снайперски, на лыжах ходят — никому не угнаться. И морозов не трусят, потому что здоровые, крепкие, закалённые. Максим знает, что когда он вырастет, тоже будет таким... Как отец, Егорша Сараев, как дядя Андрон.

---

Максим себе выстругал пистолет — плоскую деревяшку, прикрутил к ней патрон от берданы, выпрошенный у Ларьки Типсина, и после уроков, когда бывает охота, бегаёт по задворкам, играет в войну с мальчишками...

И голодом он не сидит, не то что в первые дни. Варит горошницу, кашу-овсянку — такую же, как на Шестом когда-то. Степанида Марковна Максимова варёво маслицем изредка сдабривает. Ест он картошку-толчёнку, в русской печке на сквородке зажаренную. Не простую картошку — на молоке, да сверху ещё сметаной подмазанную.

Степанида Марковна заставляет Максима дров поколоть, у коровы в пригоне почистить, сбегать с ведёрками по воду. А больше такого и делать нечего. Разве что с Котькой когда поиграть, с сынишкой тёти Валерии, пропеллеры из лучинок выстругать.

У Котьки отец воюет лётчиком, и Котька, трёхлетний клоп, ни во что другое играть не хочет, а только в самолётики-пулемётики. Бегаёт по избе, крутит вертушку-пропеллер и жужжит, как жук. Разыграется — не унять: носится, глаза выпучит, шум, гром от него. Щёки у Котьки смуглые, гладкие, как яички, выкрашенные луковой кожурой... Играет-играет с Котькой Максим и вдруг запечалится: Егорку вспомнит. Некому в Пыжино забавлять Егорку, некому доглядеть. Сидит, поди, около молчаливой бабки Варвары, тюрючки по полу катает, или за подолом матери по морозу таскается.

Мать Котьки, Максим зовёт её тётя Валерия, совсем ещё молодая, комсомольский значок носит. Нос у тёти Валерии длинный, толстый, с горбатинкой. У тётки Анны, Анфимовой бабы, нос тоже большой, но не такой великан, как у тёти Валерии. Максиму тётя Валерия кажется некрасивой. Тамара Ваковна — эта вот да. Такая ладненькая, одевается лучше всех в Сосновке. Недаром Ларька Типсин за ней ухлёстывает.

Тётя Валерия некрасивая, зато разговорчивая, с Максимом ласковая. От неё пахнет лекарствами, когда она приходит домой на обед прямо в белом халате. Письма с фронта она читает со слезами, иногда смеётся, если в письмах муж пишет что-нибудь радостное. Максиму кажется, что она водит носом по строчкам письма, как учительница указкой по школьной доске.

В обычное время тётя Валерия читает толстую книгу «Тихий Дон» писателя Шолохова. Читает про себя, и тоже — когда смеётся, когда утирает глаза.

Вот уж Максим удивился, когда узнал, что Степанида Марковна безграмотная. Так складно, хорошо говорит, так чисто одета — и ни читать, ни писать не умеет.

---

Максим слышал, как Степанида Марковна однажды рассказывала бабке Ульяне про свою горькую жизнь.

Дом у них раньше был где-то под городом, в тёплых краях. Дом с садом, где груши росли, яблоки, вишни... Для Максима эти слова были совсем диковинные: про груши и вишни он и не слыхивал... Ну, богатые были Маковы — Степанида Марковна врать, что ли, станет. Муж у неё по торговле какое-то важное дело вёл... Может, как Пылосов был или ещё выше. Потом случилась кража: с больших складов уворовали товару на тыщи рублей. Кто да как — неизвестно, только мужа её, Степаниды Марковны, заподозрили. Увезли, посадили, и сгинул с концом человек. Степанида Марковна дом и сад продала, с детьми искать мужа в дальние земли поехала. Не нашла... В Каргаске жить осталась, сыновей выучила — и Коля, и Саша по десять групп прошли. Коля женился, медичку взял. Степанида Марковна снохе не обрадовалась: была у неё охота на другой женщине сына женить. Да Коленька не послушался. Тётя Валерия, значит, на работу в Сосновку перевелась, дядя Коля за ней потянулся. Так Маковы все и перебрались сюда.

Долго тогда сидела Степанида Марковна с бабкой Ульяной, вздыхала. А Максиму казалось, что она о чём-то недоговаривает, чего-то таит в душе. Он думал: «Это у Степаниды-то Марковны жизнь горькая? А какая же тогда жизнь у меня, у матери, у Егорки? У остяка Анфима Мыльжина?.. У Анфима, конечно, получше нашей, но тоже сладкой не назовёшь...».

Степанида Марковна услышала раз, как он читал Котьке стишки, и сказала:

— Придёт бабка Ульяна — скажу ей, чтобы она ту церковную книжку мне принесла, которую нам давно читал Гаврила Гонохов. Надо, чтобы ты тоже к божьему слову, сынок, прислушался. Будешь читать нам житие Иисуса Христа.

Максим моргал глазами, молчал.

— Ведь считаешь, уважишь старых людей?

— Я не смогу... Я видел такие книжки, божественные: там непонятно написано и буквы другие.

— В той книжечке, какую бабка Ульяна нам принесёт, всё просто, понятно написано... Ты читай Котьке стишки-то, читай.

Максим выставил лоб, нагнул голову.

— Степанида Марковна, — сказал он врасстяжку, краснея от неловкости перед хозяйкой, — меня в пионеры примут, а пионеры в Бога не верят...

— Господи, прости нас, — вздохнула, перекрестившись, Степанида Марковна и, не взглянув на Максима, ушла управляться по хозяйству.

---

Воскресным днём заявила бабка Ульяна — старенькая, кривобокая, мать колхозного бригадира Данилы Серякова. И начались у неё со Степанидой Марковной разные разговоры, а Максим сидел на печи, слушал и ждал, что Степанида Марковна за вчерашнее будет корить его при бабке Ульяне.

— Мокрядь на улице, — сверкнула бабка Ульяна голубенькими глазками. — Маленький дождишко — лодырям отдышка. Председатель с Серяковым из двора во двор ходят, а то рысаком носятся — людей на работу гонят.

— Да в дождь-то что делать? — удивилась Степанида Марковна.

— В поле, конечно, неча, а в лес за дровами — кака беда доспелся?

— Да перемокнут же.

— Э, невидаль. Бог вымочит, Бог высушит... Нонче и летом-то мало было жары: как соберутся сено грести, так сырёшенько — трава вылёживаться не успевала... Ох, жись, распроязви её, распятнай её пятнами большими. — Бабка Ульяна была одета в чёрное, взмахивала руками, а голубенькие глаза её, такие необычные на дряблом лице, были злыми. — Извёлся Серяков мой, страсть какой шумоватый, несдержанный стал. И всё бригадирство это его заездило.

— А другого тут бригадиром и некого, Чеевна. — Была у Степаниды Марковны привычка — величать всех подряд «Чеевнами» да «Чеевичами». Максим не помнит, чтобы кого-то она назвала полным именем-отчеством. — Сын твой — хозяин, хоть и стар уже, и здоровьишком слаб. Видала я, как он стога прошлые годы метал: живчиком, живчиком — залюбуешься.

— Хиреть стал, про то и толк...

— Война людей изводит, Чеевна. Кому сейчас легко?

— Нет, Бога не чтим, живём греховно... Вон он, сидит на печи, — она махнула чёрной рукой в Максимову сторону. — Пошли его христарадничать, так он тебе лба не перекрестит. А я в девках, поди, сто молитв уже знала. А теперь что же это тако? И стар и млад богохульствуют. Вечёрась Гаврила Гонохов сослепу-то об угол стукнулся. Я мимо шла. Слышу: Гаврила Бога изматерил. — Бабка Ульяна выпучила глаза. — Батюшки! Давай я его стыдить, а он одно мне: махнул рукой да в избу... А вспомнить... На Алтае, в Малаховке нашей, в церковном хоре мы вместе пели. Гаврилка тот же, гоноховский... в хоре Игнатка пел, Яшка Крылышкин, Дуня Косорукая... Эх, пошто же кругом от божьего слова мы отступаем?

— Такое время, поветрие, Чеевна... Книги святой почитать грамотеев-то не допросишься.



---

«Сейчас про меня скажет», — насторожился Максим. Но говорить опять стала бабка Ульяна.

— Вон тот ветряк начали строить у нас в тридцать втором году. Строить взялись, а место не освятили, как ране бывало. Вышел ветряк как ветряк, а жернова не крутит. И стоит по сей день — укор господен.

— И не потому вовсе ветряк не крутится, — подал голос с печи Максим.

— Ась? — уронила голову набок бабка Ульяна, сощурила один глаз, другим — голубым — на Максима уставилась.

— Для ветряка место неловкое выбрали. Надо бы на втором бугре ставить, второй бугор выше. А поставили на первом. Вот ветряку ветра и не хватает... Да, нам в школе так говорили.

— Тьфу! — плюнула бабка Ульяна. — Чтоб ты скис, болтун куричий! Оговорил старуху за моё-твоё. Степанида, потачку даёшь!

— Со старшими нельзя спорить, — милостиво упрекнула его Степанида Марковна и глубоко вздохнула. — Если ты книжечку ту принесла, доставай, Чеевна. Максим нам почитает, он послушной мальчик...

Бабка Ульяна костлявой рукой выпутала из шали жёлтую книгу без корочек. Степанида Марковна, крестясь, приняла её, протянула Максиму.

От страниц книги пахло тенётами, затхлою прелью, будто валялась она под досками пола и на ней спали мыши. Максим спросил, откуда ему начинать.

— А где откроешь, там и читай. — Бабка Ульяна закутала руки шалью и приготовилась слушать.

У Максима горели уши. Он почувствовал, как у него припухли и оттопырились губы, а рот забило слюной. Голыми пятками он елозил по горячим приступкам.

— Ну что ж ты? — сказала Степанида Марковна.

Максим проглотил слюну и ломким голосом начал:

— «Жизнь Иисуса Христа была любовь, дела его были любовь, любовь так же были его страдания и смерть».

Женщины крестились и шелестели губами. Максим продыхнул и продолжал уже громче, спотыкаясь на непонятных словах: «...видим и слышим, как бедный народ, водимый слепыми и злыми вождами, предпочитает ему, благодетелю своему, разбойника Варавву; слышим, как саддукеи и фарисеи, священники и народ, высокие и низкие, учёные и неучёные кричат: распни его! видим, как главу его увенчивают терновым венцем...».

---

В это время вошла Тамара Ваковна, поздоровалась, окинула внимательным глазом всех, кто был в доме. При виде её Максим захлебнулся, заложил в книгу палец, захлопнул.

— Садись, гостьей будешь, — пододвинула ей стул Степанида Марковна.

— Зашла навестить Максима. Как ты живёшь, а?

— Да хорошо, — застыдился Максим и торопливо убрал босые ноги.

— Чего ему? В тепле, ест, пьёт, — сказала бабка Ульяна почти сердито.

— Церковные книжки читает? — Тамара Ваковна расстегнула жакетку, строго поджала губы. — А Валерия где?

— Гуляет с Котькой... А давайте мы чаю попьём: как раз собрались, — поднялась Степанида Марковна.

Максиму было неловко, и он забился подальше в угол. Он знал, что Тамара Ваковна пришла не только его попроведать, но и про Сашеньку узнать. Сашенька, младший сын Степаниды Марковны, не женат, офицер, и кругом говорят, что Тамара Ваковна его любит и через это и Ларьке даёт отпор. Максим от Степаниды Марковны слышал, что, когда Сашеньку брали на фронт, Тамара Ваковна плакала.

Максим загадал: спросит сейчас Тамара Ваковна про Сашеньку или нет?

Спросила!

— Было письмо, фотокарточки, — с радостью сообщила Степанида Марковна.

Максим слез с печки, взял в тайничке свой ножик и незаметно ушёл из дому.

— Эх, ты, — сморщился Ягодкин Кешка, — сидишь весь день со старухами и не знаешь ничего.

— А что знать-то? — насторожился Максим.

— Ларька Типсин медведя убил за Подъельниками.

С медведя уже шкуру сняли и разделили тушу на части, когда прибежали мальчишки ватагой посмотреть на зверя.

— Опоздали, теперь до другого раза, — важно сказал Ларька Типсин и хлопнул ножом плашмя по ладошке.

Максиму Ларька отдал лёгкие: большущие, розовые, горячие, Максим еле удерживал их за толстое медвежье горло. Он приволок их домой и сказал с радостью Степаниде Марковне:

— Кешке Ягодкину дали печёнку, а мне лёгкие с горлом.

Хозяйка посмотрела на него широкими глазами.

— Снеси-ка, милок, это деду Гавриле Гонохову. Он собаку на дворе держит, а нам ни к чему.

---

И она отвернулась, ушла. Максим приставил ногу к ноге, рука у него опустилась, и лёгкие наполовину легли в пыль...

— Сараев, — строго сказала Ирина Петровна, — после уроков зайдёшь в учительскую.

Чертёнком подвернулся к Максиму Кешка:

— За что?

— За спрос, а кто спросит, тому в нос, — огрызнулся Максим.

— Ну скажи-ы, — мучило любопытство Кешку.

— Тамара Ваковна видела, как я старухам книжку божественную читал.

— Тю-ю, — растянул Кешка, отодвигаясь. — Меня в позапрошлом годе бабка крестить в Старый Каргасок возила, и то ничо не было.

— А я некрещёный и в Бога не верю. А читал просто так.

В учительской было тепло, блестело солнце на стёклах книжного шкафа. За столом, на котором он спал в первые дни, сидела Тамара Ваковна и тонким ножичком стачивала красный карандаш. Такими карандашами на делянах и лесосеках маркеры метят торцы спиленных деревьев, а здесь, в школе, учителя делают из них чернила. Красными чернилами они исправляют ошибки, выставляют отметки. А школьники пишут разными чернилами: кто делает из красной свёклы, кто из брусничного сока, а больше из сажи, которую соскребают с вьюшек.

В проёме окна стояла согнувшись Ирина Петровна и раскладывала на подоконнике тетрадки. Руки у неё большие, костлявые, и казанками она стучается о подоконник. Сбоку Максиму видно, как у Ирины Петровны пошевеливается нижняя губа, толстая и обветренная.

С Максимом пока никто не заговаривал, и он понуро стоял и ждал у порога.

— Ты в пионеры готовишься? — Тамара Ваковна продолжала с хрустом стачивать гранёный красный карандаш, а Ирина Петровна глянула на Максима через плечо.

— Готовлюсь, — ответил тихо Максим и спрятал за спиной дрожащие руки. — Я это с охотой, как все...

— Мы хотим тебя с полугодия перевести во второй класс, — сказала Ирина Петровна.

«Вот это было бы да!»

— Степанида Марковна что, и молитвы тебя учить заставляет? — подошла к Максиму Ирина Петровна.

— Говорила, да я не схотел...

— Молодец. А книги, какие не надо, зачем им читаешь?

---

Максим виновато моргал глазами.

— Читал, и всё. А верить не верю. А как не читать? Как отказать? — вспыхнул он, чувствуя близкие слёзы. — Она ведь кормит меня, жить пустила к себе.

Лицо Ирины Петровны, большое, щекастое, в мелких оспинах, подобрело, стало таким, каким оно было в тот день, когда она накормила его пареной морковкой.

— Она женщина, может, и славная, но суеверная, а это тебе, Максим, ни к чему. Понимаешь?

— Понимаю, Ирина Петровна...

— Ну, иди. Я сама поговорю со Степанидой Марковной. Я хорошо с ней поговорю, ты не бойся. Иди.

Но из школы он сразу не ушёл — сидел долго в пустом классе, смотрел на серый двор. Потом бестолково по улицам шлялся, забрёл за старую мельницу, в густой бурьян. В пожелтевших сухих метёлках полыни и чёрной длинной крапивы копошились жирные воробьи. Он свистнул, швырнул в них палку. Воробьи снялись с шумом и сели на самый верх ветряка.

От ветра за полем, вдали, расшумелся сосняк, а с высоких черёмух, с берёз облетал скрученный рыжий лист. Неподвижные крылья мельницы скрипели и выгибались.

«Стоит — укор господен», — вспомнил он бабки Ульяны слова. — Старухи навязчивые... Бог! Бог! — Максим злился. — Молитесь себе, а то из-за вас...»

От холода и обиды он сильно дрожал: дырявая одежка не грела. Мальчик зашёл с наветренной стороны, прижался спиной к шершавой тесовой обшивке и долго прислушивался к дрожанию и скрипу заброшенной мельницы.

## 7

— Христос с тобой, посинел-то как! Да где же ты шляндаеть столько?

Такими словами встретила его Степанида Марковна, когда он, озябший и мокроносый, с затуманенными глазами, заявился домой к вечеру.

Максим надулся, молча шмыгал носом. Дома была одна Степанида Марковна с внуком. Котка сидел за столом и вычерпывал деревянной ложкой тюрю.

Максим подошёл к печи, прислонился щекой к её тёплому боку.

---

Котька, как взрослый, постучал деревянной ложкой по пустой железной чашке.

— Съел, моя ягодка, скушал? Золотце, умничка, чеченька. Ешь да расти. Папанька приедет, увидит тебя, скажет: «Вот он какой у нас малышок! Большой да послушный». Ешь, родимый...

Она вздохнула два раза кряду, вытерла руки о фартук, маленькие, с тонкими острыми пальцами, села против Максима. В глазах Степаниды Марковны были надежда и кротость, так смотрела она, когда обращалась к богу.

— Была тут, часом, Ирина Петровна... выговаривать приходила. За доброту свою укоров дождалась. Вот она, благодарность людская. Эх-ха, прости нас, Господи, грешных...

— Я про церковную книжку ничего никому не сказывал.

От неловкости и какого-то неясного стыда перед Степанидой Марковной язык у него заплетался.

— Я тебе в матери не напрашиваюсь — есть у тебя родная, дай Бог ей здоровья и долгих лет! — но коли я в доме своём пригрела, ты должен меня уважать. Кроме счастья-добра, я тебе ничего не желаю.

Максим отвернулся: мутно стало в глазах.

— Школа школой, чему там учат — учись, но и меня, милый мой мальчик, слушайся. Не гневи Бога, молись ему. За мать свою, за братишку, за сынов моих, чтобы немцев-злодеев они побили и домой пришли здоровёхонькие.

Максим силился не заплакать и тёр кулаком глаза.

— Ну, будет, будет... Господь детей не винит, он всё им прощает... На иконы не хочешь молиться — в душе про себя молитву твори.

Степанида Марковна взяла его за руку, к столу повела.

— Ешь, что Бог послал.

— Не хочу я, не буду... Тётка Полина меня покормила.

— Врёшь, поди... Тётка Полина сама зубы на полку кладёт.

«Зато уж у вас всё есть. Расхвасталась... Жил бы лучше я в школе, ел бы картошку и спал в учительской».

Забрался на печку, лёг на живот — читал «Приключения барона Мюнхгаузена». И сразу всё позабыл: голод, обиды, укоры хозяйки. Он бы, наверно, не оторвался от книжки, если бы Степанида Марковна не привернула фитиль: так она делала всякий раз, когда вставала в угол перед иконами. Он слышал её протяжные вздохи, видел затылок с гладким тугим пучком чёрных волос. В волосах блестела большая металлическая заколка.

Тётя Валерия всегда приходила домой поздно, а тут пришла чуть ли не в полночь. Максим не спал, ворочалась Сте-

---

панида Марковна — тоже, видать, не спалось. Тётя Валерия вывернула фитиль: от длинного крупного носа на лицо ей упала тень.

— Загуливаешься, — сказала с постели свекровка.

— Вы, мама, не спите?.. А Максим?

Максим промолчал.

— Ирина Петровна, мама, из-за Максима на вас ругается.

— И ты туда же, — завозилась, заохала Степанида Марковна. — Чья бы корова мычала... Загуливаешься, говорю.

— Опять с упрёками? — голос у тёти Валерии был колючий. — Опять до слёз меня довести охота?

Таких разговоров при Максиме ещё не было в этом доме.

— Чем зря нападать, лучше спросили бы, где я была.

— Поди, известно...

— Левонтия Типсина старший сын с фронта вернулся, Михайло.

Что-то вдруг сделалось со Степанидой Марковной. Вскочила она с постели растрёпанная и, как была в нижней рубашке, кинулась к тёте Валерии:

— И как же он? Что говорил? Какие вести привёз?.. Боже милостивый!

— Был офицером, раненый: лёгкое пулей задето. Рана ещё живая, не затянуло как следует. Ну и... пришёл сразу мне показаться. И зубы дорогой Михайлу замучили: купоросом полощет. Радость, конечно, у Типсиных. Меня пригласил, после работы у них вот и засиделась.

— Не видел ли наших голубей там? Не встречался ли?

— Нет, мама, он был на другом фронте. А вести, мама, хорошие. Наши везде наступают. Войне скоро конец.

— Господь даёт — возвращаются помаленьку люди...

Свет в лампе загасили совсем.

Максиму часто виделись сны.

Сны ему виделись разные: и страшные, и смешные, про рыбалку, про кедрачи на пыжинском кладбище. А то ему снилось, как он летал — то с горы, то с дерева. Максим почти всякий раз просыпался и вспоминал, как объясняла такие сны мать. «Во сне падаешь — значит, растёшь. Это, сынок, хорошие сны».

От страшных снов, когда падали немцы и наши солдаты под свинцовым огнём или когда гнались рогастые коровы, он тоже пробуждался. Сердце прыгало, и пот выступал на лице. А губы были сухие, как опалённые жаром.

Смешные, весёлые сны ему снились редко...

В ту ночь Максиму приснилась мать: она держала Егорку за руку и плакала над чьей-то могилой. Ему было до слёз

---

жалко мать, и он всё её спрашивал, чья же это могила и почему она плачет над ней. Мать отвечала, что это могила отца. Мальчик терялся: ведь отца не хоронили на кладбище, его похоронил остяк Анфим в тайге, у далёкого озера. Зачем же мать говорит неправду?

Потом, наплакавшись, мать повела куда-то Егорку, о Максиме забыла. Он звал мать, но она не отвечала ему: шла себе, да быстро так, что Максим не поспевал за ней. Тогда он крикнул что было силы: «Мама!» — и проснулся...

В комнате заворочался кто-то: не то Степанида Марковна, не то тётя Валерия. Он лежал с открытыми глазами, повернулся на другой бок и опять заснул. И снова ему приснилась мать, будто он опять в Пыжино, в доме бабки Варвары, сидит за столом с Егоркой. Мать сказала братьям, чтобы они подождали, пока она испечёт толстые пышки из чистой муки. Пышки она испекла скоро. Они дымились масляным хлебным паром. Мать положила на стол перед Максимом одну, перед Егоркой другую. Максим взял пышку, перебросил в ладонях, ожёгся... И тут он проснулся второй раз в эту ночь, отёрнул руку от чего-то горячего. Во сне, оказывается, он сдвинулся с толстой ватной подстилки на горячие голые кирпичи печки — ему и нажгло руку.

Уже светало. Степанида Марковна собиралась выносить поило корове, на кухне горел светлячок.

— Максим, вставай, по воду сбегай.

Потом пили чай.

На большой перемене Максим, Кешка Ягодкин и Болотов Виска выбежали на улицу. Было ясное солнце без ветра. Горели листья на не облетевших ещё осинах. На краю села пели: бабьи голоса забивали мужские.

— У Типсиных голосянку дерут, — сказал Кешка. — Михайло у них вернулся. Бражку пьют. — Кешка поскрёб за пазухой.

Давно занялся вечер, а песни у Типсиных не смолкали. Из Каргаска приехал нарочный, привёз повестки парням, которым в армию время пришло идти. Отдали повестку и Ларьке Типсину. Бабка Ульяна, заглянувшая к Степаниде Марковне, посочувствовала:

— Забрили — отхороводился... Злились за девок на него многие. Теперь отец с матерью загорюют.

— Все мы горюем, Чеевна, — скупно сказала Степанида Марковна. — Бог сбержёт.

В сумерках где-то близко рыдающий пьяный голос Ларьки Типсина выводил:



---

Пойте, девочки, припевочки,  
А мне не до того...

— Ох, Господи, — вздохнула бабка Ульяна, — грехи наши тяжкие...

## 8

За овином их собралось человек семь мальчишек и девчонок. Скирды ржаной соломы горбами вздымались на бледном, угасшем небе. Пищали мыши. От леса к овину летела птица с коротким туловищем и длинными крыльями. Ребята стали в кружок, Кешка принялся рассчитывать:

— Аты-баты, шли солдаты... Выходи! Манька, тебе голить!

— Всегда этот Кешчишка так рассчитает, что мне голить, — обиделась Манька.

— Ух ты, мымрочка, — потянулся к ней Кешка Ягодкин и ущипнул за щёку.

— Не щипайся, щипучка.

Они играли, пока не пропал интерес к пряткам. На краешек неба высунулась луна и стала взбираться всё выше и выше.

— Как ветром снизу её выдувает, — обмолвился Максим.

— Ты погляди, — дёрнул Кешка Максима за руку, — баба там с коромыслом и вёдрами расшиперилась.

— А вовсе не баба, — возразила Манька. — Это Каин и Авель.

— Да ну вас! — презрительно хохотнул Максим. — Всякую дурь выдумывают. Я у Ирины Петровны спрашивал, и она сказала, что луна — это планета мёртвая и на ней никто не живёт, потому что воздуху нет.

— Побожись! — подступил Кешка.

— Вот ещё, — отвернулся Максим. — Ты как Степанида Марковна: она без божбы слова не скажет.

Они возвращались в село огородами, молча. Максим спросил Кешку:

— Когда твой отец нас на рыбалку возьмёт? Ты всё хвастался, что возьмёт, да, наверно, прохвастался.

— А хоть когда...

В субботу они собрались на пески, где неводила бригада Кешкиного отца. Степанида Марковна нашла старый Сашенькин дождевик. Плащ Максиму был велик, но мальчик взял его: хоть будет укрыться чем на случай дождя.

---

Максим в ворота, а навстречу — усталая, запылённая Манефка Пылосова, с мокрыми волосами из-под платка, с сумкой на лямках. Увидала — и прямо к нему, а он растерялся: вот диво! Он знал, что она уходила в Большие Подъельники поступать в пятый.

— Снимай сумку да садись вот сюда, — показал Максим на бревёшки, привезённые на дрова Степаниде Марковне.

Манефа мешок не сняла, но присела.

— Домой иду, на пока отпустили... Отца в Каргасок увезли, за растрату, наверно, посадят. Мачеха заболела, лежит... Калиска пишет, что одна она с домом совсем умыкалась.

Манефа отёрла концом платка пот с лица, на Максима она не глядела: взгляда его избегала.

В мыслях Максима вставали пыжинские картины: лицо Ивана Засипатыча, первая ночь на Шестом, сопенье Пылосова и протестующий голос матери. И собственный крик Максима среди ночи, и ругательства Пылосова, его хромающая фигура, уходящая в белых исподниках из барака в дом деда Зиновия. И Манефа вспомнилась — в тот первый раз, когда он увидел её рядом с Калиской. И потом, когда Манефа сама пришла к нему в гости и он угощал её картошкой, жаренной на плите ломтиками. И чтение сказок, и книжка Пушкина, подаренная ему в дорожку... Манефа учила его читать, и разве это забудешь? И остров Осиновый вспомнился, ночь, когда они шли по песку, а в осинниках кричал филин. Протока, лодка... Манефку — жалко...

— Теперь в школу тебя не отпустят, — сказал грустно Максим, комкая дождевик. — А мы здесь постановку готовим. Интересную! Я там старика Савватаю буду показывать. Правда!.. И в Большие Подъельники мы пойдём.

— Не пустят — я тоже тогда из дому уйду. Как ты...

— И уходи! — обрадовался Максим. — Не пропадёшь, не думай. Мне вон колхоз помогает, а я работаю.

— Мужик. — Манефка прикрыла ладошкой рот, сощурилась на Максима. — У тебя конопатки меньше стало заметно. Хи!

— Просмеиваешь? Ну ладно, я на тебя не дуюсь, не маленький. — Голову поднял, нос наморщил, глаза хитрующие хитрующие стали. — Холода начались, а конопатки весной расцветают. Подожди до весны: такой же буду, как был.

— А знаешь, знаешь, — резко к нему обернулась Манефа. — Тётки Катин мужик, Костя Щепёткин, дезертир оказался! Бакенщик Зублев поймал его на покосе.

— Вот это да-а, — изумился Максим и встал с бревёшек. — Как же тётка Катя жить теперь будет?

---

— Пойдёшь со мной к Дергачам?

— Манефка, я бы, знаешь, с радостью, да меня там ребята ждут. На пески к рыбакам едем, на тони...

Манефа пошла одна, и Максим почувствовал печаль и досаду в душе. Он догнал её, забежал вперёд.

— Ты не сердись, не дуй губы... Мы с постановкой... в Подъельники. Ты приходи.

И когда она уже далеко отошла, улыбнувшись ему на прощанье, он закричал, поднимая высоко руку:

— Приходи-ии!

## 9

В первый год войны сосновский колхоз выделил девять лучших своих рыбаков, снабдил их снастями, ловушками, и эта особая рыболовецкая бригада добывала теперь рыбу для фронта.

Главным в бригаде был Кешкин отец — Микола Ягодкин. Его бригада уже четвёртый год в любую погоду — с весны до весны — рыбачила на самой Оби, по протокам, озёрам — пойменным пурликам. Таких бригад, как бригада Ягодкина, в те годы по всей нарымской земле было не счесть. И рыбки они вылавливали — осетра, стерляди, нельмы, сырка и всякой другой — множество.

Кешка привёл Максима и Виску Болотова в бригаду отца, когда рыбаки выбирали из реки большой стрежевой невод — снасть в пятьсот метров длины и десять метров глубины.

Огромной дугой выгнулась на воде длинная цепь поплавков. Вот рыбаки выбрали тяги невода, впрягли в них пару лошадей, сами подставили под бечеву плечи, наклонились вперёд — чуть не легли плашмя своими телами на песчаный берег. И пошёл незаметно сужаться круг, тесня и ограничивая бег рыбы. Мокрые, в заскорузлой от рыбьей слизи одежде, с побагровевшими от натуги лицами, почти касаясь песка коленями, рыбаки похожи были на бурлаков. Бригадир-установщик Микола Ягодкин глянул хмуро на ребят, те поняли, дружно ухватились за верёвки, вместе со всеми натужились, потянули. У Максима аж пальцы заныли, потом глаза заело.

Самое интересное началось, когда стали выбирать улов. Большущего осетра выволокли из мотни, оглушили увесистой колотушкой — задрожал острый хрящ носа, хвост изогнулся, с силой расшвыривая мелкую рыбу. Осетра понесли

---

вчетвером, бережно уложили в отсек неводника, прикрыли травой, а сверху ещё брезентом. Довольство и радость осветили лица людей. Бригадир Ягодкин в забывчивости провёл по губам ладонью, измазал рот слизью, весело чертыхнулся и сплюнул:

— Язва! Измазался рыбьей соплей... — И громко скомандовал: — Шабаш. Обед, мужики! Складывай рыбу, я пошёл костёр разводить.

— Тятка всегда весёлый, когда осетра большого поймает, — подмигнул приятелям Кешка. — А на работе шибко изматывается. За день-то они, рыбаки, набродятся до икоты, до ревматизму... Тятка скулит по ночам. И утром, как станет бродни свои надевать, так морщится, будто оса его укусила. В коленках трещит...

— Работнички! — окликнул ребят бригадир. — Живо дрова собирать на костёр.

Сидя у большого костра, Максим глядел в двухведёрный котёл, откуда нестерпимо вкусно пахло сластящим рыбьим жирком и упревшими хрящами, — в работе он сильно проголодался. Из котла высовывались хвосты, плавники, головы с белыми вылезшими глазами, перемещались от кромки к кромке золотистые пяточки.

Котёл сняли с огня.

Рыбаки развязали мешочки, вынули ложки и чёрный помятый хлеб. Ягодкин отломил кусок своему Кешке, с Максимом поделился древний старик Санаров, с Виской Болотовым — Левонтий Типсин.

Левонтий после увечья на Васюгане, когда ружболванку сплавляли, когда его друг Андрон Шкарин погиб, с месяц в больнице лежал, в Каргаске, а после в Сосновку вернулся — в бригаду к Миколу Ягодкину.

Ребятам сделали ложки из бересты и палочек. Они смиренно сидели, вперёд старших к котлу не лезли. На что у Кешки отец тут — и Кешка терпел.

Начал Санаров дед, за ним зачерпнул бригадир, за бригадиром Левонтий, остальные четверо рыбаков. Потом уж, вытягивая шею и привставая, стали таскать самодельными ложками Кешка, Виска, Максим. Так и распределились, и никто не мешался, никто не лез вперёд другого.

— Ух, наелся, как бык, не знаю, как быть: дай бог отвалиться, — сказал дед Санаров и облизал ложку.

— У меня тоже аппетит — ем, пока шапка не слетит, — икнул Микола Ягодкин. — Нажабился, как гусь, — аж по самый язык.

---

Бригадир откинулся на песок у костра.

— Отдохнём — покурим, вздремнём. — Он прикрыл рукою глаза и широко зевнул.

Левонтий табачным дымом поперхнулся, в ладошку закашлял, побагровел лицом.

— Видать, с перепую, сердешный, — заметил ему Санаров дед.

Прокашлявшись, Типсин Левонтий губы обтёр, помотал головой:

— Да уж потешились эти два дня: выдули бражки бочонок... И радость, и горе. Один сын возвратился, другой ушёл. А што поделаешь? Война, змею добивать надо — башку разmozжить, чтобы больше не подымалась.

— Ларька — бедовый парень, — подал голос дремавший Микола Ягодкин. — И на фронт уходил с песнями весёлыми.

— Што Михайло-то сказывает? — Санаров ложку в мешок положил, мешок завязал. — Видал я его, да ладом не поговорили — некогда было.

Левонтий окутался дымом, кепку на голове перекинул с жёваным козырьком.

— Я раньше думал, что мы по Чижапке, в березняках, всего натерпелись: и лихо было, и голодно, и пуп трещал. А Михайлу послушал — э-ээ, думаю, у нас цветики были! А он сколько смертей видал, сколько калек... Самого продырявило, не знаю и выжил как... Конину мёрзлую ел, воду с кровью из речек пил.

Левонтий небритую щёку пальцами тискал, как будто зубная боль его мучила.

— Да, — кашлянул дед Санаров. — Зверь такого с человеком не сотворит... Фашисты.

— Скоро им крышка, всех гадюк передавим...

Типсин Левонтий в огромную горсть сухого песка зачерпнул, бросил в костёр: угольки затрещали, защёлкали.

Максим, когда разговор завязался, сидел за широкой спиной у Левонтия, а потом перешёл на другую сторону и Левонтию в рот глядел. Левонтий березняки чижапские вспомнил, где ружболванку они кололи, и у Максима теперь все мысли, все думы вокруг Чижапки вертелись. «Ведь там и дядя Андрон был. Там, там! Спрошу».

— А вы про бондаря Шкарина знаете? Он с фронта пришёл и сразу туда уехал, в Селивейкино, на Чижапку.

Левонтий голову к нему вскинул, глаза оживились.

— Ты откуда, подгрудок, знаешь его?

— А мы с ним... А он у нас жил, ещё когда в Пыжино...

Типсин Левонтий кивнул, будто поклон отвесил.

---

— Андрона Шкарина как же не знать: был он у нас бригадиром тёсщиков, на одних нарах с ним спали...

И Левонтий рассказал, как утонул Андрон в ту ненастную, тёмную ночь на Васюгане.

— Таких людей, как бондарь Андрон, не забудешь. Партийный человек, — вздохнул Левонтий, доставая кисет. — Сейчас в Селивейкино новый начальник, я слышал. Хорошо об нём говорят. Народу ещё понаехало. Болванку по малой воде неводниками вывозят, а дальше она по Оби на баржах идёт... Михайло мой сначала хотел туда, в Селивейкино, да я насоветовал в нашу бригаду.

— Рыба фронту тоже нужна, — сказал Микола Ягодкин. — И рыбаков мы здесь недосчитываем. Так что...

Максим, сам того не замечая, яму большую в песке вырыл руками, пока Левонтия слушал. Хотелось ему мать сейчас повидать да всё ей пересказать, что он тут услышал о дяде Андроне. И почему-то заплакать ему хотелось, и чтоб кто-нибудь его пожалел — большой, сильный и добрый, как дядя Андрон.

— Костёр прогорает, — тихо сказал Максим. — Дров пойду соберу.

## 10

Дров они натаскали, расшевелили огонь в костре. Микола Ягодкин всхрапывал на подостланной брезентушке. Дед Санаров с Левонтием, лёжа голова к голове, всё разговор продолжали. Мальчишки опять потихоньку пристроились к ним.

— Раньше вот в этом месте прямица была, острова не было. Потом песку набросало, тальник валом накатился. Обь — она, паря, творит дела: берега роеет, из стороны в сторону мечется. Капитанам трудно по ней пароходы водить.

— Ты в прежние годы тоже ведь рыбу здесь лавливал? — спросил Левонтий.

— Господи боже! — охнул старик, встряхиваясь, потирая пальцами сморщенный подбородок. — И рыбалил, ну как же! А больше жизнь моя проходила вокруг скотины.

Санаров был нарымский, из старожильцев. Отсюда на той стороне Оби стоит за островом, на протоке Пего, старожильческое поселение Ильино. То самое Ильино, близ которого бакенщик Маковой Зублев поймал дезертира Костю Щепёт-

---

кина. Оттуда и родом был дед Санаров, там жил, да после смерти своего отца, который вытянул ровно столетье и ещё один год, и которого называли в селе «долговекий», перебрался в Сосновку.

— Мой отец, — говорил Санаров задумчиво, — захватил время, когда здесь продольных пил не было и тёс кололи. Выбирали для тёса ели прямослойные, чтоб сердцевины не было. Попадётся какая кульбочка, нарост — ни-ни! Не брали. Дома строили крепко, больше всё в два этажа. Это для форсу, наверно: народ в Ильино издавна завидуший жил. — Санаров тихонько рассмеялся, провёл пальцами по губам.

— Слышал, гужеедами вас называли, — сказал Левонтий.

— Да, потому что извозом раньше ильинские занимались. Колпашево город на полпути к Томску от нас лежит. При царе от Томска до Колпашева народ в армию брали, а уже от Колпашева ниже не трогали: был такой указ. Ну, колпашевские всех нас большой матушкой крыли...

В этих местах раньше купец Радиллов держал стреж-песок, невода. Пойманную рыбу, помнит Санаров, в «сад» садили: выбирали глубокие озёра-пурлики с чистыми берегами. От невода живую рыбу переносили на холщовых носилках. И нельму, и стерлядь в озёра-«сады» садили. Купец Радиллов сторожей ставил, чтобы «рыбу блюли». Зимой эту рыбу ильинские «гужееды» за пятьсот вёрст в томские рестораны переправляли. За извоз с пуда рыбы платили по сорок копеек. По пятаку купец ещё накидывал, когда подводы гоняли по верховой дороге — яром, до ледостава. Самая муторная дорога была — верховая.

— По верховой-то дороге сам и не едешь, всё больше бегом бежишь. Восемь подвод, а ты за ними. — Санаров отодвинулся от огня: костёр сильно уж разгорелся. — Тулупы наденем — на них зипуны. На извоз в чирках ходили, носки поддевали, вязанные в четыре иглы, стельку сенную клали. Токо в чирках и ездили. Пимы на морозе-то не гнутся: в них станок — двадцать пять вёрст — пройдёшь, и лоб мокрёшенек. Наледь когда — тоже не дай осподь! Обмёрзнут ноги — как колотушки.

Лицо старика просияло:

— А лошадушки были — ах, милые, ах, болезные! Загнать их было трудно. На праздник надо куда поехать — выпьешь кружку для весельства — и садись, и пошёл. Кнута не надо! Кнута коню не показывай. А если не сдержишься, стебанёшь — тоды держись. Из шкуры готов выскочить конь, как несётся! Едешь — бог ты мой неладный! — душа не твоя...



---

Левонтий слушал — голову на руке держал. И ребята не горготали, и тоже вслушивались в неторопливый рассказ Санарова. И хорохористый Кешка молчал, и это Максиму нравилось.

— Раньше лис на конях гоняли: сминали, застёгивали. Об Рождестве наст ещё слабоват: лисе-то рука бегать, коню — впролом. И то настигали... Крепкий наст Великим постом живёт, в апреле.

— Говорят, тут и прежде на пушного зверя промысел заркий был? — спросил Микола Ягодкин, поворачиваясь к говорившим.

— Али не спишь ты? — спросил Санаров. — Как же, охотничали. И я раз было с собакой занялся — колонков добывал. Из нор зимой топором вырубали. Иную нору рубишь, рубишь, аж земля искрит — мёрзлая. А то на дерево забежит — силком петлей сымешь... Колонок — пантюха, а горноста́й — хитрющий. Пушного зверя и раньше, и теперь только, батюшка, дай... Купец всё ж таки жадный был. Жадовали купцы, точно! Паузки в протоках топили — так нагружали. Прежде в Томск — изволь радоваться — баржи на себе спроть течения тащили.

— На извозе помногу ли зарабатывали? — спросил Левонтий.

— Коли выгоды не было б, не ямщичили бы... А кто и впусую гонял.

— Пропивался, што ли?

— А то! В Томске долго боялись задерживаться: и постой дорогой был, и соблазнительство. Из-за сена с барыгой споришь, храпом хранишь, а он, подлец, ни на гривенник не уступит. Неча делать, берёшь сенцо-дрянце и втридорога... В извозе иные загуливали. По кабакам да бардакам пойдёт — чистый-гладкий оттуда выходит... Пятака не останется.

— Забава! — перемигнулся Левонтий с Ягодкиным. — И ты, поди, по бардакам — было дело — хаживал?

— Нет, я по этим местам не гулял. — И так это дед твёрдо и ясно сказал, что никто из мужиков не хотел больше над ним вышучивать. — Тяжёлый был труд. Пятнадцать дён отседа до Томска ходили на путных конях. На худых — погинешь. Не задерживались средь дороги. Токо так и осиливали пятьсот-то вёрст. — И опять лицо Санарова будто омолодело. — А лошади ж были! Какой молодой, мало объезженной, удавку на морду наденешь, так она бьётся — кровь из роту брызжет. Дикие лошади были! Оброть не даёт надеть, пока не намучает тебя вдосталь. Нагульные кони! И потому, что травы у нас на Оби — нигде таких трав больше нету.

---

— Может, и есть где, да мало, — подтвердил Левонтий.

— Резунец-осока — разве это трава? — остановил немигающие глаза Санаров. — Я травы всякие знаю. Пырей — известно. Маренник — мелкие, душистые, от самой земли листочки. Пользительная трава для скота. Духмянка — это, выходит, мята. Лягушатник всегда сырой, большелистый, плохо сохнет. Лук соровой. Белоголовник — в чай хорошо. Красноголовник, визиль — для скота наедистые, для лошади — нет.. Лошадь, которая чистого визилия наестся, раздуется, аж подбрюшник врежется. А маленько пройдёт, промнётся, глядь — подбрюшник ослаб. Для лошади этот визиль — что по мне белый хлеб супредь чёрного: пышный, мягкий, а толку мало. Овца — бездельница, ей впору визиль. А лошадь — работница.

— А стерляди как? До черта брали, поди? — приподнялся и сел Никола Ягодкин.

— Против нынешнего — куда! Стерлядь — из рыб рыба. Её понимать надо, повадки её знать хорошо. Стерлядь идёт большинство край саба.

— Ну, ясно, — кивнул бригадир, — это где сор несёт, кору, щепу, обломки.

— Стерлядь любит одну воду. Песошная вода — с песков, ярная вода с-под яра бьёт. И вот где две этих воды сходятся, там и стерлядь ищи.

— Так и есть, — проговорил бригадир, прикуривая от уголька.

— К зиме стерлядь, осетёр ямы ищут. Рыба эта в глубоких ямах ложится толщиной в несколько аршин — столь её набивается. Рыбаки таки ямы раньше сплошь находили. Завезут якорь, бросят — он оседат, оседат и глубоко уйдёт. Выходит — стерлядь зашевелилась. Это называлось «ямы ломать». Как лёд отолстеет, так и «ломают». Иной раз у стерляди пошевол сам по себе бывает... Ямную стерлядь от всех отличишь: порезы на ней, рубцы. Слойми она ложится, друг дружку секёт..

— Всё-то ты помнишь, — подивился Левонтий Типсин. — А моя голова после увечья на Васюгане совсем дурная стала. Смаху спроси чего — не скажу.

— А я вот думаю: будь народу у нас поболее, и мы бы могли фронту вдосталь свежую рыбу давать, — сказал бригадир. — Тоже бы так вот: поймали — и в озеро. К глубокой осени и зимой вылавливали бы. А тут не успел поймать — вези на за-сольню.

— Встали? А то забеседовались, — с кряхтением поднялся старик Санаров, потирая о плечо ухо.

---

Микола Ягодкин повернул лицо к солнцу.

— Дадим, поди што, ещё две тони...

Рыбаки пошли набирать невод, ребята взялись за котёл, потащили к воде, чтобы отчистить травой с песком. В воздухе было сыро, пахло близким дождём, всё с тем же молчаливым упорством ныряли во влажной хмари тонкокрылые чайки, косо валились набок тяжёлые мартыны.

Максиму Кешкин отец набросал в развёрнутый дождевик окуньков, ельчиков, ёршиков, кинул две щуки.

— Покажи-ка ладошки, — сказал бригадир.

Максим протянул руки: они были в мозолях, изрезанные верёвками.

— По ладошкам всегда узнаёшь, как человек работал, — улыбнулся скупой улыбкой Микола Ягодкин. — Рыбу ты сам наловил, старался.

— Да много мне, дяденька, — сказал Максим, вытирая нос.

— Бери, бери, не стесняйся. — Бригадир сам завернул ему дождевик.

— Ты к нам ещё приходи, — покашлял Левонтий. — Надо будет — всегда приходи...

Максим сильно замёрз, до дрожи, до посинения, потому что с утра, не переставая, сыпал мелкий дождь-сеянец. На ум приходила Ларькина частушка: «Эх, сыпала-посыпала погода сыроватая...». Нет больше Ларьки в Сосновке — уехал далеко, на фронт, на войну. «Поди, будет и там вспоминать Тамару Ваковну...» А ему вот, Максиму, жалко Манефку. Уж так жалко, хоть плачь. Большая, знать, у Ивана Засипатыча растрата. Жульничал, муку таскал, а на мальчишках отыгрывался. До сих пор без злости не вспомнишь, как он руки Максиму с Пантиской крутил, за уши драл. За что про что? Горсти не брали чужого. Уж так: отольются тебе, Иван Засипатыч, мальчише-чьи слёзы.

Максим выбрался из-под яра, дождь-сеянец выблестил чёрные крыши домов, затянул мокрой марлей сосновский лес за деревней. Мокнет картофельная ботва на пустых огородах, копёшки сена на стайках, не видно людей. Осень, унылая серая осень. Сквозь мелкий дождь пробивается дым, идущий из разных труб: из кирпичных, глиняных, круглых жестяных... унылая тишина сковала село.

В проулок, по которому шёл торопливо вымокший и озябший Максим, высунулась одним углом чья-то банька. Она стояла за изгородью в конце огорода, из маленькой трубы, которую венчал большущий чёрный чугун с выбитым дном,

---

выползал на свет божий — в хмарное небо — дымок. Пройдя эту баньку, Максим покосился и увидел возле баньки, у распахнутой настежь двери, трёх братьев немцев: Манеля, Давыда, Егора.

Двое из них сидели и чистили сваренную в мундирах картошку, а младший, Манель, расставив короткие ноги, что-то вытаскивал из мешка, запустив в него руку. «Ходил христарничать, побираться, — подумал Максим. — Манель с этим мешком всегда ходит».

Братья казались жалкими, серыми птицами, которых в холодный день выгнали из тепла. Взгляды братьев спрашивали: «Чего ты несёшь? Поделись с нами». — «Немчурята. Ишь, присуседились. Чья ж это баня? Серякова, что ль?»

Сначала Максим подумал о них как-то равнодушно, а потом ему стало вдруг жалко их. «Вот подойду и дам вам рыбёшки. Небось обрадуетесь, я уж знаю... Рыбу отдам, а что Степанида Марковна скажет? Сашенькин дождевик я в слизи, в чешуе вымазал. Будет ругаться... Да она и ругаться-то не умеет: начнёт говорить — как молитвы свои напевает. Уж лучше бы изругалась когда, построжилась, как бабка Ульяна. А принёс я тогда медвежье лёгкое — так заставила собаке бросить».

Он повернул к баньке. Братья немцы тотчас же разогнулись, уставились на него бледными, немигающими глазами.

— Здравсте.

Ему не ответили, только пошевелинулись все трое, как огородные пугала от лёгкого ветра.

— Рыбы вам дать?

И опять ни слова: лишь глаза беспокойно забегали.

— Да я не вру. Чо мне обманывать вас? Нате вот — жарьте, варите, а я с рыбаками наелся.

Максим взял пук соломы, натрусил на полок в бане — вывалил рыбу, а Сашенькин дождевик выхлопал. Немцы всё стояли потупившись. «Не верят, что ли? Ну и не верьте...» Он направился в узенькие воротца, но тут старший из троицы, Давыд, поймал Максима за руку, потащил назад. Взял у Манеля мешок, выхватил из мешка хлеба ломтик, надкусанный, протянул Максиму.

— На, на. Спасэбо. Ми отчен рат!

— Да ну вас! — отмахнулся Максим и застыдился. — Ешьте сами... Вот скоро мы ваш Берлин накроем... «катушами»!

Максим озорно хлопнул Сашенькиным плащом. Рука Давыда с куском повисла вдоль тела, на глазах слёзы блеснули.

— Берлин не наш... Мы там не жиль!

---

Максим не пошёл в воротца, а перескочил изгородь махом. Отчего-то ему сделалось очень стыдно и тоскливо.

Он положил Сашенькин дождевик в сенцах и вошёл в дом. Дома была Степанида Марковна и бабка Ульяна в своём неизменно чёрном широком платье и с шалью на узких плечах. Бабка Ульяна усаживалась, угнездывалась на табуретке к столу. На сморщенный лоб выбивались редкие сивые волосы.

Степанида Марковна облакала мальчика взглядом.

— Намочило тебя дождём, поди-ка зуб на зуб не попадает?

— Не сахарный, чай, не размокнет, — сказала бабка Ульяна, и это Максиму понравилось больше, чем воздыхательный голос хозяйки.

Что удивляло всегда Максима в бабке Ульяне, так это её глаза: голубые, всё понимающие; от них нельзя было утаить ничего.

— Надобывал рыбы? — спросила бабка Ульяна.

— Рыбаки ведь ловили, а я помогал... Ухой кормили в бригаде, — посиневшими губами улыбнулся Максим.

— Выбей нос, а то девки любить не будут.

Максим поперхнулся и раза четыре подряд чихнул.

— Будешь ночью бухыкать, — предрекла старуха.

— Ты посиди, Чеевна, — встала Степанида Марковна. — Час пришёл мне с хозяйством управляться, а управлюсь, вечерять будем...

В тот вечер он улёгся спать рано. Ему приснилась Тамара Ваковна. Она долго смотрела с порога на увеличенный портрет Сашеньки, потом заморгала, захлопала своими длинными ресницами, и на её красивых глазах заблестела слеза... Максим пробудился и понял, что плачет Котька. Тётя Валерия его утешает, целует, а Степанида Марковна говорит, как говорила в тот вечер, когда тётя Валерия поздно пришла от Типсиных:

— Ребёнка забыла. Мальчику ласка нужна. А тебя вечерами домой дожидаться нельзя...

Тётя Валерия не отвечала свекровке, только вздыхала. Максим до утра не мог больше заснуть. А ведь так спать хотел — глаза слипались.

Дождик-сеянец всё шебаршил по крыше, скреблись где-то в подполье крысы, и мальчик подумал, что хорошо бы на крыс поставить капкан.

Обильно легли на землю снега, и после осенней серости, скуки трудно было привыкнуть к их радостной белизне.

Постепенно промяли тропы, проложили дороги на луга и в тайгу, стали скрипеть, тащиться воза с сеном; везли на подводах дрова, строевой лес, березняк, клёпку. Окрепнул лёд на озёрах, и потянулись туда розвальни с коробами: рыбаки из бригады Миколы Ягодкина везли фитили, морды, топоры, пешни, саки, а назад — крупного карася, покрытого инеем, с застекленевшими выпуклыми глазами.

Максим по дороге в школу разбежался под горку и катился на своих деревянных подмётках, как на лыжах. На крутых спусках его вертело, раскручивало, он падал и разбивал нос. Но разве можно было удержаться, чтобы на виду всех мальчишек, девчонок ухарски, с ветром не прокатиться с горы?

Однажды пришёл к ним Гаврила Гонохов. С мороза трахомные глаза сильно слезились, он вытирал их жёлтой скомканной тряпочкой. По привычке старых людей старик низко, почтительно поклонился Степаниде Марковне, отыскал глазами Максима, поманил его пальцем.

— Тебя мне и надо. — Он сбросил из-за спины мешок — полупустой, перевязанный посередке обрывком дратвы, склонился и вытащил чёрные пимы-самокатки. — На, — подал он самокатки Максиму, — мать привет переказывала и пимишки велела отдать.

— Да ты садись, — усадила его на табуретку хозяйка. — Погрейся, поговори.

— Бесперечь всё тебя вспоминает мать-то, — продолжал старик, поглядывая на Максима, у которого глаза от новеньких чёрных катанок разгорелись и щёки зарумянились. — Сказал ей, что ты учиться стараешься, утешилась... Братишка здоров, озорничает: стекло от лампы у бабки Варвары разбил. А к лампе стекло трудно сейчас достать...

— А что ж Иван Засипатыч? Где ж он? — спросил Максим, прижимая мягкие катанки к животу.

— Зять мой сидит, — неохотно ответил старик. — Я ему не судья. Не судья!

— А Манефка в школу вернётся? В Подъельники?

— Бог её знает... Просила сказать: привет Максимке, и всё. Он ещё посидел и ушёл.

Степанида Марковна взяла у Максима пимы, подавила носки и пятки большими пальцами.

---

— Крепкие, чёрные. Носи на здоровье. Видишь, ты хорошо попросил Бога, и он обновку тебе послал.

«Никакого бога я не просил. Выдумывает».

Максим весь день пробегал в новеньких самокатках: ноге в них было тепло и мягко. Мальчишки разглядывали его пимы: у них таких не было. У них были пимы серые, пёстрые, скатанные из разной шерсти. Чёрные пимы только у Виски Болотова, но они у него подшитые, старые.

Максим с гордым видом поднимал ноги, когда шагал по улице: пускай видят. В тот день он обошёл все закоулки.

Заявился домой он поздно, но никто не стал его оговаривать: будто в доме все понимали, что человек, заимевший новые катанки, должен вволю набегаться. Он снял пимы: они были сырые, тяжёлые. «Надо их просушить хорошо-хорошо. Положу-ка их в русскую печку». Максим отодвинул заслонку: несло ровным и вольным жаром. Угольков не было, не светились нигде.

Среди ночи Максима начало мучить удушье, он проснулся от голосов и едкого чада. Как ветром сдуло его с печи. В полумраке Степанида Марковна, в ночной рубашке, ругаясь и охая, топила чадящие Максимовы валенки в шайке с помоями.

— Как же тебя угораздило? Да чтоб тебя шлёпнуло. А ба-а-тюшки! Сгорели, как есть сгорели: одни голяшки остались.

В приоткрытую дверь дуло холодом. Пахло палёной шерстью. Из шайки торчало то, что осталось от новеньких катанок. Тётя Валерия обняла мальчика.

— Обойдётся как-нибудь, прозимуем... А матери ты ничего не пиши, не расстраивай.

Несчастья на этом не кончились.

Утром Максим слазил в подпол, а крышку захлопнуть забыл. Он стоял боком к печке, чистил картошку, думал о своём горе, о том, что сегодня опять идти ему в школу в деревянных «бухалах». Ребята ведь обязательно спросят, куда он девал свои чёрные катанки. Он им скажет, что они сгорели... Максим обернулся — и в ту же минуту увидел, как Степанида Марковна провалилась в открытый подпол...

Слабое шевеление и стоны слышались из глубины. Бросив картошку, нож, он нагнулся над тёмной дырой подпола.

— Степанида Марковна... Тётенька!

Сквозь стон услышал:

— Смотри, чтобы Котька не свалился... да позови тётю Валерию. Скорее, она у колодца...

Бежать к колодцу ему не пришлось: тётя Валерия как раз вошла с вёдрами.



---

— Что тут опять случилось? — спросила она с тревогой, глядя на перепуганного Максима.

— Степанида Марковна... в подпол упала.

— Ну вот ещё, — слабо проговорила тётя Валерия и бросилась к открытому подполу.

В этот день Максим первый раз не пошёл в школу.

## 12

Тётя Валерия, осмотрев Степаниду Марковну, сказала, что у неё сломаны нога и рёбра. Нужен был врач, больница, а больница — в Больших Подъельниках. Она накинула шаль, пальто, побежала в колхоз лошадь просить.

Хозяйка стонала, Максим к стенке прижался, губы кусал. Степанида Марковна на кровати лежала в пимах, пучок волос у неё рассыпался, заколка блестящая выпала. Платок с головы на шею сполз, а лоб был в синей извёстке. Когда она в подпол падала, то задела ведёрко с гашёной, синькой подкрашенной, известью.

Котька заплакал, разбуженный стонами, охами.

— Забавь его... Одень...

Максим взял на руки тёпленького полуголого мальчика, прижал к себе.

— Не плачь, не плачь. Я тебе самолётик сделаю...

— Одень... обуй... На кого ты теперь останешься, внучек мой родненький?

Бухнули двери — пришла тётя Валерия, за ней шагнул тяжело Полковников. Толстые пимы он обстучал один об другой, пригнулся, чтобы пройти за тёмную занавеску второй половины дома. Помог там надеть на Степаниду Марковну свой председательский разъездной тулуп, нагретый у печки.

Максим обувал Котьку на кухне, председатель к нему подошёл, скрипя половицами, за ухо взял мягкими пальцами.

— Провинился ты шибко, Максимка. Уши тебе надо надрать, — строго проговорил председатель, а глаза у него были добрые под густыми белыми бровями.

— Я нечаянно... Картошку чистил...

— Да, вот незадача, — дыхнул Полковников. — А у меня коня с кошевой бригадир в Каргасок угнал. Придётся на этом чёрте тащиться.

В широкие сани был запряжён огромный рогастый бык по кличке Шакал.

---

— Уж не взыщите, Валерия Яковлевна, — слышал Максим председательский голос с улицы. — Вам бы я всей душой, вы мне как дочь родная. Но на дворе ни одной клячи нет. Как есть всех коней разогнал спозаранку.

— Не разобьёт он дорогой? — тревожилась тётя Валерия, косясь на Шакала.

— Я ему, чёрту, дам! Я ему всыплю! — начал строжиться Полковников.

— Пожалуйста, осторожнее, — попросила тётя Валерия, когда бык тронулся, заламывая к ногам рогастую голову.

— Довезу, не беспокойтесь. — Председатель стал на передок, цыкнул: по длинной спине быка прошла нервная дрожь. — Я т-тебе, нечистая сила!

Степанида Марковна что-то пробормотала сквозь стон.

Тётя Валерия вошла с улицы, села к печке не раздеваясь.

— Мама, а бабушка бухнулась? — тоненьким голоском сказал Котька. — Бабушка наша теперь помрёт?

— Да что ты, сынок, что ты! Бабушка наша полечится и вернётся.

Тётя Валерия была расстроена и печальна. И в то же время в её глазах светилось что-то довольное, тайное.

— Мы теперь двое взрослых, и нам всё хозяйство вести.

Она замолчала, ожидая, что скажет Максим.

— Я всё стану делать. Я даже в школу не буду ходить.

— Дурачишка, этого от тебя никто не требует.

Тётя Валерия была в этот вечер в клубе, и пришла домой не одна — с Михайлом Типсиным. Максим уже видел Михайла Типсина — в школе, совсем недавно, когда Ирина Петровна пригласила его помочь ей лозунги к празднику написать.

Ирина Петровна тогда бегала, суежилась, толкла мел, разводила его с молоком, вся вымазалась, но была очень радостной и весёлой. Склонившись к столу, Михайло писал на красных щитах большие белые буквы. Буквы выходили не все одинаковые, с разным нажимом и разным наклоном, но были такие пышные, белые, что Максиму казалось, будто их написали сметаной. Хотелось провести пальцем по свеженанписанному и слизать языком. Ирина Петровна благодарила, а Михайло хмурился, покашливал в сторону и говорил:

— Плохо, да не умею лучше. Вы бы уж сами...

Сейчас Михайло прошёл и сел по-свойски к столу, застланному чистой отглаженной скатертью. Сидел, откинувшись к белой стене, заложив ногу на ногу. От яркой лампы на хромо-вые сапоги Михайлы падал огонь и отражался квадратиками. На нём была чистая гимнастёрка без лишней складочки, рем-

---

ни были, ордена и медали. Сам он гладко выбрит, причёсан. На смуглое лицо его падала тень от железного абажура.

Михайло не улыбался, и Максим объяснил это по-своему: у Михайлы Типсина в верхнем ряду железные зубы, покрытые каким-то зелёным налетом, будто на них посыпали купоросу. Наверно, Михайле стыдно показывать свои зубы, вот он и не улыбается.

Максим почувствовал, что он рад видеть этого человека. И Михайло будто ему обрадовался: улыбнулся углами рта, не растягивая губ.

— Пришёл, гулеван, — сказал Михайло басисто и выдохнул изо рта ароматный папиросный дым.

— Я никуда не ходил, весь вечер дома.

— Он сегодня у нас домовничает, провинился, — ответила тётя Валерия и, заметив, что Максим нахмурился, добавила: — Ну, ничего, ничего.

Нога Михайлы, закинута на колено, качнулась: задрожал на ноге блестящий квадратик света.

— Это ты подле меня всё крутился, когда я лозунги в школе писал? — Михайло с улыбкой в глазах посмотрел на него.

— Я... Занятно мне было.

— Он у нас любопытный. Много читает и хорошо учится.

Были в глазах у неё ласковое участие к Максиму и что-то ещё такое, чего не мог объяснить мальчик. Она была жаркая, очень румяная, как после бани или вина. И улыбалась большим своим ярким ртом.

— Вы давеча так интересно рассказывали...

Максим заметил, как заблестели её глаза, устремлённые на Михайлу.

— Что интересного... До сорок четвёртого без царапины шёл, а боёв было много. Сначала всё оставляли деревни и города, потом отбирать начали...

Михайло остановился, поразмыслил над чем-то.

— К сорок третьему был я уже капитаном... Раз отбивали деревню. А немцы бросили против нас танки. Я из противотанкового нацелился, а выстрелить не успел... Не помню, как меня унесли с поля.

— А танки отбили? — торопливо спросил Максим.

— Танки? — Михайло чуть приоткрыл зубы в улыбке. — Танки, конечно, отбили... После снова царапнуло. А последний раз чуть не насмерть. Долго валялся, лекарствами весь провонял...

Михайло задвигался, нетерпеливо поглядел в расширенные глаза тётки Валерии, поднялся и сдёрнул с гвоздя шинель.

---

Максим подумал, что гость чем-то недоволен или очень куда-то торопится, потому и разговор скомкал.

А тётя Валерия улыбалась. Она не задерживала Михайлу. Максиму же хотелось, чтобы она упростила его остаться ещё посидеть и рассказать про войну, про всё, что видел Михайло, что пережил. Тётя Валерия застегнула верхнюю пуговицу на жёлтой шёлковой блузке и мимо Максима прошла за гостем в старых домашних сандалиях.

Михайло поправил ремни, натянул глубже на голову шапку и надавил плечом на дверь. Тётя Валерия сказала, что выйдет за ним закинуть сенцы на крючок...

На другой вечер Михайло у них совсем засиделся. Он угощал Максима и Котьку пилёным сахаром.

Они разговаривали с тётей Валерией о чём попало. А потом Михайло так же ушёл, как накануне, только тётя Валерия дольше вчерашнего задержалась с ним в тёмных сенях. Домой вошла она вздрагивающая от холода, и каким-то изменившимся голосом сказала Максиму, что пора спать ложиться, что керосин догорает в лампе. И Максим молча полез на печку, где пахло теплом, извёсткой, пылью и прожаренной глиной.

Он не спал в эту ночь. Он слышал, как час или два спустя вошёл Михайло, прошагал на носках через горницу в большую половину: новые хромачи его всё равно сильно скрипели...

Утром Максим избегал вопросительных взглядов тёти Валерии, которыми она смотрела на мальчика поминутно.

— Максим, ты хочешь оладышек со сметаной? — спросила тётя Валерия ласково. — Я испеку.

## 13

На своём правлении сосновский колхоз постановил отправить фронту тонну сибирских пельменей.

— Копошное дело — пельмени стряпать, — покачал головой бригадир Серяков. — Где мы столько народу возьмём? Разве старух собрать да подростков?

Спозаранку у бабки Ульяны уже началась работа. На выскобленных до желтизны столах лежало жёлтое тесто, стояла в чашках мука. Тесто раскатывали, резали, из тонких сочной выкраивали стаканами кругляшки, старались, чтобы пельмени были все, как один, ровные.

С кухни, от большой мясорубки, носили в тазах к столам красный, с прослойками белого жира, фарш, сдобренный лу-

---

ком, чесноком, перцем. Головокружительный дух вырывался из избы на улицу.

Максим влетел на порог, за ним Кешка и Виска. Народу было уже битком, горели две лампы в разных углах, освещающая тусклым светом склонённые старушечьи лица. Ребята заметили и несколько молодых баб. Сама хозяйка стояла у стола в глубине комнаты. Её высокую костлявую фигуру легко было отличить от других. На ребят она глянула прямо, подобрала кожу на подбородке, пожевала строго губами, ругнулась:

— Крестите лбы, бесстыжие.

Кешка и Виска сдёрнули шапки, перекрестились, а Максим только зыркнул в угол, заставленный сплошь иконами. Что-то отвлекло бабушку Ульяну, и она не заметила, что Максим не помолился.

— Печалились — нет мужиков, а вот они — целая троица, — протяжно, смеясь, сказала худая, тонкая баба, повязанная белым застиранным платком.

— Руки покажите, — придвинулась к ним бабка Ульяна. Она пропустила вперёд Максима, Виску Болотова, а Кешке погрозила перед носом кривым пальцем. — Такими руками грядки садить, а не пельмени стряпать. Мой, да ногти, смотри, обстриги!

Кешка нехотя пошёл к раковине, вымыл руки с золой — мыла не было — и, прислонившись к стене, стал обкусывать ногти.

Максим лучше других ребят защищал тесто, выгибал пельмешек, опять защищал, складывал в ряд. Бабка Ульяна похвалила его, а Кешке с Виской сказала, что они лепят уродцев, и если так дальше будет, то она их разжалует. Те пошвыркали носами, подулись, особенно Кешка, и начали лепить не торопясь, старательно. Больше их никто не оговаривал: про ребят вообще будто забыли.

Бабы продолжали свои разговоры о детях, о мужиках, которые сейчас на войне, о том, как у кого и что до войны было. И как влюблялись, расходились, сходились. Кешка только подталкивал в бок Максима, а Максим подталкивал Кешку: не задирай, мол!

На противнях пельмени выносили на мороз в сенцы. Свежие морозились, а готовые сыпали в чистые, выстиранные кули. В сенцах в углу уже целый куль стоял замороженных.

Кешка незаметно бросал в рот сырые пельмени.

— Брюхо спучит, — простодушно сказал Максим.

— Небось ничо...

---

Кешка и дальше стал помаленьку проглатывать. Максим сосчитал: одиннадцать. К ним подошла бабка Ульяна, заглянула под стол.

— А под ногами-то скоко настрамотили!

Пол под ними белый был от муки.

Ещё долго работали, пока всё тесто не извели. Кешка топтался на месте, морщился, но от стола уходить боялся: уйдёшь на двор — бабка Ульяна может назад не пустить, такая придира. Кешка себя пересилил, и, когда был сварен обед в двух больших чугунах, когда все уселись за длинный стол, он тоже пристроился. «Вот прорва, — подумал о нём Максим. — Наглотался сырых, теперь нажрётся варёного».

К обеду поспел председатель колхоза Полковников. Он был весел, всем улыбался. Сказал, что в трёх остальных бригадах тоже споро дело идёт, но здесь налепили пельменей больше. Подхвалявал:

— Эх, бабоньки! Не вы, так что бы я делал без вас? Лес корчуете, скотину ухаживаете, смолу гоните, пельмешки вот лепите. Эх, девки вы, бабы мои!

Тонна сибирских пельменей была готова и упакована. Снарядили три подводы, убрали дуги в красные ленты, с крыльца колхозной конторы председатель Полковников, задыхаясь и путаясь, сказал короткую речь, и возы тронулись.

Главным отправщиком ехал бригадир Серяков в тулупе и головастых серых пимах. В помощники он взял старшего из трёх братьев немцев — Давыда, толстого коротышку, наряженного по этому случаю тоже в чьи-то пимы и полушубок. Давыд оглядывался недоверчиво, будто всё ещё сомневался, что ему дали такое важное дело, и словно бы ожидал, что его крикнут и воротят назад.

— Ну, старый да малый, езжайте, — напутствовал их председатель, и под полозьями гружёных саней заскрипел снег.

Туманно, морозно было в тот день. Возы выехали на дергачёвскую дорогу, за селом толпа ребятишек отстала. Бежали за возами только собаки, держа морды по следу: запах мясного манил их.

На третий день подводы возвратились порожняком. Давыд обморозил щёки.

— Это тебе не тюх-тюрю-люх, а нарымская стужа, — едва шевелил губами Серяков.

Давыд выпрягал уставших коней, выводил из оглобель и — по всему — был доволен поездкой. Вышла на конный двор солдатка с ведром в одной руке и с вилами в другой, остановилась перед немцем-подростком, раззявила насмешливо рот.

---

— Ояньки! Разукрасило женишка. — Она повернулась к Серякову. — А ты уж, длинный да старый, не мог доглядеть за парнёнком!

— Мороз — он шустрой, за ним не усмотришь, — отговаривался шутя бригадир, устанавливая в ряд сани, задирая оглобли и стягивая их туго чересседельниками.

Давид, смущённый вниманием и разговорами, стряхивал иней со спин лошадей пучком сена, моргал короткими, белыми от мороза ресницами и повторял:

— Не жаниха, не жаниха.

— Да как не жених, коли стоко тут девок и баб по тебе сохнут, — продолжала вышучивать баба, ставя ведро на снег и втыкая вилы и тем показывая, что отстанет не скоро. — Вот тебе раз! А я-то, несчастная, об тебе думала, ждала всё: вот придёт с гостинцами. Ты там, в магазине-то, мне бруслет не купил?

— Не жаниха, — топтался с виноватой улыбкой Давид, и толстые губы его, синие, облупившиеся, то смыкались, то размыкались. — Не жаниха, я сказал...

— Ну, заладил — снова да ладом, — прихмурилась понарошку солдатка, взяла вилы и подняла ведро. — Ну, да уж чо ж: заходи когда чаю пошвыркать.

— Заноза баба, — сказал Серяков, когда она ушла.

Прибежали Манель с Егором, залопотали по-своему, то хмурясь, то улыбаясь, показывая на чёрные щёки старшего брата. Сельские ребяташки, обступив их, начали передразнивать:

— Немчурята! Бя-бя-бя!

Братья помогали Давыду стаскивать хомуты в конюховку и не обращали внимания на ребяташек.

Максим не ходил встречать вернувшиеся подводы, не слышал Серякова, который в колхозной конторе рассказывал, как они ехали, как сдали подарки фронту. Максим простыл и сидел дома.

Всё так же приходил к ним Михайло Типсин и оставался у них до утра. А потом его вдруг не стало. Несколько дней тётя Валерия ходила нервная, молчаливая, ругалась на Котьку и на Максима.

Как Степаниду Марковну увезли в больницу, так у них перестала бывать бабка Ульяна. Зато редкий день не заходила Тамара Ваковна, обметала пимы у порога, здоровалась, и они садились с тётей Валерией в дальний угол и говорили о чём-то вполголоса. В какое-то воскресенье тёте Валерии сразу пришло два письма: от мужа и Сашеньки. В гостях сидела



---

Тамара Ваковна, говорила с Максимом о книжках, какие он прочитал, а как почтальонша письма в дом принесла, Тамара Ваковна заволновалась, отошла от Максима и к тётё Валерии села.

Сначала тётя Валерия прочитала вслух, что писал её муж. Коленька писал, что их самолёты всё чаще летают бомбить Берлин, а Гитлер, наверно, сидит в подземелье и уже гроб заказал. Коленька чувствует себя хорошо; к весне, пожалуй, война закончится.

Тётя Валерия утирала слёзы, смахнула нечаянно чашку рукой со стола: чашка грохнулась и разбилась.

— К счастью, — сказала смущённо Тамара Ваковна и велела Максиму собрать осколки.

Потом они распечатали Сашенькино письмо. Оно было тоже весёлое и хорошее. Сашенька сообщал, что фото он получил, но своё прислать скоро не обещает, потому что бои, наступления.

Глаза у Тамары Ваковны в это время были глубокие и задумчивые.

— Я там совсем молоденькая, ещё студентка. В кофточке, — говорила учительница и часто дышала.

Тётя Валерия глядела на неё, как показалось Максиму, даже с завистью.

— Любишь?

Они прошли в дальнюю комнату, и уже оттуда слышался голос и смех тёти Валерии. На слово «любишь» Тамара Ваковна что-то сказала тихо и тоже рассмеялась...

Много дней так прошло, много ночей. Ребята в Сосновке уже две свои постановки показали, ездили по соседним сёлам и тоже там выступали, пьесу показывали и песни без музыки пели.

Максима хвалили: очень уж хорошо он деда Савватая играл. А играть ему деда Савватая легко было: разве мало он видел в своей жизни стариков? Вот дед Гаврила Гонохов, тёти-Стюрин отец; дед Санаров, старый рыбак, который ещё купцов помнит, извозом в старые годы занимался; дед Макowej Зублев, бакенщик дергачёвский, что изловил дезертира Костю Щепёткина; дед Зиновий с Шестого... остался один-одинёшенек посреди тайги и, поди, уже помер от старости и болезни... Этих дедов — бородатых и безбородых — Максим поимённо всех знает и помнит, а скольких ещё так просто встречал: в войну старики, старухи, бабы да малые дети в любом селе только и оставались. Вот и играл Максим роль деда Савватая из маленькой пьески, и всегда по-разному играл,

---

потому что подражал то одному знакомому старику, то другому. И всё у него шло чинно и важно до тех пор, пока они в Большие Подъельники не приехали.

Перед постановкой он там навестил в больнице Степаниду Марковну, которая показалась ему исхудавшей и жёлтой. Она лежала на белой койке, и нога у неё была толстая, в гипсе. Она погладила Максима по голове и заплакала почему-то, скомкав лицо ладонями. Максиму стало неловко от её слёз...

Максим в Больших Подъельниках встретил Манефку: она вернулась в школу. Говорит, дома мать тоже её не хотела пускать, но она расплакалась, сказала, что всё равно убежит, как Максим Сараев. Тётя Стюра её отпустила, сама собрала в дорогу, а провожал её до Подъельников грустный и хмурый Лёвка, Анфимов сын. Живёт Манефка на квартире у двух стариков, которые хорошо знали её отца по ранешним временам. У стариков есть хозяйство, она помогает, кормится, учится.

С Максимом они о разном болтали, всё вспоминали про Пыжино, про Осиновый остров. А Максим дождаться не мог вечера, когда постановку они начнут в клубе ставить.

Но тут и случился курьёз с Максимом в тот вечер. По пьесе немцы деда Савватая в сарай тычками гнали, чтобы на холоде одного закрыть. Максим-Савватей в этом месте сильно злобился, ругался на немцев, отталкивал их, а по залу проходил шум: зрители деду сочувствовали. В Подъельниках на постановку много народу пришло: клуб там большой, а сцена широкая, с хорошим занавесом, не то что в Сосновке. Максим старался — играл, и всё думал, что на него из зала Манефка смотрит. Когда его фрицы в сарай стали толкать, он так размахался руками, такую возню устроил, что кудельная борода у него оторвалась и повисла на нитке. И сам Максим, и все остальные артисты растерялись, смешались, не зная, что делать. И слова все у них из головы повылетали: стоят, опустив руки, глазами хлопают. Ну и пошёл хохот по залу, который совсем артистов с толку сбил. Максим бросился за кулисы и, как его после Ирина Петровна ни уговаривала, ни за что не захотел больше выйти на сцену. Так и сорвали тогда постановку. И срам был и стыд. Максим долго после не мог успокоиться. Да и сейчас, сколько уж дней прошло, а вспомнит, так до ушей покраснеет. И всё бы ничего, может, да перед Манефкой опозорился.

---

Это было в субботу. Степанида Марковна вернулась на попутной подводе.

Встретили её радостно и Максим, и Котька, и тётя Валерия, которая, казалось, не знала, куда усадить свекровку и чем угодить ей. Степанида Марковна привезла с собой запах лекарств, была бледная, постаревшая, припадала на ломаную ногу. Она почти ни о чём не рассказывала, зато сама расспрашивала, как тут без неё жили, как управлялись с хозяйством, здорова ли её золотая Утряна и сколько даёт молока. Потом Степанида Марковна потребовала прочесть ей все письма, какие пришли без неё от сыновей.

Письма читала ей тётя Валерия и утирала косынкой глаза. Степанида Марковна тоже всхлипывала: она никогда не слушала писем с фронта без слёз, какие бы письма ни были — весёлые или грустные. Тётю же Валерию плачущей над письмами Максим видел редко. Он думал сейчас, что плачет тётя Валерия потому, что виноватой считает себя перед свекровкой.

Тихо и грустно прошли два дня, а на третий в доме Степаниды Марковны разразилась гроза.

— Бессовестная, паразитка ты этакая, — со стоном, похожим на плач, говорила Степанида Марковна, как только вошла на порог.

Она уходила к кому-то в гости, но пробыла там недолго: Максим не успел даже разу сбегать по воду, а тётя Валерия — дочистить золой посуду.

— Ах ты негодница! Надо было мне из дому уехать, как ты мужика в постель притащила. — Голос её возвысился. Она была до синевы бледная, скинула с себя плюшевое пальто, бросила его в угол, а сама стала у стенки под образами.

— Да что вы, мама? За что поносите? — выпрямилась тётя Валерия, опустив грязные руки.

Её большой длинный нос был в саже, юбка забрызгана мокрой золой, а ноги в пимах расставлены как-то смешно: носками навыворот. Она с упорством, поразившим Максима, смотрела в лицо свекрови, не отводя и не опуская глаз. «Твёрдая», — подумал Максим, сидевший в углу на лавке. Когда всё это началось, он хотел прошмыгнуть в двери на улицу, но хозяйка затрясла головой и рукой показала ему на лавку.

— Ещё успорять она будет! Ещё и отказываться! — кричала Степанида Марковна, и её стало бить мелкой дрожью. — Вся деревня из края в край говорит о сраме твоём, грешница

---

ты поганая! Господь, накажи её, нечестивую. — Степанида Марковна повернулась к иконам и стала молиться. — А меня ты прости за гнев, за слова мои чёрные...

Максим, глядя, как молится Степанида Марковна, подумал, что ругань кончилась, что злоба хозяйки перекипела и можно уйти незаметно. Но Степанида Марковна, кинувшись от икон, вдруг начала ругаться такими словами, так колотить кулаком себя в грудь, что у Максима дыхание перехватило. «Как тётка Катя лаетса, бабки-Варварина дочь, или мужик какой пьяный».

— Эх, набожная, богомольная, — оторвала перекошенное лицо от печи тётя Валерия и обожгла свекровку взглядом, едкой улыбкой.

— Молчи, молчи, сука, потаскуха продажная, — мотала в неистовстве головой Степанида Марковна, закрывая глаза, а сквозь ресницы её сочились слёзы и скатывались по щекам. — Как вспомню сынка своего да как подумаю, каким ты добром ему платишь... о-оо! Тогда я стерпела, в сорок втором, когда ты с Ларькой, молокососом, путалась. Теперь же я всё опишу! Люди напишут. Пусть знает, какая жена у него!

Степанида Марковна, как безумная, на Максима накинулась, тормошить его стала, пытаться:

— Был тут дядя Михайло Типсин? Был? Скажи. Ты же видел? Видел?

Она не спускала с него распалённых, мокрых глаз. Максиму казалось, что его по щекам нахлестали — так горело лицо, так было жарко ему и стыдно. Но он ненавидел сейчас Степаниду Марковну, как тогда Пылосова: чем-то хозяйка его похожа была в эту минуту на Ивана Засипатыча.

— Я не видел, не знаю, — через силу сказал Максим.

— Ах ты гадёныш! Подговорили тебя, задобрили.

Степанида Марковна отшатнулась к стене, где стояли иконы. Стена содрогнулась, и одна икона, Георгий Победоносец, сорвалась с полки и грохнулась на пол. Глаза хозяйки стали от страха круглыми.

— Боже, прости нас, грешных, — прошептала она и села на табуретку.

Тётя Валерия расплескала помои по полу, накинула полшалак на плечи и выбежала.

Максим со слезами в глазах тоже стал собираться. Он сложил свои книжки, тетрадки в мешочек-наволочку, в котором принёс когда-то картошку из дому, пощупал — в кармане ли ножичек, подарок дяди Андрона, оделся и вышел. Хозяйка не остановила его, не окликнула.

---

Кроме школы, идти было некуда, но школа была на заложке: на пробой накинута петля, а в петлю просунута щепочка.

Он выдернул щепочку и вошёл. Знакомо пахло угарцем, от протопленных печей несло теплом, и с мороза это было приятно чувствовать. Он прошёл в учительскую, где стоял шкаф с книгами, и пододвинул стол к печке... Нет, теперь никуда он не пойдёт отсюда. И к Степаниде Марковне ни за что не вернётся. Хоть калачами заманивай — не вернётся!

— Кто это здесь самовольничает? — услышал он голос входящей уборщицы.

— Это я, тётя Полина, — наклонил голову мальчик. — Я ушёл от Степаниды Марковны, не хочу больше там жить.

— Выгнали? — развела руками тётка Полина. — Говорила же я — слухайся, угождай...

— Я же сказал — сам ушёл. Сам!

— Ишь ты, — озадачилась сторожиха. — Ну, мне пытаться тебя нечего. Хочешь жить у меня — живи. Места хватит.

## 15

Была ещё ночь, морозная, белая, с сиянием месяца, с лаем и воем собак, тенями от заборов и тёмными избами, растянувшимися в одну улицу. Максим оглядел Сосновку с пригорка, ему виделось много домов, и во всех, несмотря на такую рань, красненько, тускло светились окна, из труб, где жидко, где густо, выползал дым.

Было холодно: щипало колени, нос, щёки. Максиму хотелось вернуться и доспать в учительской на столе у печки.

Полчаса назад его растолкала, растормошила тётка Полина, осипшим голосом наставляя:

— Ведь Рождество, Рождество! Славить надо идти. Грех в такой Божий день долго спать.

— Я молитв никаких не знаю, не пойду, — упирался сначала Максим.

— Ну и дурак, — сказала обиженно тётка Полина. — Самый раз, когда можно еды у людей набрать. Этакий будешь — с голоду, парень, замрёшь. Мне тебя, сам посуди, больно кормить нечем...

Максиму стало обидно от тётки-Полининых слов, и он неохотно собрался, думая, что пойдёт по домам и будет просто просить... Кто подаст — хорошо, не подаст — тоже. А славить

---

он ни за что не станет. Чтобы опять его укоряли в школе, как тогда, когда он читал церковную книжку...

Улица, разорванная в двух местах овражками, казалась синей, набухшей, как лёд на реке ранней весной. Улица вся была перечерчена тенями. В чистом морозном воздухе разливались вкусные запахи, и мальчик мог точно сказать, в каком доме пекут оладьи картофельные, в каком блины крахмальные, а в каком мучные.

Раза три на него натыкались тощие собаки, взбрёхивали сердито и замолкали.

Перед чьим-то крайним домом он остановился, вошёл на крыльцо, потянул на себя ручку двери. «Все двери на Рождество будут открыты», — вспомнил он наставления тётки Полины. Но дверь, которую Максим потянул за скобу, была заперта.

Мальчик спрыгнул с крыльца и, гонимый январской стужей, забежал в дом через улицу.

Здесь двери были распахнуты: из избы выпускали чад. В чаду у печи металась сгорбленная старушонка, заливала сгоревшую тряпку. Максим со стыдом уставил глаза в щелястый некрашенный пол. Старушонка сунула в руки ему два румяных картофельных тёплых оладушка и сказала просто, как будто знала Максима давным-давно:

— Двери прикрой, внучок. Чад уже вытянуло. С Богом...

В другой избе было богаче — крашенный пол, кровати с большими подушками, на них ещё спали. У порога кадка с капустой, куры в курятнике между столом и кадкой. Петух громко орал, а куры тянули шеи с красными гребешками и квохтали. Максим и слова ещё сказать не успел, а уж из горницы выскочила полная женщина, замахнулась на него белой толстой рукой.

— Не балаболь. У нас мальчик болеет — только уснул, — зашептала она сердито. — Я так тебе дам, держи. — И полная женщина подала ему мягкую тёплую шаньгу.

Максим увлёкся хождением из дома в дом, как увлекаются дети игрой. Он уже думал, кого он увидит в том или другом доме, каких встретит людей, как они на него поглядят, что подадут.

В сумке прибывало: был там и хлеб, и картошка сырая, и молока мороженого кружок, правда, снятого — без бугорка сливок. Подавали морковку, брюкву, редьку. В отдельный мешочек он складывал все постряпушки: мучные и картофельные.

Немного погодя он встретился со славильщиками: увидел Кешку Ягодкина и немцев.

---

С Манелем он столкнулся в доме Серяковых. Пока Манель пел «Рождество», Максим молча хлопал глазами и давился от смеха. Строчку из «Рождества», где сказано: «и звездою учахуся», — Манель так вывернул, так спел, что бабка Ульяна аж закатила глаза под лоб. Максим в этом месте кашлять начал, чтобы смех изнутри наружу не вырвался, а бабка Ульяна укорила его за то, что он молитву не выучил, но подала им обоим по шаньге творожной.

Максим на улице расхохотался над Манелем.

Манель показал ему грязный замёрзший кулак:

— Фо!

В доме Ягодкиных Максиму досталось больше всего: краюха хлеба и восемь варёных щучьих голов.

В последнюю избу на другом конце села он не стал заходить: с улицы слышно было, как там навзрыд плакали, причитали. Уже совсем рассветало, и по дворам почтальонша письма носила. Максим опустил мешок к ногам, постоял у крыльца, послушал. «Похоронку небось получили, вон как слезами обливаются...»

Знакомый голос окликнул мальчика, он обернулся: Степанида Марковна с чем-то белым под мышкой шла к нему из-под горки.

— А ко мне и не заглянул. А я тебе что приготовила, — певуче заговорила она.

Максим стоял растерянно, не зная, что ему говорить, что делать.

— Пойдём, пойдём — заколеешь, — подтолкнула она его. — Не хочешь у нас — в школе живи, но я про тебя не забуду. Иду вот — гостинцы несусь: вареники с творогом, шаньги.

«Больно надо, без тебя обойдусь...»

## 16

Максима с полугодия перевели во второй класс, и теперь он должен был учиться у Тамары Ваковны. Но во время больших зимних каникул Тамара Ваковна заболела, легла в больницу в Подъельниках. Второклассники остались без учителя, пока не ходили в школу, и тётка Полина, сторожиха, насочетовала Максиму сбежать домой, в Пыжино.

Длинный путь от Сосновки до Пыжино он пробежал почти без оглядки. Некогда было разглядывать кружевные узоры иinea на корявых талинах, следить за табунком куропаток,



---

взлетевшим за Дергачами. Куропатки вспорхнули, как белые комья снега, потянули низом, над луговиной, и опустились неподалёку. Куропатки напомнили ему те дни, когда они жили на Кандин-Боре, мать с отцом пилили дрова, а Максим сидел на поленнице. Тогда тоже вот так прилетели откуда-то белые куропатки и облепили берёзку возле их дома... Давно это было. Вот и отца уже нет в живых, Егорка у них народился — почти уж четыре года ему, сам Максимка подросток, от матери убежал в чужую деревню и грамоте учится...

Мороз торопил, гнал к жилью. Сто раз пожалел Максим сгоревшие новые катанки: в старых обутках пальцы ломило, щипало. Сам он разгорячился, под шапкой вспотели волосы, а вот ноги мёрзли — хоть плачь. Он и скакал, и притопывал, и носками стучал о стволы деревьев — не помогало. На полпути к Пыжино ноги совсем занемели: он шевелил пальцами и не чувствовал их. Подумал, что обморозился, и сам испугался этого: «Вот отпадут пальцы, как у Ивана Засипатыча, что ж я тогда буду делать?». И он побежал ещё быстрее, захлёбываясь студёным воздухом, который драл в горле и склеивал ноздри. Максиму казалось, что во всю свою жизнь он никогда так не мёрз.

Он спешил, бежал, прикрывая лицо рваной варежкой, пока не выскочил на поляну перед пыжинским кедром, пробежал кедром, кладбище, и лишь на виду «юрт», смотревших на него замороженными окошками, пошёл шагом. Никто не попался ему на улице, кроме знакомых собак.

Везде коробка, плетёнки-мордуши, обрывки старых сетей, нарты, пешни, сачки, кузова из бересты, перевёрнутые, полусыпанные снегом обласки — по всему этому сразу можно было отличить остяцкое поселение Пыжино от всякой другой деревни. И красные, синие, белые лоскутки на остяцком кладбище, и спокойный характер умных остяцких собак, и какой-то особый запах — запах рыбы, сетей, прокопчённых чердаков, банек по-чёрному — держался здесь даже в морозную пору.

Запахавшийся, радостный ворвался Максим в бабки-Варварин дом.

— Вот я и здесь! Здравствуйте!

Мать прижала сына к себе, долго молчала: видно, боролась с нахлынувшими слезами, потом отстранила его, отступила сама, оглядела всего родными глазами.

— Пришёл навестить, пришёл... А где же, сыночка, катанки? Или тебе старик тот не передал?

— Да что ты, мама, всё передал...

---

— Ну куда ж ты их дел? Неужто только по праздникам носишь и в школу в них ходишь?

— Мама, потом! Дай на Егорку мне поглядеть.

Егорка, длинненький, тонкий, как куличок, не подходил к нему близко: стоял в сторонке и палец сосал.

— Что букушкой смотришь? — присел перед ним на корточки Максим.

— Ты кого мне принёс? — спросил почужавший Егорка.

— Это я ему всё говорила: «Придёт Максимка, гостинец тебе принесёт», — улыбнулась Арина.

— Принёс я тебе гостинец, — важно сказал Максим и подал братишке мешочек. — Там постряпушки. Ты их оттай — они мёрзлые...

— Ох, сынок мой, сынок, — вздохнула мать, и глаза её стали мокрыми.

Стучали всё те же часы с бегающими кошачьими глазами на циферблате, тянула цепочку гирька в виде зелёной еловой шишки, на подоконнике лежала недовязанная сеть-чапушка, на деревянном гвоздочке висела иглица с чёрными нитками.

— А бабка Варвара где? — Максим посмотрел на мать.

— К Анфиму ушла, гостюет... Была молчаливая, а теперь-то и вовсе... как беглеца Костю у них схватили. Тётка Катя с осени в лес забралась, в урман. Глаз не кажет... Сказывали — совсем мужик мужиком стала: брёвна кряжует, ворочает. А напётся — зверь зверем.

Максим поморщился, пошевелил ногами, прошёл — на лавку сел.

— Мама, я ноги, должно, обморозил...

Мать нагнулась, принялась с него стаскивать старые драные бахилёшки, бросила их на пол, ощупала пальцы.

— Белые! Оттирать, оттирать скорее!

Принесла в дом ведёрко снегу — истратила, потом второе начерпала. У лавки скопилась лужа. Волосы у матери растрепались, лицо вспотело, а Максим упирался руками в край лавки. Пальцы на ногах отходили, их начало больно рвать. Мать зачерпнула из кадки холодной воды, налила в шайку, двинула шайку сыну под ноги.

— Ах ты, бестолочь, горе моё. Этак и обезножить можно. Как же это — пимы сгорели! Я из последнего тут тянулась, а он за неделю профукал.

— Я не нарошно, мама...

Мать замолчала, походила, подулась, но села с Егоркой гостинцев Максимовых попробовать.

---

У Максима ноги жарко горели, он выдернул их из шайки с водой и теперь растирал шерстяной драной варежкой.

И пришла к ним опять добрая, радостная минута, когда хочется говорить, узнавать друг у друга новости.

— Гаврила Гонохов всё мне весточки о тебе приносил... Сказывал, люди тебя приютили хорошие.

— Я у них не живу больше, мама. — Максим наклонился, макушку поскрёб.

— Да что ты? Достукался — выгнали! Нам ли капризы свои показывать? Жить надо тише воды, ниже травы.

— Я не делал ничего худого, чо мне бояться да прятаться?

— И ладно, и хорошо, избави-то бог! Ну, а хозяевам чем досадила?

Максим вытянул ноги на лавке и шевелил красными пальцами.

— Ругались они между собой... А мне надоело: книжки мешали читать. — Максим усмехнулся, ладошки потёр, как взрослый.

Мать головой закачала, зацокала языком:

— Гляньте, какая цаца — читать мешали ему! Грамотею!

— Я понарошку, мама. Читать я в школу ходил, когда классы пустые. А теперь я совсем в школе. Жить мне колхоз помогает.

Максим замечал за матерью, что хоть она и смеётся над ним, подтрунивает, но держит себя не как в прежнее время: будто со взрослым, с мужиком.

Максим рассказал матери о сыновьях-фронтовиках Степаниды Марковны — о дяде Коле и Сашеньке. Дядя Коля — лётчик, летает на самолёте бомбить немецкие города. До самого Берлина долетал — в письме об этом писал... А в Сосновке, говорят, скоро радио будет — на высоком столбе поставят, чтобы всё-всё село слышало, что на войне делается. И песни, музыка будет. Так им в школе учительница рассказывала...

— Смышлёный ты у меня, — вдруг расплакалась мать. — Учись да слушайся, от дурного беги.

И она заговорила о Пылосовете, о том, что присудили ему пять лет, а выдал его Щукотько, который был с ним заодно.

Мать, рассказывая об этом, всё почему-то глаза от Максима прятала и лицо вытирала концом застиранного платка.

— И меня к следователю водили... Да какой с меня толк?

— А тебя-то, мама, зачем? — насторожился Максим.

— Ну, спрашивали, не знаю ли я чего. Не доставалось ли мне от Иван Засипатыча, от ворованного?.. И вместе нас с ним сводили, с Иван Засипатычем... Иван Засипатыч всё больше в

---

пол глядел, на меня-то и глаз не поднял. А я от страху-то рёвом редела, платок измочила слезами... Так зарёванную меня с богом и отпустили... А Пылосов-то всё ж таки нас жалел.

Арина засуетилась, от стола к печке ушла, от печки обратно к Егорке села.

— Куда там — жалел, прямо плакал по нас, — хмыкнул Максим.

Но мать разговор к другому свернула:

— Заместо него новый начальник скоро должен приехать. Ищут надёжного человека... А покуда всё у меня на руках... Эх, был бы живой Андронушка, ему бы на это место. И жили бы мы — не печалились...

Максиму что-то и говорить расхотелось, но мать замолчать не могла.

— А этот Шукотько — дружок-то Ивана Засипатыча — вот кто дурной да паскудный был. Много об нём в народе теперь говорят. Из-за него и Андрон наш погиб. И другие страдали... На фронт его выгнали, штрафником... Пылосовы всё в доме своём распродали. Осталась у них только корова. Стюрка всё ж таки баба хозяйственная — для своего дома ноги расшибёт. Живут помаленьку... Собирается, слышно, Гаврила Гонохов к ним насовсем перебраться... Калиска с маленьким плохо водится, и, хоть кормёжка плохая теперь у них, растолстела — ну просто баба-молодка.

Арина говорить торопилась, будто боялась, что Максим её не дослушает.

— А Лёвка Мыльжин к Калиске больше не стучался. На лесоточку работать ушёл, и в Пыжино редко бывает... Все разлетаются помаленьку.

Мать положила в печку дров, поставила чайник.

Максим засмотрелся на маленького Егорку, который выудил из мешка все гостинцы, разложил их рядком на лавке. Изо всего творожную шанежку выбрал и грыз её, мёрзлую.

— Губа не дура, — кивнула мать и положила на голову старшего сына сухую ладонь. — А ты учись, сынок... Отец, покойник, всё говорил, что человека из тебя сделает...

И опять заплакала тихими слезами.

Задребезжал крышкой чайник, покатались по плите сердитые катышки воды. Арина отставила чайник, взяла с полки чёрный комок чаги, заозиралась по сторонам.

— Ты что, мама, ищешь? — спросил Максим.

— Ножик куда-то засунула, чагу покрошить нечем...

Сын достал из кармана складник с зелёной костяной ручкой, протянул матери.

---

— Это тот, дяди Андрона который... Не посеял ещё?

— Я берегу, — гордо сказал Максим.

— А катанки, видишь, не уберёт.

Арина нахмурилась, собрала под глазами морщины: всё никак не могла примириться, что сын у неё снова разутый в такие лютые холода.

Они попили чаю, поели, Арина пошла управляться в свинарник, Максим с Егоркой забрались на печку и стали бабахтаться, жулькаться. Егорка упрямо лез к старшему брату, ловил его ручонками за уши, за нос, смеялся, им было обоим весело. А когда Максиму играть надоело, он спустился с печи.

— Ну, ты сиди дома, а я к Мыльжиным сбегая. Скоро мама придёт.

— И я с тобой, — запросился Егорка.

Максиму жалко стало братишку.

— Одевайся тогда...

Максим подождал, пока прогорели дрова в печке, загрёб угли, приставил клюку к дверце и вместе с Егоркой вышел на улицу.

У крыльца повстречалась им бабка Варвара, остановилась, осмотрела строго Максима:

— Як-корь тебя — совсем большой вырос!

Вынула табакерку, захватила щепоть мелкой толчёной зелени, потянула ноздрей, другой, потёрла ладошкой по широкому плоскому носу, выдохнула, блеснули сквозь щелки старческие глаза.

«Всё такая же бабка Варвара: напихает в нос табаку, а чихать и не думает».

— А ты не нюхашь табак ишо?

— Не собираюсь, бабушка, — ухмыльнулся мальчик.

— Н-ня... За щеку кладёшь, поди што!

Бабка Варвара тронула его шершавыми пальцами за подбородок.

Только разминулся Максим со старой остячкой — попался Анфим с Порфилкой. Анфим шёл, как всегда откидывая назад голову и выбрасывая вперёд кривую ногу.

Порфилка вытянулся, почти перегнал ростом отца. Идёт — курит, слюнями сквозь зубы цыкает, руками помахивает, плечами покачивает, шапка к левому уху заломлена.

«Остался один большак у отца, так уж и рад задаваться».

Максим Порфилку никогда не любил.

Анфим его сразу узнал: зубы жёлтые выставил, на добром рябом лице задвигались ямки-оспины. Порфилка смотрел на Максима насмешливо.

---

— Здравствуйте, дядя Анфим! Здорово, Порфилка!

— Здарова, здарова: я бык, а ты корова, — ответил Порфилка.

А дядя Анфим катал в жёстких своих ладошках Максимо-вы озябшие уши, приговаривал:

— Ах ты, варнак, холера-паря, ах ты, Максимша! Убёг от матери, и ни слыху, ни дыху. Взяли моду от родителей бегать! Нисяво-оо.

Анфим и Порфилка направились по каким-то своим делам к согре. Анфим оступался, проваливался в снегу.

Уж так была рада Максиму Анна, Анфимова баба. Она обняла его, расцеловала, раздела Егорку — отослала играть со своими младшими ребятишками, а Максима посадила на чурбашок к столу, смахнув с него рыбки кости.

— Моих-то не встрел? Перед тобой вот только ушли, — улыбалась она и качала головой, повязанной выцветшим полшалком. — Добрался-то как? Ноги поморозил? Ах ты, царица небесная! Мороза стоят шибкие, утром по сено поедешь — заплоты трещат, деревья колются, а под санями уж так скрипит. С осени здесь с тёплых краев пташки остались, всё к жилью, бедные, льнули, да так и помёрзли.

— Думал, Пантиску увижу, — сказал Максим.

— Был на каникулах, да опять в свой северный интернат вернулся. Там ему хорошо: обутий, одетый, в новом во всё. На мордочку справный...

— А я во сне видел, будто он дома, Пантиска...

— Во сне? — Анна вздохнула. — Я нонче во сне змею убивала. Будто она на порог заползала, а я кочерёжку схватила да на неё. Убила — чёрна да долга. К чему бы, сказать? У бабки Варвары справлялась — не знает. Ещё у матери твоей надо спросить.

— Мало ли что, всякие сны снятся, — пожал мальчик плечами.

— Так-так, перетакивать не станем, — задумалась Анна, шевеля толстыми, вывернутыми губами. Глаза её замерли на окне. — К бурану заморочало: звон тучи нахлобучило. Меняется погода.

— Ветер подымается. — Максим тоже взглянул в окно.

— Ох, как там мой Лёвушка, — сказала Анна. — На лесосеках и в непогоду лес валят. Страшно... Есть — насмерть людей захлестывает.

— Да уж ничего, поди, тётя Нюра, — понял её тревогу Максим.

— Вот горемышный тоже, Лёвушка-то. Как ушёл — бог унёс. Без оглядки исчез, будто в доме родном псом пахнет.

---

— И возвращаться не думает?

— Если бы думал, так легче было бы. Отец, поди, звал — слушать не хочет. Над Порфилкой теперь отец трясётся: как бы и этот из дому куда не подался. Ведь што он, Анфим, без помощников-то? А тут корова храмлет. Телок-пойленик сдох. Кур завели — с лета четыре цыпушки пропали...

Анна оборвала разговор, пошла к печи, загремела заслонкой. Пригибаясь, достала ухватом большой чугунок, так хорошо знакомый Максиму. Запахло супом из вяленых окуньков с картошкой.

Напрасно Максим отказывался: Анна налила ему полную чашку, позвала заигравшихся своих ребятишек, усадила Егорку с ними. За столом дружно застучали ложками, зачавкали, засопели.

— А вы сами-то что ж, тётя Нюра? — спросил Максим, видя, что хозяйка не садится к столу.

— Стряпуха с пальцев сыта: покуда варит-печёт — наоблизывается! — Прикрикнула на свою малышню: — Ешьте сидите, когда посадили!

Анна опять прильнула к окошку: на улице воздух синел от надвигавшихся сумерек. Начинало буранить.

— А ведь, истинный бог, правду говорит пословица: не смейся горох над бобами, сам будешь валяться под ногами... — задумчиво проговорила она. — Я про Иван Засипатыча вспомнила. Или забудешь, как он напёр на Пантиску да на тебя за муку?

Максим перестал хлебать, отложил ложку, губы вытер.

— Отлились ему ваши слёзы. — Анна поскребла ногтем тонкий ледок на окошке. — Я ему как-то сказала в сердцах, мол, ты, Иван Засипатыч, докатишься. А он мне што же ответил? «Не пугай щуку морем». Вот и вышло... Заходил иногда к нам в карты играть. Проиграется, скажут ему «дурак», а он погладит лысину, ухмырнется: «Не дурак, а с картами на руках остался». Анфим завсегда смеялся над ним...

— Манефка у них не такая. — Максим покраснел. — Она меня первая читать обучила, а теперь я вот буду ходить во второй класс...

— Верно, Манефка добросердечная, и пригожая, как соболюшка.

У Максима от этих слов внутри горячо стало: он заёрзал на чурбачке, достал из кармана платок-носовик, вытер Егорке суп с подбородка.

— Облился, неряха...



---

Анна не отходила от окна: всё смотрела на белый буран, о Лёвушке своём тревожилась.

«И в буран лес валят, — подумал Максим. — А всё потому, что война».

За ними пришла мать, посидели они ещё, поговорили с Анной, а когда заявили Анфим с Порфилкой, приволокли на себе пучки стылых прутьев, бросили прутья к печке оттаивать, Сараевы поднялись и ушли. Максим сказал, что он придёт завтра помогать дяде Анфиму морды плести...

Он прожил в Пыжино четыре дня, ходил на Обь проверять самолёвы, починял с Анфимом нарты, подсоблял матери по свинарнику, и стал собираться в дорогу. Анфим скупно хвалил Максима, говорил, что взял бы его в сыновья и они бы промышляли рыбу, уток стреляли весной и осенью. Максим не ленивый, в работе умеющий, он подросток и силой окреп: такого теперь хоть куда пошли. Мальчишке всё это было приятно слышать...

Мать раздобыла ему подшитые катанки: они были великоваты и тяжелы.

— Из большого не выпадет, — сказала мать. — Да гляди мне — больше не ротозейничай.

Мать собиралась весной перебраться в Сосновку с Егоркой, а орсовских свиней передать тёте Стюре. Арина только не знает, хватит ли сил у тёти Стюры ходить за таким стадом.

— Я бы ещё здесь пожить осталась, да не могу — муторно мне, тяжело, — закрывала мать горячие щёки ладонями.

И опять Максим не мог понять, почему так она сокрушается... А ей просто хотелось подальше уйти от грехов, в которые втянул её Иван Засипатыч Пылосов.

...По тёплой мягкой погоде, какая установилась после бурана, Максим уходил из Пыжино. Выпавший снег, молодой, свежий, скрипел под ногами, как новые хромачи дяди Михайлы...

## 17

Всю зиму прожил Максим в школе, учился, помогал сторожике, зачитывался интересными книжками, ездил за сеном с колхозниками, дрова колол у конторы. Председатель Полковников ласкал его, называл добродушно работничком и при встречах здоровался с ним за руку. С колхозного склада Максиму частенько давали харчишек, а в сельсовете ему

---

Ирина Петровна выхлопотала лыжный костюм, красный, с начёсом. Никогда в жизни не носил он такой тёплой, мягкой, красивой одежды!

В этом костюме Максима принимали в пионеры. Он стоял перед ребятами гордый, высокий, смущённый, а когда Тамара Ваковна галстук ему повязывала, он так запрокинул голову, что в глазах зарябило и потолок закружился.

— Ну вот, Максимка, ты теперь самый примерный мальчик. Учись, расти, будь умницей.

Максим весь день ходил тихо, оглядывал себя, охорашивал, соринки с костюма снимал.

Вечером в школу к тётке Полине зашла Степанида Марковна, покосилась глазами-стёклышками на красный галстук, и мимо Максима бочком, даже на «здравствуйте» не ответила.

На улице мартовское солнце блестело на голубом снегу, галдели мальчишки под яром, возились в крепких ещё сумётах, кидались комьями наста — играли в войну. Максим замахал руками, захлебнулся потеплевшим воздухом, и от восторга закричал дико, счастливо, устремляясь к мальчишкам:

— За мной, в ата-а-ку-уу!

Со всех сторон летели в него «снаряды», он увёртывался, падал, соскакивал, сам кидался комьями снега. Кто-то метко попал ему по носу, он пошатнулся, хлопнул разбитым носом, но пыла в нём не убавилось. Перескакивая «окопы», окропля алыми каплями снег, он врзался в гущу мальчишек и расшвыривал их:

— В ата-аа-ку-ууу!

Давно поговаривали кругом, что в Сосновке должно появиться радио, и мальчишки обивали порог колхозной конторы, собирались кучей в дверях, шмыгали простуженными носами. Как-то раз Полковников, председатель, оторвал от бумаг отёчное, болезненное лицо и, глядя на ребят, развёл руками:

— Не получается, хлопцы. Каргасок от нас по ту сторону Оби, а Обь-то — гляньте, какая широкая. — Брови-кустики весело шевельнулись, глаза хитровато сощурились. — Широкая Обь, вот провода и не могут найти. И столбов, если уж так, сколько надо. Да опять же как их поставить? Шугой унесёт.

Шутливо вроде толкует им председатель Полковников, а как подумать — и правда. Выходит, пока что нельзя радио провести в Сосновку.

Но радио всё-таки появилось, и привёз его Типсин Михайло из Каргаска по последней санной дороге, в апреле. Тогда Типсины похоронную получили.

---

Ларька им ещё раньше писал, что на пулемётчика выучился, воевал храбро и даже орден Красной Звезды получил за какой-то подвиг. Этот орден после гибели Ларьки в каргасокский военкомат переслали, вот Михайло и ездил за этим орденом в район, принял его из рук комиссара. А комиссар всё тот же был — без ноги, на протезе. Типсин Михайло рассказывал, что комиссар этот многих храбрых бойцов-земляков вспоминал, какие погибли в боях, и дядю Андрона Шкарина тоже...

Типсин Михайло совсем исхудавший вернулся из Каргаска — глаза провалились, острый нос выпятился. И Левонтий, отец его, сутулый сидел за столом, голову обхватил руками. А орден на красной подушечке в переднем углу на стенке висел, и Максим видел, как на звёздочке свет от лампы багряно поблёскивал...

Максим спросил, когда дядя Михайло радио будет ставить. Дядя Михайло ответил, что скоро, и Максим сказал, что придёт помогать.

Вся Сосновка смотрела, как Михайло Типсин с Максимом по крыше лазили, жерди длинные к конькам с двух сторон прибивали, тонкую проволоку между жердями натягивали.

— Ну вот, — кричал им снизу бригадир Серяков, — и мы теперь будем Москву слушать!

Хорошо, что у Типсиных дом большой, а так бы народ посадить было негде — столько понаходило. В приёмнике лампочка махонькая светилась, мигала ярким, живым светлячком — завораживала. Дядя Михайло, склонившись, ручку подкручивал — треск доносился, и вдруг...

«Говорит Москва! От Советского Информбюро. Оперативная сводка за 23 апреля.

Войска Первого Белорусского фронта, перейдя в наступление с плацдармов на западном берегу Одера, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильно укреплённую, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую Берлин с востока...»

Левонтий спину сутулую выпрямил, руки могучные от лица оторвал — на щеках от пальцев полосы кровью набухли.

— Да што же, братцы, родимые, а?! — вертел большой, вскосмаченной головой Левонтий. — Неужто сломали зверя? Неужто конец войне?

— Постой, погоди, тятя... Да тихо вы! — крикнул дядя Михайло, потому что все задвигались в доме, ногами зашаркали по полу. Загоревшиеся глаза Михайлы замерли и округлились, губы дрожали.

---

А голос в приёмнике удалялся куда-то, слабел, треск и хрипение вдруг заглушили его совсем. Дядя Михайло длинной худой рукой опять стал ручку подкручивать, и был он бледный и повторял, как во сне:

— Тихо, народ, тихо.

Но и так было тихо: ребятишки и те перестали сопеть и кашлять. И пока дядя Михайло настраивался — ни звука не проронил никто. Радио снова заговорило всё тем же чистым, звучным, уверенным голосом:

«Бойцы Красной Армии ворвались в Берлин! Прорвав оборону, они вонзили оружие в самое сердце Германии. Женщины, дети, старики на путях и дорогах, где проходили советские войска, заклинали бойцов — дойти до Берлина. И они дошли. Они ворвались в стены города-убийцы, города-спрута, города-вампира... В историческом наступлении на Берлин советский народ отметил семьдесят пять лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Дядя Михайло обнял отца. Левонтий мокрыми, пустыми глазами смотрел на подушечку на стене в переднем углу, где висел приколотый Ларькин орден.

— Скоро победа, скоро войне конец, — глухо сказал дядя Михайло. — Максимка, беги до Полковникова, узнай, приехал ли он из Подъельников. Скажи, так вот и так... В контору бы собраться всем, кто не слышал, — весть сообщить.

Максим со всех ног бежал по селу, опережая других мальчишек. В ушах ветер гудел, сердце стучало в груди молоточком, и было жарко, и было легко. Ему казалось, что так вот он мог бы бежать без конца, хоть до самых Подъельников, и, наверное, побежит до Подъельников, если Полковников не вернулся из сельсовета.

## 18

Весна уж вовсю гнала по дорогам, оврагам ручьи. На вспученном льду сосновской протоки сидели вороны, стрекотали в кустах сороки — первыми торопились устроить свои косматые гнёзда. Густой зеленью вдалеке чернел сосняк. Голубизна неба брызгала сквозь перепутанные сучья осинника.

Люди ждали близкой победы и оживлённее копошились на фермах, возле конюшен, на чёрных полях, где лежали ещё клочки ноздреватого снега.

Май вдруг пришёл с холодами: в последних числах апреля

---

было куда теплее. Без устали дул студёный ветер со стороны лугов, на риге и во дворах шуршала солома, трепало бродивших по улице кур. Ветер как бы сердился на то, что уже начало мая, а лёд на протоке ещё не прошёл, лишь чуть подвинулся.

Кешка сказал Максиму, что хочет сыграть с ним «в землю». Они отошли за школу, где было тихо и чуть пригревало. На ровном, утоптанном месте очертили круг, разделили круг пополам и, стоя, взялись бросать Максимов ножичек. Свой самодельный складень прижимистый Кешка жалел.

— У тебя чо — немецкий! Немецкий мне бы нисколечко не было жалко.

Максим согласился. Кидал он свой ножичек метко, почти не мазал: складник вонзался в землю глубоко, тонкая сталь пружинила, и ручка дрожала, как камертон, который показывали им в школе. Максим отхватывал всё новые и новые куски Кешкиного «владения». Кешка злился, а поэтому, видно, и мазал, когда выпадало ему кидать. А Максим от Кешкиного куска земли скоро оставил один крошечный треугольник, в ладошку.

— Подымай руки, — торжествующе проговорил Максим, взял поудобнее ножик за кончик, размахнулся в последний раз, но Кешка — дурила! — в сердцах заступил ногой в круг, закрыл своим мокрым чирком «землю». А ножик с зелёной ручкой, подарок покойного дяди Андрона, уже оторвался от пальцев Максима.

— А-аа! — закричал Кешка Ягодкин, задёргал, задрюгал ногой: из чирка у него торчала ручка немецкого складника.

У Максима перехватило в горле.

Кешка вдруг перестал выть, сел на землю, подтянул ногу, выдернул складник, вскочил, размахнулся и что есть силы зашвырнул его далеко в бурьян.

Максим отыскал складник и сунул в карман.

— Я, Кешка, не виноват. Ты сам ногу подставил, ну сам! — Кешка всё квасился. — Давай посмотрим, ты, поди, представляешься больше.

Он помог Кешке стянуть чирок, обтёр о штаны грязные руки. Кешка портянку с ноги размотал: на пальце была царапина, только чирок пропорол насквозь.

— Теперь я чо дома скажу? Голова!

— Скажи, что на гвоздь наткнулся.

Чем бы кончился дальше их спор, может, они бы подрались, как случалось нередко, но здесь от реки, от протоки, донеслись по ветру крики:

— Лёд понесло! Шуга идёт!

---

На яру ветер совсем чуть с ног не сбивал. На середине протоки медленно подвигало водой серую льдину с кучей навоза, а по бокам льдины, у берегов, было много полой воды. Под ветром вода морщилась чёрной рябью, и рябь эту гнало беспорядочно в разные стороны.

Становясь боком к ветру и отворачиваясь, Максим видел всё тех же ворон: и на льдинах, и на макушках деревьев под яром. Подумалось, что вороны делают гнёзда здесь для того, чтобы потом, когда прилетят сюда стрижи и выведут птенцов, — сидеть у гнёзд и лопать маленьких глупых стрижат.

Лёд с хлюпаньем, скрипом тащило из протоки в Обь, обрывались ещё мёрзлые комья подмытой и срезанной льдинами глины. Льдины лезли на берег и друг на дружку.

— Эх, и ветер сегодня: рот откроешь — штаны парусом! — сказал Кешкин отец, бригадир рыбаков Микола Ягодкин.

Он стоял в сером дождевике нараспашку, ветер бил его в грудь, развевал полы. Рыбаки из бригады подходили к Миколу Ягодкину, обступали его, глаза на ветер узили.

Народ всё подваливал к берегу. Высунулись вместе со всеми поглядеть на ледоход и три брата немца: Давыд, Егор, Манель.

— Лиса на льду! Лиса! — закричал кто-то.

Из-за поворота протоки вынесло большую треугольную льдину, на льдине металась лиса. Она бегала, как на цепи, по кромке, а вокруг была мутная вспученная вода.

— Приспичило, завертелась, поди!

— А ты бы не завертелся?

— Поймать бы, а то задарма пропадёт.

Лиса, напуганная голосами людей, заметалась ещё сильнее, прижалась к самому краю льдины. В это время большую, переднюю льдину заклинило, между большой льдиной и тем берегом стало гуще нести обломки. Лиса разбежалась прыжками, пламенем перекинулась с одного обломка на другой, и лишь перед самым берегом угодила в воду.

— Прыгучая, — сказал Полковников, который тоже вышел полюбоваться на ледоход. Свои толстые, отёчные руки он держал в карманах полупальто, а локти широко расставил в стороны.

— На берегу-то — смотри! — отряхнулась, — заметил Микола Ягодкин. — Чистуха: искупалась и шёрстку почистила.

Лиса исчезла в кустах, а возбуждение ещё держалось в толпе.

И оно разгорелось сильнее, это весёлое весеннее возбуждение, потому что по улице ошалело, растрепав волосы, с платком в руке, бежала баба и кричала, захлёстываясь:

---

— К Типсинам!.. Типсинам!.. Радиву слушать!

Одно окно из горницы в доме Типсиных было распахнуто настежь, на подоконнике громоздился приёмник, и, как в первый раз, только чище и громче, вырывался на улицу голос:

«Москва в эту ночь не спала. Никто не спал — не мог спать, не хотел спать. Весть о победе родилась в ночной час. Её ждали! Два часа десять минут. Радио сообщает: Германия капитулировала безоговорочно и до конца. Победа!».

Музыка, загремевшая вслед за словами, слилась с криками радости и плачем. Вся Сосновка сбегалась к Типсиным, повалили забор, снесли ворота, запрудили пол-огорода. Михайло Типсин утирал рукавом слёзы, учителя и тётя Валерия обнимались и тоже плакали.

За музыкой снова:

«Пророческие слова Пушкина сбылись:

Так высылайте ж к нам, витии,  
Своих озлобленных сынов:  
Есть место им в полях России,  
Среди нечуждых им гробов.

...Берлин лежит в руинах, в тупом отчаянии. Да, он, униженный, покрылся белыми полотнищами покорности и страха, униженный, осмеянный, униженный за всё, за всё, чего не перечесать...»

— Уж это так, не перечесать, — повторил с тяжким вздохом дядя Михайло, не осушая слёз. — Вовек не забыть всего...

Наверно, дядя Михайло Типсин в эти минуты вспомнил всю свою жизнь на войне, земли, которые он прошёл, смерти, которые видел... И Ларьку, брата своего младшего, что погиб в бою, не дождавшись победы. И Максим думал о Пыжино, о горсточке крохотных домиков, запрятанных в густых кедрачах. Там нету радио, и о победе узнают пыжинцы, может быть, только завтра. И если бы ледохода не было, если бы речки не вскрылись, убежал бы Максим к матери, к дяде Анфиму, и рассказал бы им всё, что он услышал и увидел сегодня...

Тамара Ваковна созывала ребят. Она сказала, что, как придет представитель из Каргаска, так сразу начнётся митинг. Она наказала, чтобы ребята умылись, опрятно оделись, галстуки повязали.

— А песни петь будем? — спросил, улыбаясь, Виска Болотов.

— Обязательно. В такой-то день да без песен?

Народ от дома Типсиных не расходился...



---

И вот уже конец мая. Скоро неделя, как живут Сараевы вместе: мать, Егорка, Максим.

Уехала насовсем в Каргасок тётка Полина, и Сараевы заняли комнату-боковушку в школьном здании, подставили к топчану чурки, сбили их продольными и поперечными досками: мать говорит, что они устроили себе логовище...

Мать с собой принесла из Пыжино кое-какую одежду, подстилки, три тощенькие подушонки, драное одеяльце. Два ведёрка: чистое и помойное. Ещё кастрюлю, чугунок, чашки и ложки.

Мать быстро сошлась со всеми, кто жил по соседству со школой. Председатель Полковников, который после Дня Победы недели две лежал с сердечными болями и только что оклемався, смотрел на Арину грустными, понимающими глазами. Он предложил Сараевым взять огород, послал пахаря с плугом. Землю вспахали, заборонили, и Максим с матерью посадили картошку. Егорка тоже на огороде был, ходил по мягкой сыпучей земле и бросал картофельные верхушки в лунки.

Ирина Петровна, принявшая мать сторожихой в школу, говорила, что теперь жизнь у них легче пойдёт.

Максим работал: то лодки гонял с сельповским товаром, то с рыбаками на тони ездил, то дрова заготовливать в лес.

Мать расправила плечи, глядела на сына любовно, обращалась с ним ласково, не понукала, как было раньше.

У Максима голос стал гуще, рука крепче, а лыжный костюм, который учителя зимой выхлопотали ему в сельсовете, стал куцый.

Уже отцвела картошка белыми и фиолетовыми цветами, распустились махровые маки и покачивались на тонких бычках от налетавших гудящих шмелей. Уже вороны караулили жадно птенцов у стрижиных гнёзд, большие скворцы учили летать молодых — шло на закат лето, когда появились в деревне сыновья Степаниды Марковны.

Все, кто возвращался с фронта в Сосновку, приходили со стороны Дергачей: другой дороги сюда не было. Каждого фронтовика встречали сначала мальчишки, караулившие с утра до вечера на дергачёвской дороге: рыбачат, рыбачат на протоке под яром, ловят на удочки окуней, а потом выскочат вдруг на высокое место, вытянут шеи — не идёт ли там кто в гимнастёрке?

Ждали отцов, старших братьев, ждали, кто не потерял ещё надежды. Но народу с войны возвращалось мало.

---

Давно разлетелся слух по Сосновке, что скоро будут сыновья Степаниды Марковны, офицеры. Ждали их. Мальчишки убежали днями под самые Дергачи. Но всё никого не было.

Пришли они неожиданно, ночью. Поздно пристал пароход к Подберезникам, да пока дождались с той стороны Оби бакенщика Маковея Зублева, время к ночи подкралось. Маковей наконец переплыл на своей лодке широкую Обь, увидел при свете коптящего фонаря погоны и гимнастёрки, сильно лицом помрачнел, усадил братьев в лодку, перевёз молча, но денег не взял ни рубля. Деньги ему в две руки братья тянули, а он головой мотал:

— Не надо мне ваших денег! Ступайте с богом... Я будто своих сыновей встрел...

Дома со Степанидой Марковной было плохо: тётя Валерия, сама взбудораженная, едва привела её в чувство. Потом они обе плакали, а Котька, ни разу в глаза не видавший отца, дичился.

Чуть свет понеслась Степанида Марковна по соседям. Она всем рассказывала о вернувшихся сыновьях, о том, что ручка у Сашеньки перебита, ладом ещё не срослась, а Коленька, старший, совсем ещё не уволенный, поживёт да вернётся — служить в самой Германии будет.

Максима и Кешку, которые прибежали к Маковым, дальше порога пока не пустили: тётя Валерия и наряженная Тамара Ваковна ходили в избе от стола к печке на цыпочках, расставляли тарелки, стаканы, закуски и разговаривали шёпотом. Максим заметил, что тётя Валерия хоть и улыбается своим большим толстогубым ртом, но лицо у неё грустное, щёки бледные. Раз за разом поправляет она на висках волосы и дотрагивается рукой до левой груди, словно хочет унять тревожно стучащее сердце. Максим всё это видит, но ему неудобно долго смотреть на тётю Валерию. Он помнит всё, ничего не забыл, и Степанида Марковна тоже, конечно, помнит и никогда не простит ей того, что было.

Тётя Валерия и ходит как-то согнувшись — так ноги передвигает по полу, будто боится споткнуться, будто не годы ходила по этой избе.

Тамара Ваковна здесь чужой человек, а поглядеть — подумаешь, что она тут хозяйка: так свободно она ступает, так прямо держит себя, так гордо голову носит. И лицо у неё горит румяно, губы полуоткрыты, словно она приготовилась говорить или ждёт услышать какие-то важные для неё слова.

Мальчишек не замечали, да и сами они сидели на полу под порогом смирёхонько, лишь временами подталкивая друг

---

дружку локтями, потому что на стол постепенно выставлялись диковинки: сало-шпик, печенье, конфеты, бутылки с водкой и банки консервов. Банки удивляли мальчишек яркими наклейками, на которых было написано «не по-нашему». Ребята даже к столу ближе придвинулись, чтобы разглядеть эти расписные наклейки. Но Тамара Ваковна махнула на них смуглой красивой рукой с перстнем на безымянном пальце, и они тотчас же водворились на своё место у порога.

Тётя Валерия поглядывала на дверь, но Степаниды Марковны всё ещё не было: по Сосновке гостей собирала.

— А ты знаешь, — сказала шёпотом Тамара Ваковна, — Михайло-то Типсин к Ирине Петровне посватался. Сойдутся... Она этому радешенька, баба.

— Мне всё равно, — ещё тише проговорила тётя Валерия.

Тамара Ваковна вскинула на неё глаза и вздохнула.

«Тянули тебя за язык», — сердито подумал Максим.

Кешка легонько толкнул Максима в плечо и показал на стену: на деревянном штырьке висел в кобуре пистолет.

И как это они не заметили пистолета раньше? Коричневая толстая кожа кобуры поблёскивала. Эх, вот бы в руках подержать да стрельнуть хоть разок! Это тебе не какой-то там самопал — деревяшка с патроном. И Максим так загорелся, что ему не сиделось у порога, он подошёл к тёте Валерии и спросил:

— Это чей пистолет?

— Тише, — шикнула на него Тамара Ваковна.

Мальчишки решили больше не досаждать, и терпеливо сидели, ожидая, когда поднимутся фронтовики.

— Мама! — послышался голос из дальней комнаты.

— Сашенька, её ещё нет, — ответила тётя Валерия.

— Ну, мы встаём, — сказал весёлый и хриповатый голос.

— Вставайте, уже всё-всё готово, — звонко проговорила Тамара Ваковна и приложила ладони к щекам.

Потом она глянула на ребят и строго сказала:

— Мальчишки, живо на улицу.

Сегодня Максиму Тамара Ваковна совсем не нравилась: «Ещё замуж не взяли, а гнёт, как хозяйка».

— Нам посмотреть охота, — заупрямился Максим.

— Пускай сидят, они никому не мешают, — заступилась за них тётя Валерия.

— Нечего, нечего. — Тамара Ваковна замахала руками.

Они вышли и, обиженные, уселись на крыльце. К дому Марковых шла Степанида Марковна, вела за собой бабку Ульяну, Серякова, председателя Полковникова, Максимову мать с Егоркой. Степанида Марковна погладила Максима и Кешку

---

по головам, они поняли её ласку как приглашение и вместе со всеми ввалились в дом.

Братья уже встали, были умыты, одеты: Максим удивился, как они быстро успели всё сделать. Они были очень похожи — дядя Коля и дядя Саша, белозубые, длиннолицые, русые, с тёмными, ровно прочерченными бровями.

Вошедшие с ними попеременно здоровались, а самой последней подошла бабка Ульяна в чёрном платке.

— Храни вас и дальше Господь. — Она каждого перекрестила, что не очень, как заметил Максим, понравилось офицерам. — С первого дня до последнего, а вот ведь — живы. А Ларька Типсин давно ли ушёл, а уже похоронная...

Все смолкли на короткое время, потом снова загомонили, стали рассаживаться кто где.

— К столу, люди добрые, к столу, — заспешила Степанида Марковна, оглядывая любящими глазами сыновей.

— Это какой Ларька? — спросил младший Маков у бабки Ульяны. — Подростыш?.. Ну да, я уходил с Николаем — он ещё вот такой был. — И Сашенька поднял руку над полом.

— Вырос, дюжой был парень, всё медвежатничал... Он у нас был тут проказливый да отчаянный, сладких девок любил, но теперича что вспоминать разное да дурное.

А мальчишки оговаривали своё.

— У дяди Коли всего по одной звезде на погонах, а у дяди Саши вон по четыре.

— Зато те звёздочки большенькие, а эти поменьше.

— У дяди Саши погоны — как золотые.

— А чей пистолет, вот бы узнать...

— Спроси, — мотнул головой Максим.

— Спроси-ка сам. Небось слабо.

Максим подошёл к офицерам — уши и шея красные были.

— Дядя Коля и дядя Саша, это чей пистолет?

— Пистолет мой, — басисто сказал дядя Коля.

— А вы нам когда-нибудь хоть по разу дадите стрелнуть?

— Отчего ж, можно попробовать. А у тебя рука крепкая? — Он сильно пожал Максиму руку. — У, жилистый парень.

— Ты чего к людям лезешь, Максим? — пристрожилась на него мать. — Ступайте на улицу, вечно где большие, там и они.

— Мальчишки, с них взятки гладки, — сказал Полковников, вытирая платком вспотевшее лицо.

— Да, Коленька, это тот самый мальчик, о котором я как-то писала тебе, — поспешила сказать тётя Валерия.

---

Дядя Коля посмотрел на Максима с внимательным любопытством.

— Раз так — я обязательно дам тебе выстрелить.

— Ох, горюшки вы мои. — Мать держала Егорку между коленями.

«Будет вздыхать теперь, вечно ей надо, чтобы её жалели».

— Дичками растут, безотцовщина, — поджала губы Степанида Марковна.

Дядя Коля задумался.

— Да, сколько таких вот нежных побегов война опалила, — покачал он головой, и глаза его засветились. — Дички, дички... Но ничего, Максим! Зато теперь не боимся мы ни огня, ни мороза...

На другой день Максим ждал Кешку, но того почему-то не было. К Маковым он пришёл один. Всё здесь было не так, как вчера. Дядя Коля сидел за столом, обхватив лоб ладонями, а тётя Валерия стояла спиной к нему и платья перебирала в глубоком кованом сундуке.

«Ругаются... Степанида Марковна, видно что, всё рассказала. Теперь и стрельнуть не дадут, не до этого».

Максим как вошёл незаметно, так и ушёл.

За Сосновкой, со стороны Дергачей, было круглое озеро. Ещё недавно в нём, в рясных кувшинках, плавали утки — два ранних выводка кряквы. Их всегда было видно с конца села. Максим подошёл к озеру, присел на сухом берегу. Он думал, что скоро опять школа, занятия, книги. Скоро снова по этой дороге, мимо этого озера, пойдёт Манефка в Большие Подъельники. Она будет уже в шестом, а он только в третьем...

«Мне бы не пропустить, встретить Манефку. А то весной, когда она после школы в Пыжино шла, я так и не видел её: в лесу дрова с бабами, с мужиками резал. А Манефка обо мне спрашивала у Кешки...»

Он скинул с себя одёжку: до страсти ему захотелось выкупаться в этом тёплом глубоком озере, где недавно ещё чёрными точками плавали утиные выводки.

Сейчас озеро было пустым, и Максим догадался, что молодые утки уже поднялись на крыло и улетели...

---

---

# Часть четвёртая

## 1

Была погода, и вдруг испортилась — Васюган затянуло туманом, забрызгал дождь, воробьи забрались под застрехи, и продрогшим мальчишкам хотелось скорее забраться в тепло.

Ещё не пристали к крутому берегу, ещё тупоносый смолёный паузок в мокрый песок не уткнулся, а Максим уже сиганул с борта — перескочил полосу тёмной воды, пятками угодил на твёрдое. Бородатый шкипер погрозил ему шваброй, мокрой и жамканой. А Максим усмехнулся, подхватил расторопно узенький шаткий трап и за руку свёл Егорку на берег. Братишка совсем посинел и скрючился — смотреть на него было жалко.

— Побегай — согреешься, — сказал Максим, — а то нахохлился, как цыплёнок...

Посёлок был весь в мелком дожде и тумане. Большой двухэтажный корпус детдома высился на яру, боком одним лепился к ёлкам-кедёркам, к тёмному островку леса. Над крышей висела антенна косой струной, и мокрый флаг чуть покачивался на обветренном древке. Максим подумал, что теперь они станут жить вот в каком большом доме, с балконами и широкими окнами... Как там, наверно, тепло, чисто и весело. Рассказывали, что кормят сытно, спать кладут по отдельным кроватям на белые простыни, одежду, обувь дают, уму учат.. Давно желал Максим такой жизни, радовался и ждал, но сейчас у него в душе тоскливо и мрачно было: мать вспомнилась, добрые люди, которые, чем могли, в войну им, Сараевым, помогали. Теперь они далеко, эти люди, и, может быть, никогда-никогда Максим их больше не встретит..

К ним подошла молодая, в красивых сапожках, женщина, спросила — те ли это ребята, что в детдом должны были приехать, в Чижакку? Максим протянул ей бумажку, где было от сельсовета про них написано, про Сараевых. Воспитательница (она назвала себя Вассой Донатовной) бумажку эту взяла, но читать не стала: дождь припустил совсем крупный, как спелый горох посыпался.

---

Они поднялись по взвозу на крутоярье и дальше быстро пошли широченной улицей, куда-то от главного корпуса в сторону, на край посёлка. Чавкала глина, и жёлтые лужицы взбулькивали мутными пузырями.

Из проулка высыпала шумная ребятня — детдомовцы, их было видно сразу. Одетые все одинаково, серые, как мышата, они галдели, толкались, ковыряли новеньких взглядами и показывали им красные языки.

— Эй, ты, большой! Лямзить умеешь?

— Есть вошки-блошки?

— В изоляторе выведут!

— Большой погляди какой важный: даже не ухмырнется!

Максиму не было никакой охоты им отвечать: держал он Егорку за руку и торопился поспеть за воспитательницей. Васса Донатовна была полная, невысокая, а так расшагалась — беда! На крикливых дразнилок она и внимания не обращала, а Максиму хотелось, чтобы Васса Донатовна остановилась среди грязной дороги и строгим голосом, как, бывало, Тамара Ваковна, приказала: «Ребята! А ну, убирайтесь домой. Да живо, живо!». Но Васса Донатовна знай шагала себе в коротких сапожках, грудь красиво выпячивала, как жуланчик.

Ватага серых мышат будто бы приутихла, но ненадолго. Закричали опять, застрожились на новеньких:

— Воспеткам не жалуйтесь, если там что... Смотрите...

— Сексотам тёмная будет... Большой, слыхал?

«Уже и пугают, — удивился Максим. — И жить не жили ещё... Погодили бы сразу пугать-то».

— Прозвать их надо, прозвать!

— Маленький-то, гляди — вострохвостом идёт.

Максим украдкой взглянул на брата. «А верно, Егорка на серую утку похож, на шилохвостку: узкозадый, носатенький, локти острые за спиной торчат... Вострохвост! Вот придумали...»

— А большой — Рыжий! Солнышко!

— Угу-г-гу! — захлебнулись от радости глазастые, косоротые чертенята, остановились возле чёрных ворот, засвистели.

«Ну, тоже... Рыжим меня ещё в Пыжино дразнили... И Карасиком дядя Андрон называл. А Солнышко — вовсе нисколечко не обидное слово».

Максим перекатывал в кармане немецкий складник, дяди Андронов подарок, и поглядывал на ребят, как смотрят на яркий свет: с прищуром и сморщиваясь. Как-то весело ему стало вдруг и беззаботно.



---

Дальше чёрных ворот детдомовцы не пошли.

— В изоляторе мазью воняет чесотошной, пускай её новички нюхают.

И все рассыпались кто куда.

Сморщивая на переносье кожу, Васса Донатовна первой переступила порог изолятора. Было здесь мрачно, до щекотки в ноздрях пахло смесью дёгтя и серы. Максим сразу вспомнил, что так воняло у них в сосновской дезокамере, где колхозный ветеринар окуривал чесоточных лошадей...

Завели их с Егоркой в серую комнату с двумя заправленными кроватями и жёлтой тумбочкой между ними. Кровати были с белыми простынями, с подушками в наволочках, с толстыми одеялами из сукна: на таких постелях Максим с Егоркой ещё не спали. Но запах дёгтя и серы стойко держался и в этой комнате: от него даже глаза пощипывало, как от дыма.

— Ну вот. — Васса Донатовна розовые ладони сложила, подумала. — Здесь вы будете жить две недели. Врач к вам придёт, послушает. В баню сводят, потом оденут..

— И только тогда в большой корпус? — поторопился спросить Максим.

— Такой порядок у нас, ребятки... Обеды, ужины, завтраки вам станут сюда приносить... Я буду вас навещать каждый день. Хорошо?

— Хорошо...

— Не озорничайте.

— Мы не из тех...

— Дальше двора пока никуда не ходите... Грейтесь у печки, сушитесь. Драку не затевайте.

— Да мы сами-то не начнём... Вот если бить нас полезут...

— Да кто вас тронет, таких крепышей.

«Смеётся, что ли, она над нами? Ну ладно, я здоровяк, кругломордый, а Егорка... Синий и тонкий, как хлыстик...»

Максим заметил, что Васса Донатовна улыбнулась им грустно...

Два года минуло после войны. В Сосновке, как мать их тогда устроилась в школе уборщицей, так и работала всё это время, мало-мальски детей кормила, одевала, сама худобно перемогалась. А что ей надо было ещё, Арине, бедной бездомной бабе? Тяжести жизни она не боялась — не то пришлось перемыкать, перетерпеть. Сразу после войны житуха чуть легче пошла... Хотя — какая там лёгкость, когда работы полно, а здоровья не стало? Максим помогал матери: поленницы дров перекалывал, воду на коромысле бесщётно таскал

---

из-под горы с протоки, полы некрашенные голиком с дрсевой шеркал. Зимой в старой школе углы промерзали, из-под пола в завалины поддувало: помещение сколько уж лет не ремонтировали — ни в колхозе, ни в сельсовете на это не было денег. В самую стынь вода в щелях замерзала: горячей мыли полы, и то ледком схватывалась. Мать, моя классы и коридор, ноги всегда промачивала, кашляла с этого, по ночам ей в рёбра кололо — сквозь сон от боли всхлипывала. Болела она, да всё силилась, держалась, дел своих не бросала. Но хвороба всё ж таки мать доконала, свалила на топчан в угол. Жар воспалил её всю, на бледных худых щеках яркими пятнами выступил — Максим всё тряпье на неё сволок, а она металась, распластывалась в бреду, как семь лет назад в Пыжино, когда Егорку рожала.

С Больших Подъельников врач приехал, слушал её через трубку, дул в седые усы, в обветренные с мороза губы, с тётей Валерией переглядывался. Максим хорошо расслышал, как старый усатый доктор тёте Валерии мимоходом сказал, мол, не жилец баба — крупозное воспаление. Во всём районе лекарьств, мол, таких не найти, чтобы болезнь эту остановить.

Тётя Валерия приходила ночами дежурить к больной Ари-не. Жила теперь она при больнице одна со своим Котькой: муж её, дядя Коля, уехал служить в Германию, с собой не взял её, выходит, бросил. Степанида Марковна дом продала и с Сашенькой, младшим сыном, с жинкой его, училкой Тамарой Ваковной, умотнулась куда-то в город опять, где прежде жила.

Максим относился к тёте Валерии с прежней ласкою, помогал ей ходить за матерью. Всё делал, во всём её слушался, и плакал ночами беззвучно, тихо: чуял душой, что с матерью скоро они расстанутся.

Арина дышала со свистом, со всхлипом — часто, как воз везла. Всю-то её искорёжило, судорогой свело: слов от неё уже ни дети, никто не слышал. Она умирала тихо, со слабеющим хрипом, никого не звала, не манила, чтобы проститься, будто за всю её жизнь не было у неё ни единого человека близкого или родного...

После смерти была она синяя, с потонувшими глубоко глазами, с опавшим, словно беззубым, ртом.

Обмывала её бабка Ульяна: с молитвами, вздохами, обрядила опять её в то же, в чём мать умерла, только постиранное, починенное. Положили Арину в сосновый гроб с хрустящими стружками, накрыли старой холстиной. Понурый мохнатый конёк отвёз Арину на кладбище, и, пока гроб опускали в не-

---

глубокую яму, выбитую в промёрзлой земле ломанами, пока комья глины обваливали, стоял конёк смиренно в оглоблях, большую голову свесил к ногам, глаза зажмурил.

До весны жили Сараевы ребяташки с тётей Валерией. Максим четыре класса окончил, свидетельство получил, и были у него в том свидетельстве все пятёрки. Две-три фотокарточки с матери, акварельный портрет отца, когда он ещё в гражданскую воевал, и это свидетельство Максим уложил в серую папочку, перевязал ниткой суровой и спрятал в сохранившее место.

Егорка вытянулся большой, бегал по улице, расшибался, в босые ноги занозы всаживал, часто мальчишки лупили его ни за что ни про что. Максим не давал брата в обиду, но всё время следить за ним ему было некогда: приходилось на прожитьё промышлять. Егорке с осени в школу идти предстояло, Максим этому радовался, а сам Егорка, как только о школе при нём говорить начинали, носом хлюпал, мотал светленькой головёнкой — боялся школы, чудак.

Потом Сараевых ребяташек определили в детдом. Повезли их водой в Усть-Чижапку, на Васюган.

Катера, баржи, паузки, пароходы. В большом Каргаске на пристани грузчиков неторопливая беготня: носили они тюки на горбушах, ящики, кули с мукой, с солью, выбирались из трюмов — трапы шатались, скрипели. Складов по берегу длинный ряд, белёные доски ворот, замки на дверях складов, как гири, несметное множество дров — саженных, для пароходов. О причал волны обские бьются, на радужной зыби лодки качаются, ребяташки на заводах с удочками сидят — ершей ловят. Много домов высоких, в два этажа, тополя серым пухом пушат, воробьёв несусветная колготня. Над домами самолёты проносятся, низко, — белые цифры, как на ладошке, видно. Вот диво! Максим с Егоркой немеют: задерут головы, рты раскроют, да так и стоят.

Максим, когда узнал, что их в детдом отправляют, без конца думал об этом. У кого только можно было — у всех выспрашивал, что там да как. Говорили по-разному, а больше плохое: в детдом попал, считай, пропал — воровству научат, а на другое и не рассчитывай. Ну, одевают, кормят, в школе учат, конечно. Ничего, дескать, жить можно и там, не пропадать же... Максим всё это в мыслях держал, пока до Каргаска ехали. А тут самолёты да пароходы потеснили тревожные мыслишки: про детдом теперь как-то неясно думалось...

Катер с паузком медленно плыл вверх по чёрному Васюгану. На пристанях мошкара налетала, особенно к вечеру, а

---

ночью и в просмолённом трюме, среди ящиков и мешков, не было от неё спасения. Днём же, при солнце и встречном ветре, было прохладно, гнус отлетал, забивался в травы. Можно было во все глаза на дикие берега смотреть, птиц голосистых слушать, следить за утиными стаями, как они от плёса к плёсу перелетают, от песка к песку. В половодье река Васюган широкая, рыбная. По берегам местами сразу тайга непроглядная, зверь к водоёмам выходит. А где луговины чистые, там шалаши видно, старые балаганы покосников. Остяки попадались на обласках, загребали широкими лёгкими вёслами, изо рта трубки криво торчали, от дыма глаза узились.

На остяков Максиму любо было смотреть: на всю жизнь вошли ему в душу Анфим, Пантиска, бабка Варвара, чумоватая и всё ж таки добрая тётка Катя — всё Пыжино в сердце, с его обласками, сетями, собаками, с баньками, кривобокими «юртами», с весёлым кладбищем в кедрачах.

Белобородый шкипер на паузке, молчун-кудесник, заговорил вдруг с Максимом неторопливо, приятно, советов полно надавал, и всё хороших. И про детдом слов весёлых много нашёл, сказал, что теперь в детдоме директором снова Иглицын Пал Палыч, тот, что был до войны. Узнать его свежему человеку совсем нетрудно: чёрный, кудрявый, в очках, на ногу скорый — словом, приметный мужчина.

— Знаком мне Иглицын, знаком, — словоохотничал бородач-шкипер, подавая скрипучий руль то вправо, то влево. — Глаза на фронте ему подыспортили... Раньше крепко медведя бил, Иглицын-то. И один на один, и в компании. Я с ним по тайгам, по урманам хаживал.

— И тоже медведя били? — спросил Максим: про охоту ему никогда не было скучно слушать.

Но шкипер об этом разговор не повёл дальше. Проплывали мимо каких-то построек на берегу, где в кедрачах свиньи копались, коровы паслись на лужке. Сенкосилка, конные грабли стояли под крытым навесом, росла конопля на бугре.

— Гляди, — показал шкипер, — Успенка это. Тут ваши детдомовцы харч себе зарабатывают, подсобничают. Хозяйство получше колхозного, на крепких ногах. Скот не малый содержат, картошку, овощ растят... Делами полезными занимаются. Ты как, от работы в крапиву не бегаешь?

Максим отвернулся от шкипера: хотел чуть-чуть о себе ему рассказать, но тут передумал.

«Чем удивил — работой! Лишь бы учили, кормили. А без работы вроде и жизнь пуста».

---

К вечеру в изолятор пришла к Сараевым чернолицая женщина в белом халате, вынула трубку — грудь послушала, в рот заглянула, «а-аа» велела сказать, присесть заставляла, зажмуриваться и руки перед собой вытягивать. Слух, зрение проверила, записала что-то на двух бумажках — ушла.

Поздно принесли ужин две девочки, поставили чашки на тумбочку, подождали в ограде, пока новенькие весь суп не выхлебали, переглянулись, хохотнули озоровато и, посуду собрав, в двери бегом.

Больше ребят до самой глубокой ночи никто не тревожил.

Но в полночь Максим услышал, как спросонья заплакал и закричал Егорка. Впервые в жизни спали они на разных кроватях: так им велено было. Максим сбросил с ног одеяло, к братишке волчком подскочил: тот весь дрожал, постель у него была мокрой, холодной.

— Ты что, опрудился, да? У-уу...

За окном вдруг кто-то подавился злым смехом, зашуршала земля на завалине. Одна стеклина в окне была выставлена, и Максим, озлобясь, просунул за окошко. И тут же в лицо ему плескнули чем-то дурным и солёным. Выдернув голову из отверстия, схватившись за ухо, ободранное о гвоздик, он заругался последними матерными словами... На улицу выскочил он с табуреткой в руке, в темноту.

— Черепок разобью, гады!

Кто-то всё с тем же злым хохотом убежал по невидимой улице.

— Сдыгали! Сдыгали! — кричал он охрипло им вслед.

Было грустно ему, неутешно, и немного смешно...

## 2

Один изолятор стоял на отшибе, а все остальные детдомовские постройки кучно сбились на плоском утоптанном возвышении, возле густого тёмного ельника. Ельник этот остался живым островком от тайги, которую вырубил поселенцы ещё в тридцатом году. По одну сторону ельника была больница с амбулаторией и приёмным покоем, по другую — широкий детдомовский двор, обнесённый штакетником. Тяжело поднимался над васюганской кручей главный корпус — с балконами, лестницами, большим крыльцом. Два этажа были густо уставлены окнами, над крышей множество

---

красных труб. Такого высокого здания Максим с Егоркой и в Каргаске не видали. От главного корпуса по углам двора разбегались постройки поменьше: малышовский корпус, где дошколята жили, столовая, овощехранилище рядом с поленищами дров и штабелями леса.

На дворе журавлём торчал столб-исполин с колесом наверху, с верёвками, на которых ребята вприпрыжку бегали, крутились, как привязанные козлята; высокие деревянные качели вымахивали со смельчаками в самое небо; с грохотом разлетались «пулемёты» и «пушки» на городошных площадках; тут же, поодаль, играли в лапту, в чехарду и просто барахтались. Необъятно широкий двор кишел мальчишками и девчонками, большими и маленькими: рябило в глазах от скопища детворы, глушило уши от множества голосов.

С радостью и тревогой вступили Сараевы ребятишки на детдомовский двор.

Новеньких сразу же окружили, разглядывали со всех сторон, пихались, толкались — только на ощупь не пробовали. Егорку забрали в малышовскую группу, Егорка должен был в школу нынче пойти, а Максим попал к Вассе Донатовне. Когда повела Егорку худая костлявая воспитательница, женщина с неприятным лицом и жёстким взглядом, Максим вытянулся, провожая глазами братишку: думал, Егорка заплачет, рваться начнёт, но тот семенил покорно и даже не оглянулся.

А чужие ребячьи глаза ощупывали, оценивали Максима: галдеть перестали, так уж им любопытно было. Максим уже знал от Вассы Донатовны, что в детдоме живёт сто пятьдесят человек, больше всё русские, но есть украинцы, немцы, цыгане, остяки и разный другой народ. Понавезли их сюда «со всех концов света белого», как тётя Настенька говорила, повариха детдомовская.

К Максиму вплоть придвинулся рослый жилистый остячонок, смуглый, скуластенький, черноглазый, в белой выглаженной рубашке, в брюках со стрелками. Жёсткие волосы стрижены коротко, чубчик набок зачёсан, вздёрнутый нос круглыми ноздрями в Максима уставился, а глаза — азиатские, хитрые — с головы до ног новичка меряют. «Вороватый, на Пантиску Анфимова ничуть не похож... Драться, что ли, он хочет?» Попритихли мальчишки, ожидают чего-то. Остячонок покрутил носом, подёргал губами, спросил:

— Стрелять — стрелял?

— Ну, было дело...

— Из двустволки?

— Не... Бердана была в Пыжино у одной.

---

— А я бью из двустволки с подбегом.

Остячонок кисло сморщился, с храпом набрал носом воздух, закинул голову, да как на Максима сморкнёт. Максим отскочил под хохот мальчишек, весь загорелся жаром.

— Ну, ты, сморкач сопливый!

— А ты не тычь, я тебе не Иван Кузьмич!

Максим остячонка за белый воротничок поймал, да остячонок от него вывернулся, отступил на шаг.

— При воспетках в ограде мы не дерёмся. Хочешь — давай поборемся?

Максим свалил остячонка с ног, придавил его грудью, но тот извивался, брыкал ногами, выпучивался. Вокруг на разные голоса орала, чтобы Максим не соскакивал: неважно, что остячонок внизу, он вёрткий, он вывернется. Максиму противника было нетрудно держать, он чувствовал, что сильнее его, и что захочет — не выпустит.

— Гошка, вылези, вылези! Гошка, салагу ему загни! — вопило азартное пацанье.

Жилистый Гошка возился-возился, елозил-елозил спиной по траве, да напрасно: Максим его так и не выпускал. Они бы, наверно, и дальше крутились на пяточке, на мягкой зелёной травке, если бы Гошка не сдался.

— Пусти, — оттолкнул он Максима.

Поднялся надутый, содрал запачканную рубаху, бросил сердито белобрысому тощенькому мальчишке.

— Постирай в бочке, Цыля. Посуши на заборе.

Максим отпыхивался, заправлял под ремень серую рубашонку, потирал локти, ободранные о землю, поглядывал хмуро на ребяташек и замечал: уже не так на него смотрят, как давеча, — хорошо смотрят.

— Гошкой меня зовут, Гошкой Очангиным. — Остячонок погладил себя по голому пузу и нос утёр кулаком.

— Слышал небось, уж знаю...

— А ты мировецки борешься. — Гошка зубы белые показал, толкнул понарошку Максима в нахмуренный лоб. — Будем дружить, идёт? По первому снегу белок пойдём стрелять: белки у нас вона где, за корчёвками сразу. Ружьё мне директор даёт. Я в детдоме живу с пяти лет, а так мне скоро пятнадцать... Айда, покажу тебе свою койку.

Они прошли по всем комнатам нижнего этажа, и в ленинский уголок заглянули, где длинный-предлинный стол стоял под красным сукном, бюст Ленина на подставке, а на стенах картины висели. Клеем, красками пахло, толчёным мелом, извёсткой свежей, газетами. В этой тихой прохладной ком-



---

нате, не похожей ни на какие другие, хотелось Максиму ещё побыть, но Гошка тащил его дальше по нижнему этажу. Максим было рванулся по лестнице на второй этаж, но остячонок остановил его за руку, сказал, что там одни девчонки живут и делать у них нечего.

Гошка два пальца в рот заложил и свистнул. На свист его сбежались мальчишки, столпились, поглядывали на Гошку, ждали, зачем он позвал их.

По очереди стукая каждого кулаком по горбушке, Очангин стал называть Максиму ребят.

— Ванька Мельник, Цыля по прозвищу. Башка! Учитя лучше всех, но по ночам на постель дует... Лечат, да куда ни фигушки не помогает. Зато Цыля по кедром, как бурундук, лазает. Ловкач! Вот шишкой начнётся — ты поглядишь на него.

Белобрысый мальчишка, тот, кому Гошка рубаху бросал, стыдливо моргал белыми, рябенькими ресницами, слабо краснел худыми щеками, губы покусывал.

— Шурка Тяпин — Дюхарь, — продолжал Гошка. — В школу его, как и меня, силком гонят. Зимой капканами сорок на помойке ловит! Жрёт помногу, потому и толстый такой. Поварихин лизунчик. Лысый — это у него лишаи были. Лишаи ему в Каргаске электричеством выводили, вот волосы и повылезли.

— Отрастёт щетина! — Шурка Тяпин подобрал соплю, провёл ладошкой по зеленоватому цыплячьему пушку на темени.

— А это Корова — Володька Сердитов. Девчонки его обижают — такой тихоня. Но он у нас змей ловит — ни капельки не боится! Со змей шкуры снимает — красивые! Шкуры змеиные мы на ремни надеваем, а после в классе девчонкам из-под парты показываем. Визгу бывает!

— Я больше вам змей не буду ловить, — сказал низенький круглый Сердитов. — А то меня из-за вас из школы исключат.

— Ладно, Корова! — Гошка поймал клочок волос на Володькиной голове, дёрнул несильно. — Сам знаешь: детдомовцев из школы не выгоняют, им в ремеслу дорожка!

— Я туда не пойду. Закончу школу — и в институт, на математика. Говорят, я способный... — Володька что-то ещё прошептал пухленькими губами, но последних слов было не разобрать.

— На математика! — передразнил Гошка и задумался. — А тоже — башка! — кивнул на Сердитова. — В седьмой пойдёт. А я в четвёртом на второй год остался.

«Фигура-дура, — подумал о Гошке Максим насмешливо. — А ещё командует тут...»

---

— Эй, ты! Куда ушмыгнул, Котях? — крикнул Гошка и оглянулся. Нехотя, боком, высунулся из туалетной коротышка, косоглазый, с большой, круглой, как шар, головой, стриженной наголо, с оттопыренными ушами — губатый, злоглазый. Узенький лобик его морщился, серые брови двигались над вмятиной переносья. Кожа на лице была дряблой, бескровной, будто с налётом зеленоватой плесени.

— Н-ну что? — Котях злым карликом стал перед Гошкой. — С Рыжим хочешь меня познакомить? Да я с ним уже виделся... Не ручкался, а так... — Ехидство мелькнуло в его глазах.

«Гад! Так вот кто в ту первую ночь облил Егорку мочой! Полезет ещё — припомню», — успокоил себя Максим.

— Опять кошкам хвосты отрубает? — приступил к Котяху остячонок.

— Обзарился! Курить в клозет бегал.

— Я не курю, а он курит! — качнулся Очангин и стукнул себя в грудь кулаком. — С шести лет охнарики собирает. Ты думаешь, сколько ему? Тринадцать. Во, падла! Совсем зачах. Врачиха сказывала, что у него от табака рост прекратился. Зелёный! За то и стали звать Котяхом. Зелёный и маленький. Убей, а курить его не отучишь. Воспетки пробовали, директор... А! Карликом так и останется, Котяхом.

— Не ты, и ладно, — окрысился коротышка. — Твоё-то чо брюхо болит?

— Не мыркой, сямка! — пристрожился на него Гошка. — Ещё за собак, за кошек тебе влетит. От меня, понял? Над животными больше не изголяйся. За них я тебе — во! — Гошка подставил ему кулак к носу. Котях попятился, остро скопился и цвиркнул сквозь зубы в сторону.

«Злодеем растёт, — раздумывал тяжело Максим над рассказами Гошки о Котяховых проделках. — Кошке хвост отрубил, в собаку ножом кинул, когда она кость на помойке глодала... Изверг какой-то. А сам по себе — сморчок, соплей перешибить можно...»

Таких поганных людишек Максим ещё не встречал.

Гошке, видно, уже надоело знакомить Максима с ребятами, и он махнул рукой на всю «кодлу», а Максима повёл округу показывать.

Посёлок когда-то стоял на берегу Васюгана, в устье речки Чижапки, той самой, где в годы войны дядя Андрон с трудармейцами готовил в березняках болванку ружейную. Максим вспоминал об этом частенько, пока они плыли по Васюгану на просмолённом паузке. Стояла Чижапка когда-то у самого устья, да чёрному Васюгану вздумалось повернуть в сторо-

---

ну. Прорыл, прокопал он в лугах себе новое русло — оставил большую низину с озёрами, кочками, косматой осокой, оставил и старое своё русло — чвор по-нарымски, который почти кольцом огибаётся вокруг острова. Остров тоже большой, зелёный, густо запылённый кустарником и лесами. По небольшим островным озёрам летом держатся утки, дрозды по кустам гнездятся, разные птицы. Зимой на острове зайцы тропы прокладывают, косачи, камнями падая с голых берёз, спят там тревожными снами в сугробах. Шарятся днями-ночами лисы, и бродит-снует мелкое луговое зверьё — колонки, горностаи, ласки. На острове можно охотиться, но лучше нету охоты, чем за корчёвками — за полями, где раньше колхоз тайгу корчевал. Там, за полями сразу, на высоченных лиственницах белок можно стрелять. А ещё лучше — уйти за корчёвки подальше, к таёжным глухим озёрам, где водятся щуки небывалых размеров, сохатые ходят по поньям-болотам, на гривах, в кедровых борах, медведи берлоги себе облюбовывают. Гошка Очангин, остяк-подросток, многожды раз там бывал — с директором детского дома Иглицыным. Иглицын жить без охоты не может, уж Гошка-то знает. Одних медведей в урманах Иглицын убил пятнадцать. А косачам, глухарям счёту нет.

От этих рассказов Гошкиных у Максима душа замирала: вот красота, благодать! Рыбалка, охота, простор. Не хуже Шестого, Пыжина, Усть-Ям... Учиться он будет стараться, будет вести себя хорошо, и директор Иглицын, чёрный кудрявый мужчина в диагональных галифе, в круглых очках на носу, возьмёт его на охоту с Гошкой Очангиным...

А к детдому Максим привыкнет, чего особенного?

«Я уж и так привыкаю, и мне весело здесь».

В ельнике, возле детдома, только они вошли в него с Гошкой со стороны яра, на Максима набежал хлюпающий Егорка с расквашенной нижней губой и разбитым носом. В слезах, в крови, забрызганный высохшей грязью, он вздрагивал остреньким подбородком, поддёргивал серенькие штанишки. Видно, он уж давно так вот бегаёт по двору, ищет брата, защиту свою.

Максим подскочил, взял братишку за руку.

— Тебя кто? Или сам налетел? Сроду носишься, как чертёнок!

— Не сам — побили меня...

— Кочер это его, больше кому, — определённо сказал Гошка Очангин, поводя косо глазами. — Всех новеньких на испуг берёт. Ещё ты ему не попался...

— Где он? Пойдём — покажи.

---

Максим строго Гошке кивнул, а тот и шагу не сделал, и вообще торопиться не думал: то в землю глядел, то на небо морщился.

— Дратся с ним хочешь, с Кочером? — Глазами Гошка Максима кольнул, невольно, что ли, усмешечку выдавил: на острых скулах кожа припухла, рот распялился. — Вот чо, пока ты не лезь ему на глаза, он тебя — надо — сам найдёт. Тут Кочер над всеми «царь», понял? Малышня ему птюшки таскает... ну, пайки хлеба с маслом. Сам не съешь — ему отдай. Таскают по очереди... Он хлеб у тебя отобрал, а, Егорка?

— Хлебушка... ломтик... с маслицем. Я из столовой с хлебушком вышел, а он отобрал. Я заплакал, за ним побежал — он надавал мне в харю... Он тама-ка, за большим корпусом.

Осыка Кочер сидел под лестницей в холодке, а лестница на балкон вела. С виду ничего-то в нём страшного не было: в плечах не широк (у Максима, пожалуй, пошире), рукастый, правда, костистый, большого размера ботинки на лапах, голова яйцом, волосы — белые с грязью, нос перцем, глаза жёлтые, круглые. На нижней губе — короста, чёрная блямба. В маленький тонкогубый рот Кочер кидал из горсти горошины, давил их зубами с хрустом.

Максим, подойдя, ждал, когда сердце уймётся, перестанет прыгать в груди: не от страха, нет — обозлился он сильно; чем старше он становился, Максим, тем чаще из себя выходил, когда кто-нибудь обижал их с братом, делал что-то не так, обманывал. Иной раз в злости не помнил себя: таким мальчишки посельские его боялись...

Кочер высыпал в рот весь горох из горсти, открыл на Максима свои нахальные гляделки и, чавкая, бросил жёваные словечки:

— Пришёл, рыжая сучка? — Чав-чав-чав. — Узнать меня хочешь? — Чав-чав. Выплюнул две овсины под ноги Максиму — с горохом овсины попались.

— Хлеб... ни я, ни братишка давать тебе не намерены! — чеканно сказал Максим, чувствуя жар во всём теле. — И не сучись. Я тебя не боюсь, морда...

Тихо сказал, а тяжело вышло: как куль на весы бросил.

Гошка всхлипнул — вздох такой у него из нутра вырвался. Если бы Максим Сараев в эту минуту на Гошку глядел, то увидел бы, как у того глаза закрылись, зажмурились, уши страхом набухли. Но Максим взгляда горячего, смелого с Кочера не сводил.

Со ступеньки Кочер поднялся спокойно, сзади пыль со штанов отряхнул, покачался — колени размял. Оказался он

---

выше Максима на полголовы; теперь было видно, что лет ему больше — может, семнадцать все. Чёрный пушок под носом, спина горбылём, желваки на щеках отвердели. Широкий ремень с медной бляхой блестел начищенным якорем. Пошёл он, бесновато водя глазами, харкнул в горсть.

Шаг...

Максим приготовился, ногу отставил, чтобы — если ударит, толкнёт — на землю сразу не грохнуться, выстоять.

Ещё шаг...

Сердце Максима бухает молотом, низ живота искрой холодной простреливает, синева к щекам прилила.

Ещё два шага, ещё...

Уже не видать Максиму твёрдой кирпичной морды, слились в мутные водянистые пятна Кочеровы глаза, чует Максим на своих помертвелых щеках близкое стиснутое дыхание, чувствует запах жёваного гороха — сладковатый, крахмалистый — ни с чем не спутать его. Максим глаза сузил, сама собой назад голова подалась, покачнулась, но с места ноги не сдвинул.

— Ах, ты — мэ-гэ-рэ-дэ-кэ! Падла-сука! — скороговоркой выпалил Кочер. — Понял?

— Нет, — как бичом хлестанул Максим, чувствуя, что Кочер сейчас уже не ударит его — прошла, пронеслась та минута.

— После узнаешь. — Кочер блеснул жёлтыми рысьими глазами и красным остреньким языком, как жалом, лизнул чёрную блямбу-коросту на нижней губе.

— Не пугай — не боюсь: не таких видел, — расслабился, освободился от скованности Максим.

Хохотнув, мотая бодливо яйцом-головой, исподлобья нагло поглядывая, Оська Кочер отступил вбок, к Гошке: тот смирно-смирно стоял.

— Не-ее, — Оська острый красный язык между зубов проткнул, — не-ее, падла, таких, как я, ты ещё не видал.

«Не видал, — признался в душе Максим. — Это я сгоряча бухнул... Чёрт с ним. Всё же я показал, что не трушу его. Показал».

— За что ты побил малыша? — Максим вытер под носом Егорки сукровицу.

— Заткнись, пока под микитки не надавал! — цвиркнул сквозь зубы Кочер.

— Сам заткнись. Вот так... Тронешь ещё — попомни...

Звонко, раскатисто, на весь двор ударили в колокольчик, и голос дежурного прокричал, чтобы вторая смена строилась и шла в столовую.

---

— Ох, и жрать захотелось, — потянул петухом Гошка Очангин, а то всё молчал — в ссору боялся ввязываться. Максим уж не раз подумал о нём с презрением.

— Жрать! — рывкнул на него Кочер и оттянул Гошке по лбу такой шелобан, что у бедного остячонка глаза заслезились. — Обзавёлся рыжим кирюхой!

— А я чо? Я ничо, — забормотал Гошка.

Максим высморкался, для важности сплюнул и пошагал со всеми в столовку.

За столами сидели не смироно — бубнили, пищали, перекликались, стучали ложками по столешницам, кидались жёваными бумажками. Максим занял то место, которое утром ему показали, — близко к раздаточному окошку, откуда видно было дежурных по кухне девчонок и толстую, обхвата в три, повариху тётю Настеньку. Про неё утром Максим припевку от ребятишек слышал, смешную: «Ох, Настенька, распузастенька, дай нам супу, дай нам каши, мы тебе спасибо скажем!». Повариха была в широченной юбке со сборками и напоминала наседку. Максим подумал, что под такой юбкой могла бы укрыться орава ребят-дошколят. Тётя Настенька была в белом фартуке, поварском колпаке накрахмаленном, круглой полной луной выглядывала в окошко — подавала дежурным разносчикам миски со щами. Она увидела Максима и улыбнулась ему. Может, она и не ему улыбнулась, но Максиму от этого стало легче на душе, и он вздохнул.

Аппетит у него пропал, есть совсем не хотелось, даже ни капельки. И всё из-за этого подлого Оськи Кочера! Пацаньё перед ним лапки складывает, дрожит. Гошке вон как щелкнул по лбу, а тот хоть бы хны... Что же теперь будет? Кочер Максиму не простит, тут даже и думать нечего... Максим стал в какой-то забывчивости столы считать: насчитал он их двадцать семь, и за каждым сидело по четверо. Помножил в уме — сто восемь гавриков жадно ждали еды...

Высокая худобёдрая воспитательница, та, что уводила к себе в малышовскую группу Егорку, была сегодня дежурной в столовой. Она уже откормила одну смену, устала и была раздражённой, с потным лицом и нездоровой краснотой на впалых щеках. Что она была раздражённой, было видно по её маленьким утонувшим глазам, по губам, сжатым презрительно и сурово. Из кухни вышла она с большим тазом, в тазу горой наложены были «птюшки» — хлебные порции. Таз для неё был тяжёл, она несла его впереди себя, уперев краем в бедро. Молча и недовольно будто брала она хлеб длинными синеватыми пальцами и клала на стол перед каждым. Детдомовцы

---

принимали хлеб тотчас же, кто прятал кусок в карман, кто сразу откусывал — набивал полный рот хлебом, давился.

«Вот смешные какие! — подумал Максим, которому отчего-то вдруг стало весело. — Правда что, как мышата!»

К своей птюшке он не притронулся даже: ждал, когда щи принесут. А когда принесли — начал есть, не торопясь, с раздумьем, поглядывая изредка на примолкнувших ребяташек.

Оська Кочер сидел у окошка в дальнем углу от Максима, прилип к столешнице, локти раздвинул. Дежурный мальчишка первому притащил ему миску со щами и хлеба пайку под стол подал, да воспитательница потом, само собой. Издали Кочер каким-то сивым казался, сивым и подкопчённым. Ел он много — Максим поразился, сколько он много ел! Щей ему добавляли, а когда разносили второе — капусту тушёную с мясом, дежурный подсунул ему незаметно две порции лишних. И всё это он подмёл — ничего не оставил. Глаза его, кажется, так и не стали сытыми. Дёрнув щекой, подмигнув блатяцки, Оська дежурного подозвал и что-то шепнул ему на ухо.

«Сговариваются о чём-то... Ну и сговаривайтесь».

Максим свой обед съел почти через силу, почти не чувствуя вкуса и радости от еды. Столы пустели. Девчонки стаскивали посуду, вытирали клеёнки. Максим спасибо сказал, как все, вышел в настежь раскрытые двери, ждал, что Гошка или другой кто из знакомых ребят к нему подойдёт, но от него сторонились, не замечали вроде.

«Сдыгал, трусишка. А сам ещё первый в друзья навязывался... Нужон ты мне, раз так!»

Максим о Гошке Очангине думал, с обидой думал — даже глаза защипало...

### 3

Максим попросил у нянечки-латышки нитку с иголкой, взял в кастилянской лоскут чёрной материи, залез на чердак и нашёл на трусы кармашек сзади. В кармашке он спрятал ножик — немецкий складник с костяной ручкой. Эта мысль пришла к нему давеча, в то мгновение, когда на него наступал взбешённый Оська Кочер. «Спрятать подальше дяди-Андронов подарок, чтобы не выкрали, не отобрали. Пока не привыкну, не обживусь — никому ножик не покажу...»

Если так, по уму рассудить, то неплохо бы складник совсем затырить, в дупло где-нибудь положить или под полом, а то



---

бы отдать на время директору, воспитательнице Вассе Донатовне. Лучше бы Вассе Донатовне: она ничего, отнеслась к Максиму приветливо, расспрашивала его про жизнь их прежнюю. Нет, ножик он никому не отдаст и прятать далеко не будет: пусть он при нём останется. А вот старую папку, где свидетельство о начальной школе, отцов портрет акварельный, несколько фотографий материных — верно что — надо бы передать на хранение старшим. И как он не догадался раньше? Сейчас же пойти и сделать. Конечно же, вот человек!

Проворно и ловко он слез по крутой лестнице с чердака, спрыгнул с последних ступенек — в пятки остро кольнуло, потому что земля под балконом была, как камень, твёрдая. Две девчонки, лет по пятнадцати, с длинными толстыми косами, выскочили из-за угла, чуть не сбили Максима с ног, визгом, хохотом оглушили парнишку.

— Новичок, пошли на качелях качаться!

— Не хочу... после как-нибудь...

— У него от качелей головка кружится!

Засмеялись и передразнили.

«Зубоскалки».

Папку, перевязанную суровой ниткой, Максим утром прятал в прореху матраца, в самое изголовье. Ни одни глаза не видали, куда он прятал её: в спальню он папку пронёс под ремнём, под рубашкой. Максим пошарил: папка была на месте. Он было хотел её вынуть и сразу снести в воспитательскую, но по коридору сюда шагал кто-то. Максим отпрянул к окну, облокотился на подоконник и загляделся будто бы на извилистый Васюган вдаль, где на том берегу виднелась избушка не то пастухов, не то бакенщика.

— Максим...

Обернулся спокойно, чуть даже с важностью: Гошка Очангин, кособочась и усмехаясь загадочно и виновато, лупил на него свои чёрные, косо разрезанные глаза.

«Пришёл сказать, чтобы я меньше рыпался... Неужели и ты Кочеру птюшки таскаешь? А то, поди, нет! Кочер с тебя дерёт, а ты с тех, кто тебя послабее: с Котяха, с Цыли, с Коровы-Сердитова, с толстого Дюхаря. А те — с таких, как Егорка. Выходит, слабые, малые за всех отдуваются...» Но Максиму было приятно, что Гошка зашёл и что Гошка пристыжённый.

— Это за Васюганом какой домишко? — спросил беззаботно Сараев.

— За Васюганом-то?.. Так, карамушка рыбацкая. Там озеро близко: щук, окуней полно.

— Щук на жерлицу я раньше ловил, на дорожку.

---

— Максим... — нудно опять протянул Гошка.

— Ну что, забыл, как звать?

— Кочер там, на балконе. Нажрался, натрескался — на солнышке греется. После обеда он добрый: какой-нибудь кишкоед и тот «бычок» у него может выпросить. Он тихий, когда нажрётся...

— А кишкоеды — кто такие?

Гошка сморщился.

— А кто крошки, кожурки подбирает, тот и прозывается кишкоедом. Кишкоедам с кухни лишнюю порцию не приносят и птюшки у них отбирают.

— Значит, всякая мелочь пузатая, вроде моего глупыша Егорки?

— Да чо ты об этом взялся? Сходи, говорю, пока Кочерыжка добрый, сядь подойди, Расскажи ему, кто ты, откуда, где жил, что делать умеешь. Посмотришь, он тебе ничего...

— Да подь ты... в дырявый пим! — обругал Максим Гошку. — С каких это щей я пойду к нему? Что он мне, дядька родимый?

Гошка повесил голову и покривился, будто от боли зубной — отчаянно.

— А если ты к нему не пойдёшь... если не сходишь, он тебе жизни не даст. Я-то знаю! У него плётка-нагайка: как стебанёт, так кровь цыкнет. Из лука может стрельнуть... Одному он стрельнул в холку — стрела сломалась, а у стрелы наконечник был жостью обкручен. Тот пацан, которому Оська стрельнул, наконечник с мясом из себя вырвал. Кровищи было! А пожаловаться — не смей. Пожаловался — сексот. А сексота пришьют — тёмную делают ночью...

Грустно стало Максиму от Гошкиных слов: опустела душа, в голове тарарам, сердце подленько замирает — даже чувствуешь, где оно, сердце. Неприятно Максиму, нехорошо, но никто бы сейчас не заставил его пойти к Кочеру, разговор с ним позорный завязывать. Максим в себе искал таких слов, какие бы лучше всего дали Гошке понять, что он не боится Кочера и к Кочеру не пойдёт.

Но слова такие не приходили.

— Я друг тебе или портянка? — уже несдержанно, грубо выпалил Гошка.

— Портянка. — Глаза у Максима заискрились смехом. — Наверно, портянка...

Гошка потупился, отвернулся, от стыда, от обиды, что ли. А Максиму вдруг душу всю захлестнуло горячим, как кипяток.

---

— Ступай — иди, лижи ему задницу! Чего стоишь? Он хари вам разбивает, шелобаны отвешивает, птюшки за вас жрёт! А вы... вы...

Диковатый и красный, оттолкнул он с дороги Гошку и вышел из спальной комнаты на крыльцо...

Давно прозвенел отбой, давно спали ребята на койках справа и слева, а Максим всё пялил глаза в потолок, гнал от себя всякие думы. С час уж, наверно, как затихли шаги дежурного воспитателя: поднялся он на второй этаж в специальную комнату ночь коротать, не слышно больше его шагов в коридоре. Тишина-тишина. Но если прислушаться, то можно поймать внимательным ухом писк летучих мышей за окном: летают они над крутизной яра, мелькают серыми призраками, колышут тёплый летний застой воздуха. Безобразные, гадкие — смотреть-то противно на них, не то чтобы в руки брать... А Максима летучая мышь кусала, ещё прошлым летом, в Сосновке, когда ещё мать живая была. На чердаке кусала. Максим руку под перекладину сунул, искал в тайничке что-то, а там их было — целый клубок, скользких, холодных. Из книг потом Максим вычитал, что большая летучая мышь называется нетопырью. Даже слово само какое-то жутковатое...

Максим пододвинул скомканную ватную подушку повыше, скрестил под головой руки и так лежал, уперев подбородок в грудь, лежал и теперь глядел на стену, забрызганную чернилами. «Нетопырь, нетопырь... Кочер — нетопырь! Противная морда... Пацаны шестёрками возле него вертятся, что ни заставит, то и делают... И воспетки его не одёргивают, будто не замечают. Жрёт как боров. Девчонки мимо идут — матерком пустит. Задаётся, хвастуля, силу показывает. Да подавился он горохом, этот Оська Кочер, ещё думать о нём!»

Но не спалось Максиму, хоть ты убей, и думалось, думалось.

И всё-таки сон одолел его...

Приятные, добрые сны снились ему этой ночью. Снилось ему Сосновка, последнее жаркое лето в год смерти матери, забавы, картины одни других памятнее.

Вот он на самой вершине сенного зарода, на солнцепёке, глотает книгу за книгой. Книги дают ему в клубной библиотеке: в школьной он все давно прочитал. Выбирает он сам, и самые интересные: Жюля Верна, Уэллса, Майн Рида. За книгами забывал про всё, не слышал ни ржания коней на колхозном дворе, ни скрипа плужных колёс неподалёку на поле, ни ругани баб на скотном дворе. После запойного чтения Мак-

---

сим ходил молчаливый, задумчивый, и мальчишкам бывало трудно втянуть его в беготню, шумные игры.

В то лето в соседнем Подъельнике нашли мужики клад под полом старого дома — купец там когда-то жил. Откопали под балкой ведро монет — медных, серебряных, золотых. Золотых и серебряных было немного, и мальчишкам их даже не показали, зато медяков мужики-плотники насыпали им по карману. Тяжеленные деньги оттягивали штаны, ходить и бегать с ними было неловко, и тогда монеты в мешочках стали таскать. Ярились в чику, в пристенок: Максим одно время тоже этим увлёкся. Для чики тяжёлые петровские, екатерининские медяки плохо годились: бьёшь, бьёшь, а монета на орла никак не хочет переворачиваться. Максим всё равно дополна наиграл старинных денег. Но потом их носить ему скучно стало, опять потянуло к книгам, и он вернул все выигрыши мальчишкам. А мальчишки уж тоже швырялись: «пекли» медяками «блины» на воде.

А после в Сосновку приехал длинный седой человек в круглой шляпе, из города Томска вроде, заполошно бегал по улице, от дома к дому — про клад выспрашивал. Оказалось, что деньги старинные он собирает и платит за них настоящими, новыми. Стаскали мальчишки ему всё, что у них от клада осталось, да осталось немного...

...Привиделись тут Максиму и рыбалки летние: как копали червей за мельницей, как заедала мошка на озере, как по утрам среди трав обдавало холодной росой, как застигала гроза среди чистого поля, как синие плети молний хлестали мокрую землю, громы раскатывались, как плакса Егорка прятался с визгом в траву, а Максим, который тоже со страхом переживал грозу, утешал брата: «На озере щуки — жирные-жирные, а большие — с весло длиной...»

...И Максим улыбнулся во сне, забормотал что-то...

Кочер чуточку дверь приоткрыл, прислушался: все спят, никто не ворочается, не бормочет, не полуночничает. Ночь почти светлая, синеватая — хорошо различимы два ряда узких железных кроватей, тумбочки, а на них — где скомканные, где аккуратно сложенные — лежат ребячьи штаны и рубашки. Кочер дверь на себя потянул — заныли, запели расхлябанные, проржавленные шарниры, отозвалось в гулком, пустом коридоре. И было у Кочера чувство такое, что напрасно он это всё затевает, напрасно...

В одном конце коридора сонно светила подвёрнутым фитилём лампа — высоко на гвозде висела, жёлтое масляное пятно с копотью отражалось на облупленном потолке. Дру-

---

гим своим краем коридор упирался в умывальник и водогрейку, где печь стояла большая и преогромный бак. Сюда по ночам детдомовцы прибегали курить, пускали дым в поддувало со зверской тягой или в оконную форточку.

Кочер здесь только что отвёл очередь, пожевал мяту и выплевался: после курева он обязательно или мяту жевал, или зубок чеснока; чеснок больше всего ему нравился: и вонь табака отшибало сразу, и воспетки не придирались — не заставляли морду им подставлять и дышать в лицо... Оська дверь растворил, переждал и, губы вывернув, свистнул в полсвиста.

Паучьей походкой выкатился из водогрейки Котях: большая голова качалась на тонкой шее. Он прокашлялся от табачного дыма: поперхал, как овца от сенной трухи. Котях сам вызвался быть сегодня «шестёркой» у Кочера, пособничать. Против этого Оська ничего не имел, но всё-таки шелобан Котяху отвесил, прибавил коленом под зад, и сказал: «Не спи — в полночь у Рыжего шмон провернём. Вата, бумага, спички чтоб при тебе были: на первый случай прокатим новенького на велике...». И тогда, ещё днём, уже было у Кочера это нехорошее чувство: не затевать ничего, не затевать...

Эх, так уж нынче светло и тихо! Потемней бы, да с ветром, с ненастьем, когда шлёпает дождь по размоченной глине и вершины гудят за корпусом в ельнике. В такую ночь самое время шмон проводить: кто услышит, учует?

Во всех спальнях стояли большие столы с табуретками: за эти столы ребятишки с осени до весны усаживались готовить уроки, читать, собирались на разговоры, беседы, поиграть в шахматы. За столами вспыхивали и драки: кто-то толкнул кого-то, размазал в тетради — вот и причина поссориться, на кулачках схватиться, сыр-бор поднять.

Сейчас на табуретку к столу сел Оська Кочер — спина горбылём, руки в боки, голова неподвижная, сморщиваясь, на Максима глядит. Крысой Котях нырнул к Максимовой тумбочке, взял неслышно штаны, вывернул оба кармана, показал Кочеру: пусто. Кочер нижней губой пакостно дёрнул, встал с табуретки, толкнул Котяха в шею — легонько толкнул, рукав нижней белой рубахи выше локтя закатил, сунул руку в Максимово изголовье. Шарил, нащупывал — в прорехе матраса папку нашёл. Ловкие руки были у Кочера, воровские: папку тихонько он вытянул, даже не потревожил Максима. Фыркнул чуть слышно, так-сяк перекинул папку в руках. Ха, привезли им в детдом смехотворину! Другой бы что доброе спрятал — шмутки какие, брошки, колеч-

---

ки — что после смерти родителей остаётся, а этот Рыжий бумажки в матрасе затырил! Кочер суровую нитку зубами разгрыз, на стол из папки всё вытряхнул, перебрал фотокарточки — под ноги бросил, свидетельство долго рассматривал: из окна так подсвечивало, что Оська все до одной пятёрки в свидетельстве разглядел. Губы его передёрнулись в нехорошей улыбке, он плюнул смачно на палец и провёл им по столбику выставленных аккуратно отметок. Пятёрки размазались, посинели. Кочер ещё поплевал на палец и стёр их на нет. И свидетельство, скомканное, испоганенное, полетело под стол. Котях только водил пустыми глазами, перекидывал взгляд с Кочера на Максима, который всё так же спал беспробудно.

— Эй, — поманил Котяха Кочер. — Зришь?

— Ага...

— Портрет называется, дура. Красками нарисован, какие водой разводят.

— Дяхан какой-то с усами...

— Кто же больше — отец Рыжего... Бравый к-кавалерист!

— Оставишь?

— Оставлю? Эх, дура. Тут-то ему я пёрышко в это самое место и вставлю... Сучка! — оскалился Кочер, задёргался, выгнул горбато спину-хребтину: давешнюю приутихшую злость в себе разжигал. — Не успел опериться, гад, а уж бочку на Кочера катит! — шипел и ярился Оська. — Пёрышко, пёрышко! — Он заметался очумелыми глазами по столу, увидел на углу чернильницу с ручкой — схватил. Перо обмакнул с клёкотом, вырвал, разбрызгивая по столу кляксы, и чернильным пером, «лягушкой», проковырял Егорше Сараеву, Максиму батянке, глаза... И сам испугался того, что сотворил в безумстве. Но ничего уже было нельзя поправить.

— Чо будет теперь, — трусливо сжался Котях и отступил, чтобы Кочер не залепил ему «за испуг».

— Куда, стой! Вату, бумагу давай... Спички! — Оська нагнулся над спящим Максимом, свесил голову, выпучился, зашипел: — Видел таких, говоришь? Не-ет уж, фигушки-хренушки...

— Скорее, услышит, — сказал коротышка Котях.

— Спит, как пропастина. Давай...

Кочер сам скрутил две «козьи ножки», туго набил их ватой, откинул с Максимовых ног одеяло и тихо-тихо, как только он один мог, засунул Максиму меж пальцев по «козьей ножке», вату поджёг. Задымилась, зашаяла вата — Кочер прижал Котяха к полу и сам присел за головку кровати...

---

Едкий до слёз, горький до кашля дым расползлся по спальне. От злорадного удовольствия Оську, наверно, распирало всего: он то вскакивал, то приседал к полу. Максимовы ноги лежали пока без движения...

Э, это что ещё — семечки! Мог бы Оська похлестче вытворить штучку. Вот той же ватой бумажную трубку набить да поджечь, а потом дым из трубки в ноздрию спящему дунуть. Что тут бывает — умора! Спящий чуть не насмерть дымом едучим захлёбывается. Кашлем зайдётся — жуть: катается, мучается, глаза чуть кровью не брызжут. Глядеть на это — кишки порвёшь... Слышал Кочер — передавали ему, что Цыля будто бы так об этом сказал: «Ватным дымом можно гадюк травить». Хорошо Цыля сказал — Кочер долго смеялся.

Огонь золотой змейкой подползал к пальцам Максима. Наверно, в эту минуту ему перестали сниться весёлые сны — он помрачнел лицом, открыл страдальчески рот, заглатывал воздух — ненасытно и жадно, метался головой по подушке. Какое-то торопливое бормотание вырвалось у него из горла, он засучил, задёргал ногами, ударился косточкой о рубцеватый железный край койки и вдруг с пронзительным криком, сбросив с себя одеяло, свалился на пол. Вскочил, запрыгал на месте, как будто стоял на горящем кострище...

Спросонья расширенные глаза его были обезумевшие, чувоватые, но рвущая боль до волдырей обожжённых пальцев вмиг отрезвила его ото сна.

Кое-кто из мальчишек с постелей повскакивали, разбуженные криком Максима, его топотом по полу. Дым жалил глаза, драл ноздри, и те, кто проснулся, обо всём догадались сразу: уж не раз тут было такое, не раз налетал Кочер на новеньких — шмон проводить, на терпение испытывать. От обиды, от боли, а больше всего от страха и ожидающей их неизвестности новички плакали тихо, крепились, чтобы не разрыдаться, не «навести» дежурного воспитателя, а то не миновать ещё пущей беды. Оська Кочер такого никому не прощал: врагом тому становился на веки вечные, кто «наводил» на него воспитателей.

Глядят на Максима с кроватей, зыркают — затаились: новенький-то — ого! — не робкий, нюни не распустил, носом не швыркает, не просит прощения у Кочерыжки, не жмётся в угол от страха. Глаза выкатил, озирается — в себя приходит, соображает, что с ним такое случилось.

Заметил Кочера — понял, сообразил! Трусы поддёргнул, сжал кулаки, выскочил рысью к столу — рот покривило.



---

— Как вы спали, как вас мухи не обос..? — бесом вывильнул из-за кровати Оська, передёрнул губой, лизнул языком-жалом коросту.

— И-го-го-го! — заржал Котях за спиной Кочера. — Угольки снились или калёные камешки?

— Ах, сволота! Фашист! Ты вот как считаться вздумал? Ночью втихую на спящего? — Максим совладал, наконец, со своим языком, собрался с мыслями.

— Не пыли, рожа! — приблатнился Кочер и подошёл к нему. — Шмутъё куда подевал? Признавайся! На толчке продал? Зря. Я бы тебе за них плату дал: хоть золотом, хоть серебром... А это дерьмо с собой приволок? Отметочки, карточки, усача? Да с этим добром только под куст сходить — и то жёстко будет. Ха-ха-ха! Да ты не пяль на меня свои шарики-ролики! Жалко — лезь под стол, собирай! На, на! — Кочер за кромку стола держался и выпинывал длинной ногой фотокарточки, акварельный портрет Егорши Сараева, заляпанное, изгаженное свидетельство: ему было сладко от этого.

— А-аа, псина вонючая! Гад! — Вытянув руки, сжатые в кулаки, Максим камнем летел на Кочера.

От неожиданного удара Оська спиной опрокинулся на столешницу, стол повалился, сшибая с грохотом табуретки, и врезался в стену углом — штукатурка посыпалась. Падая, Кочер взбрыкнул ногами, как ножницами, съездил Максиму ботинком по челюсти — зубы чакнули, от прикуса язык онемел — солёную кровь Максим проглотил, но боли большой не почувствовал. На столе Кочер перекинулся со спины на живот, крутнулся юлой — ловкий же был! — оттолкнул себя, выбросил на середку пола; болячку он свёз на губе, густая чёрная капля скатилась на подбородок, глаза блестели от дыма и бешенства.

— Х-хо, х-хо, — сопел он с натугой, приступая шажками к Максиму, согнувшись ржавым гвоздём. — Мэ-гэ-рэ-дэ-кэ!

Это был Оськин клич, и ничего не сулил он хорошего...

Гошка Очангин с кровати за дракой зырил, слова не проронил: не положено было, смотри и не суйся. Но в душе Гошка Максиму шибко сочувствовал: новенький остячонку понравился непокорностью, тем, что на Кочера «бочку катит», сцепился с ним — зелёный от злости. Но только зряшно всё это, думает Гошка: где новичку, хоть он и ловкий, и сильный, где ему всё ж таки справиться с Кочером? Оська и старше, и кулаки набил; на калган возьмёт — зубы выбьёт. Он и приёмы разные знает — из городских небось, пять детприёмников прошёл, убегал сколько раз... Гошка загодя знает, чем дело

---

кончится. А кончится тем, что свалит Кочер Максима, собьёт с копылков — жилы из себя вытянет, а собьёт! — поддушит, раскровянит лицо, а потом новичка одеялом суконным накроют, и — бей подходи, пинай. А не пнёшь, в стороне отстояться захочешь — гляди, и с тобой то же будет. Эх, Максим, бляха-муха! Плохи твои дела.. Хоть бы на шум дежурный пришёл, да где! Спит в воспитательской на диване дежурный, не слышит: ветер шумит — как нарочно, поднялся откуда-то ветер.

В горле Максима першило от дыма и сухости, толстый распухший язык едва помещался во рту, в горячей, пылающей голове, казалось, не было ни одной ясной мысли. Таким отчаянно злобным Максим не помнит себя, да и не было в его полных четырнадцать лет такой людской жестокости к нему, чтобы вот так, вот так...

Максим не успел отшатнуться: два пальца, отставленные рогулькой, ударили стрелами по глазам. Боль отдалась в затылке, до пят пронзила всё тело, красной огненной пеленой застелила глаза — ничего не видать, лишь круги, круги — прыгают, катятся в воздухе, жалят, как осы.

— Дай поддыхало, и копец! — взвизгнул Котях.

— Котях, змеёныш! Шестёрка! — обложил его грозным окриком Гошка: не выдержала душа, не стерпела.

— Заткнись, — огрызнулся совсем обнаглевший Котях: кого ему с Кочером было бояться?

Подножкой, ударом в плечо головой, калганом, Оська сбил ослеплённого Максима на пол, содрал с чьей-то кровати суконное одеяло, набросил его, насел и пошёл поддавать слева и справа.

— Н-налетай — п-подешевело, р-расхватили — не б-берут! — тонко, по-шакалиному, заскулил Котях и тоже жидкими кулачками начал ширять под бока.

— Па... скуда! — сквозь хрип и стоны прорвался полузадущенный голос Максима.

И в самом деле — он задыхался, сердце его чуть не лопалось от надсады. Мысль, пронзающе острая, как игла, кольнула в виски: «Нож! Нож!.. Задуют! Смерть!». Он не расстёгивал, а сорвал нашитый кармашек с трусов, каким-то бездумным, но точным движением раскрыл складник, полоснул острым лезвием по одеялу — рука простёрлась наружу, ещё один взмах отчаянный — и лезвие, скрежетнув и споткнувшись о кости, вонзилось Кочеру в щёку...

Жуткий крик Оськи заложил уши Максиму. Максим вскопчил, выпутался из одеяла. В глазах всё ещё мельтешили круги,

---

но он, хотя и смутно, сквозь резь, пестроту оглядел спальню. Кочер, прижав обе ладони к щеке, согнувшись в поясе, жалко дрожал у косяка двери; по белой нижней рубашке темно струилась кровь, расплывалась по ткани, как чернила на промокашке. Было много, до страшного много крови: на руках, на стене, на полу. Максим до боли в пальцах сжимал костяную ручку, не двигался с места, моргал распяленными глазами, дышал открытым кровавым ртом. Нос и губы были разбиты, глаза ещё видели плохо...

Но он пошёл к столу — так просто пошёл. «Надвинусь на Кочера, побежит, или снова полезет?» Сейчас это важно было Максиму: пусть видят все, пусть знают. Он не отступит, нет! Чтобы никогда больше... Так с ножом в руке и подступал Максим к Кочеру. И Оська дрогнул, согнувшись, нырнул за опрокинутый стол, стал там, как за барьером.

— Вона! Пасть порвали, так сразу и хвост поджал! — соскочил Гошка Очангин с кровати. — Ребя, лупцуй его, какой он теперь «царь»! Всё припомним: как шмонался у нас по тумбочкам, как ватой душил! Сучил нас, а сам-то... Птюшки наши таскал, собака! Бей его, бей! Котяха не пускай, «шестёрку»!

Котяха давно уже след простыл. А Кочер Оська, окрысившись, заливая пол кровью, кинулся к двери. Никто ему не мешал удирать: Гошка Очангин только пугал его криком...

— Что у вас тут? Опять, безобразники, свару устроили? Да когда же конец этому будет!

По коридору бежала дежурная воспитательница.

#### 4

Максим медленно приходил в себя. Нож у него отобрали... Нет, он, кажется, сам протянул его на ладони, отдал без жаления, как простенькую вещицу, как что-то ненужное, не дорогое ему... Гошка бегал будить медичку. Высокая, тощая, явилась она на пороге с лампой в руке.

— Иосиф, Иосиф, говорила же я — не сносить тебе головы, — печально сказала она с порога. — А ты, новенький, видно, тоже хорош! Поножовщиной занимаешься? — Она строго остановилась перед Максимом.

— Я спал... Я никого не трогал, — с дрожью в голосе, в теле ответил Максим.

В медпункте посадили их вместе на холодную скамейку, скамейка была белой клеёнкой застелена. Максим сел как

---

сел, а Кочер от него отодвинулся; он так и не отнимал ладони от левой щеки.

— К свету поближе... Открой, — сказала ему медичка. — Щёку насквозь просадили, и дёсны поранены.

«Это нож ему по зубам скрежетнул, о кости споткнулся, — подумал Максим, как о чём-то далёком, его не касающемся, но вдруг так весь и сжался. — Что я наделал!.. Но разве я мог по-другому? Разве я мог поступить иначе?» И ему опять показалось, что он задыхается под плотным сукном одеяла, что смерть подступает и разрывает сердце...

— Зашивать буду — терпи. Чтобы не дёргался и не орал, — сурово сказала медичка. — У меня обезболить нечем... Поживи тут спокойно с таким народцем. Не то, так другое... Головорезы...

Максиму ожоги смазали, прижгли чем-то ссадины и вывели из медпункта.

В спальню вошёл — головы так и поднялись ему навстречу. Было немного прибрано: стол, табуретки стояли на месте, одеяло подняли, но пол лишь прикрыли газетой, и кровь проступила пятнами.

На кровати Максима папка лежала: всё собрали в неё и так же ниткой суровой перевязали.

— Максим, — робко и с преданностью окликнул его Гошка Очангин.

«Не буду я с ним разговаривать, ни с кем не буду!»

— Максим, слышь, а Кочер там что, придурком хохочет?

Не выдержал, не смолчал Сараев:

— Щёку иглой через край ему зашивают... Больно небось.

— А ты его не жалея, паскуду. Так и надо ему. Получил на орехи. Сколько он нам насолил — всего не вспомнить!

— И как я ножик поднял, не знаю... За это теперь мне...

— Будь спок! Как было всё, так и скажешь директору... А так бы Оська печёнки тебе отбил... Сильно досталось?

— Отстань... Мне язык больно, не хочу говорить...

Тошнота подкатилась к горлу Максима, тягучая вязущая слюна, как жёлчь, разлилась во рту. Горячая липкая слабость прильнула к телу. Соскочить и бежать на улицу — на ветер, на свежий воздух, отдышаться там. Но он не поднялся с постели — похватал воздух открытым ртом, потянулся, расслабил грудь — отлегло. Только внутри покалывало, болели бока, рвало обожжённые пальцы — знакомая боль, саднящая, как тогда в Пыжино, когда в бане его ошпарили. Давно ли было? Давно... Уехал отец — не вернулся, дядя Андрон погиб, мать умерла. Сколько случилось за это время. До чего ты кручё-

---

ная, жизнь! Всё-то в тебе неожиданно: хорошо загадаешь, а хорошо не всегда выходит. Или впрямь говорят, что загад не бывает богат?

Как легко было утром, просто, понятно всё. Бегал он с Гошкой полянами, тропками, у чвора по крутому берегу, по сельским улочкам-закоулочкам, перебегал по бонам на Кривошеинку: десяток домов в сосняках на белом яру. Усть-Чижапку, посёлок, со всех концов оглядел — так было радостно, сладко, о новой жизни мечталось — приятно, со смыслом думалось. Учиться хотелось, книги читать, узнавать новое. На охоту с директором собирался, может быть, на медведя даже. А теперь директор, Иглицын Пал Палыч, не то что там — видеть его не захочет. Нет, видеть его, Максима Сараева, обязательно все захотят: и директор, и воспитатели, и девчонки — те, что с ног его чуть не сбили, когда он с лестницы спрыгивал. Качаться ещё приглашали, язык показывали...

Как страшно, как плохо жизнь у него тут началась!

Призовёт директор, Иглицын Пал Палыч, стукнет об стол кулаком, осудит и выгонит. Егорку оставит, а его выгонит. Пошлют в трудовую колонию (есть ведь такие), из пионеров исключат, а он ещё в комсомольцы хотел вступать. По годам уже выходило ему идти в комсомольцы... Но теперь-то что думать об этом? А может, спросят его, поймут и простят? Должны же спросить, узнать, как всё было? Ну и что? Ну, спросят, узнают — и всё равно не простят... За нож разве прощают?

И берёг же он этот складник немецкий, хранил, от воров прятал. Знал бы дядя Андрон, покойник, для чего этот нож пригодится... Эх, да разве Максим сделал бы что плохое, если б его не стали терзать, душить, если бы Кочер Оська Егорку не трогал, папку не потрошил — последнюю память родителей?

Не поймёшь, что творится в душе Максима, какие чувства его будоражат, какие мысли в голову лезут. Всё больно стало: и душу и тело, виски разламывает, гудение в ушах — как рой шмелей вокруг носится. Не может Максим успокоиться — мучается, путается в мыслях, как в паутине, и так и этак прикидывает дальнейшую свою жизнь.

Но ясности нет...

Никогда он не был жестоким к людям, но теперь ему вспомнилось всё, что он делал плохого в жизни: кому досадил, насолил, кого обманул, над кем издевался (пускай и не очень, но издевался). Пташек зорил: дроздов, стрижей под яром. Сороки, вороны — эти не в счёт, хотя теперь Максим знает, что и сороки, вороны — птицы тоже полезные. Но этих

---

ему и сейчас не жалко, а маленьких пташек... Без счёту губили они их гнёзда с Пантиской, вытряхивали яички рябенькие, пёстренькие, голубенькие, кидали в рот под язык. Ругали за это их бабка Варвара, тётка Анна, Пантискина мать, ругали, но ведь не слушались — продолжали своё... Так, конечно, подумать — война была, голодно жили: там что бы ни съесть — лишь бы брюхо пустое набить... А так ли уж голодно жили? Рыба, картошка были, жмыхи привозили свиньям — льяные, подсолнечные. Небось Максиму известно теперь, что далеко-далеко отсюда, на западе, люди в войну не так бедовали, кору древесную ели, опилки к муке подмешивали. Это был голод, жестокий, как смерть. Максим такого не испытал, хотя тоже редко был сыт в те годы...

И потому за пташек с Пантиской им не прощается...

Любит, жалеет Максим братишку Егорку; нет для него роднее Егорки теперь никого на свете: две близкие души, два огонька. А ведь случалось — бывал Максим и к Егорке недобр. Егорка-то разве помнит что, зато старший брат проделки свои не забыл...

Маленькому Егорке, совсем ещё титешному, когда он в зыбке качался, Максим однажды чесноку жёваного в нос натолкал. Надоело ему водиться, слушать Егоркин базластый плач — вот Максим и додумался, дурья башка, жёванным чесноком брата унять. А тот как в неистовом рёве ротик открыл, так и зашёлся. Может, и смерть ему тут бы пришла, да мать подвернулась: как вырвет Егорку из зыбки, как потряхнёт — Егорка и вытолкнул крик, такой, что в ушах зазвенело. Максим от матери убежал на улицу, но после лупцовки не миновал. Исхлестала мать ему задницу голиком до крови, до синих рубцов, а потом сама над ним плакала, прижимала его к груди...

Вот до сих пор Максим не может понять, почему он тогда так обошёлся с Егоркой-младенчиком? От трудной жизни, наверно, оттого, что детство Максимово воровали, рано работать заставили...

И со свиньями он обращался худо... Когда они его из себя выводили, разве не бил он подсвинков палками? Да так, что у тех зады отнимались на короткое время. За это Максима мать почём зря ругала, Пылосов за уши драл, материл, если при нём это было. А Максим ещё больше потом на скотине отыгрывался. Одной свиноматке зловредной, которая всё от стада сбежать норовила, он ковш горячего жмыха в корыто плеснул. Такого горячего — ну кипятку прямо! Плеснул, да эту свинью препротивную подозвал: чух-чух-чух! Та, жадюга, с разлёту как сунет рыло в корыто, так и назад. Да с визгом

---

таким. Всадила длинное своё рыло в землю и полосу пропала шагов на десять. И после ещё металась как очумелая, а Максим, глядя, злорадствовал, похохатывал из кустов.

Последний год плохо Максим относился и к матери, обзывал в сердцах попрошайкой и нищенкой. Правда, мать заставляла его ходить попрошайничать, а ему было стыдно. И так за три года в Сосновке он каждый двор обошёл: на Пасху, на Рождество особенно. Молитв не читал, а просто спрашивал, кто что подать может; принимал и благодарил. Но чем старше Максим становился, тем сильнее росла в нём гордость. А мать не хотела с этим считаться, или не понимала его... Нет, у самой матери просто не было гордости, уважения к себе: она их давно потеряла. Жизнь скрутила, согнула мать в три погибели, да так и не выпрямила. В Сосновке она хоть немного и отошла душой — была не такой уж безропотной, тихой, как прежде в Пыжино, да времени ей не хватило совсем распрямиться... Смерть её быстро нашла: не успела Арина детей поднять, радость от жизни, счастье почувствовать.

И теперь ещё бедствуют люди, а уж третий послевоенный год — июнь сорок седьмого...

А в детдоме их кормят; не сказать, чтобы уж сладко, но и не плохо.

Можно было бы жить, можно...

Максим глаз не смыкал: до сна ли тут было? Уже посинели стены — надвигался рассвет. Все ребята угомонились после ночного побоища. Гошка даже посапывал: чёрная остяцкая голова торчала из-под рыжего одеяла.

«Эх, ты, заводила тоже! — сказал про себя Максим. — Прозвищ мальчишкам понадавал: Цыля, Корова, Дюхарь, Котях... А Котях — это уж гад всамделишный! Вот где вредная букарашка! Похуже Кочера...»

Максиму почудилось, будто он наступил на жабу или к змее прикоснулся. И удивился тому, что к Оське Кочеру у него меньше злости, чем к этому маленькому, мохнатенькому, зелёному человечку, который хвосты отрубает кошкам и тычет собак ножом, когда те на помойках мослы гложут.

«Букарашка, козявка... Бррр!»

Опять тошнота подступила, лоб осыпало потом, дышалось с трудом. Максим поднялся с кровати и, пересиливая боль обожжённых ног, выбежал на крыльцо, за угол. Прохлада утра не освежила, не помогла: рвота мучила его долго...

И первый раз за всю свою небольшую, нелёгкую жизнь он почувствовал, что может вот так вот лечь в сырую канаву и легко-легко умереть...



---

Медичка сама отвела Кочера в изолятор — была там комната для больных: попадали туда с чесоткой, с малярией, с разными воспалениями. Кочера боль корёжила, мучала, но он ни кричать, ни стонать не давал себе волю — терпел, как зверь, медичке это даже в удивление было. Дорогой он оставался, вздыхал утробно, и долго сплёвывал сгустки крови с тягучей слюной.

На кровать он упал нераздетым, но медичка ему говорить ничего не стала — с другой постели взяла одеяло ещё и накрыла. Смирный Оська лежал, шёлковый. В глазах слезины остановились, не выкатились: страшно Оське было заплакать при чужом человеке. Тогда совсем хоть сквозь землю проваливайся, со света себя сживай... И только медичка ушла, только дверь за нею захлопнулась — потекли Оськины слёзы сами собой. Захватил он подушку зубами, сгрёб на себе одеяло и застонал долгим, протяжным стоном, волчонком завыл...

Дождлся, дотячился — морду «пёрышком» пописали! Ух, Рыжий, мэ-гэ-рэ-дэ-кэ! Выходит, что ли, зуб об тебя Оська сломал? Выходит, опять Оська не Оська, а Морда Свинячья?.. Пять лет его так никто уж не называл, взгляда, слова его боялись. Думал — забылась Свинячья Морда, закопал её Оська в землю и кол осиновый вбил. Всё вернётся теперь, не видать ему век свободы. Истоптан, оплёван Оська, при всех опозорен. Ух, Рыжий, откуда ты взялся на Оськину голову? Знать бы, что «пёрышко» у тебя припрятано, «шило» своё бы за пазуху сунул, дурочку бы не стал валять. Есть у Оськи гранёный напильник, отточенный...

С малых лет жил Кочер у тётки в Гомеле. Тётка да он — и никого больше: ни тяти, ни мамы. Где они были у Оськи — кто знал? Тётка про это не сказывала. Злая была, как редька, Оськой она помыкала как только могла. А про тятю и маму ему знать хотелось... Хныканье Оськино ей надоело, сказала тётка: «Таких обормотов не сеют, не жнут — они сами наружу прут. Тебя мне сова принесла и в сени подкинула. Чёрт нашёл — мимо прошёл, а я вот взяла и мучаюсь». Посулил Оська тётке ни дна ни крыши и убежал от неё. Два года кружил колесом, где спросит, где уворует, где сам кто подаст. Ловили. Кто бил, а кто нет. Хоть так, хоть этак, а без милиции ни разу у Оськи не обходилось. А в милиции долго не чикались: бездомный, отца-матери нет, вот и ступай в детский приёмник. Оська туда пять раз попадал, но подолгу там не задерживался: в ловкий момент убегал. Житуха вольная ему нра-

---

вилась, а в детприёмниках выть хотелось: и скучно, и тесно, и старшие бьют, «служить» заставляют. Попадались воришки отменные; у них Оська «рукомеслу» учился. За это Оську неволили — стыдно вспомнить, всякие пакости понуждали делать. И делал: куда тут денешься? Оська лицом был неумытик какой-то: серый, землистый, грязноватые сивые волосы, глаза сжелта, беловекие. А ходил — голову вниз, смотрел исподлобья. И в одном детприёмнике кличку Оське пришили: Свинячья Морда. Позорная кличка, с ней его и в детдом привезли, в Усть-Чижапку, в тайгу, в берложье царство. Бежать отсюда было мудрено, да и война уже началась: не попрыгаешь.

Оська Кочер недолго оглядывался на новом месте: обчистил все ближние огороды, запасся горохом и огурцами, морковкой и репой — натаскал, что девать было некуда.

Раздольно Оське жилось: в то время детдом оголился — мужчин-воспитателей взяли на фронт, ушёл и директор, Пал Палыч Иглицын. При нём Усть-Чижапка на всю Томскую область славилась — дисциплиной, успехами. Порядок в детдоме держался на старших парнях и девочках, но с начала войны они все разъехались по военным заводам, на токарей, слесарей выучились. Остались младшие группы, да последними пароходами эвакуированных повезли — перепуганных, жалких худышек. Оська здесь был как щука в море... По детприёмникам он нахватался блатных словечек, на ягодицах какой-то ловкач выколол ему синей тушью кошку и мышку; ни у кого из мальчишек не было такой дивной наколки! Разденется Оська купаться, пройдёт этак кренделем по песочку, а кошка за мышкой шмыг-шмыг, шмыг-шмыг. То вперёд, то назад — потеха! А ещё Оська терпушки делал: полусгоревшую спичку воткнёт угольком в руку и подожжёт. Спичка горит, огонёк ниже, ниже, и вот уж запахло жареным мясом. И терпи, пока не погасла спичка. Себе он при всех только раз это сделал, а потом всех подряд заставлял.

Но Оськина слава сильнее всего на воровстве выросла: тут ему ровни и вовсе не было.

«Плохо лежал» будильник у нянечки-латышки — маленький, аккуратный будильник, стрелки ночью светились. Оська в кармане часики спрятал, но на уроке в школе они у него зазвонили. Засыпался Оська, завасарился, а этого он не терпел. Если поймали, то всё — плохо «увёл», работа дешёвая, копейки не стоит, знай на будущее.

Учился Кочер из рук вон плохо, хотя и понятлив был. По годам Оське давно бы семь классов пройти, а он всё в третьем

---

толкался. Но к училке своей относился с собачьей ласковостью: доску сотрёт, стул пододвинет, в глаза ей преданно смотрит. А за спиной у неё рожи корчил, кукиш показывал, воробьёв из-под парты пускал. Отвечать к доске позовут — он вдруг за печку спрячется, потом оттуда сверчком выглядывает, а классу — потешно...

Лежит сейчас Оська на изоляторской койке, корчится, стонет, и всё ему вспоминается, что было шесть лет назад. Училка Елена Ефимовна, жена детдомовского директора, стала перед глазами: молодая, красивая, терпеливая к Оське: не закричит, не прогонит. А уж Кочер-то ей досаждал, вопросами изводил её всякими. Бывало, Елена Ефимовна слушает, слушает, да и скажет:

«Ося, ты всякую ерунду не спрашивай».

Другой бы унялся, а он и не думает.

«Мне интересно...»

Козявку найдёт, цветочек какой сорвёт — тащит к училке своей, Елене Ефимовне.

«Это надо? Это на что-нибудь годно?»

И в «ласковые» такие минуты муторно, тяжело было с Оськой Елене Ефимовне: от назойливости его голова у взрослых болела.

До весны Елена Ефимовна не доучила свой класс: в отпуск ушла, рожать. Держалась она до последних недель, и школьники со стыдливой украдкой следили и ждали, что Елена Ефимовна вот-вот оставит их. Скажет, попрощается и оставит. Но вышло не так: на каком-то уроке ей сделалось плохо, и Оська Кочер бегал в учительскую на помощь звать. Увели её под руки, бледную, непохожую на себя; Оська вперёд забегал открывать двери — в классе и в коридоре. В коридоре, возле окошка, Оська остановился нахмуренный: печаль на него нашла незнакомая. Но это с ним длилось минуту. Он оттолкнулся руками от подоконника, задрал к потолку голову и на всю школу ошалело расхохотался... Попробуй пойми этого человечка.

Два дня прошло или три — Елена Ефимовна оклемалась, от колодца с неполными вёдрами шла: некому было ей помогать по дому. Оська откуда-то, как из засады, вывернулся, догнал вприпрыжку, ведёрки с водой попросил. Училка каким-то хорошим словом его похвалила. Оська сейчас и не вспомнит этого слова, забыл, но помнит, как было ему приятно тогда. Поставил он вёдра на травку возле калитки и завёл разговор, как взрослый. И разговор тот он не забыл, почти слово в слово в памяти держит.

---

«Вы почему нас бросили?» — спрашивает, глаза на раздутый живот косит.

«Не бросила... Это пока. Вас поучит другая», — отвечала ему Елена Ефимовна.

«А вы?»

«Я отдыхаю...»

«И нет совсем!»

«Ну, вот ещё...»

«А я знаю! Я знаю!»

«Тогда зачем же спрашиваешь?»

«А кто у вас будет, девочка или мальчик?»

«А тебе бы кого хотелось?»

«Мне хоть кого... Конечно, лучше бы пацана».

«Ну, если так, я тоже не против».

«А чо смеётесь?.. Учить его будете?»

«Буду...»

Оська поморщил лоб, выпятил губы, поскрёб подбородок — шут шутком, да ещё скособочился.

«Учите, учите... А он, может быть, вором будет, как я».

«Ося, какой же ты вор? Ты хулиганишка, мелкий проказник. Из тебя ещё такой человек вырастет... Плохо — нету Пал Палыча: дети его любили, любили, Ося...»

Оська подумал тогда, что Елена Ефимовна тут и заплачет по мужу, который где-то на фронте с немцами воевал, но она волю слезам не дала: платок к глазам поднесла, улыбнулась, а губы всё же немного вздрагивали. Оське никак не хотелось, чтобы училка его при нём тут плакала, и он ей сказал:

«Быстрее рожайте, а то тётя Настенька, повариха, вчерась меня спрашивает, скоро ли там ваша училка родит».

«И что ты ей?»

«А я ей отпел: ступай да сама спроси».

Посмеялась училка Елена Ефимовна, и Оська с ней посмеялся, и разошлись они всяк в свою сторону. И никто бы подумать не мог, что ночью Оська Кочер ползет к Иглицыным в дом.

Он ловко вынул стеклину в оконце кладовки, обшарил полки кругом, ничего не нашёл подходящего. В дом из кладовки пройти было просто, а Оська давно там приметил в углу большой сундук. Зуб у него горел на этот сундук: добра там, наверно, денег — невидимо. Как же добру не быть, когда муж у училки Елены Ефимовны до войны всем детдомом правил, сама она в школе работает — поди, накопили добра, напрятали. Оська к сундуку лисой крался, и плач услышал: Елена Ефимовна на кровати стонала под пологом, хлюпала, с боку на бок пере-

---

ворачивалась — кровать скрипела... Слышит она его или нет? И почему она плачет? Оська тогда поразмыслил: лучше уйти ему, на цыпочках, незаметно, а то напугает — какой-нибудь косоротик родится... Оська пятился-пятился к двери, да как громыхнёт пустым ведром... Училка Елена Ефимовна так закричала, будто резать её в три ножа стали. «На помощь!.. Павлуша!..» В ужасе или в бреде мужа она звала — Оська сразу додул. Пятки ему кололо, язык щипало от дрожи: такого страха с ним никогда не было. Вспомнилось ему тут, что тётя Настенька днём на кухне с воспеткой Агнейкой-Щучкой болтала про первые роды, что при первых родах и умереть можно... Про училку Елену Ефимовну говорили, вроде за неё страшно им было... Обалдел Оська: ему бы скорее бежать без оглядки к больнице, врачуху будить, а он вместо дверей да к кровати, к положу кинулся. «Вы погодите тут, я до врачихи мигом!» Уж после известно стало, что Елена Ефимовна с перепугу сознания лишилась. Но Оська врачуху оповестил, бегал за ней на край села, такой тарарам поднял, что врачиха в суете, в спешке о косяк головой стукнулась, и у неё был синяк под глазом.

К утру училка Елена Ефимовна родила сына...

Случай этот в посёлке узнали все, среди улицы бабы на Оську пальцем показывали, «повитухой» прозвали. Но эта кличка за Кочером не прижилась.

Худая слава, хорошая — Оське до этого мало дела, ему наплевать. Замашки свои воровские бросать он не собирался: без этого Оська и жизни себе представить не мог. Что ни день, бегут в детдом посельские бабы с причитаниями, жалобами: у одной кринка сметаны пропала — «оголодил детей, змеёныш!», у другой огурцы с парника «ободрал» — «...и зародышей, гад, паразит, не оставил!». Горох с колхозного поля Оська таскал полными кепками, на зиму, как крот, припрятывал. Поймать Оську никто ещё не поймал, а если не пойманный, то какой же ты вор? Поймай сначала, а потом и в глаза тычь, сволочи. А так — нахалку прёшь, пушку наводишь. Сколько Оську ни ругай, ни пуши — ему это трын-трава. Покрутятся бабы, полаются, да и уйдут со слезами. Воспетки их утешают, обещают, что выведают воришку, найдут и вернут уворованное, да бабы на это руками машут: хватит глаза замазывать, когда это в нынешний год людям пропащее возвернули? И пожалеют солдатки Иглицына: ушёл на фронт, оставил детдом, и пошла без него гнусь твориться. Нешто при нём было б такое? Он уж своих беспризорных в чести держал.

На Оську в детдоме братва с боязнью поглядывала, и Оська держал себя с ней год от году наглее. Тому шлепка, тому пин-

---

ка, с третьего птюшку за что-нибудь взыщет. Воспетки Оську «ломали», да опустили руки: не по силам им был такой.

С Кочером из ребят мало кто связывался. Пробовал было Гошка Очангин, да отступился: побили его, под кровать пинками загнали. Кочер «бандой» уже оброс: «шестёрка» вокруг него много вертелось. Но первым, «царём», Оська стал в сорок четвёртом, когда старуха одна в посёлке «скапустилась».

Ну, померла старуха — сухая, старая, жёлтая — и положили её в покойницкую: была такая пристройка к больнице. Везли туда её на телеге. За телегой детдомовцы от жадного любопытства стаями шли, спотыкались, пыль на дороге взмётывали. Оська Кочер заметил: под кофтой у мёртвой старухи красная грелка лежит. Ну, Оська тут же поспорил с Гошкой Очангиным, что он за пятнадцать птюшек стащит грелку с покойницы. «Резина-то — во! тягучая, на рогатки такой поискать». Очангин Гошка от этих Оськиных слов испугался даже: как же ночью, во тьме, к мёртвой старухе можно хоть пальцем одним притронуться? Старуха такая страшная — костыль костылём, в дугу. И Гошка поспорил на целых пятнадцать птюшек, на весь свой паёк полумесячный... А утром Оська сунул ему под нос красную грелку... И помнит Кочер, как остячонок тогда ему пайки таскал — по одной через день, отощал: и без того в войну не жирно кормили, баландой больше всего. Ешь каждый день — не наедаешься, а тут — последний кусок отдавай. Кочер требовал приносить ему проигрыш вовремя. Заездил Гошку, просто сказать, выжал соки из остячонка — отощал тот, синеть стал. Не выдержал остячонок, сел раз перед Кочером, положил худой подбородок на кулаки, уставился чёрными щелками.

«Ося, сколько птюшек я тебе ещё должен?»

«Забыл, морда? Восемь ещё, гони, не отлынивай!»

И Гошка Очангин заплакал тогда...

Заворочался Оська на вонючей изоляторской койке, сплюнуть сукровицу хотел, да распухшие губы не слушались — свело их больной, колючей немотой, не разомкнуть. Какие-то звуки ныли в ушах, оглушала, как ватой, тишина полутёмной комнаты. Гошкина рожа перед глазами мерещилась, свирепая, с круглой дырою рта. «Бей его! Бей!» Покоробило Оську, свёл он лопатки, приподнял плечи, горячие, потные кулаки прижал к шершавой стене. «Сука, остяк узкоглазый! Птюшками от меня откупался, а тоже сегодня хвост поднял! Ух...»

О воспетках Оська чаще всего с презрением думал, дешёвками их называл. Из всех воспеток одну только и признавал немного: Вассу Донатовну, новенькую, из Томска. Книжки она

---

читает — как воду пьёт, дружит с училкой Еленой Ефимовной. У Иглициных библиотека своя — вся стенка заставлена книгами. Васса Донатовна книжки у них берёт — толстые выбирает, пухлые — по себе. Только что она, Васса Донатовна, Кочеру? И Кочер — что ей? Он ей соли на хвост не насыпал, она ему тоже не больно-то жить мешала... В клубе в пьесках кривляется, толстых старух представляет да тётушек. За игру её взрослые хвалят, подолгу хлопают... Одна живёт Васса Донатовна, и замуж не собирается. Один фронтовик на протезе, сапожник, ухлёстывает за ней — всем известно. Сапожки ей подарил... Да что это Оська о ней раздумался? Что ему Васса Донатовна, что? Ласково с ним разговаривала, упрасивала, чтобы Оська хороший был, чтобы слушался? Не закричала ни разу, голоса на него не повысила? Ну, было. И что? Что теперь, Оське от этого сахаром сладким рассыпаться? Хвостом перед ней вертеть?

Ну, была до Иглицына тут директоршей Агнейка-Щучка. По двору идёт — изломается вся, говорить начнёт — выпендривается, как будто никто не знает, какая она. Знают, какая она, известно. Табак втихаря курит да малышню за космы дерёт... Теперь Агнейку-Щучку воспеткой перевели.

И никто её не боится...

Оська поджал к животу коленки, натянул одеяло и застыл от нового приступа жгучей, саднящей боли...

## 6

Длинный звон колокольчика, голоса, беготня — и мальчишки, девчонки всех возрастов и групп высыпали на чистый зелёный двор, стали строиться на зарядку. Из ленинской комнаты, где уже были распахнуты окна и двери, рвалась маршевая мелодия: за роялем сидел полулысый, полуседой Соломон Иванович Ролейдер. Соломона Ивановича привёз недавно Иглицын из города, «сосватал» старого пианиста, а то в детдоме рояль всю войну без пользы стоял. Отвернув щекастое, с красным носом, в прожилках, лицо, Ролейдер играл ребятам бравурно и очень прилежно, подсвистывал и подкашливал. А бодрый маленький физрук, немолодой, рыжеватый, тоже из новых, из городских, шёл взадпятаки перед строем, рукой взмахивал коротко:

— Становись, становись, гвардия! Р-равняйся!!

Новый физрук был офицером на фронте, а фамилия была у него Лихабаба. Мужикам усть-чизапским он в первый же



---

день долго рассказывал, как «штурмовал линию Маннергей-ма», как ранен был, как выносила его из огня юная девушка, и что после на ней он женился. Жена его, правда, была молода и очень красива, но какая-то очень уж тихая, чуть ли не робкая, не похожая вовсе на фронтовичку, на героиню. Держался с ней Лихабаба строго, в клуб одну не пускал, и Усть-Чижалка уже начала над детдомовским физруком понемногу посмеиваться. Директор Иглицын нашёл его где-то в Томске и удивил рассказами о васюганском приволье, о рыбалке, охоте, о кедровых урманах.

Ряды подтянулись, замерли, и начались под музыку маршировка, бег и ходьба, повороты, наклоны, прыжки: нестройно, вразброд, но Лихабаба и этим доволен был — за неделю многому не научишь.

Максим на зарядку выскочил тоже вместе со всеми, но босиком: обожжённые пальцы разбарабанило, и ботинки надеть он не смог. Утренняя роса щипала ожоги, но он старался глядеть на гибкого, стройного физрука, повторял за ним все движения.

У малышовского корпуса он увидел Егорку: братишка сбивался, не попадал в лад со всеми. В синеньких трусиках, в жёлтой маечке, длиннорукий и длинноногий, он казался издалека жиденькой хворостинкой.

«Вострохвост», — вспомнил Максим с улыбкой.

«Раз-два! Раз-два!» Осколками звонкого льда музыка рассыпается по зелёной росной ограде. «Раз-два!»

— Последний пробег по кругу — и расходиться. Заправить кровати, одеться, умыться, ждать своей очереди в столовую. По столовой сегодня дежурный я.

«Лихабаба — смешная фамилия. А мы Сараевы. Са-ра-е-вы».

Встревоженный голос остановил Максима:

— Новенький... Опять забыла твою фамилию... К директору.

— Здравствуйте, Васса Донатовна... Фамилия моя Сараев.

Колотнулось, подпрыгнуло сердце, пошёл за ней Максим по дорожке босыми ногами, как по стеклу. Дышала Васса Донатовна часто, отрывисто. «Наверное, только что ей сказали... Пришла на работу, и сразу сказали. Обрадовали! Я обрадовал...».

— А к директору босиком можно? — Максим подавился словами, глядел себе под ноги и чуть шевелил большими опухшими пальцами. И Васса Донатовна кинула взгляд на Максимовы ноги, остановилась: разлетелись крылато брови, побледнело лицо.

— Били?

---

— Били, но я не давался... И никому не дамся! Много их тут найдётся, таких...

— Ну-ну, успокойся, мы разберёмся... Только то, что ты сотворил, очень страшно. Такого у нас никогда не бывало.

«Много вы знаете. Не бывало! А стрелой с жестяным наколочником Кочер стрелял. А нагайкой дубасил...»

— Ножом по лицу... А если бы в сердце?

— Васса Донатовна, Васса Донатовна, а если меня задушить хотели? Если брата обидели? Отцу моему, герою, глаза на портрете выкопали?... — Обидные слёзы заволокли глаза, но он проморгался, переборол себя. — Я ещё никого понапрасну не тронул. Никогда. А ножиком... Сам не знаю, как вышло так...

— Вот так вот, не зная, и человека можно убить. — Голос Вассы Донатовны был тихий, дрожащий, не такой, каким она окликала его только что. И лицо её было другое: Максим в нём увидел сочувствие.

Он волновался, слёзы опять подступили.

— Кочер у вас издеватель, «царёк»! Всё спускают ему, боятся... Знать будет! А я прощения у вас попрошу. Я учиться хочу, работать. И слушаться буду. Я добрых людей всегда слушался.

— Хорошо, хорошо, пошли: Павел Павлович ждёт в кабинете.

Коврик, дорожка, стол у окна, графин с водой и чернильница. Высокий шкаф без стёкол, на шкафу треснутый глобус... Максим поздоровался робко, невнятно.

Человек за столом не сидел, а стоял. В сапогах, галифе, невысок ростом, но голова большая, кудрявая, как у негра, и чёрная. Очки на носу сидят с перекошиной, а глаза под очками угольные, глубокие, на Максима глядят внимательно, строго. И Максим от глаз этих взгляда не прячет. «Буду стоять, как стою, глядеть, как гляжу... Вилять хвостом — последнее дело», — вспомнились ему чьи-то слова.

— Так-так, — сказал Пал Палыч Иглицын и посторонился от света, чтобы Максима лучше рассматривать. Голова его была сильно назад откинута и чуть свалена набок, глаза чернотой своей обжигали Сараева. — Хорош субчик! Нечего сказать... — Иглицын в ладошку покашлял, но головы не склонил: стоял всё в той же позе. — Тебя, братец, к нам по ошибке прислали. Тебя надо было не в детский дом, а в трудовую колонию. Да, да, в трудовую колонию!

«Ну вот, ну вот, так я и думал». Максима стало опять тошнить, и голова у него закружилась.

— Поножовщина! Ты только себе представь. Стыд и срам!.. До войны у нас был здесь порядок, но после дела подыспор-

---

тились, правда. Пять мужчин-воспитателей не вернулись с войны, а они знали свою работу. — Голос его перешёл на ровный, задумчивый тон, и Максим понял, что это человек добрый, а что шумливый — так ему, видно, и положено таким быть. Да и как с Максимом ему ещё разговаривать? Весь детдом переполошил...

— За войну жизнь тут кругом одичала, а в детдоме пуще всего. Много дел завелось нехороших, а прежние наши воспитанники, мой дорогой, героями стали, ордена носят! — Иглицын к столу подсел, выдвинул ящик, задвинул: искал что-то или нервничал так. — Старшие нам должны помогать дисциплину налаживать, а старшие вон что выкручивают.. Откуда у тебя эта штучка? — Он незаметно откуда-то вытащил складник Максимов, держал его двумя пальцами, будто брезговал им.

Васса Донатовна на чёрном диване сидела, и на лице её тоже неловкость, досада выразились, когда директор ножик достал.

— Складник этот немецкий...

— Да вижу — знакомая вещь: такими ножами фашисты... — Иглицын не досказал своей мысли: увидел, как губы подростка дрогнули, как он засопел, задышал.

— Мне с фронта его привезли, подарили, — упрямо сказал Максим.

— Отец? — голосом мягким, спокойным спросила Васса Донатовна.

— Нет, чужой человек... но хороший.

«Сейчас скажут, что хороший бы не отдал ребёнку такую «игрушку», — подумал Максим. Но директор молчал, долго лоб потирал ладонью, смахнул невзначай очки, и они повисли у него на одной дужке на ухе. Он снял их, дыхнул на стёкла, но протереть забыл — отложил в сторону. Без очков глаза его были выпуклые, с большими увеличенными зрачками, беспомощные.

— Как было, мне всё рассказали, Максим, — сказал он ласково и сочувственно. — Мы сами тут виноваты: Кочера надо было трудоустроить этой весной.

— И осенью будет не поздно, — отозвалась Васса Донатовна и поправила волосы за ушами.

— Присаживайся: говорить будем долго. Говорить нам с тобой есть о чём...

Максим от директора вышел какой-то оглушённый. По коридору, вдоль стен, стояло много мальчишек, девчонок — вся смена вторая. Бормотали что-то чуть слышно.

---

«Обо мне судят... Гер-рой! Наполошил всех, как хорёк в курятнике. Иду босиком, и ножик за голяшкой... Как бы мне умудриться ботинки надеть? Да что, не напялить, уж попробовал...»

В спальне, когда он вошёл, были Гошка Очангин, Цыля, Дюхарь, Корова — все взбудораженные, распетушённые. Между стеной и печкой, в углу, нюнил Котях, глотал слёзы с соплями.

«Ну, так и надо ему, не жалко такому сопатку расквасить. Только я его трогать не буду — об сморчка ещё руки марать».

А Гошка манил Максима, показывал знаками, чтобы он тоже наподдавал Котяху, отыгрался на нём за всё. Максим брезгливо растянул губы, потряс головой.

Окружили мальчишки — шёлковые, в доску свои, смотрят такими глазами, будто Максим перед ними чудесник какой-то, избавитель от царства Кощея.

— Сильно попало? Ругали? — оговорился вполголоса Гошка.

— Не, по головке гладили, мешок леденцов посушили, а леденцы горькие — хина хиной.

Гошка открыл свою тумбочку, посопел, достал горбатую, полуйсохшую птюшку.

— Похрумкай возьми — сухарик.

— Сам ешь, не хоч. Скоро в столовку.

Отошёл Гошка с птюшкой, обиделся или нет — не поймёшь.

«Сидел бы и зырил с койки, и бил бы, если бы Кочеру я...»

Не мог так сразу Максим Гошке простить его трусость ночную.

## 7

Иглицын сказал:

— А знаете, Васса Донатовна, со временем из него выйдет добрый помощник. Но за ним доглядеть надо. И за Кочером тоже... Как у этого «льва», всё в порядке?

— Щёку зашили, лечат... А Сараеву я хочу выдать ботинки размером больше. Не ходить же ему босиком...

— Выдайте, выдайте, в чём же дело! И помяните после мои слова: быть ему паном на воеводстве.

— Кто его знает, в таких делах загадывать трудно, — уклонила Васса Донатовна.

---

— А вы не хитрите, — погрозил ей шутливо пальцем Иглицын. — Или я вас не вижу? Если вам этот малый понравился, то так и скажите... Эх, ребятня, ребятня! И горе, и радость с ними...

Вся жизнь такая была у Иглицына — заполошенная, беспокойная. До войны жилы тянул — работал, учился: в тридцать лет некогда было жениться, откладывал всё. А женился — пожить не успел: война нагрянула.

На фронт призвали чижапских не сразу, а только лишь в августе. Пришла телеграмма: катера ждать. Из посёлка брали тринадцать мужчин. Бабы навзрыд рыдали: число несчастливое, никто живым не вернётся. Иглицын детдом передал, дети его провожали с плачем, как родного отца, девчонки платочки дарили с обвязанными каёмками, к Васюгану на пристань толпой пришли, из ближнего леса ягод понатаскали — смородина поспевала как раз. Было в детдоме тогда человек пятьдесят, немного. На прощание он каждого обнял, поцеловал, и глубокое чувство тоски охватило его. Не думал, что так тяжело расставаться придётся...

На пристани катера ждали они три дня. Время это прошло незаметно, как одна длинная-длинная ночь, с костром на прибрежном песке, с надрывными песнями. В сельповском складе на базе дубовая бочка с пивом стояла, большая — на два с половиной центнера. Призывники уж над ней потешились: в три дня до дна осушили.

Пришёл катерок «пых-пых», чумазый, с облупленной краской, привёл за собой неводник смолёный, в неводнике сено настелено. Сели, поехали. Пока не зашли за остров, всё голоса бабьи им слышались — причитания, вопли. «Ленушка, Ленушка, — думал Иглицын о своей молодой жене. — Года вместе прожить не успели, и вот уж разлука».

В дороге по сёлам насобирали ещё мужиков; неводник густо забили, едва повернуться можно. Муч-Пар, Эзель-Чвор, Волков Бугор — тут много садилось мобилизованных, а дальше уж шли напроход, в нижние васюганские сёла не заходили: там были свои катера с неводниками и баржами.

Каргасокскую пристань Иглицын узнать не мог: на фронт отъезжающих сотни, провожающих тысячи. Высокий забор отгораживал пристань — склады за ним были, причал, дебаркадер. Когда пароход пришвартовался, загудел на всю Обь протяжно, толпа весь этот забор, как лёгкую щепку, снесла. Были придавленные, покалеченные: к плачу стоны прибавились.

На дощатом настиле цыган молодой плясал, чёрным вихрем носился — кудри растрёпаны, мокры, глаза и зубы бле-

---

стоят, ноги-руки мелькают в воздухе, присвистывает, прищёлкивает. А в стороне цыганка, подруга или жена, в голос ревет. Красивая, юная, стоит сапогами в грязи, обхватила руками молодой тополь, жмётся щекой к зеленоватой гладкой коре. Эта пара словно приворожила Иглицына: он долго не выходил из круга, молча стоял, поглощённо, а толпа азартно и пьяно кричала: «Ай да цыган! Ай да хлюст! Сбацай, сбацай! Жару поддай! Помирать, так с музыкой!». Скомандовали идти на посадку, загудели гудки прощальные, жалобно-тонкие, скребущие душу. Гармошка смолкла, цыган выпрямился пружиной, скинул со лба мокрые волосы. С воем рванулась к нему цыганка, забилась в руках у него, замерла... Дальше Иглицын не видел, а только голоса слышал: «Глянь-ка, какое дело — ведь умерла!» — «Кто умер? Где?» — «Отхлыньте назад — истопчете!» — «Вот как, паря, отдала богу душу цыганка!» — «Больная была или чего?» — «Сердце лопнуло...» — «Это бывает...» — «Ах, язви...»

Потом он видел цыгана — дикого, самого на себя не похожего. Он не кричал, но храпел, пена была на губах, глаза выкатывались, он порывался за борт, его держали за руки, за плечи, успокаивали.

Иглицын видел всё это как в полусне...

Пароход «Карл Маркс», бывший купеческий «Николай I», застлал горизонт дымом из двух своих красных труб, мелко дрожал от быстрого бега колёс, от свежей встречной волны — продвигался к крутому берегу, где уже засветились весёлые бакены в наступающей темноте.

Днём объявили, что в трюме каждому будет отпущено по полпуда копчёной стерлядки. Обь дарила фронтовикам последний прощальный подарок...

В Новосибирске встречали женщины, был митинг, и нарымцы давали клятву, что врага разобьют и добудут победу.

Не скоро и тяжело далась она, эта победа. Иглицын войну прошёл, как книгу большую прочёл — от корки до корки: с сентября сорок первого до мая сорок пятого. Да и после войны задержался: в госпитале.

Первый-то раз Иглицына ранило в дни ленинградской блокады, на Ладожском озере, когда эвакуировали детей. Опухшие люди от голода еле брели. Детей на руках выносили, везли на подводах, на машинах, на санках. Налёты немцев, обстрелы, бомбёжки. Люди глохли от взрывов. Ужаса этого ему никогда не забыть. Дети, дети... Что вынесли они там, что пережили! Оттуда их увозили в Сибирь, в детдома. Мороз, пурга, грохот и вой. На маленьких санках, закутанный в ватное оде-

---

яло, плакал мальчонка лет, может, пяти-шести. «Бабуля, бабуля!» — повторял он сквозь слёзы, и голос его захлёбывался в пурге. «Бабуля» лежала сереньким, скрюченным бугорком на снегу, неподвижная, мёртвая. Иглицын высвободил верёвку из окоченевших старушечьих рук, потащил санки навстречу машине: шла, надсаживаясь, по льду полуторка, полон кузов детей. Поднял он мальчонку, держит перед собой, поджидает машину, а сам ему, малому, как заговор, шепчет: «Увезут тебя к нам, на Васюган-речку, на чёрную-чёрную, тихую-тихую, добрую-добрую. Леса там кедровые, ягодные, птицы поют весёлые, люди живут хорошие... Не плачь, потерпи... Вот и машина остановилась, вот и садись, поезжай...».

В Чижапке потом он присматривался ко всем мальчишкам, которым годков по десять-одиннадцать было: искал того самого мальчишка. Из Ленинграда тут было четыре ребёнка. По годам подходили, а лицом ни один не был похож. Но, может, Иглицын забыл: сколько ещё потом детских лиц прошло перед ним! Не забыл бы он, нет... Просто попал тот мальчишка в другое место: Сибирь-то большая, необозримая...

На Ладожском был ранен осколками в ноги: порвало икры, но костей не задело. А потом ещё раз в Германии: комом мёрзлой земли пришибло. Клетку грудную сдавило, и сердце от этого в правую сторону отклонилось. Сердечные спазмы, нервы, постоянная слабость... С этим и возвратился Иглицын на Васюган... Как тогда его уговаривали в районо принять снова детдом! Но он отказался: не за себя боялся, за детей страшно было. Раздражительный стал, тяжёлый, а народец в детдоме уже не тот, что при нём был: заросло поле дурной травой, одичало. Терпение, подход нужны, а где они у него? Жена, Ленушка, говорит: мол, война дух в тебе искалечила. Детдом он принять тогда отказался, но порешил: дух себе прежний вернёт, постарается.

Взялся он за работу тоже нелёгкую — председатель сельпо. Шёл сорок шестой, народу кругом не хватает: в конторе сельпо он за всех один. Только название, что председатель, а в действительности — и приёмщик-заготовитель, и ходок по таёжным заснеженным дебрям, где охотники промысел зверя вели. Доставь им продукты, провиант, от них пушнину прими, в Каргасок вывези, сдай. Недели, месяцы уходили на то, чтобы всех-то охотников в округе объехать и обойти.

В январе вот этого года, сорок седьмого, пробирался Иглицын под вершину Салата, притока Чижапки. К этому времени он взял себе в помощь приёмщика Деева, Дионисия Мартемьяновича — человека из старожильцев. Дионисий должен



---

был обойти всех звероловов в вершинах рек, шкурки у них принять и поджидать Иглицына на охотбазе.

Иглицыну семьдесят километров на лыжах пройти предстояло, по новому месту, ему незнакомому. По пути, как рассказывали, должны были встретиться путнику две семьи остяков, тоже охотников. Ну и пошёл Иглицын. Фляжка спирту с собой, ружьё, лыжи, подбитые камусом — шкурой лосиной. И хоть не ходил Иглицын ещё этим маршрутом, но знал, что верного направления держится: все приметы, какие ему называли, сходились. Попался барачик пустой, километров пятнадцать ещё — стоянка остяцкая, первая, встретилась. Избушка наскоро рубленая, печи нет — кострище старое посреди пола. Огонь развёл, обогрелся, чаю попил. Отсюда ещё километров сорок пути было. Буранчик поигрывать стал — неприятное дело. Но ждать не хотелось: буранов больших в январе Иглицын здесь никогда не помнил. Пойдёт, и если уж сильно будет мести, в густом ельнике отсидится: одет тепло, на руках мохнашки из собачьей шкуры, за пазухой фляжка. Что Иглицына если и беспокоило — голова начала кружиться, слабость одолевала. Но он всё шёл, плавно скользил на широких лыжах, дышал глубоко, думал о доме, о дорогой своей Ленушке, о сыне Серёжке... Серёжке летом уже шесть, он читает и пишет, мать возьмёт его с осени в школу... О пушнине приятно думать, о колонках, соболях, горностаях, о хвостатых пучках хрустящих беличьих шкурок. Можно даже предположить, загадать, сколько он нынче возьмёт по сельпо, заготовит пушнины...

Но голова кружилась, слабость не отпускала. Буранчик так и играл вполсилы, пушил мягким ласковым снегом, хлопьями осыпал деревья. Не буран, а какой-то котёнок — радость смотреть на него. Ну и погода! В такую иди да иди, дыши да дыши... А тут в глазах рябь, чем-то серым их застилает. От близны снежной, что ли?

Уж и тревога вкралась, вползла, окаянная, в душу. Ноги ватные, левую руку в плече ломит, сердце мрёт — будто воздуха ему мало... Дойти до пенька, отдохнуть... Вон до того, под маленькой ёлкой. На пеньке папаха полковничья, белая, снять её, сдвинуть рукой и сесть... Сесть... Но до пенька не дошёл: отрубил сознание, упал Иглицын лицом на широкие лыжи...

Обморок длился недолго: снегом привалить хорошо не успело. Падал когда — одна мохнашка с руки слетела, пальцы — пока лежал — приморозило. Оттёр, к пеньку шаг по шагу придвинулся. Снег смахнул — пенёк смолёвый, сухой ока-

---

зался. Спирту плеснул, огонь разживил, в себя глоток — во рту опалило, снегу пригоршню хватил. Посидел — вроде так ничего, силёнки скопились, а пошёл — опять голова кругом, резь, пестрота в глазах. Наткнулся на след оленьей упряжки, на свежий, чуть припорошённый. Скинул ружьё — три раза подряд дуплетом: такой был условный знак в здешней тайге, если беда случилась...

Выручил, подобрал его старый остяк, бессемейный Кальзя. Кальзю Иглицын давным-давно знал и дружбу водил с ним крепкую. Честный был человек этот Кальзя: сколько бы денег займы ни взял, в срок отдать никогда не забудет. Нет денег — вернёт глухарями, сохатиной или брусники нарвёт — самой лучшей, перед заморозком. Жил он только добычей, промыслом, мало одетый был, крепкий здоровьем. Стоянок у Кальзи три постоянных было: Орлиное Гнездо, Семь Братьев (семь сосен) и Гора Красная. Иглицыну Кальзя первому показал дивные нерестилища по Паксалу, где язи были крупные и жёлтые, как муксуны. Эти места Кальзя с покойным своим отцом от «Васюганского бога» — купца-грабителя Машицкого скрывали. Они и мыс тот обжили, где теперь Усть-Чижалка стоит. Глухари тогда по песку ходили непуганые, а первые поселенцы в тридцатые годы медведей с оглоблей гоняли. И в лето, и в зиму Кальзя был белым платком повязан — шапку не надевал. Удивлял этим многих, и тем ещё удивлял, что в шалашах круглый год жил. Говорили: «Пошто ты в селе не поселишься? Спишь, поди, ночью под навесным-то костром, а холод жилы вытягивает». Кальзя по-русски чистёхонько говорил, да ещё по-особенному: с присказками. Отвечал мужикам: «Нет, ляга, в село не хочу; завычку старую жалко бросить; в урмане у огонька веселее. А летом везде тебе дом. Щуку добуду, на чапсах изжарю, съем и дальше живу. В тайге мне с голоду где помереть? Как потопаю, так и полопаю...».

В доме Иглицыных был он желанным гостем, рассказывал были и небыль, и так занятно, что все заслушивались. Запоем не пил, но любил выпить. Стакан поднимал с присказкой тоже: «Выпьем по полной, век наш не долгой... Разорви тому живот, кто неправдою живёт!». Детдомовцы ждали его прихода, у магазина ловили, когда он за сахаром, солью, мукой приходил. Нож большой самодельный рассматривали, ружьё пистонное, старое. И уводили Кальзю на берег таёжные приключения выспрашивать. Кальзя шёл за ними послушно, как дед-кудесник, зажигал свою трубку-каньжю, долго курил, а потом выбивал об нготь... Нготь на левой руке, на большом пальце, был у него жёлтый от этого...

---

Кальзя довёз больного Иглицына до охотничьей базы, к Дионисию Дееву. И сказал: «Не шути, паря, больше с урманом, и особливо, паря, зимой. Нету здоровья — оставь его с богом, урман-то. А то похоронит буран: сам поплачет, сам отпоёт, а жинка уж после — в последнюю очередь».

Дома Ленушке он всего не рассказывал, лишь сообщил, что работу меняет: уговорили-де всё ж таки детдом принять.

«И хорошо, — сказала она, — хоть дома тебя будем чаще видеть».

Но опять начались поездки, устройство дел: от забот в первые месяцы дыхнуть было некогда. Дети распущенные, своевольные — мягко сказать. Что до войны у него здесь было, о том и помину нет. Сад посадили, на фронт уходил — цветения дождался, а тут — всё поломали. Опять начинай заново, ночей не спи, думай, где редкие в этих краях саженцы взять... Дня не проходит спокойно. Уехал вчера на Эзель-Чвор, в соседнюю рыбартель, к председателю-другу Демидову насчёт вяленой рыбы договориться, и вот тебе: поножовщина. Оно, может, конечно, и нет в этом худа — за себя постоял парень, не хулиган, не бандит, и всё же...

Нехорошо началось и для Иглицына это июньское свежее утро.

## 8

Встревоженная, запыханная вошла в кабинет Васса Дона-товна.

— Пал Палыч, вы ещё здесь? Знаете, Кочер сбежал! Посы-лала искать — нигде не нашли.

— Везде искали? — поднялся из-за стола Иглицын.

— Сама посёлок обегала из края в край... Ребятишки на Кривошеинке были, за кладбищем, на берёзовскую дорогу их послала, за поля, на корчёвки — нету... И тут ещё одно дело...

— Какое? — почти с испугом насторожился Иглицын.

— Котях... простите — Сухариков... Он вчера в чём-то перед Очангиным провинился. Очангин его отлупил, но этого ему показалось мало. Тогда он с друзьями придумал спустить Су-харикова с балкона вниз головой...

— Что-что?

— Я неточно выразилась... Они держали его за ноги. Но Су-хариков мог сорваться и шею себе сломать.

- 
- Новенький в этом участвовал?  
— Он с братом за ручку ходит, замкнулся...  
— Идёмте во двор собирать старших.

Двор залит был солнцем и, как всегда, кишел детворой: лапта, волейбол, догоняшки, пятнашки, прятки, скакалки, исполин-качели и уйма каких-то ещё — неведомых миру — игр происходили одновременно здесь. Девочки вели себя сдержаннее и тише: опрятно одетые, причёсанные и заплетённые, они сидели на лавочках, на скамеечках, вышивали, кроили, играли в куклы.

Двор гудел на разные голоса и был в самом деле весёлый, солнечный. Двор этот, как появился Иглицын, стали чистить и прибирать каждую субботу, но за неделю его успевали снова захламивать. Давно ли чистили — три дня назад, а уже понатаסקали палок, понабросали битого кирпича, а возле щита с противопожарным инвентарём что-то белело на солнце.

— Череп... Человеческий череп, — рассмотрел, подходя, Иглицын.

— Утром не было... И к вам я шла, вроде не было, — развела руками Васса Донатовна. — Из-за кузницы принесли, конечно. Там под яром вода могилки обрушила... Решительно ничего не боятся: скажи им чёрта достать — достанут и приведут.

— Чёрта не надо, но пусть отыщут нам Кочера.

— Ну, этот похлеще чёрта!

Иглицын искал Гошку Очангина и услышал его за поленницами: о чём-то он там с Дюхарем разговаривал, «тихушничал». Из слов отдельных понять можно было, что говорили об Оське — со смехом так, с торжеством говорили. Директор сказал Вассе Донатовне, чтобы она привела Гошку в пустую столовую.

Гошка покорно, с боязнью поглядывал на директора, но было в глазах у него и открытое плутовство: ругай, мол, нас не ругай, а Котяха мы правильно вздули. И Котяха за собой всё-всё признал и побожился прилюдно Оське в лицо плюнуть. Когда Котяха сегодня с балкона за ноги свешивали, Котяха на весь двор вопил: «Чтоб мне с голоду сдохнуть, век свободы не видать — плюну Кочеру в харю!». И все пацаны уже знают об этом и ждут, как это он на Оську плевать будет. Но если директор затем Гошку позвал, чтобы запрет наложить, тогда Гошка, наверно, заплачет с досады... Директора он не слушается, потому что Иглицын Пал Палыч для Гошки Очангина друг. На охоту он Гошку брал, на рыбалку возил, а последний год ружьё-бельгийку давал ему одному. Рябчиков Гошка

---

стрелял, косачей за корчѣвками, белок. Да как же он против слова Иглицына, против приказа его пойдѣт? Сопел Гошка, морщился, губы дул — ждал приговора, запрета.

— Ну, Гоша, у меня потом будет с тобой разговор особый, — поднял палец и голову набок склонил Иглицын. — А пока мне скажи, следопыт, куда Кочер мог убежать?

— На острове, — быстро ответил Гошка, обрадовался.

— А если на базе? Ночью там пароход ожидают, — высказала сомнение Васса Донатовна.

— Не, — замотал головой Гошка. — К побегу он не готовился: сухарей не сушил, денег не припасал. Раньше, кто убегал отсюда, тот знаете как готовился?

— Убегали, а в Каргаске их ловили, — сказал Иглицын. — Хорошо, Гоша, собери старших ребят и обыщи остров.

Или действительно знал что-нибудь Гошка про Оськину придурь с этим побегом, только и впрямь Кочера отыскивали на острове. Гошка и отыскал его с Цылей, Коровой и Дюхарем.

За чвором остров был круглый, большой, но к Васюгану вытягивался как бы остреньким языком, хвостиком. От этого «хвостика», за истоком, стояла база — склады, магазин и три жилых дома. Сюда привозили муку, всякое продовольствие и одежду, а увозили лён, коноплю, клѣпку, пушнину, копчѣную и солѣную рыбу — словом, всё то, что добывалось в округе. Сюда же, к базе, приставали почтовые катера и единственный пароходик на Васюгане из пассажирских — кособокая, старая «Тара». До середины лета она ходила по Васюгану вверх, а с убылью воды рейсы её прекращались. На этой «Таре» Кочер и собирался удрать. Мечталось ему, что залезет он в трюм незаметно, спрячется за мешки и просидит там до самого Каргаска. Жратва в трюме всегда найдѣтся, так что с голоду не умрѣт. А в Каргаске денег можно промыслить, одѣжку и рвануть на большом пароходе до Томска. А там ищи ветра в поле. С Оськиным ремеслом в городе не пропадѣшь.

С отчаяния Кочер много передумал. Выходило, что не будет ему теперь тут житья сытного, вольного: зажмут, загонят под лавку. А были и сила, и власть, и для брюха всего вдоволь... Эх, было, да сплыло! Больше нечего думать-гадать: решено...

Ребята искали Оську — себя не жалели. Тихо, не шелестя травой и кустами, не шлѣпая по воде в кочках, пробирались они в зарослях, в густущей осоке, выпугивали серых линялых зайцев, уток, сорок и дроздов. Гошка-чистюля сам до трусов разделся, разулся и другим то же велел сделать: чтобы не рвать ничего, не пачкать. Всем палки сказал выломать, суч-

---

коватые, крепкие — на всякий случай. Следы беглеца осяк находил безошибочно: размер Оськиных крупных ботинок с насечкой ёлочкой отпечатывался на песке и на глине. Но потом, видно, Оська заметил, что оставляет следы, и пошёл по траве. Что он двигался к перешеечку острова, к «хвосту», Гошка давно уже понял. И то понял, что Оська серьёзно бежать надумал. На кусту ребятам попался клочок бинта с кровью, охнарик — Оська курил папиросу, не докурил — бросил, примял каблуком. Бинт ножом отрезал: наверно, кончик марли в рот ему лез, мешал курить и дышать. Гошка переглянулся с ребятами. По взгляду его они поняли: «Быть осторожнее, у Кочера нож». Гошка подумал, что если бы «пёрышко» было у Кочера ночью, то он бы новичка зарезал...

Выследил Гошка Оську в старом шалашике: копёшка сена была замётана на тонкие жёрдочки — кто-то ещё с позапрошлой весны уток здесь караулил. Оська там и отсиживался, курил: Гошка своим чутким собачьим носом табак сразу унюхал.

— Вылезай, не придуривайся, — хрипло сказал Гошка и суковатой тяжёлой палкой о дерево постучал.

Оська высунул голову, как хищник какой, как хорёк или волк из норы: показался и спрятался.

— Сексоты, легавые! — пролаял из норы Кочер и ворохнулся злобно на сене. — Кто сунется — всех попишу!

Цыля с Коровой от шалашика шага на три отступили, а сопливый Дюхарь зелёный пушок на темени поцарапал, к засидке с корявым сучком прыгнул, задышливо выговорил:

— Пис-сака нашёлся! Отцарил — хватит! Теперь ты сам шакал. Вот бацнуть тебе по кумполу..

— Мы с тобой посчитаемся, погоди, — совсем не сердито сказал Корова.

— Наводчики! Просучились! Глаз вышибу! — Кочер сено ножом стал тыкать, клочками его выдирать: шалашик на тонких жёрдочках ходуном ходил. И вот он, шалашик, свалился со скрипом, накрыл Кочера слежалой прелью. Беглец выскочил, как медведь из берлоги: перекошенный, с пенно-кровавым ртом, ползуче руки клешнями раскинул. Нож блеснул у него — трёхгранный, из напильника выточенный. Он сам этот ножик вытачивал, никому не давал. Сталь была крепкая, на огне её отпуская, напильников сколько извёл, пота пролил. Но сделал: каждая грань жалом стала. Стругать этим ножиком было почти совсем нельзя, а колоть... Оська по спору толстую крышку стола насквозь пробивал с удара.

Конечно же, Оська думал, что от него, от такого бешеного и страшного, все бросятся врассыпную, пятки покажут. Но

---

мальчишки палки-сучки над собой занесли, окаменели, глазастые и зубастые. Душила Кочера злость удавкой, схватила когтями за горло, и вырваться нету сил. Давно ли Оська на них на всех страх наводил, пятки лизать мог заставить, а теперь даже слабенький Цыля, плешивый Дюхарь, Корова кукиш кажут ему. Оська последний раз битым был в городе, в детприёмнике. Били, а он защищаться боялся, бока подставлял, спотыкался по комнате — пятый угол искал. Ботинки, ботинки тогда у него отбирали... Он не давал... Отобрали, нахряпали... Плакал Оська: себя жалел, ботинок не жалко было. И с тех самых пор никто больше слезинки в глазах у него не видел... Не видел — и вот: захлебнулся бессильным, удушливым плачем, бросил об землю нож, упал на траву.

— Бейте! Давите! Четыре хари на одного... У-ууу, падла-сука, жить начхать! Утоплюсь, повешусь...

— Припадошный ты, Оська. А я про тебя другое соображал, я про тебя не такое думал, — озадаченно проговорил Гошка. Нож он поднял, повертел в руках, замахнулся и в воду — в чвор — бросил. — Дерьмо, не ножик — для охоты не годный: ни мяса отрезать, ни шкурку снять.

— У-ууу! — выл Кочер, бился калганом о сжатые кулаки: повязка сползла со щеки — рана открылась.

— Завязано было — раскровенил, — сплюнул Дюхарь и брезгливо поморщился. — Иди давай, топай-топай, а то стоять — комары кусают.

— Не будем бить и плевать на тебя не будем, — сказал Гошка. — Мы тебя будем вешать. Не веришь? Ну и не верь. Я сам не верю. — И Гошка тихо, неторопливо подмигнул козым глазом.

С большим запозданием и запыхавшиеся вышли на перешеек Иглицын с Вассой Донатовной: они пробирались в обход, по дороге. Ни слова, ни крика Оська от них не услышал: просто они стояли над ним, глядели — с удивлением и, может быть, даже с жалостью.

Кочер поднялся, смазал на руку кровь с подбородка и пьяно пошёл вдоль чвора к посёлку.

Так молча и шли они все вплоть до детдома.

Повылазили пацанье и девчонки, как тараканы, выставились вдоль штaketника, забрались на балкон, сбились кучно — глазек на «пленного» Оську Кочера. Невидаль! Невидаль! Надели мешок, связали, опутали. Вот бы давно так, вот бы давно...

Директор идёт размашисто, в поту, сердитый лицом. Васса Донатовна тоже сердитая, разомлевшая; смута и горечь её



---

охватили: нет у неё власти над Кочером, нет! Пыталась она с ним по-всякому — и лаской, и строгостью, и внушением. Возилась с ним много, да толку не вышло: был волчонком — волчонком остался. Отправить осенью в город или в колхозе трудоустроить: может, там обломают, спесь собьют. Досадно сделалось Вассе Донатовне, почти даже больно: не хватило у неё на этого беспризорника ни воли, ни сил, ни способностей. А сильной считала себя, умелой — с университетским дипломом сюда приехала, сама по себе — не принуждал никто. Война сирот на земле много оставила, обездолила, искалечила — таким разве жалко было душу отдать? Уму научить, добру, любви к жизни? Год скоро как Васса Донатовна здесь, а что изменилось? Бралась горячо, да скоро остыла... Вчера ей бывшая директриса с издёвочкой высказала: «Что-то ты больше своих Макаренков и Ушинских не вспоминаешь?».

Вассе Донатовне нечего было сказать на это...

«Оставить детдом, уехать отсюда, перейти в школу», — думает Васса Донатовна с раздражением и прибавляет шаг. Она пригляделась к Кочеру и увидела, что он посерел, ужасся, руки безвольные по бокам, будто на смерть идёт.

— Увезите меня отсюда, — чуть слышно проговорил Оська.

— Счастливый путь, хоть век не будь, — хмыркнул и хрюкнул Гошка.

— Очангин! — одёрнул его Иглицын. — Не распускай язык... Ступайте все, уходите: разговоры завтра будем вести...

## 9

Ей было уже двадцать девять, Вассе Донатовне, но она была всё ещё одинока. В городе ей не встретилось человека, который бы ей понравился и которого бы она могла полюбить. На курсе мужчин у них было всего ничего — восемь фронтовиков, все в годах, все женаты. Подруги бойко искали где-то и находили, а ей искать и охоты не было. Танцы она совсем исключала (подруги не понимали её), пирушки ей нравились маленькие и «бабьи»: странной она всем казалась. Наседкой прозвали. Не обижалась, но грустно отмалчивалась. Сокурсницы отбивали мужей у жён, прибежали побитыми, плакали, проклинали войну. А поглядишь — свадьба у той, у этой. А она всё по тропинкам университетской рощи одна гуляла, просиживала в «научке» до полночи и чаще других варила обеда на семь человек — столько их, девок, в комнате жи-

---

ло... Клушка, Наседка, Курица — как ни скажи, всё подойдёт. А тут ещё эта любовь к детишкам... Когда эшелоны с детьми-сиротами приходили, когда студентов-гуманитарников рассылали дежурить на пересыльные пункты, она первая шла туда — встречала, дежурила, провожала. И плакала втихомолку, глядя на малых сопливых заморышей.

Детей было всегда ей жалко...

В Чижапке она не прожила и месяца, как пришли её сватать: чеботарь тридцати пяти лет с деревянной ногой, тонкий, почти безволосый, с каким-то застывшим испугом в глазах. Отказала. Сваты поднялись, жениха от волнения пот прошиб — лоб вытирал рукавом, расчихался, будто пыли на нюхался. Она проводила их в сенцы и стала им вслед извиняться — жалко стало чеботаря-калеку. А сват, мужик-кузнец, хмельной, матюкнулся в бороду...

Весной чеботарь сапожки ей передал через бабу одну — «сарафанное радио», сплетницу. Расчудесные были сапожки — картинка! Просила цену назначить, а баба, «сарафанное радио», рот на палец замкнула: не велел, мол, про деньги и заикаться — дарит сапожки, бери. Не взяла, отказалась. Тогда он ей сам их принёс. Не возмёшь, говорит, в печку брошу, сгорят. Взяла за спасибо — куда деваться? Да и весна на дворе, с грязью и слякотью, а обуви негде купить... Слушок пошёл по посёлку — про неё и про чеботаря. Смеялась, слушая пересуды, не обращала внимания, милое дело — внимания не обращать. Пускай их себе болтают, а ты улыбайся.

Она и теперь улыбалась. Легко было от выпитого вина на вечере у Иглицыных, от тишины, какая установилась во всём детдоме. Наверно, уж это ночное дежурство пройдёт у неё как самое тихое.

Васса Донатовна вздрогнула: здесь тишине верить нельзя. Кто может знать, что ещё выкинут эти трудные дети? Надо бы встать и пойти осмотреть все уголки... Нет, больше уже ничего не случится. Кочер опять в изоляторе, и не один, а с дежурной нянечкой. Перекипели страсти, хватит уж...

Сладко было сидеть в тёплом, чистом покое, когда синяя ночь прильнула лицом к окну, звёзды легко покруживаются на небе, мотыльки залетают в открытую форточку и обжигаются на горячем стекле керосиновой лампы. Вассе Донатовне хочется перед сном выкроить ещё минутку-другую, что-то такое повспоминать ещё...

Пришёл ей на ум Лихабаба, новый физрук. Он в годах, а жена у него — молоденькая, завидно красивая женщина. Где, у кого тут такая ещё? Елена Ефимовна тоже собой хороша, но,

---

пожалуй, тяжеловата. А эта свежая, лёгкая. Война вроде и не коснулась её, а была санитаркой на фронте, как сам он рассказывает. И кроткая: слово скажет — зардеется. Заметила Васса Донатовна, что перед мужем она трепещет. «Куда годится? Можно ценить, уважать, любить, но чтобы у мужа выпрашивать рабским взглядом разрешения слова сказать?.. Детей у них нет. Разве поэтому? Или в чём страшном она виновата перед своим Лихабабой?»

Васса Донатовна поймала вдруг себя на том, что её что-то уж чересчур занимает эта смешная пара. «Так что же меня занимает в них? Сам Лихабаба? Господи, да он совершенно неинтересен. Ну, сильный, крепкий, на спортивных снарядах работает, такой... вояка. Что же тогда? Их счастье? Какое? Разве у них это — счастье? Ведь он её запирает в доме, держит затворницей. На прошлой неделе она была под замком, в ограде сушилось бельё, забрался телок — изжевал рубаху. А она не могла выйти и выгнать. Соседи телка прогнали, а она от окна ушла, чтобы не видели, не смеялись... Да как не смеяться тут? Смешно и грешно. Что он, боится её выпускать одну? Не верит ей? И это счастье?.. Да зачем мне думать о них!»

Но мысли об этой супружеской паре не покидали её почему-то. И почему — она знала, но признаться в этом боялась себе. С весны приступило к ней это чувство — острое, раздражающее, как зависть. Стоит теперь увидеть ей новых людей в супружестве, интимности, обоюдстве, как возникает у неё это чувство. И если ещё вино, тишина, тёплая ночь со звёздами...

Она фыркнула, резко встала: не любила себя и ругала в такую минуту. Спустилась и обошла весь корпус, в ограду вышла, вернулась, послушала возле каждой двери у спален. Спят дети, глубоким сном спят... Нет, детей она сильно любит. И разве в этой любви может быть хоть доля корысти?

«Ну, кажется, наступила первая смиренная ночь в этом миллом Содоме. Спите, спите, мальчишки...»

Всё было решено ещё давеча, и Гошка Очангин рта не раскрывал теперь попусту. Одними жестами показывал он, кому и что делать.

Максим Сараев от участия в деле ещё днём отказался, но Гошка с другими ребятами на придумке своей железно стояли: должны они «схоронить» Оську Кочера, вот должны! Спорить Максим не стал и мешать не хотел. Да и что ему было до этого? Давно ли он сам, Максим, готов был с мерзавца Оськи шкуру слупить, в землю втоптать — за себя, за Егорку, за испорченное свидетельство, за портрет отца страшную казнь

---

придумать? А теперь у него отлегло. Приди вот так Оська к Максиму, заговори с ним ласково, по-хорошему, как человек с человеком, и Максим бы, наверно, совсем Оське простил, и они, может быть, стали бы дружбу водить. Стали бы? Кто его знает... Не улеглась ещё обида в душе, не зажили ноги, в глазах всё ещё рябь от Оськиных пальцев. И Максим хоть и не был на стороне Гошки, но мешать ему ни в чём не стал.

Гошка с компанией орудует, а Максим на кровати лежит, и ему за всем наблюдать даже потешно, Вон что, оказывается, придумал Гошка, Ну и ушлый же остячонок, ну и выдумщик! В полночь послал он Котяха выкрасть из Кочерова чемодана Оськин новенький лыжный костюм, чёрный, с густым начёсом, стянуть ботинки из-под кровати. Котях (вот подлюка!) в два счёта словчил — за старое перед Гошкой выслуживался. Гошка повытаскивал из-под голов мальчишек тощенькие подушки, набил, напихал ими штаны и куртку Кочерова костюма, пришил к штанам ботинки тонкой дратвой, и это чучело было вздёрнуто под немые крики на гвоздь в проёме двери. Оно побалтывалось, покачивалось на верёвке, мальчишки от удовольствия сучили на койках ногами, лезли под одеяла — душили в себе дикарский смех.

Довольный, взвинченный Гошка, косоротясь, кривляясь, прыгал в трусах, делал чучелу рожи, плевал, ширял кулаками в брюхо... И была тишина, ни одного слова никто не промолвил — такой уговор был. Только скрипели рахлябанные, растоптанные половицы да кое-когда полузадушенный смех вырывался из-под одеяла.

Натешились, оставили чучело на гвозде болтаться, уснули...

А на втором этаже в воспитательской всё ещё свет горел, синяя ночь по-прежнему льнула к окнам, но бабочки, мотыльки уже не порхали в проёме раскрытой форточки: кончилось и для них время забав.

Вассу Донатовну думы сегодня не оставляют. И надоели, измучили, а не прогнать: прилипчивые, как сера. Это всё от хорошего вечера у Иглицыных, от теплоты ласковой ночи, от этой вот тишины...

«Вот уж и утро скоро, скоро подъём делать пора, а я глаз не сомкнула. Может быть, это старость крадётся?.. Ерунду говорите вы, Васса Донатовна, ерунду!»

Она потянулась, поворочалась на диване, ощущая своё упругое, полное тело, всю неразменную, нерастраченную в нём силу. Закрыла глаза, забылась, а тут и ясный рассвет пришёл, заря алая...

---

Она крепко спала, и снился ей неприятный до одури сон. Ей снилось, что Оська Кочер, непокорный, тяжёлый её воспитанник, влез бесстрашно на высоченную сухостоину, которая стоит у больницы, как серый скелет доисторического чудовища. Это старая, давно умершая ель, даже не серая, а синяя, илистая какая-то, с обглоданной ветром корой, тонкими, острыми, что шипы, сучочками. По этим рёбрам-сучочкам немислимо человеку забраться: сорвёшься с первых же метров, сучками, как бритвой, располосуешь всё тело. А Кочер на самой макушке, на голом хлыстике, и ветер такой вдобавок, что вся сушина скрипит. Того и гляди, того и гляди треснет от ветра и тяжести чёртова сухостоина, полетит с высоты Кочер на землю — конец! Крикнуть боится Васса Донатовна, стоит немая, страхом насквозь пронизанная — лоб мокрёшенек, всё сжалось в груди. «Это он всем нам вызов бросает, власть свою хочет вернуть. Но ведь убьётся, убьётся!» Озирается Васса Донатовна, хочет увидеть хоть какого-нибудь человека, чтобы тот свидетелем стал, как Оська жизнь свою непутёвую кончит, оглядывается, а из-под горы физрук Лихабаба крадётся с винтовкой, маячит ей, Вассе Донатовне, пальцем: дескать, ты тихо там, тихо! Ещё больший страх охватил её всю, замахала она руками на Лихабабу, закричала: «Уйдите! Уйдите! С ума вы сошли?». Лихабаба скорчил гримасу, сердито ткнул стволом в сторону ельника. Обернулась она, а сушина пуста. «Эх вы, глухаря какого спугнули! Ещё секундочку, и я бы его...»

Проснулась Васса Донатовна, вытерла мокрый лоб. Большие часы на стене медленно выстукивали время. «Так мало спала, а сколько чуши успело пригрезиться...»

Полежав ещё так, она встала, умылась, взяла старинный колоколец с надписью «Даръ Валдая», поправила запавший внутрь язычок на проволоке. Приятный, чуть стонущий звук разнёсся по комнатам.

Она растворила двери в спальнях у девочек, потом сошла вниз и там не спеша тоже стала распахивать двери. Дверь спальни, где поселили Максима, где Гошка Очангин жил, была по коридору последней. Приоткрыла в ползева: «Ну, как тут, ну что?». И вдруг ей качнулись в лицо красные Кочеровы ботинки. Отпрянула Васса Донатовна в ужасе: под коленки как током ударило. Сильно рванула дверь на себя... Чучело покачнулось в петле, сорвалось — стукнуло об пол ботинками...

Колотится сердце, опять охватила тревога, не знает, что делать: вперёд ли шагнуть, уйти ли назад, криком ли злым сорваться.

---

Овладела собой с трудом, оттащила чучело к печке тихонько, поглядела на спящего Гошку: жирком умаслилась рожица, из открытого рта слюна на подушку вытекла, широкие ноздри воздух сладко потягивают, чёрные конские волосы на макушке топорщатся. Наклонилась она, держит в руке язык колокольчика, растолкала Гошку в плечо. Соскочил остячонок, глазами глупенько хлопает, не разберёт спросонья, что от него хотят.

— Вы это? А, а? — бормочет он, вытирая слюну с губ углом суконного одеяла.

— Быстренько всё разбери: ботинки на место поставь, костюм сверни и положи в ящик... И чтобы, Гоша, ни одна душа об этом не знала. Ребятам своим накажи, чтобы молчали, ни звука. Ты понял? Ты можешь так сделать? Ведь можешь?

— Я сделаю, Васса Донатовна, — совсем очнулся тут Гошка. — Мы это так, пошутили...

— Шутки плохие...

Она вышла из спальни, с облегчением вздохнула и громко, на весь большой дом, на весь двор ещё раз ударила в колокольчик.

## 10

В начале июля детдом отправлялся обычно на сенокос, на подсобное.

По Васюгану везде хватало богатых угодий, но лучшие сенокосы, поля и пастбища лежали вокруг старой заимки — Успенки. В год создания детдома Иглицын там и устроил своё подсобное. И не прогадал: кормило оно овощами, картошкой и мясом.

На Успенку дорога шла сосновыми косогорами, болотами и лугами — семнадцать вёрст.

— Что это, утречком выйдем — в обед уже там, — радовался Максим, собираясь в дорогу.

Вчера Иглицын позвал Максима и сказал ему, что хочет послать на Успенку раньше других его и Кочера. Ребята они среди остальных самые старшие, вот и надо помочь завхозу оборудовать лагерь. В провожатые он дал им Андрея Гросса, немца из числа первых воспитанников детдома.

Гросса Максим уже знал. Это был мужичок крепкий, ещё молодой, роста низкого, с узловатыми кулаками, вертучий. Максим заметил, что от смешного Андрей смеётся до колик в боках. И ещё любит рассказывать, когда на него найдёт.

---

Одежда на Гроссе была заплата́нная, на ногах сапоги-кирзухи с подвёрнутыми голяшками, кепка-блинчик на голове. Жил Андрей в Усть-Чижапке давно, всё при детдоме, прижился на одном месте — с лошадьми управлялся, огороды пахал, косил, стоговал сено, дрова заготавливал в зиму и по весне. Всюду нужный был человек этот Гросс.

Максим как увидел его, как посмотрел на работе, послушал, так и вспомнился ему верный работник Балда — на все руки мастеровой, неунывный и хитрый. Гросс держал себя одинаково и с Максимом, и с Гошкой, и с Кочером. Пал Палыч ему наказывал лучше следить за ребятами, чтобы дорогой они не отстали, не потерялись, и работали хорошо.

— Вы остальных посылайте, покос нынче ранний: травы зреют густые, высокие, — говорил между сборами Гросс.

— Не беспокойся, Андрей, времечко не упустим, — отвечал Гроссу Пал Палыч, прикасясь кончиком пальца к очкам. — В разгар покоса и сам нагряну: небось ты знаешь, как я люблю с литовкой по чистеньким гривкам гулять.

— Уж как не знать, — распахивался, всеми зубами светился Гросс, покачивал головой. — Я литовочку вам припасу — сама косит, только ходи за ней.

— Максима косить научи, на конных граблях ездить, а то он у нас новичок.

— Да я ум-ме-ею. — Максим брови нарочно сдвинул: Оська рядом стоял.

— Ну-у, с такой силой мы всю траву от Успенки до Эзель-Чвора в стога соберём! — шутливо сказал Пал Палыч. — Завахозу ты передай, Андрей, чтобы постели к сроку завёз, багаганы поставил, да пусть на той неделёке сам прискачет сюда — неводник надо будет гнать.

— Всё передам, как по писаному... А кто нынче будет на покосе из воспитателей? — Андрей спрашивал, а сам в землю глядел. — Пошлёте Агнию Дмитриевну?

— Кто о чём! — потрянул кудрями Пал Палыч и на ребят покосился. — Будет она, будет ещё кто-нибудь...

Андрей довольно покашлял в сторону, усмехнулся...

Максим сбегал к малышовскому корпусу с Егоркой проститься, прижал его, потрепал по вихрам, как, бывало, отец Максима ласкал или дядя Андрон, оттолкнул братишку, помахал рукой и побежал вприпрыжку Гросса с Оськой Кочером догонять.

Так бы они отправились на Успенку втроём: Максим, Оська да немец. А потом оказалось, что и Гошка Очангин с ними: прибежала радостная мордаха, смеётся раскосыми гляделками.



---

— Мне, — говорит, — Иглицын сказал, чтобы и я с вами топал. Я даже не просился...

Максим подумал, что Пал Палыч побоялся их вдвоём с Кочером отпускать. А что ему теперь Кочер? Тихий он стал, как в лужу его обмакнули, молчаливый, сопатый — сопит, сопит, в пол смотрит, курит почти в открытую. К Максиму он безразличный, и Максим такой же к нему: ни здравствуй, ни наплевать. Только Максим держит себя иначе: говорит громко, смеётся, когда смешно, посвистывает, если охота. Разве взглянет когда торопливо на Оську, на щёку его: зажила рана, рубцом бугрится, до смерти теперь отметина...

Дорожка песчаная, жёлтая, а то беловатая с чернотой, местами ровная, как по линейке отчерчена, местами так извилась, испетляла, что глазом не уследишь. Дорожка посыпана сосновыми шишками, рыжей колючей хвоей, листом: здесь сосны с берёзами перемешались. Золотистое — белое, золотистое — белое, солнцем облитое, смолисто-берёзовой духотой окутанное, серыми, розоватыми тенями перечерченное. Красота! От щибета птах звон серебряный по лесу, налетит ветер — вздрогнут деревья, вздохнут. Ветер с лугов сюда налетает, а луга — вот они, от косогора стелются к васюганскому берегу. Там снова лес по берегам поднимается, переплетённый, густой, так что вода васюганская и не проблеснёт нигде. А между тем лесом береговым и крутоярём — озёр не пересчитать: круглых, длинных, кривых, окружённых тёмно-зелёной осокой, поросших ряской, кувшинками. Это щучьи и окунёвые царства, утиные обиталища. Удивительная кругом земля, неоглядная, ласковая, как мать, добрая. Видя её, хочется позабыть все раздоры, нехорошие мысли выбросить — жить добром и делать добро. Протянуть бы сейчас Оське руку, сказать, сощуря в улыбке глаза... А что ты скажешь? Что ничего между ними не было? Нет, чёрта с два! Сошли с пальцев ожоги, синяки рассосались, но обида в душе тлеет злым угольком, не проходит. Не вернёшь акварельный портрет отца — единственную о нём память, не помотришь на фотографии матери, не поддержишь в руках свидетельства школьного. Нету, истоптаны, испоганены. И как вспомнишь об этом, так будто тебе кипятком в душу плеснули...

— Оставь «сорок», — сказал Оська Андрею Гроссу и протянул руку.

Присели они отдохнуть у зелёного зыбуна-болотца, немец кисет достал. Завернул, покурил, Оське больше чем «сорок» оставил. «Как только эти окурки не называют, — подумал

---

Максим. — «Бычки», «охнарики», «сороковки», «чинарики»! А мне вот курить ни капельки неохота».

Из зыбуна-болотца пузыри с бульканьем выпирало, как будто живой кто, огромный сидел под зелёной моховой толщей и выдыхал дым: зыбун и в самом деле курился каким-то синеватым туманом.

— А помните... помните, что старый остяк Кальзя про это болото трёкал? — Гошка дождался, пока опять из глубин торфа не стали выпучиваться с насадой болотные газы. — Кальзя прошлой весной, ребята, большую птицу здесь видел на человеческих ногах.

Оська окурок докуривал, обжигал себе губы и пальцы, ничего не сказал. И Максим ничего не сказал, но в мыслях представил себе эту птицу — большую-большую, как страус. А Гросс Андрей с валежины, на которой сидел, коротышкой таким набок свалился и ну хохотать, ногами дрыгать.

— Да, были, были у неё человецьи ноги, а из красного клюва зелёный дым шёл. Колечками, да... Вонючий... Вот хохотун! — Гошка в Андрея горсть шишек бросил.

— Твой Кальзя соврёт — недорого возьмёт, — перестал хохотать Гросс и вытер глаза. — Сбрешет и в ус не дунет. Ох-хо-хо! — опять покатился немец. — С человецьими, значит, ногами? С красным клювом? Зелёный дым?.. Да это гусь дикий трубку курил. Это сон Кальзе приснился. Ведь он где ни сядет, там у него и дом, у твоего Кальзи. — И опять: «Хо-хо-хо! ха-ха-ха!».

— Мышки давят тебя, — нахмурился Оська, цвиркнул слюной от себя метра на два и тоже вроде повеселел.

— А часто Кальзя в Чижапку приходит? — наострился Максим, которому так захотелось увидеть этого остяка.

— Годом да родом, — перестал хохотать Андрей. — Приходит... Ещё нагладишься, наслушаешься... Забавный мужик, на всём свете такой один. Хороший.

— А когда в прошлом годе мы спали на сеновале, ты тоже нам сказки рассказывал. — Гошка сладко поковырял мизинцем в носу. — Будешь ещё?

Встал мужичок, кинул кепку на голову, призадумался.

— Если кобылы да бабы вконец не заездиют, расскажу я вам сказку про свинью-белоглазку... Ну а потом будет суп с котом. — Огляделся по сторонам. — Подадимся-ка дальше, работнички. Эх, сушь стоит да погодка! Красотища лесная! Пора покосная! Так сухо, тепло, хоть садись да в куколки играй...

За мрачным зыбучим болотцем, в трёх-четырёх километрах пути Эзель-Чвор показался. Стоял Эзель-Чвор на высоко-

---

ком бугре, как Сосновка, и домов здесь вдоль улицы было немало. Дома крепкостенные, с крашеными наличниками, с геранью на окнах, но посёлок напомнил Максиму Пыжино. А чем, он не сразу понял. Ни весёлого кладбища рядом не было, ни кедрача густого, ни банек по-чёрному с плоскими крышами, А, вот оно что — родное, знакомое — невода, сети на вешалах, на кольях по изгородям, особенный рыбный запах, просмолённые лодки под берегом. Засольня, чаны, бочонки, бондарная. Собаки смиренные — калачами свернулись в тени у завалинок, мухи гудят: обсели кринки на кольях, дух молока их притягивает.

«Пыжино, Пыжино... Как оно там, что?»

Проскакал было мимо них всадник на игреневом белолобом коне, да повернулся, остановился — натянул повод, ждёт, когда подойдут. Максим подивился, какой под всадником конь гладкий, грудастый, а сам всадник — здоровый-здоровый! Одень в кольчугу и латы, дай в руку палицу — и богатырь Добрыня. Только нет бороды — молодой, белозубый, грудь широко развёрнута. Топчется конь, горячится, а всадник в седле откинулся, на холку коню оперся.

— Никак уже косарей повёл травку валить? Здорово, Андрей! — принажал звонким голосом всадник. — Ну, раньше управитесь — нам помогать придёте.

— Да где нам поспеть вперёд вас, Александр Никитич! Народ у нас мелкий, пузатый, а скота много держим... У вас-то не порешили скотину? Рыбаку корова помеха.

— Помеха, а без неё никуда. На одной щуке далеко не уедешь! Дёшево покупают, выгоды нет..

— Эт-то верно, — согласился Андрей, ужимая брючный ремень на одну дырку. — Щука постная, а карась без сметаны — полкарася.

— Собирался Иглицын за рыбой ехать, не передумал? — приподнялся на стременах Александр Никитич. — А то леспромхозу продам — тоже давно просят.

— На днях ожидай... Велел передать, чтоб ожидал. Ты теперь-то далеко?

— С полей на тони. Надо взглянуть, что там рыбаки набродили. — Он помешкал: видно, что-то припомнить старался. — Да, Щукотьке скажи, мол, Физа из города прикатила.

— Да ну! — удивился Гросс. — Берёшь в артель опять или как?

— Нету людей, куда денешься...

— Мало они тебе крови портят, Никитич, — блеснул глазами Андрей.

---

— А... Крови у меня много — всей им не перепортить... Ка-ти, Игренька! Ну, поздорову!

Могучий конь взрыл копытами землю, скатился по склону на песчаный пологий берег — растоптал, расшвырял мураву, забрызгал песком во все стороны.

— Ну — конь! — с красивой завистью обернулся Гросс. — Есть добрые кони, но этот всех пережмёт..

— Демидов это, Александр Никитич, — отдельно сказал Гошка Очангин. Любил он людей представлять: Максим за Гошкой это с первого дня заметил.

— Да, теперешний председатель колхоза. Мужик — я тебе дам! — досказал Гросс; с лица его всё ещё не сошло восхищен-ные игреневым демидовским конём.

А Максима другое сейчас занимало: Щукотько. Ведь он не ослышался: Демидов только что здесь называл это имя. «Уж не тот ли — Гаврила Титыч, Иван Засипатыча Пылосова по-собничек?» И так хотелось ему узнать у Андрея... Начал исподволь Гросса расспрашивать про Успенку, про тех людей, какие живут там.

— Успенка — город большо-ой, — смеясь, отвечал Ан-дрей. — Кругом тайга и дыра в небо.

— Всё шутишь, — шагал за ним следом Сараев, вертел го-ловой — комаров отгонял.

Пошли луговой низиной, густая травища доходила всем до груди, путами оплетала ноги. В гущине, под листочками трав и цветов, комары от полуденной жары прятались, а тут их вспугивали, тревожили — они и бросались прямо в глаза.

— Кругом тайга и дыра в небо! — рассмеялся Максим.

— А ты не смейся — пупок развяжется, — сказал Ан-дрей. — Считаю, сколько построек у нас на Успенке: баня, ко-нюшня, загон для скота, барак с чердаком, сеновал и дом на бугре. В доме Горлач с Горлачихой живут. Дед Горлач рыбу ловит, добро сторожит. А бабка у него огуречница. Богатец-кие огурцы у неё! Парников понаделаем бабке на солнцепё-ке, а к осени огуречики хрумкаем. Детдомовцы огурцы по ночам таскают, будто им так их мало дают. Лягут на грядку и с конца на конец катятся. Попал здоровый под бок — за пазуху! А сколько плетей перепортят, завязи перемнут — это не в счёт. Сам делал так, а теперь вашего брата ругаю. И даже бью. А как ты думал?.. По ночам бабка выскакивает с ухва-том, Паной её зовут. Кричит бабка Пана на всю Успенку: «За-стыжу на ноже!». А дед у неё — Малафейка. Тот не кричит — лисьи капканы ставит. Поставит капкан и сидит на завалине, думку думает.

---

— Лисий капкан ногу может оттяпать. — Максима даже мурашки пробрали.

— Он врёт, а ты уши развесил, — усмехнулся Очангин.

— А я так и поверил, — смутился Максим. — Знаю, что враки... А Щукотько?

Гросс комара на носу с криком приشلёпнул.

— А Щукотько завхоз: поймает за хвост — не отпустит.

— Звать его как? — Максим слова глотал, волновался.

— Титыч, Титыч — Илья.

— Не тот... Того, помню, Гаврилой звали...

— Был и Гаврила у них, — убавил шагу Андрей и продолжал заинтересованно, без прежней шутовности: — Знали мы и такого. Гаврила братом Илье доводился. Начальник был, большая головка — по Чижапке в войну работал, да кончился. В штрафную попал — не вернулся... А ты знал его, что ль?

— Да будто бы...

Сквозь зевоту Андрей сказал:

— Щукотьки... эээ-оо... на Эзель-Чворе большим домом живут. Четверо их осталось: Илья, Калистрат — брат его младший, сестра Физа и старуха — Пелагея Панкратьевна, Чернобурка. Больше под этим прозвищем все её знают. Такая старуха, что молодым не угнаться... Вот её бы в детдом директоршей, она бы вас живенько причесала... А Физка — смотри — из города-то вернулась! Опять с мужиком обсека...

— И что же он — с Горлачами живёт, Щукотько? — не унился Максим, выпрашивал.

— Во время покоса да так, когда приезжает... Илья Титыч был председателем на Эзель-Чворе, пока Демидов его не сместил. Демидов-то был на войне, а Илья с Калистратом туда не попали: Калистрат не прошёл вроде по умственной слабости, а у Ильи нет пальца большого на левой руке... Ну, с тех пор, как Демидов стал председателем, Илья Титыч местечко в детдоме себе обогрел. Завхоз, конечно, не важный начальник, но и не конюх, как я...

После этого Гросс замолчал и до самой Успенки не проронил ни слова.

## 11

Дня за три до прихода Гросса Щукотько решил хорошо гульнуть, как водится перед важным делом: по его расчётам, покос можно было начать через неделю.

---

Хотел Илья Титыч поехать или на Эзель-Чвор — под крылышко к матушке, или махнуть в Усть-Чижанку — к другому-завмагу, но старики Горлачи отговорили его.

У бабки Паны стоял в холодке лагунок бражки, который она приберегала к «большому сурьёзу»: деду её, Малафейке, подкрадывался неслышно восьмидесятый год. Илья Титыч дал себя поугovarивать и остался. А тут ещё красный буксир-плотовод приткнулся к берегу накануне: свежий народ высыпал — команда немногочисленная.

Правда, по Васюгану после войны, как стало опять оживать судоходство, на пароходиках, баржах и катеришках нередко плавали бабы. Случились бабы и на этом красном буксире — здоровые, полные, с прокуренными осипшими голосами, выпивать они были горазды, так что весь день на Успенке было пьяно, разбойно и весело. Потом буксирик ушёл — дал на прощание протяжный гудок в честь древнего Малафейки. Бабка Пана радовалась по-своему: капитан плотовода-буксирека обещался за огурцами осенью. Огурцов она продавала помногу, была в немалой выручке, и всегда с торопливым и жадным взглядом встречала катеришки и пароходики, какие сюда заруливали. А какие и не хотели заруливать, бабка Пана сама зазывала их цветастым платочком.

Илья Титыч любил выпить по настроению, давал волю душе, но похмелье переживал мучительно. А в этот раз он чуть не помер с бабки-Паниной бражки. Старая сроду такого раньше не делала, а тут надоумилась выдерживать лагунок на русской печи, настелив под донце вяленых листьев самосада. Брага впитала всю дурь табачную и стала такой злодейской, что со второй кружки валила мужиков с ног, а потом выворачивала желудки. Дед Малафейка даже и усомнился: доведёт ли капитан свой буксир до места или где-нибудь сядет на мель?..

А Щукотько отлёживался, отпивался капустным рассолом, но средства испытанные не помогали. Бабку Пану он костерил без милости, а та сама с этой пьянкой так запурхалась, так угорела, что оставила прокисать молоко в цинковом новом ведре, которое ей подарила команда с буксира. Эта вторая её оплошка чуть жизни Щукотьке не стоила.

Рассолы не помогали, и он зачерпнул полный ковш простокваши — холодной, голубоватой — и целиком выдул. Что тут с ним через час началось — представить немислимо! Ядовитая простокваша разлилась смертью по жилам, Илья Титыч корёжился, кидал голову по подушке, с кровати свалился на пол, по полу кататься стал. Бледная бабка Пана растрёпой носилась по избе, парным молоком больного отпаивала.

---

К тому времени, как прийти на Успенку Андрею Гроссу с ребятами, Илья Титыч уже кое-как отдышался и после кошмарных болей и дикой собачьей блевотины почувствовал райское облегчение, как будто только на свет народился. Он сидел на крыльце в исподней рубахе, гладил живот и брезгливо отплевывался. В тени, на крыльце, повеивало прохладой, ветер трепал его чёрные, с рыжеватым отливом волосы, сбивал их на лоб, на рябенькие выпуклые глаза, в которых ещё видны были следы недавних мук. Глаза у Ильи Титыча были и впрямь рябенькие: по белой, выцветшей голубизне рассеялись крапины серых точек, а большие белки были в сеточках красных прожилок. Радужные, сказать, глаза у Ильи Титыча, примечательные. Если б Илью поставить рядом с покойным братом его — Гаврилой, то общего между ними было бы мало. Разве носы — длинные у обоих, стёсанные. У Ильи лицо почти круглое, маслено-добродушное, готовое улыбнуться приятельски, обласкать. И ростом Илья не обижен, и плечист, и грудаст.

Дед Малафейка много не пил «на седых своих именинах» — на годы сваливал. Потому и ходил он теперь бодрячком, мурлыкал что-то под нос весёлое, а после подсел на крыльцо к Илье Титычу и запел хриповатым голосом песню. Чудную песню пел Малафейка — про первый здешний пароход.

— Прогнали, значит, царя, купцов-лиходеев, баржи купеческие сожгли, и послала Советская власть пароход белый по Васюгану, по чёрному Васюгану, дремучему. От века не было парохода здесь, и он плыл белым лебедем, гудками ревел, к пристаням причаливал, и люди к нему выходили, а бабы с собаками убегали.

Щукотьку от этой песни смех разобрал, а смеяться ему боль в голове мешала: обхватил он затылок руками, качается, морщится.

— Так бабы что же — не люди? В кусты убегали с собаками... Ох ты, мать твою за ногу!

— Из песни слова не выбросишь, говорят, — нашёлся дед Малафейка. — Как песню сложили, так и я спел.

Дед Малафейка обрадовался, что гость его оживать стал, и заговорил с ним ещё охотнее.

— Тут и вранья никакого нет — сущая правда: бежали от первого парохода здесь бабы. Дичь-то какая, глушь. Я к тому году хоть свет повидал — с атаманом Семёновым дрался... Ну, пароход — ладно. А ты не слыхал ли, как в вершину Чижапки, в Мирное озеро, самолёт первый-то раз прилетал? Я с остяком Кальзей тогда весновал. А жили там два старовера —



---

Ксенофонт с Осипом. Осип в ту весну помер, а Ксенофонт к нам третьим пристроился на рыбалку. Я, знамо дело, безбожник, прости, господи, душу мою... Как что-нибудь против бога скажу, так Ксенофонт молитву бормочет, на меня вороном смотрит, а то ругать подчистую примется. Всех, говорит, вас, безбожников, Бог покарает, напустит на вас птицу с железным клювом. И тут самолёт к нам, как снег на голову: за головами пришёл, выборы были. Самолёт, скажу я тебе, мне был не в диковину: в гражданскую на войне видел. Бегу, шалопут старый, к Ксенофонту, ташу старца за руку: вон, кричу, прилетела твоя долгожданная птица с железным клювом, смотри. Глаза у него по кулаку стали, разрази меня гром, ежели вру! Сам крестится, шепчет: «Вот антихрист, вот антихрист... Увижу Осипа на том свете — скажу ему, что я дожил до этих дней». И после того уехал он с Мирного озера: опоганили, дескать, место, ни жить, ни рыбачить нельзя... А мы с Кальзей тот год много рыбы надобывали, девать было некуда...

— Ох ты, опять, — стиснул зубы Щукотько. — Вдруг подступит к нутру — хоть ноги за уши закладывай.

Вскоре тут подошли усть-чижапские; Илью Титыча вроде совсем отпустило.

— Оська-Ёська, гляди-ка, и ты пришёл! — сказал Щукотько нахохленному и мрачноватому Кочеру. — А это новенький? Детдомовский или так чей? Детдомовский... Важный парень, крепыш. Как звать? Эвон — Максимом... А что ж ты глаза на меня так лупишь?

— Да ну, — отвернулся Максим. — Вам показалось...

Илья Титыч снова глаза передвинул на Оську: Оська к нему боком стал, щекой порезанной повернулся.

— Где это ты разнёс? — спросил Щукотько. — Ты что, парнюха, против банды ходил?

— Было дело... у них, — кивнул Андрей сперва на Максима, потом на Оську. — Коса на камень нашла — искры посыпались.

— Дай закурить, — опять так же, как давеча у Андрея, попросил Оська у завхоза.

«Неужели даст?» — подумал Максим.

Щукотько красный кисет протянул, вышитый, газетки клочок оторвал. Кочер запросто закурил.

— Томская, первый номер, — оценил Оська, краснея от крепости табака, выпуская дым острой стружкой.

— Вот чума — разбирается! — сказал дед Малафейка. — А ты, Гошка, так и не научился смолить?

— Не-ет! И не думаю.

---

Дед рассмеялся, снял с кольев изгороди чёрные бродни и сел на крыльцо обуваться.

К Щукотько Андрей наклонился лицом к лицу, заговорил с усмешечкой:

— Демидова видел дорогой... Физа из города прибежала, насовсем вроде...

Илья Титыч будто бы и не удивился этому.

— Не даст теперь баба житья председателю... Что кость в горле, то ему наша Физа...

— Ты что на сестру свою этак-то? — откликнулась за спиной у него бабка Пана.

— Из семьи она у нас самая непутящая, — прихмурился Илья Титыч. — Одно сказать: в двадцать семь лет четыре раза замуж выйти!

— Оборотистая, — подал голос дед Малафейка.

Он за речку косить собирался — первую пробу снять...

## 12

После жаркой дороги потянуло к реке, поманило. С близкого поля несло запахом конопли, маслянистым и дурноватым. По склону берега, в реденьком мелкаче-ельнике, паслись коровы, приминая ногами ландыши. Над тихой рекой дрожало марево, а на залитых солнцем песках — на той стороне — неподвижно сидели два мартына — отдыхали, нажравшись мальков.

С непривычки чёрно-коричневый Васюган всё ещё удивлял Максима. Нет-нет да и станет перед глазами светлая, жёлто-зелёная Обь, широкая, распахнутая, как двери настезь.

А Гошка ещё нахваливал ему эти места.

— В той стороне — Чурулька, — вытягивал он смуглую тонкую руку к полуденному солнцу. — Из Чурульки меня сюда привезли. В Чурульке урманы — ой-ля! Белковать хорошо, шишковать... Мой тятка в тот год белковал, рассказывают. Оплошка вышла: от папиросы искорка в пачку упала с порохом... Глаза огнём сразу выхлестнуло, ватник на нём загорелся. Он в сумёте его затушил — в снег зарылся; тятку собака домой привела...

— Так он у тебя не помер? — спросил Максим.

— Помер, не выжил тогда... Обгорел, да шёл — приморозился... Иглицын сказывал, что мамка моя живая, а где она — не говорит. Наверно, она меня бросила...

---

Гошка вымазал брюхо илом, разбежался и торпедой ушёл под воду. Чёрная Гошкина голова показалась над чёрной водой не скоро. Она вынырнула вдали, отфыркалась, позвала Максима:

— Эй, плывём на ту сторону! Что-то тебе покажу!

Было здесь ширины васюганской метров под триста. Максим бросился в воду с азартом, легко догнал Гошку.

— Нагрелась... как молоко парное. — Остячонок пускал фонтанчики, большой рыбой перевёртывался в воде. — Смотри: «поплавок»! — Гошка лёг на спину, вытянулся — всё было видно.

— Ладно — девчонок нет близко, — засмеялся Максим, нырнул под Гошку, схватил за ногу — утопил.

Смеялись, барахтались, брызгались, и маленькие радуги, как золотые подковы, вспыхивали в жарких лучах.

— Ты потом с берега где попало не прыгай в воду, — предупредил Гошка. — На дне коряги сплошь, топляки — голову раскroiшь или кишки выпустишь. Где я прыгаю, там и ты: я места безопасные знаю.

Переплыли и нагишом побежали в кусты, по пучку наломали веток таловых — от комаров отмахиваться. Бежали, бежали, припрыгивая, накалывая подошвы, и оказались возле поваленной, полуистлевшей осины. Запах гнилушек и псинки полез в ребячьи ноздри.

— Горностаи живут, — поднял палец Очангин. — Злые-презлые! Каждый год я в этом дупле их вижу.

Стал Гошка прутом в дупле ковырять. Тихо сначала было, потом как зацокает, заверещит. Высунулась зубастая хищная мордочка, точки-глаза угольками калёными, злобными смотрят. Поогрызался зверёк, пощёлкал белыми зубками-шильями — спрятался.

— Ух какой! — удивился Максим. — Загрызть готов.

— Бежим, а то комары зажрали. После я тебя на озёра ста-скаю.

Переплывали они Васюган, а Оська Кочер на них из конопли смотрел: конопляное поле с пригорка к берегу скатывалось, конопля на нём выдурила почти что в рост. Максим и не видел Оську, а Гошка своими зверушкиными глазами высмотрел его ещё издали, фыркнул брызгами:

— Завидки берут! Сидит припухает... Да в конопле вон — туда смотри.

— Шёл бы купаться, чем в конопле сидеть. — Максим зарылся лицом в чёрную воду. — Слышал, как давеча этот... Щукотько с ним разговаривал? Как с ровней. И табаку закурить дал.

---

— На него как найдёт — на завхоза... Оську он раз... знаешь? Кулаком опопонил промежду глаз: во всю щёку синяк синел. А за что — так никто и не знает. Может, теперь стыдно ему перед Оськой, он и заигрывает.

Мокроволосые, необсохшие, поёживаясь слегка, поднялись они на крутизну берега, неторопливым шажком, вразвалочку, направились к избе Горлачей.

Дед Малафейка ещё не ушёл «пробовать первый прокос» — сидел между Щукотькой и Гроссом, в броднях, распоясанной длинной рубахе-толстовке, зелёной шляпе с обвислыми полями. Борода — седина с рыжиной — была прилежно расчёсана, шелковисто струилась на грудь. Руки, сухие, перевитые жилами, дрожали, скручивая сигарку. Разговор шёл про близкий покос, про травы.

— Да, был я до старости крепкий, а теперь и не знаю как. Своей коровёшке вдвоём со старухой ещё нашмыргаем, а внатём — страшновато что-то. В мои годы про работу серьёзную только слушать осталось. Зато прежде, бывало, — кому ночь, а мне всё день. Разве усталы знали? Десять-то лет назад я ещё ладный был. Андрюха, ты, поди, помнишь?

— Ещё бы, — ответил Гросс. — На веселье бороться схватывался.

— А теперь я хожу, как градом пришибленный... Что я тебе, Илья Титыч, скажу на это? Хлеб попервости тут хорошо родился, потом земля выдержалась. Так и со мной: смолоду жизнь горела, теперь загасать стала.

— Ну, не скажи! — мотнул головой Щукотько. — Ведь бодрый ещё.

— Бодрый, бодрый — хоть разбавляй! — вскричала от огуречных грядок бабка Пана. — Соглашайся нето.

— Подойду да как хлопну, так кверху брюхом перевернёшься! — пристращал её дед.

Все засмеялись, бабка Пана зевнула, рот кулаком прикрыла.

— Ты погляди! Не из тучи гром, — отозвалась, помедлив, приподымая огуречные плети. — Иди, иди, старый: лишний рубль карман не прорвёт.

— И я говорю — соглашайся, — уламывал деда завхоз. — Дам бригаду тебе ребят лет по тринадцати, научишь косить, приглядишь, чтобы ноги-руки себе не обрезали.

— Разве что так... Ех-ха-ха! Не тот уж я, не тот. А сколько я здесь тайги исходил. Промышлял прибыльно: с остяком Кальзей частенько мы спаривались. В то время он, Кальзя, совсем ещё молодой был... Рыба, пушнина, дичь боровая. Остяков шибко бедных здесь не было: жили по-среднему. Крытые

---

лодки гоняли по Васюгану в шесть гребей. Когда ветер попутный — под парусом шли. Купцы остяков обирали, конечно, обманывали. И меня тоже, не без того. Но я больно-то не давался, не из таковских.

Дед Малафейка зажмурился.

— Одно время после гражданской рамы вязал, дуги гнул. Кадушку, лагушку, бочонок, туюс, ведёрко из жести — всё в руках моих было. Делал. А тут в прошлую зиму Демидов меня нашёл, к себе в артель зазывал — сани некому было работать. Я не пошёл. Где мне полоз сейчас загнуть? Плох становлюсь, слух теряется. Один язык брякает. Ни бега, ни шага, ни дыма, ни пороха.

— Это ты ладно сделал, что к Демидову не пошёл, — приморгнул Илья Титыч. — А у нас с Иглицыным сядешь, как король на именинах.

— Ну, сговорились будто. Промеж молодых и я, глядишь, помолодею. — Дед Малафейка глянул в любопытные, внимательные глаза мальчишек. — Вот, соколики, этак-то. Мало вам воспитателей — приставляют ещё меня командиром. Плохо, что не весь разговор слышали, какой из моей биографии получился. Да... Основу жизни надо иметь, без неё никуды. — Поднял сухую руку, крикнул старухе: — Корми приходящих, кончилиговорилки!

Капуста была на столе, хлеб и горошница. Максим похватал торопливо и раньше всех из-за стола вылез. Бабка Пана ни слова ему не сказала, а дед Малафейка выговорил:

— Ел бы как следно. Чо выскочил?

— Спасибо. Я всегда быстро ем.

«Поедем с Гошкой на озеро, окуней жирных наловим, там и уху сварим... Может, Оську с собой позвать? Не век же так жить — врагами?»

Но Оська рыбачить с ними идти отказался: молчком отказался. Гошка скосоротился на него, сказал, что хозяин — барин, и на озеро они отправились вдвоём.

Уж какой был Максим запасливый, бережливый, но Гошка его удивил, когда они по твёрдым покосным дорожкам подошли к озеру. Тут у Гошки и котелок был припрятан — чёрный, как обгоревшая кочка, и топорик с расколотым обухом, и удилишки — сухие, длинные, с лесками и крючками — лежали в густой траве. Гошка сказал, что и на других озёрах в округе у него есть заначки, что к своим запасам он каждый год прибавляет новые удочки, котелки, чашки и ложки.

— Мало ли что может быть, — рассуждал остячонок. — Оказался один, и ни хлеба с тобой, ничего. И вот тебе удочка,

---

котелок, соль в берестяном туюсочке... А туюсочек я сам делал. Я и корзинки умею плести. Чемодан, стол, табуретку могу смастерить. Нас этому учат в столярке.

— Хвастуша, — радостно засмеялся Максим, которому Гошка так сейчас нравился, как никогда ещё. Но говорить об этом Максим не хотел. — Хвастуша! — Он ткнул пальцем Гошку в живот. — Был у меня раньше в дружках остячонок Пантиска, так тот больше молчать любил. А ты балаболишь, как сорока на суку. Всю рыбу с тобой перепугаем.

— Это всё враки — про шум, — авторитетно сказал Гошка. — Когда рыбы в озере много, когда клёв у неё, она не боится. Не замечал?

— Замечал...

У Гошки нашлась и банка-червянка, а червей они накопили под трухлявыми коряжинами, под старыми коровьими нашлапами, в рыхлой земле под черёмухами. Максим весь горел от радостного предчувствия, как сейчас они будут рыбу ловить — окуней полосатых и темноспинных, озёрных. Любил же Максим рыбалку! Из-за неё комаров терпел, ноги царапал, в грязи пачкался, мокнул — страшные грозы его не раз среди лугов заставляли. Всё готов был сносить он ради рыбалки.

Места у этого озера были уже обтоптаны, усижены. Озеро было кривое и длинное, гладкое в этот безветренный, предзакатный час. Опрокинулось в озеро рябоватое — в пелене — небо, торчали кочки с осокой под берегом, бултыхались где-то за криуном щуки.

У самых ног Максима начиналась глубина. Он смерил концом длинного удилища — дна не достал. Жёлтые кувшинки на тонких стеблях были в чистых каплях росы, и в этой медовой росе, в пыльце ползали маленькие-маленькие мушки, питались и нежились в солнышке. Заросли ряски, тонколистной травы и кувшинок сплошь опоясывали озеро, но в том месте, где стояли ребята, была большая прогалина, зеркальце, свободное от травы и цветов. По этому зеркальцу тоже, как в росе и пыльце кувшинок, крутились мушки, но видом другие и больше размером, голенастые водомеры скользили, как на коньках, стремительно, не нарушая глади. Вид людей с длинными палками, видно, пугал их, но скоро они успокоились, отбились в сторону и прижались к листьям кувшинок.

Переливы теней и красок, пестрота и прохлада лучей уходящего солнца, тонким звоном поющая тишина, которая сладко наваливалась со всех сторон, делали сейчас Максима самым счастливым и беззаботным человеком на свете. Дышал он сдержанно, затаённо, комаров отгонял короткими,

---

плавными движениями, переступал осторожно: боялся — нет, не хотел просто нарушать эту удивительную минуту.

Червяков насадили они почти враз, плюнули и забросили.

Клёв был невиданный, поразивший Максима, а уж он-то знал рыбалки! Поплавок утонул с ходу: покачается, вздрогнет и, взбулькнув, скроется под водой. Выгнется удилище, натянется леска — разрежет с хрипом, как ножиком, воду, и пружинящая, обратная сила удилища выбросит на поверхность тяжёлого окуня. Блеснёт он в воздухе красными плавниками, раскрылатит, растопорщит колючки и шлёпнется в густую траву. Прыгает, бьётся, трепещет — осока шуршит. А когда сразу много окуней больших в траве возьмётся, то кажется, будто там птицы подбитые мечутся. Бьются горбатые окуни, шелестят травой, а под рубашками у мальчишек сердца от радости трепыхаются: то замирают, то вскачь бегут. Вот уж душа рыбацкая, расчастливейшая! Комары на лопатках, комары в бровях, присосались к ушам, руки изжалили, а тут отмахнуться некогда — «клёв забалдецкий». Окунь всё крупный: мелкий и не подходит к крючку.

Черви кончились — на мясо рыбачить стали. Попались им штучки четыре плотицы, так они — в азарте да в быстроте, — чтобы окупёвые стаи с расклёванного места куда не ушли, плотиц этих зубами на мелкие кусочки рвали да на крючки насаживали.

Максим, перепачканный слизью, какой-то весь скованный радостью, поймал себя за волосы:

— Вот это озеро!

— Таких озёр я тебе сколько хошь покажу, — отвечал сдержанно Гошка. — А ещё у меня на Успенке жерлицы спрятаны. По этим озёрам везде-везде шуки есть. Здоровущие! Какого ни посади чебака на жерлицу — такого и заглотнут. Покос начнётся — директор опять меня рыбу пошлёт ловить. Я всех покосников прокормить могу.

— Ещё один горбыль! — Максим уж дурачиться стал — через голову выбросил окуня.

— А к сентябрю ближе, — рассуждал Гошка, — я с собакой утят-подлётых по осоке ищу. Крякашей, вострохвостов. По двадцать штук иногда ловлю.

— По двадцать? — не поверил Максим.

— Спроси у Гросса, я врать не стану.

Гошка поймал на зависть здорового окуня. Максим бросил на берегу свою удочку, подскочил, припал на колено, взял рыбину за глаза двумя пальцами.

— Полметра! Два килограмма! Сдохнуть можно!



---

— Будет, кончаем. — Гошка утёрся и отошёл с показным равнодушием.

«Как дядя Анфим. Не любят остяки на большую добычу зариться».

Солнце скакнуло за волну тальника вдали, комариного писка прибавилось, но розоватый свет всё ещё сеялся в воздухе. Тихое озеро, потускневшее, будто слепнущее, подёрнулось тонким паром; позолоченные паутинки нависли над водой; озёрная гладь покрылась кругами, кружочками: это рыба плавилась, жировала, играла перед коротким сном. Круги на воде растекались и вновь вздрагивали, рождались, колеблясь, как пятна прозрачного жира в горячей ухе.

Рыбу они едва уместили на четырёх длинных куканах.

— Бабка Пана похвалит: дед Малафейка мало рыбачить стал.

Издалека, со стороны Успенки, когда они отошли от озера с километр, долетел к ним разборчиво тонкий, как жало, частый, как дробь, металлический звон.

— Литовки завхоз отбивает, — остановился Гошка.

— А балаганы покосные наши где?

— Там, за протокой Кимжар.

— Кинжал? — недослышал Максим.

— Ким-жар.

«Дзи-дзи-дзи!» — врезывался в уши острый литовочный звон.

## 13

Незадолго перед тем, как прийти Демидову с фронта, Физа Щукотько готовилась проводить на тот свет своего третьего мужа — Стёпку Иглицына (он доводился двоюродным братом детдомовскому директору). Физа плакала, и многие бабы ей открыто сочувствовали, а за спиной судили: «Перебрала краля столько товару, да он у неё, товар-то, как вода, сквозь пальцы прошёл. Ну пошто же не держатся возле её мужики, пошто? Двоих на войне убили — бог судья, а Стёпка-то, хошь без руки, но вернулся. И чем не мужик он был? Весёлый ходил попервости, не жаловался ни на что. И на тебе вот — зачах, зачах и уж одной ногой в гробу стоит».

Физа глаза утирала платочком, а сама была всё такая же «сдобная шанежка» — тугогрудая, толстозадая, с яблочно-розовыми щеками, сбитая, налитая — не ущипнёшь. Броса-

---

лась в глаза каждому встречному её молодая, здоровая красота. «Столь мужиков ездили и выезжать не могли... А нюнит она для блезиру, для видимости. Она неунывная: зарует Стёпку и тут же искать побежит». И, может быть, говорили так больше от зависти, оттого, что недолюбливали весь род Щукотек и в первую голову Физкину мать, которой здесь прозвище дадено было раз и навечно: Чернобурка.

И всё же Физе сочувствовали...

Жизнь у неё была перепутана, как нитки в клубке.

Замуж ей захотелось рано, и мать, Пелагея Панкратьевна, дочери в этом не воспрепятствовала.

«Хочется-колется — с богом, держать-неволишь не стану. Но мужика мне в свой дом веди: работник нужен. Это, доченька, моё твёрдое слово».

Большой дом Щукотек на Эзель-Чворе в тридцать шестом как-то враз опустел: Гаврила уже всю свирепствовал с Пыловым на Жёлтом Яре, Илья в Чурульке в заготконторе работал и домой наезжал редко. Калистрат, младший из братьев, в тот год у них, заболел падучей, долго лечился в Томске и вернулся «каким-то придурочным», «зубоскальным», как на селе о нём говорили. Ни в колхозе, ни дома работника из него никакого не было, да и оберегала его уж больно матушка, Пелагея Панкратьевна. Был Калистрат ей в одном утехой: разговоры она с ним вела — о Боге, о спасении души, о людях-злодеях, которые им, Щукотькам, перешли в жизни дорогу.

А с хозяйством здоровая Пелагея Панкратьевна управлялась всё больше сама, и Физа ей помогала — шестнадцати лет деваха. К концу тридцатых годов они уже крепко оправились, обжились: дом в пять стен, корова, две нетели, бык годовалый, мелкой живности полный двор. Конечно, всё это смех, даже и несравнимо с тем, чем владели Щукотьки до раскулачивания, но всё-таки: у других, посмотреть, и этого нет. Чернобурка, конечно, уматывалась с таким хозяйством, но в навозе на людях никто её не видал: и в клуб, и в контору являлась чистая, надушенная. Говорили, что старая баба фасон держит, не чета, мол, тут некоторым. И опять же от зависти языки чесали — так самой Пелагее Панкратьевне думалось.

Пелагея Панкратьевна была и хитра, и властна, и подольстить умела, и припугнуть — чем не лисьи повадки? А тут ещё как-то проговорилась, что в прежние годы у неё и руки были белее, и нарядов девать было некуда, а по праздникам чернобурку она надевала. И попало с тех пор на язык это прозвище: Чернобурая лисонька! Услыхала об этом Пелагея Панкра-

---

тьевна — к зеркалу подошла, пальцами провела по чёрным длинным ресницам, до щёк, начинающих дрябнуть, дотронулась, улыбнулась сама себе едкой, горькой улыбкой. Злобное, нехорошее шевельнулось в сердце, но Пелагея Панкратьевна горло себе сдавила, отвернулась от зеркала и никогда никому даже виду не показала, как злится на мир людской.

А тут свадьба наклюнулась: мужика надо в дом затянуть, работника. Так и сказала дочери, а дочь — жениху. Жених на всё был согласен.

Так пришёл к ним в дом первый Физин мужик, охотник-соболятник Мумриков. Физе фамилия его не понравилась, и она оставила за собой девичью. Чернобурка этому тоже дивно обрадовалась:

«Имечко наше хорошее... Ты не знаешь, какие важные люди дружбу с нами водили. Купцы, торговцы... О боже, боже! Завод ведь кожевенный у нас на Алтае был... А места там какие, места! Нарым не Алтай».

Физа была не охотница слушать, когда мать вспоминала старую жизнь, глаза слезила.

«Что ты всё, мама, своё разорение оплакиваешь? Вернуть не вернёшь, так и нечего душу мотать...»

«Грамотная ты больно стала».

«Ну, правда, мама...»

«С тобой о душе где же поговоришь... Один Калистратка лучше всех меня понимает».

Прожила Физа с Мумриковым пять лет без малого, а детей у них не было. И мать удивлялась, и на селе пересудов было не переслушать. Сама Физа в себе ни капли не сомневалась, а мужу глаза колола и каждое лето гнала его в город врачам показаться, путёвым специалистам. И Мумриков было уже собрался по весне ехать в Томск, да не съездил. А там война началась, уехал охотник на фронт, а вернулась вместо него похоронная...

В те годы, известно, работы было повсюду невпроворот, и Физа тоже ломала бока и в поле, и на покосе, но тяжесть вроде даже на пользу ей шла: добрела она, полнела, мужичков, какие подвёртывались, всласть перекидывала... Откуда-то вольности много взялось в характере Физы, неужности бабьей. Пелагея Панкратьевна не одобряла дочь.

«Уймись, бесстыдница! Будет тебе по чердакам кошкой лазить, по сеновалам валяться. За тебя стыдно мне, хоть стыд и не дым — глаза не ест. Ну ладно, брат твой, Гаврилка, блудил, семью промотал, не мне его было судить, мужика. Но ты-то уж перестань, красавица. Выходи по-второму замуж...»

---

Не собиралась Физа, отнекивалась, да вышло так, что пришлось: забеременела от соседского парня-подростка Митьки Сухого. Митька на родительский гнев наплевал: что там толкуют ему, попрекают Физку! Краля она у него, смазливая да грудастая, да огненная. От дикой радости Митька Сухой на небо готов был запрыгнуть: Физка жена ему будет, подумать только! А давно ли Митька ходил — сопли морозил, орешки грыз, брил пух на верхней губе и щупал: не колетя ли? Нет, не кололось, не отрастали пока усы. И на тебе, Митька Сухой — Физкин законный мужик: в сельсовете расписаны...

По годам скоро Митьке время пришло идти на войну. Не дождался, когда ему Физка-краля дитя родит — уплыл с новобранцами по Васюгану. И тоже, как соболятник-охотник Мумриков, не вернулся...

Физа не доносила — скинула. Вроде с горки скатилась — ушиблась, а вроде какой-то травы напилась...

Никто хорошо про это не знал, но слухи такие ходили.

Стёпка Иглицын с фронта в сорок четвёртом вернулся без левой руки. Был до войны он в колхозе бухгалтером, а когда уходил, место его одна тихая бабонька заняла. Иглицын Стёпка как только перешагнул конторский порог, как только вошёл, опалённый, худой, с пустым рукавом, так эта бабонька тихая за бухгалтерский стол его усадила, все бумаги перед ним выложила.

«Принимай, Стёпа, давно тебя ждём...»

Влез он в бумаги, разворошил отчёты и ведомости, а там и не разобрать сразу — так перепутано всё. Стал он до правды докапываться, но видит: не разобраться ему. Без него председателей много сменилось, а новый хозяин, Илья Титыч Щукотько, второй всего год «эзель-чворовским головой» ходит. К старым грехам Илья Титыч новых прибавил, и Стёпка это чутьём чуял. Вот и начал он с ним выяснять, какие доходы колхоз получил и куда, по каким статьям, эти доходы исчезли. Илья Титыч смешками отыгрывался, волосы чёрные — с медным отливом — косматил, глазами водил — круглыми, в красноватых прожилках, ресницами вздрагивал, словно в лицо ему дули.

«Я, друже, за всех не ответчик: до меня здесь напутали много, а мне приходилось концы с концами сводить», — мягко стелил Щукотько.

«Вот же бумаги, вот! — встряхивал Стёпка пыльной стопой. — При тебе же последний отчёт составляли, ты подписывал!»

---

«Да ты не шуми... Так расшумелся, что баба в слезах убежала».

Илья Титыч про бухгалтершу говорил, про тихую бабоньку, что после Стёпки дела тут в войну вела... У Ильи Титыча крылья носа порозовели, две широкие веснушки бурыми стали на приплюснотом остром кончике.

«Не булгачь, друже... Я тебе прямо скажу: выпрямимся. Если будет ревизия придираться — замажем, замнём... Урожай постараемся взять покрепче — льну, конопли, пшеницы. Сетей мы уже навязали, ловушек наделали. Я в Каргаске невод новый достал — черпанём рыбы, по всем статьям рассчитаемся. Ещё увидишь — хвалить наш колхоз будут. Лесу у нас! Без пользы стоит... Так я что обмозговываю, послушай...»

Разошёлся Илья Титыч, заговорил Стёпку.

«Локомотив хлопочу. В райисполкоме был — считай что договорился. Поставим локомотив вон там, на горе. На горе же и пилораму устроим. Зимой лесу навалим, стаскаем, свозим его сюда по дороге-ледянке. Тёс, горбыль, шпала! Деньгу загрести начнём, в богатые выйдем. И не моги сомневаться, Степан! Точно всё так и будет».

Стёпка-бухгалтер слушал, кусал кончик карандаша, дёргал в сторону головой — мух прилипчивых отгонял: лето стояло жаркое, с навозных куч в раскрытые двери мухота скопом тела...

Застучали сапожки по крылечным ступенькам, явилась в проёме двери Физа, блеснула глазами, подняла резким вздохом полные груди. В руках у неё жиденький пруттик, кофта выбилась спереди из-под юбки, на щеках загар.

Дрогнул Стёпка, забыл и себя, и грехи все колхозные, какие ему открылись в бумагах. Выставился бельмасто, не моргнёт, не вздохнёт: будто ослеп от Физкиной красоты. Только подумалось мельком: «А председательская сестра ни голодом себя не морит, ни в удовольствиях себе не отказывает». Слышал Стёпка про её многоженную жизнь.

Илья Титыч нарочно зевнул, в складки щёк усмешечку спрятал — позвал Стёпку к себе на обед. И они угощались с обеда до вечера. А назавтра весь Эзель-Чвор уже знал, что Стёпка бабу свою бросает и с Физой сходится.

Проглотили Щукотки Стёпку Иглицына, как сам он себе признавался, с кишками и потрохами, со всеми медалями, что с войны принёс. Физа льстилась к нему, не капризничала. Стёпка мужик был костлявый, а тут потучнел, расплылся, рука в запястье раздулась, браслетка ему тесной стала... Стёпка с войны часы золотые привёз, швейцарские, с браслеткой

---

серебряной. Илья Титыч намекал Стёпке, чтобы он эти часы ему подарил или продал, но Стёпка не соглашался.

Ничего не скажешь, Илья Титыч развернулся на председательской должности: локомотив вывез из Селивейкино, который покойный братец его Гаврила с Андроном Шкариным устанавливали. Локомотив в Селивейкино теперь не нужен был: война кончилась, ружейную болванку в Чижапке больше не заготавливали.

Щукотько в колхозе две новые бригады сбил: одну лесорубную, другую рыболовецкую — новые водоёмы облавливать.

И урожай вызревал, не в пример прошлым годам, отменный: картошка, пшеница, лён-долгунец. Председатель крутился, как белка, но и гостей заезжих, начальников из района, потчевал сладко — не забывал. В каргасокской газетке стали о нём частенько пописывать — похваляли, звали других равняться на председателя эзель-чворовского.

Сразу в заметные люди человек вышел.

Стёпка-бухгалтер помалкивал, жирел от потворства, засахарился от Физкиной сладости. Но находил временами на Стёпку зуд: не мог сдержаться, чтобы не уколоть свояка-председателя: знаю, мол, знаю, да вот молчу.

И молчал до поры...

Был Стёпка в недельной отлучке: отпустил его Илья Титыч уток осенью пострелять. Вернулся мужик с охоты, и открылось ему, что Щукотьки подпись его, бухгалтерскую, подделали, получили тринадцать тысяч и положили в сундук. Страх залез в Стёпкину душу: было — чужие делишки прикрыл, теперь самого затянули, без согласия омошенничали, кусок ворованный в зубы суют. Стёпка денег этих не принимал, а Илья Титыч его умасливал, и так и этак обхаживал. Не вышло. Стёпка дверью хлопнул: не замарал руки, ушёл. По селу Физа его искала — с ног сбилась: как в колодец Стёпка её провалился... К ночи он сам притащился чуть тёпленький, пьяной мордой уткнулся в стол, как бык в землю рогами. Ни Физа, ни Пелагея Панкратьевна лишнего слова ему не сказали: раздели да спать увели.

Вскоре Стёпка Иглицын загадочно заболел.

По Эзель-Чвору тем временем слух прошёл, что с соседней Берёзовки к ним Демидова направляют вместо Щукотьки. Кто верил слуху, кто нет: Илья Титыч пока был при должности, управлял всеми делами и будто бы с поста своего уходить не собирался. Но гром всё ж таки грянул, и Щукотько пошёл под следствие. Разбирательство длинное было, Пелагея

---

Панкратьевна исхлопоталась вся, в Каргасок ездила — масло возила, сало, соленья, копчения разные. Совсем от тюрьмы Илья Титыч не мог отделаться, но дали ему срок до смешного малый: год с половиной. И этого срока он полностью не отсидел: вернулся. Говорили, что две руки выгораживали Щукотько: начальство по старому знакомству и матушка — Чернобурка — с лестью своей и с подкупами.

А Демидов, к радости многих на Эзель-Чворе, артель принял.

Старики переселенцы род Демидовых хорошо знали: в тридцатые годы многих сюда привезли с Алтая, с иртышских земель. Демидовы с давних времён на Алтае жили, в деревне Старый Буерак, бедненько жили. Отец Александра Никитича работал на мельнице у богача Лоскутова. Сильный мужик был, старательный, а из нужды вырваться так и не смог.

На Васюган Демидовы приехали голые, босые. Отец Александра скоро от малярии помер, а мать осталась с детьми-подростками. Саша был в доме старший, хватал работу где мог: на смолокуренном, на раскорчёвке леса. Поля пахал и бересту драл. Помнили поселенцы: на Саше одна рубашка была, и та висела клочками... А рос он просто могучим, красивым — хоть тут судьба не обидела.

И честен был, справедлив, не терпел никакой подлости. Слово надо сказать — умно скажет, открыто, ходить не будет вокруг да около.

В тридцать четвёртом был ещё жив Тит Щукотько, муж Пелагеи Панкратьевны. Бывший хозяин кожевенного завода артельный лес из тайги возил на артельной лошади. Разорение сломало его, иссушило: худые, длинные руки тряслись, а глаза на людей смотрели слезливые, бесноватые. Но был он покорный, как тень: куда ни пошлют, туда и идёт, куда ни толкнут, туда и качнётся. Мужики в нём не узнавали прежнего Тита, но знали и понимали, какую злобу он душит в себе.

Тогда вот и вышла стычка у них с Сашкой Демидовым, голодранцем. А было так.

Столкнулись они случайно на лесовозной дороге: Александр, с топором за поясом, шёл по просеке, а Тит Щукотько лес вёз. Лошадь была заморённая, а Тит наворотил на подсанки два лиственничных хлыста и бил лошадь орясиной, как будто нарочно угробить решил животину. В том месте горка была, бугорочек обледенелый. Тит лошадь ударит с прикряком — она на колени, поднимется — он её снова то по боку,



---

то по хребтине — с такой дикой сладостью бьёт! Александр к нему подбежал по снегу, вырвал дрын — сам взбешённый.

«Старая ты сыромятина! Вот выведу из оглобель эту кобылу, а тебя вместо неё впрягу. И впрягу! А кобылу лягать тебя, старого шкуродёра, заставлю!»

Тит выпучился, дрожит, как в судороге: так всего перекорёжило, что слова сказать не может.

Александр распутал верёвку, скатил с волокуш одну листовницу, кинул вожжи Титу в лицо:

«Вези! Столбняк тебя взял... Да смотри наперёд, а то перед миром ответишь...»

С этим они разошлись на лесовозной дороге, а назавтра Тит Щукотько скоропостижно скончался...

Теперь мужики событие это припомнили, и гадали, как отнесётся к новому их председателю Пелагея Панкратьевна.

А Пелагея Панкратьевна встретила Александра Никитича с льстивой улыбкой, с поклонами.

Колхозный бухгалтер, Стёпка Иглицын, умирал под сморкание и слёзы жены, под Чернобуркины ахи-вздохи. О Стёпке нельзя было сказать, что он чахнет и тает: чем ближе смерть подходила, тем он опухал сильнее. Раздуло Стёпку до безобразных размеров, лицо отекло и стало синюшным, в рот чайная ложка едва проталкивалась.

Была много раз врачиха из Усть-Чижапки, докторов привозил из Каргаска Пал Палыч Иглицын, и все сходились на том, что это водянка. Лечили Стёпку от водянки, а ему становилось день ото дня всё хуже, и каждый видел, что Стёпке не выкарабкаться...

Пришёл старик знахаришка и тоже суждение высказал: «Вылечить не могу, но отчего такая болезнь приключается — знаю». Чернобурка, Пелагея Панкратьевна, стояла, руки скрестив, с печальным лицом, с вопросительным, чуть потревоженным взглядом. На слова старика знахаришки при Стёпке и ухом не повела, а когда старик в сени вышел, за ним пошла, спросила: «Так что ж за болезнь эта, не загадывай нам загадку — скажи!». Старик знахаришка ей ничего не сказал, но по селу от него такая быль-небыль распространилась: «Стёпку Щукотьки отравой травили, и эта отравка из пауков-сетников, крестовиков. Значится, если крестовика высушить, истолочь в порошок да к еде подсыпать, к питью, то человека начнёт раздувать и душить. И до смерти задушит».

И тоже — кто этому верил, кто нет, как всегда в народе. Судили да перешёптывались, а Стёпка тем временем помер. И после Стёпкиных родичей никто его так не оплакивал,

---

никто сильнее не причитал, как Физа и Пелагея Панкратьевна...

Физа прежде складно и ладно приматеривалась при мужиках и бабах, а тут ни одного худого слова не стало от неё слышно. А почему — скоро об этом все догадались: стало быть, показаться хотела красивому, неженатому Демидову ласковой, кроткой. Да и то: к Физиной полноте, красоте, к румянам, помадам кротость, застенчивость были не лишней прибавкой...

Не прошло и месяца после смерти Стёпки Иглицына, а Физа уже открыто приударила за Александром Никитичем.

## 14

На засольне, где Физа была приёмщицей рыбы, девки и бабы злословили у неё за спиной и ждали, когда зайдёт сюда председатель новый: хотелось им видеть, как Физа станет вокруг Демидова увиваться, а тот с непонятной улыбкой, не глядя прямо на пышную бабоньку, будет о деле спрашивать да советовать. За день Физа сто раз выскочит на пригорок взглянуть: не идёт ли сюда Демидов? А как увидит — огладит бёдра, складки на юбке расправит, чулки подтянет, косы толстые со спины на грудь перекинёт и ждёт.

Грузной, скорой походкой войдёт Александр Никитич, а Физа с улыбкой ему голосом сахарным:

«Ждали вас, ждали, думали — не придёте».

«А я вот пришёл. Я к вам всегда прихожу, без вас мне скучно».

«Ой-ой, неправда! — рассыпается смехом Физа, мелькает, крутится перед глазами: халатик на ней ненароком будто распахнут, груди под тонким платьем бугрятся — соски припухли и проступили. А глаза так и бегают, места себе не находят. — Это нам без вас скучно, не вам без нас. Ой-ой, заврались, Александр Никитич! На меня вы и в щелку не посмотрите».

«Я на всех смотрю во все глаза — роль у меня такая, председательская. А в щелку пускай шептуны да подглядчики смотрят».

Прыснули бабы: мол, съела Физка, ожглась! А та свою ниточку тянет:

«А зашли бы вечером в гости к нам — вот уж бы рады мы были! Матушка нынче пироги с язями печёт, румяные, духовитые».

---

«Да слышал я про то, как сладко у вас за столом потчевать любят... Но что-то боюсь: не будет ли косо глядеть на меня Пелагея Панкратьевна?»

«Что вы, что вы! Такому-то человеку, как вы, да не пора- деть?»

«Хм, вечерком, говоришь?.. А вот и приду! Но не один при- ду: невеста ко мне приезжает сегодня. Женюсь я: решился на тридцать-то третьем году... А Нюша моя молодайка, но, гово- рят, и я тоже ещё не старик! С ней вечерком и зайдём».

С лица Физы радость, как тень, сошла, а бабы, девки кру- гом носы в ладошки уткнули. Но Физа недолго стояла оглу- шённой, с толку сбитой. Или она не поверила председателю, или на чары свои понадеялась, только голову вскинула, от- ступила — и с вызовом: «Всё равно будем рады... А Нюшка чья же? Не та ли доярка с Берёзовки?».

«Та самая Нюшка и будет», — широко, как рукой развёл, улыбнулся Демидов.

«Поди, с бубенцами на вороных прикатит?» — Язва уже то- чила Физкино сердце.

«На телеге — не барыня. Мы люди звания простого: нам вороных не надо... Разве что сам возьму для разъезда конька покрепче да покосматее... чтобы мухи его не кусали!»

Смеялся над ней Александр Никитич, и Физа это хорошо- хорошо понимала...

В тот вечер вкусным духом и крепким дымом несло от до- ма Щукотек. Зря, что ли, все говорили на Эзель-Чворе, что Щукотьки муку из ларей берут без оглядки и сахар у них мешками стоит... Готовились в доме Пелагеи Панкратьевны к встрече.

Чернобурка умела гостей званых встречать — с улыбкой, с поклонами, сахарно; званые гости — люди не с ветру, перед ними всё вынь да положь. А незваных гостей, если такие за- явятся, Пелагея Панкратьевна принимала особенно льстиво: нальстит, нальстит и тут же подкусит, что впору назад беги.

Демидова усадили с Нюшкой на видное место. Физа и Пе- лагея Панкратьевна на стол соления, варения таскали, ста- вили жареное и пареное, и в последнюю очередь рыбный пи- рог принесли — как луна, круглый, с румяным, выпеченным крестом на корке. Илья Титыч «синенькой» четверть принёс, побулькал, поставил, со стороны смехотворно на четверть глянул и гостям подмигнул: одолейте, мол, попробуйте! Но взгляд Пелагеи Панкратьевны — недобрый, прицельный — кольнул Илью Титыча. Отозвала она сына на кухню, шепну- ла: «Не ставь свидетельницу на стол — вон там ей место, под

---

занавесью». А при всех у стола сказала: «Илюша, некрасиво бутыллице на столе гусыней стоять, снеси на место, мне там наливать удобнее. Я наливать буду, а ты гостей обносить пойдёшь».

И четверть «синенькой» уплыла обратно на кухню.

«А где же другой ваш сын, Пелагея Панкратьевна?» — спросил Демидов.

«Ох, гостюшка, болен он всё у меня — на чердаке спит».

«А я его как-то пьяным видал», — хотел сказать Александр Никитич, но промолчал.

Нюшка тихо, как сиротинка, с Демидовым рядом сидела, глаза под стол уронила: большие были глаза у неё, стеснительные. Чернобурка её уже всю ощупала, оглядела. Нюшка худенькая была, руки прятала на коленях, пригорбливалась. Сидит, сидит — выдернет руку из-под стола, смахнёт со лба волосы и опять под стол руку спрячет. Демидов с Ильёй Титычем говорили о чём-то — Нюшка не слушала их, своими какими-то мыслями захвачена вся была.

Сердце Нюшкино чуяло, с какой их целью сюда позвали, сердце её не обманывало. Физа глазами девчонку ест, а сама золотой змейкой вокруг Демидова увивается, воркованием своим, болтовнёй говорить ему с братом Ильёй мешает, с председателем бывшим. И это злит Нюшку, терзает. Простая девка она, тихоня, но гордая: вот так доведись — ни за что бы себя на одну доску с этой Физой-красоткой не поставила, не стала бы рядышком. О Физе худая молва облетела весь Васюган с вершины до устья. А про Нюшку хоть кто-нибудь слово дурное сказал? Ждала она его вот с войны, дождалась, никого к себе близко не подпускала...

Ломаться она не горазда была, Нюшка: поднесли полстакана «синенькой» — выпила; больше из-за того, чтобы смуту в себе погасить, волнение. И верно: «синенькая» её размягчила и успокоила. Лица сидящих стали приятнее, и уже стало казаться ей, что и Физа как Физа — услужливая, обходительная, и никакой золотой змейкой вокруг Александра Никитича не вьётся и её, Нюшку, глазами не гложет.

Неужели всё это давеча ей показалось?

С кухни Пелагея Панкратьевна знай рюмки носила: нальёт там «синенькой» и на подносе несёт, перед каждым любезно ставит. Нюшка ещё выпила, закусила; в третий раз поднесли — опять ломаться не стала... И не пьяна будто бы, и весело, и хорошо. В разговоры втянулась, песни запела: освоилась, вся расслабилась. Думает: «Славно всё-таки тут, весело, сытно...» И вдруг такая лютущая боль подкатилась — спасу-

---

терпения нет. Голова загудела, от жара крови дыхание стиснуло, в ушах звонко стало. От сердца боль перекинулась в низ живота — нестерпимые рези и схватки (позже она при родах боли такой не испытывала). Навалилась Нюшка на Александра Никитича, тот в испуге отвёл её на кровать — спрашивает, что с ней, понять ничего не может.

«Ох, девонька, ты в положении, а я, дура, тебе подливаю да подливаю!»

Пелагея Панкратьевна такой испуг на себя нагнала...

«Да ни в каком я не в положении, — мечется, стонет Нюшка. — Это вы тут какой-то отравой людей неугодных поите! Вы только с виду гостеприимчивые, а сами, сами... Князьки эзель-чворовские!.. Ой, лихо мне, лихо! Ой, помираю... Слыхала про вас я, слыхала! Любите вы вот так-то вот, любите... людей изводить... О-оо, Саша, Саша, уведи меня отсюда! Коли помру, так лучше уж дома...»

«Божечки святы! — выпучила глаза Пелагея Панкратьевна. — Что это ты говоришь несуразное? Так-то вот человека хорошего и обидеть можно на веки вечные. И не стыдно тебе? За добро-то моё, за хлеб-соль?»

«Отчего же тогда всем хорошо, а мне одной плохо? Ой-ой!»

«Много, дева, пила. С непривычки «синенькая» здорового с ног валит... Желудок, стало быть, плох. Отчего ты такая худая?»

«Спасибо за угощение», — сурово и трезво сказал Александр Никитич, склонился над Нюшкой, ладонь ей ко лбу приложил — закрыл поллица Нюшке.

«Уйдём, уйдём отсюда!»

Поднялась Нюшка — белая, с чёрными тенями под глазами. Взял Демидов её под руку, насупившись, двинулся к выходу. Тут стали его останавливать: Пелагея Панкратьевна, недоуменный Щукотько, а порывистая, вся огненная Физа вцепилась двумя руками в плечо ему, повисла, привстала на цыпочки, жмётся грудью — так в сени на нём и выехала. Демидов плечо резко убрал, шагнул — Физа отстала, охнула с болью, со всхлипом.

«Поди сюда, дочь!» — раздался с порога властный голос Пелагеи Панкратьевны.

Илья Титыч сидел один за столом, вертел полный стакан в руках, мотал головой с присвистом. Выпил до дна, сказал: «Так вот, матушка, так вот, сестрица... Ели, пили — и всё погубили. Терпежу у вас нету, матушка».

Физа в истерике плакала — не скрывалась и не стеснялась...

---

После свадьбы Демидова с Ньюшкой Физа, как говорили на Эзель-Чворе, «горячку спорола»: с одним бородатым геологом спуталась, начальником съёмочной партии. В тот год впервые на Васюгане геологи появились; поговаривали, что будут здесь скоро нефть разведывать, газ. Физа сезон проходила с партией поварихой, а после геолог увёз её в город. И все считать стали, что Физа навечно теперь исчезла отсюда, городской дамой заделалась.

Но не прошло и полгода — вернулась она домой. Телом сдала, красотой поблёкла: длинные, чудные косы свои отрезала, кудряшки мелкие завила...

С Демидовым она встретилась сухо, колюче. Попросила принять её снова в артель. Как раз приближалась страда сенюкосная, и Физа уехала на луга.

## 15

Скороходами, далеко опередив остальных, пришли на Успенку Сердитов-Корова, Тяпин-Дюхарь, Мельник-Цыля, и, чуть приотстав от них, пришагала девчонка с косами, круглым лицом, голоногая — коленки ободраны, икры расчёсаны. Тучей вились над ней комары, она дёргалась то рукой, то ногой, махалась истрёпанной берёзовой веткой, а глаза её — не то карие, не то чёрные — упрямство и озорство выказывали. «Эх вы, задавульки, — говорили её глаза мальчишкам, — вы впереди, и я за вами, вы по кустам, через кочки вброд, и я туда же. И нигде я от вас не отстала!»

— Прётся за нами и прётся, — с какой-то мужской пристыженностью сказал усталый Сердитов. — Мы бегом, и она бегом. Никак не могли от неё оторваться. Ну, Ольга-Пончик!

— Слабачки! — Девчонка топает мимо и награждает мальчишек кривой улыбкой и косеньким взглядом. — Да если б ещё не заноза...

Ольга-Пончик чуть-чуть прихрамывала, припадала на левую пятку. Дошла до спуска, скатилась к реке, села там ноги мыть и занозу вытаскивать. Косы свесились над водой, обмакнулись концами — река их покачивает, за собой тянет.

— Василиса Прекрасная, — в нос говорит Корова и показывает с пригорка девчонке оттопыренные губы.

А девчонка с занозой справилась, полощет ноги в реке и глядит на закатное солнышко. Солнышко озаряет её, обли-

---

вает мягким теплом, как бабочку, как стрекозу смирную на цветке.

Максим от ребят отошёл, ногу поставил на пень — вроде ботинок расшнуровался, зашнуровать надо. Перевязывает шнурок, не торопится, и на Ольгу-Пончика одним глазом смотрит. «Это она звала меня на качелях тогда качаться. А когда мы с Кочером подрались, в коридоре мне улыбнулась... Ольга-Пончик!»

Гошка Очангин в карманы шишек сосновых набрал и стал ими в Ольгу пулять: кинет и отвернётся, переговаривается с дружками как ни в чём не бывало. Шишки всё мимо Ольги летят, падают то возле, то совсем далеко. Вода негромко взбулькивает, течение сосновые шишки подхватывает и уносит их в заводь. Ольга голову повернула, как утка, смотрит через плечо, всё видит, но долго молчит. А Гошка швыряет шишки, не может никак попасть.

— Эх ты, меткач! — говорит она с подковыром. — Наиграешься — свистни.

Гошка перестаёт, подпрыгивает на месте, хватает кепку с Коровы — кепка крутится в воздухе.

— Ура-аа, показались! — кричит Гошка, и голосом неумелым, бесцветным, как скрип телеги, затягивает на свой лад:

Вдоль по улице дистрофики иду-ут,  
Увидали — хлеб коммерческий даю-ут..

Длинной цветастой цепью тянутся луговой дорожкой человек полста мальчишек, девчонок, среди них замешались взрослые; Максим узнаёт Иглицына, Вассу Донатовну, и это сильной, какой-то необъяснимой радостью отзывается у него в душе.

— А с ними Агнейка-Щучка! — шёпотом вскрикивает Очангин и протирает глаза: с той стороны солнце слепит. — Вот поднапёрло нынче воспеток! Вжарят же им комарики: воспетки все на комариков хлипкие.

— Я в книжке недавно вычитал, что комаров в Италии называют занзарони, — с чего-то вспомнилось вдруг Максиму.

— Комары — это москиты, — сказал Корова и потёр лоб кулаком.

— Иди ты! — пихнул его Гошка. — Комары и комары, тварь надоедливая...

«Гошка книжек почти что и не читает, — подумал Максим. — Ему бы только рыбалка, охота... Подожди, зимой я тебя буду книжками пичкать, заставлю...»



---

Гросс выскочил на берег, из-под кургузой ладони толпу выглядывал. От нетерпеливого напряжения рот у него покривился, верхние зубы выставились. Агнейку высмотрел, оторвал руку от глаз, мазнул языком по губам, поскрёб живот под рубахой, и опять показалось Максиму, подумалось, что это работник Балда, только большого мешка ему не хватает, бесёнка, верёвки и зайцев.

Илья Титыч, завхоз, с белым новеньким черенком от литья в руках, с задумчивостью проговорил громко:

— Вот и банда-команда! Всю травку выскребем, стожки по лугам выставим... Со всяким народом работал, а с мелким таким — никогда. А мелкий-то, видно, лучше, послушнее будет. Или не так?

Скоро тихая, малолюдная Успенка стала похожа на шумный цыганский табор. Галдёж, беготня, толкотня за места в бараке; девчонки устраиваются в одной половине, мальчишки в другой. Мешки, мешочки, баульчики, где у каждого что-то своё, припасённое, и детдомовское — смена белья, матрацовки. Матрацовки бегут набивать свежим сеном, застилают тонкими одеялами. В бараке сразу установился запах сухой травы и молодых разомлевших тел. По круглым ступенькам лестницы орава мальчишек полезла захватывать чердак, но Андрей Гросс весёлым криком остановил ребят:

— Занято, занято... Там я себе положок натянул...

Мальчишки горохом скатились с лестницы, загоготали, проказники: мол, знаем, знаем, зачем тебе положок!

Гросс показал им глаза страшные, кулаком помахал и тоже смехом рассыпался.

— Вы будете с нами или к девчонкам уйдёте? — спрашивали ребята Вассу Донатовну.

— Я с вами, с вами. У девочек будет Агния Ивановна... Я книг интересных с собой захватила: будем читать вечерами и в дождь.

Илья Титыч увёл Иглицына в дом Горлачей, а сам вернулся продукты выдать, чтобы дежурные ужин варили. За полученные продукты расписалась Агния Ивановна: ей дежурство сегодня выпало, первое, полевое. Худая, высокая, она вытирала лицо платочком, переступала длинными ногами в кирзовых сапогах, жаловалась, что ей одну ногу натёрло — как кипятком жжёт.

Гросс притащил на загорбке котёл чугунный вёдер на пять, установил его на кирпичах под навесом. С Агнейки-Щучки он быстрых и ждущих глаз не спускал. Она села на землю, на

---

бугорок, протянула ему грязный сапог. Андрей усердно склонился, стащил сапог, портянку с ноги размотал.

— Ну, так я и знала, до крови, — сказала Агнейка-Щучка таким тоном и голосом, как будто весь свет был перед ней виноват.

— Босиком бы шла: и мягко, и ноге вольно, — угождал ей Гросс.

— А змеи? Пока лугами шли — мальчишки трёх убили.

Андрей поймал себя за ухо и красные щёки надул.

— Я опять положок приготовил на крыше. Лестницу заново перебил и дёгтем смазал, чтоб не скрипела! Теперь хоть на небо по ней лезь!

— Тише, дурилка: ребята кругом...

Андрей лицом поглупел, завертел головой, как филин, отошёл от Агнейки-Щучки.

Утром был рано подъём. Чистое, без пятнышка и морщинки, небо, река, прикрытая редующим слоем тумана, отпотевшая за ночь земля, трава, поседевшая от росы, чёрная, потная сталь литовок под навесом. На кухне дежурные, вставшие раньше других, доваривали котёл манной каши на молоке, чай кипятили в ведрах.

Поднимались сначала вразвалку, враскачку, позёвывая, поёживаясь после крепкого сна, глаза протирали пальцами. Но проходили минуты, и вот уже слышалось бульканье, фыркание в речке, крикливая радостная возня, барахтанье тел. Этот шум первых купальщиков скоро затягивал в реку всех, и солнечный утренний Васюган пестрел мокрыми ребячьими головами.

В ночь, когда все спали, пришёл неводник с продуктами. Иглицын ребят не велел тревожить — перед первым горячим днём надо им было выспаться. Неводник разгружали взрослые, а из ребят с ними был только один Оська Кочер. Спал он в сенях у Горлачей рядом с Щукотькой, и, когда скрип уключин и голоса разбудили Илью Титыча, Оська тоже поднялся. Иглицын уже был на берегу, разжигал яркий костёр для освещения. Оську он послал дрова собирать, и тот натаскал ворох сучьев и палок. Потом Оська носил ящики с консервами, поскользнулся на глине под яром; ящиком ему по затылку стукнуло, он матюкнулся с вывертом, а дед Малафейка сказал:

— Ты от чёрных словес отвыкай. А то буду язык ляписом прижигать, или того — осупоню.

Накануне прихода ребят у Горлачей из кладовки пропало медвежье топленое сало: открыла бабка Пана берестяной туесок, а там в сале дырка прокопана. «Ах! Ох! Ополовинили!

---

Обокрали!» Дед прибежал, Илья Титыч. Поглядели, пошарили — ни руки, ни ноги никто не оставил. Подозрение было на Оську, но Оська отпёрся. Дед Малафейка пообещал волчий капкан поставить в кладовке и оттрепал Кочера за вихор...

Неводник разгрузили, Оська спать не пошёл: костёр подшевеливал, с Иглицыным разговор завёл про звёзды и про луну, а после, в потёмках ещё, полез в Васюган купаться. Далеко заплыл, рябь и зыбь на тихой воде поднял, дорожку красную — от костра отблеск — на куски расколочил. Пал Палыч ему не мешал, похвалил даже, что это полезно — в парной воде плавать.

— А кем ты хочешь быть на покосе? — спросил Оську Иглицын.

— Кобылам хвосты завязывать... Не знаю.

— Косарём поставим. Хочешь со мной прокосы гонять?

— На спор? Кто быстрее?

Утром Оська не плывал в реке со всеми, и Васса Донатовна, с полотенцем, накупанная, румяная, спросила его: почему? Оська сказал, что его «мандраже бьёт с ночи».

Васса Донатовна не поняла.

## 16

Каждое лето детдом выкашивал луга на той стороне Васюгана, сначала против Успенки, потом продвигался в направлении Эзель-Чвора, пока там не сталкивался с колхозными косарями. Никакой работы другой детдомовцы так не любили, как сенокос. Приволье, ароматы цветов и трав, озёра, ночи в больших балаганах, приключения и озорство.

«Мишка поддел на вилах змею, а девки как завизжат!»

«Ребя! Когда он ей лягушонка сунул под платье, её чуть родимчик не взял!»

«Собака ноги об литовку обрезала, так заскулила, бедная. Легла под копной — зализывает...»

Максим вообще ликовал на покосе.

Косили бригадами в разных местах: «за ручьём», «за протокой», «в конце Большой гривы». Рассыпались, раздробились, разбрелись по лугам во все стороны. К обеду же собирались в одно постоянное место, к многоведёрному котлу, к бидону с чаем. С чашками искали себе местечко в тени, где поудобнее, под кустами, перекликались:

«К нашему стану хлебать сметану!».

---

«К нашему шалашу хлебать лапшу!»

Весело ели, как не давились только...

Гонял большие прокосы Пал Палыч Иглицын, вымахивал вокруг себя чисто и широко: Андрей Гросс едва поспевал за ним с короткой литовочкой. Пойдёт за директором — угнаться не может: блестят лопатки от пота, солёные струи текут по сусалам, шея краснеет, на коротких руках мускулы перекатываются. Пропустит Иглицын Андрея вперёд, подождёт, пока тот махнёт раз двадцать литовкой, и только потом в густую травичку врежется. На косьбе Иглицын вынослив был, и сердце тут не мешало, контузия. Стелются впереди него полукруглой дорожкой цветы и травы, исходят своим зелёным, сладко-угарным запахом. Гонит прокос Пал Палыч, как танец какой танцует: с присядочкой. Обернётся Андрей, покажет в улыбке зубы, а директор его уже опять поджимает, опять траву на пятки ему набрасывает.

— Бритко у вас литовочка ходит! — говорит Гросс, суетно смахивая рукой солёные капли с губ. — Наладил на свою голову.

Пал Палыч вытирает лицо подолом нижней рубахи, сдвинутые очки едва не падают на траву.

— Выдохнусь скоро: не могу долго с такой перегрузкой косить. Вот уж и задышался, и голову перекалило. — В чёрных мокрых кудрях травинки зелёные впутались, глаза устало помаргивают за отпотевшими стёклами. — Прежде добрый я был косарь, не дашь соврать.

— От вас я косить научился, как же не помнить! — смеётся Андрей, вытирая свою литовку пучком травы.

Пал Палыч привстал на цыпочки, косу на куст повесил.

— А знаешь, Андрей, почему тебе тяжелей моего? — глядит на Гросса пристально, по голосу — вроде шутит, а на лице — ни смешинки, хоть бы в одном глазу искорка хитрая засветилась. — Днём — работа, и ночь без отдыха... Я в это дело, Андрей, не вмешиваюсь, а говорю тебе потому, что она воспитательница, что кругом вас дети. В понятливости им не откажешь. Вспомни-ка, сам какой был в эти годы?

— Да это всё так, — покачивает головой Андрей Гросс, не поднимая на директора пристыжённых глаз. — Я вам сейчас даже вот в чём признаюсь... В детдоме... тогда... бегал я вечерами к бане, в окошко заглядывать, когда там бабы мылись.

— Да неужели? — удивился громко Пал Палыч. — А я и не знал, чем воспитанники мои занимаются... Но ты у нас старшим был из всех, можно сказать, жених.

---

— Пал Палыч, а если я поженюсь на ней? — в сильном смущении спросил Гросс.

— Не знаю даже, что и сказать, — призадумался Иглицын. — Наверно, плохая она будет тебе жена...

Дед Малафейка шёл сюда по выкошенному. За озёрами, на чистой гриве, он учил косить новичков — пятый день с ними мучился. Себе в помощники он сам выбрал Максима: уж так поглянулось ему, старику, как этот парнишка косит. Когда Максим взялся за дело, то дед Малафейка понял, что ему самому теперь почти и заботы нет: Максима ребята слушались, и показывал он им приёмы косьбы как следует. Дед скоро переложил всю опеку за новенькими на Максима, а сам бродил от бригады к бригаде, от косарей к стогомётчикам, смородину чёрную рвал в берестяной кузов, а то ловил язей на песчаной косе под яром.

— Перекур с дремотой? — приподнял дед на макушке помятую шляпу, слегка поклонился. — Я тоже там покосил мало-дело — поясницу перехватило, так болью и перепоясало. Хожу по лужку, спотыкаюсь... Там за меня Максим управляется, бойкий парняга... А у вас как?

— Середне, — проговорил, веселея, Андрей: он и вправду обрадовался, что дед Малафейка к ним подошёл, разговор щекотливый прервал.

— Работают новички, ничего? — спросил Иглицын.

— За энти дни гектаров десять травы измяли... идёт на поправку дело: косят уже, не мнут. Говорю, что парнишка тот умно с ними ладит...

— Так-так, — довольно сощурился Иглицын. — Быть по сему...

В обед Максим деловито подсел к директору: тот с газеткой в тени лежал, перечитывал что-то.

— Пал Палыч... Неправильно, что мы работаем здесь от зари до зари. И устаём, и делаем мало. Завхоз ходит, на всех покрикивает, подгоняет, а толку от этого мало. А ребята у нас не ленивые вовсе, нисколько! Просто надоедает косить им, грести целый день. Посмотришь после обеда — все вялые, лишний раз не хотят нагнуться, еле руками водят. И опять не от лени, нет. Потому что весь день в упряжке и не видно, кто сколько сделал...

Пал Палыч свернул газету, запихнул её за хромовое голенище.

— И что же ты предлагаешь, Максим? Говори.

— Давайте каждому будем давать задание... Вот тебе столько-то выкосить, тебе столько-то сена сгрести или ко-

---

пён поставить. Отработал, сделал своё — и свободен, беги на озеро рыбу удить, или смородину рвать, или в лес по грибы. Знаете, как тогда будут стараться?

— Это ты хорошо говоришь. Вечером непременно помаракуюем... А как к тебе Кочер относится?

— А никак. Ни он ко мне, ни я к нему... Тихий он стал какой-то. Покосит — покурит, покурит — на небо посмотрит, на траве повалится. Он от всех в стороне.

— Ты с ним не пробовал заговаривать?

— Нет, Пал Палыч... Наверно, мы не хотим видеть друг друга.

— Враги?

— Не знаю...

Дело живее пошло, как стали ребятам давать задания. Часов до трёх-четырёх почти все уже управлялись, Илья Титыч шёл принимать работу и «давал вольную»: беги, запузыривай — у лета соблазнов много.

Сам Максим старался и сделать побольше, и других опередить. В работе он находил радость, как в большой интересной игре. Васса Донатовна теперь относилась к нему с особой заботливостью — Максиму даже немного не по себе было от этого, хотя и приятно. Максима слушались, говорил он с ребятами ровно, спокойно, не обзывал никого, пальцем не трогал. Скромно держал он себя, примерно, но в душе хотелось ему показать себя всем как бы с какой-то горки, чтобы все-все его видели и, главное, Ольга-Пончик.

На днях Ольга-Пончик была дежурная — суп разливала. Максиму набухла чашку с краями, два куска мяса ему положила, а всем другим только по одному. Максим смутился, наплескал суп на ботинки, и все, кто был рядом, заметили это. Будь на месте Максима другой кто, над ним стали бы потешаться, закидали бы колкостями, как репьями. А тут все сделали равнодушный вид. Один Кочер смерил его нагловато-трусливо и отвернулся тут же.

Это потом весь день раздражало Максима, как заноза под ногтем. До вечера был он угрюмый, махал литовкой, как чёрт, и столько в тот день работал, что выкосил целиком большую гриву, с полгектара, не меньше. Илья Титыч сказал тогда, что в колхозе Максиму за это записали бы трудовдень.

Подхваляли Максима то завхоз, то директор, а Максим к похвалам не привык и от похвал тушевался, хмурился. Пал Палыч заметил это и однажды сказал:

— У нас все хорошо работают. Если так, то нынче рано с покосом управимся...

---

...Оголились луговые озёра, трава вокруг них полегла, высохла, поднялась копнами, матёрыми стогами. Изменилась картина, лицо земли. Рыжий ветер шумит, ерошит сухое сено, качает осоку, что осталась каёмкой у круглых, кривых и длинных озёр; Максиму озёра теперь кажутся остриженными, как овцы по осени. Тальники серебряные под ветром раскачиваются; осинки напоминают Осиновый остров, тот день, такой же вот ясный, погожий и ветреный, когда с Манефой они первый раз на остров пришли. Она стояла над самым обрывом, над омутом... «Наверно, важная стала, совсем большая, красивая. Где-то теперь она в городе учится. Может, когда и увидимся, и я её сразу, конечно, узнаю, а она меня нет...»

Опять кашеваром была Ольга-Пончик, и опять Максиму бухнула каши с горой, да ещё с присказкой: «Ешь, наводи тело». После сунулась носом себе в плечо, засмеялась.

За Максимом Оська Кочер порцию получил, сел в стороне, перекидал ложками в рот горячую — не обжётся! И первым подался на свою гриву косить. А гривы у них с Максимом были рядом.

— Стахановец! — опять прыснула Ольга-Пончик. — Пошёл рекорд ставить.

«И чего, дура, смеётся, — подумал Максим, — смешинка в рот попала».

Максим измерил глазом невыкошенный клин, подсчитал в уме, сколько надо ему будет пройти прокосов, и свернул в кусты, чтобы поесть смородины. Было чёрной смородины здесь видимо-невидимо, нигде никогда столько смородины он не встречал. Кусты с крупными, чуть прихваченными пылью, мутными ягодами провисали в траву, гнулись к самой земле. Впрок никто её здесь не рвал, но наедались все до оскомины, и только, пожалуй, одна Агнейка-Щучка, которая от жары изнывала и работать была ленива, собирала ягоду с дедом Малафейкой: бабка Пана обещала и ей наварить в зиму варенья. Покажется среди косарей или сгребальщиков Агнейка-Щучка, посмотрит, как люди работают, и уйдёт восвояси. Никому не мешала и ей никто не мешал. Пал Палыч, правда, заставлял её чаще других дежурить, следить за обедом, терпел её, как терпели другие, а сам, не в пример ей, изо дня в день работал, пока не пришло ему время в Чижакку ехать.

Максим поел смородины, прохладной, душистой ягоды, снял с талины литовку: тонкая была она у него, с ровно оттянутым жалом, с хорошо выгнутой пяткой. Подправил он жало брусом, оставил брусок на валке сочной, вчера сваленной травы, размахнулся и подбрил первые былки. Дальше —



---

больше, взмах за взмахом, налегает, давит с плеча — живот к позвонку подтягивает. Что за дьявол — не идёт сегодня литовка, мнёт траву, цепляет. Упрел, употел, измучился: и точил, и травой протирал — не помогает..

Видит: Оська раньше его отмахал, косу на куст закинул, мимо Максима краем прошёл, на ходу папироску скручивал, побычился взглядом... А Максим не поймёт, что с литовкой случилось, почему он сегодня даже от Оськи отстал.

Машет со злости, рвёт с корнями траву, руки все отмотал, потом солёным истёк, раньше времени голод почувствовал. У балагана почти все ребята собрались, отработались, а он — заласканный и хвалёный, закормленный Ольгой-Пончиком — торчит на гриве один, как дурак.

Как раз подходил завхоз к нему, шёл сюда от дальней бригады стогомётчиков. Максим подбежал, пожаловался растерянно.

— Ах ты, наказание какое! — ухмыльнулся Илья Титыч. — Ну и проказник кто-то — умно, дьявол, сообразил. Ведь литовку тебе салом намазали. Ты сам-то, что — не догадался? Завтра потри её керосинчиком, а так — сколько ни бейся — без толку..

«Ничего я ему не скажу, Кочеру, но это его работа...»

## 17

Первый раз за покосную пору налетела гроза, ливнем прошла по лугам, подняла пузыристую рябь на озёрах. В этой ряби мотались головы жёлтых и белых кувшинок, капли, как дробь, щёлкали по лепесткам и листьям, сбивали пыльцу, загнали утят под затишье осоки. Стога прилизало дождём, пригладило им бока; в валках взмокло и сплостовалось не сложенное в копёшки сено. Тучи стегали друг друга молниями, оплетались огненными хлыстами, оглушали себя и землю громом. Народ, мелкий и взрослый, спрятался кто где был застигнут: под копнами, в балаганах, под стогами и под деревьями. Перекликались с визгом девчонки, мальчишки показывали грому и молниям кукиши.

Ушла, скатилась гроза, засияло чистое небо, умчался, за тих рваный сырой ветер. Успокоилась гладь озёр, как утюгом калёным по ней поводили, радуга перекинула мост: одной ногой на Успенке стоит, другой в Кривое озеро ступила. Цветы и травы такой аромат в воздухе навели, что, кажется, вот

---

приподнимет тебя над землёй с испарениями вместе, растворит в медовом том воздухе, закружит и унесёт. Всем телом дышишь — пяткам щекотно. Эх, сбросить ботинки и побежать по мокрой, косматой траве, выкупаться, исхлестаться цветами!.. Васса Донатовна и то разулась, от копны к стогу идёт, улыбочиво в небо голову задирает. Не видит она никого, не замечает: сама с собой говорит. Максим настораживается и замирает..

Он слышит стихи — Васса Донатовна их читает вполголоса:

«Под величавые раскаты далёких, медленных громов встаёт трава, грозой примята, и стебли гибкие цветов. Последний ветер в содроганье приводит влажные листы, под ярким солнечным сияньем блестят зелёные кусты. Всеохранительная сила в своём неведомом пути природу чудно вдохновила вернуться к жизни и цвести».

«Вернуться к жизни и цвести», — повторяет Максим, чувствуя под лопатками колючий холодок. Он догоняет, почти пугает Вассу Донатовну.

— А кто это, кто написал?

— Александр Блок... Был такой очень большой поэт, — тихо сказала Васса Донатовна; юбка на ней была мокрая, по голым икрам стекала вода.

— Больше Пушкина?

— Так, Максим, нельзя сравнивать... Каждый великий художник велик по-своему.

— А вы что-нибудь почитайте ещё... из Блока...

— Сегодня в бараке... Вот соберёмся все...

Мчался вприпрыжку Гошка, махал длинным, упругим удилицем.

— Скорее! Окуни в озере прыгают. Ух, какой будет клёв после дождя!

— Не хочется мне сегодня. Иди один порыбачь...

Ливнем с травы посшибало жучков на землю, букарашек, улиток и гусениц, но только брызнуло солнце, утихла буря, как вся эта мокрая и ослизлая живность полезла по стебелькам вверх. Посмотришь — там прилепилась улитка, выставила рогульки, ощупывает ими впереди себя, лезет повыше, чтобы жаба её языком не слизала; там паук-крестовик повис на канате под сеткой — качается, из ячеек бисеринки вытряхивает; запрыгали зелёные кузнечики, вытаращивая глаза; стрекозы, как маленькие аэропланы, поднялись над цветами, стригут прозрачными крылышками.

Всё оживилось, помолодело, обрадовалось.

---

Нагульные, ещё не измученные работой кони блестят покатыми спинами, крутыми холками; жеребята возле кобыл качают, дёргают ласково мордами, обмахиваются хвостами — сытые, вымытые. Сколько видно озёр кругом — на всех паутина туманца; утиные выводки из дремучей осоки выплыли, нежатся в солнышке.

«Всеохранительная сила... Всеохранительная!»

Максим убыстряет шаг, незаметно для самого себя переходит в размашистый бег и пускается, минуя стайки мальчишек, девчонок, к васюганскому перевозу.

Нет для него удовольствия лучше, чем бежать, не торопясь, луговой вытоптанной дорогой, мокрой и мягкой после дождя... И подмывает мальчишку самого заговорить стихами, запеть, чтобы все-все услышали. Уже не раз втайне, никому ничего не показывая, царапал он огрызком карандаша на клочке бумаги... Стихи не стихи — сам не знает что. И так же не раз хотелось ему показать это Вассе Донатовне, ей одной, и никому-никому больше. И всегда он робел до стыда, до смущения: смелости не хватало, какой-то необъяснимый страх мучил...

На Успенке — ясно видать через реку — из трубы горлачёвского дома дымок выползает в умытое небо: наверняка бабка Пана переводит смородину на варенье.

Ребята переезжают на покос в большой, полуневодничковой лодке, а дед Малафейка — на карапузистом обласке. С покоса он возвращается, когда захочет, и перевоза не ждёт.

Обласка дедова на этом берегу уже не было, а неводник стоял, сильно залитый дождём. Максим взял рулевое весло и выплескал из отсеков воду. Времени на это ушло немного, отставшие подойти ещё не успели. Максим разделся, стянул ремешком одежду, положил её в корму лодки и вошёл в воду. После дождя вода казалась теплее и мягче. Течением несло пузыри, кружило в заводях пену и сор, смытый с берегов дождевыми потоками. Кулички друг за дружкой ухлёстывали по травянистой кромочке берега, и только они одни наполняли криком пространство. Максим забрёл в реку до подбородка, оттолкнулся от дна и вздрогнул от неожиданности, когда услышал:

— И я с тобой! Подожди!

Крутнулся Максим, хлебнул тепловатой мутной воды: Ольга-Пончик на берегу мокрое платье через голову стаскивала, в узком разрезе ворота подбородок застрял и коса. Сдёрнула платье, замотала в него сандалеты, выдернула у самой воды корешок земляного ореха и привязала им узел на голову.

---

«Находчивая, — улыбнулся Максим, — как мальчишка».

Ольга взмахнула руками — такая толстушка в белом лифчике, белых трусиках, побежала к воде, давит пятками скользкую жёлтую глину, чтобы не раскатиться и не упасть.

— Куда ты лезешь? Тут широко, быстрина — не осилишь!

Максиму кажется, что он говорит это строго, с пренебрежением даже, но слова у него разрываются, мнутя, вода приглушает голос, сдавливает и горло, и грудь. Он крутится на одном месте, как бутылка в воронке, течение мало-помалу относит его, отдаляет от полуголой девчонки. Ни с чем не мог бы сравнить он этого чувства, какое переживал сейчас: ни во сне, ни в яви не видал он ещё, чтобы девчонка так смело и просто разболокалась перед ним и стояла под зелёным мокрым кустом в белых трусиках, белом лифчике. Сумасшедшая это была для него минута, когда сладкий, томящий стыд, жадное, как огонь, любопытство и какое-то смутное ощущение своей мужской молодой силы боролись в нём. Да, он хотел, чтобы она вошла вслед за ним в воду, поплыла бы с ним рядом, сильным дыханием выталкивая изо рта фонтанчики, и на солнце эти фонтанчики вспыхивали бы радугами, маленькими, как подковы. И слова у него сами собой в мыслях явились ласковые, зовущие: он уж не прогонял её, а кричал другое:

— Ты что, ошалела? Но если ты не боишься, то скорее плыви, плыви!

Ольга-Пончик шагнула, раздвинула телом воду, встряхнулась уткой и упрямо пошла толчками, по-бабьи, наперерез реки. Впереди неё вал скрученным полотенцем катился, сзади косы металась по сторонам змейками: вертит головой девчонка и улыбается.

Максим подождал и поплыл рядышком, переворачиваясь с боку на бок, как в мягкой постели. Молчал-молчал и хрипло выдохнул:

— Плыви тут из-за тебя по-собачьи. Один-то я бы давно на той стороне был.

— А вдвоём зато интереснее. И нисколько не боязно. — Ольга-Пончик голову прямо держала: боялась платье своё замочить. Но чёрный корень земляного ореха вдруг развязался у неё под подбородком и узел с макушки упал в воду.

— Ай! — испуганно вскрикнула Ольга-Пончик, но платье успела схватить. А сандалеты стали вглубь погружаться. Максим щукой нырнул за ними — за ремешок ухватил только одну.

— А вторая? — растерянно и куражливо выговорила девчонка.

---

— Вторая в Чижакку поплыла, против течения. — Максиму хотелось смеяться над глупым Ольгиным видом. «Глаза по ложке, губы красным сердечком — умора!» Представил себе, как идёт она, вышагивает в одной сандалете, скачет сорокой по выкошенному — колет былками ногу небось! Наверняка знал, что бесполезное дело искать в воде сандалету, которую уже унесло течением далеко от этого места, но солдатиком, вытянувшись в струну, он достиг мягкого дна, перевернулся, пошарил, захватил горсть илу и выбросился наверх.

— Нету! Фу! Видишь, до дна дошёл... Привязывала бы крепче.

— Э-ей, Макси-им! — орал с той стороны Васюгана Гошка Очангин. — Не ныряй, там коряги-ии!

«Без меня не остался рыбачить... Без меня ему, видно, скучно».

В лодку на том берегу заскакивали ребята, стучали в борта гребями, и вместе с их голосами эти деревянные звуки, рождающая робкое эхо, скользили по тихой воде...

За утопленную сандалету Васса Донатовна не ругала, но выговорила:

— Живём не богато, многого взять ещё неоткуда: давно ли война кончилась? Вещи беречь надо.

Максим поглядел на свои крепкие рабочие ботинки из настоящей кожи и со шнурками, вспомнил «бухалы», в которых он по Сосновке бегал: подошва берёзовая, голяшки — фуфачные рукава, перевёл взгляд на реку, на дальнюю отмель песчаную. И вдруг побежал молчком.

Вернулся он ухмыляющийся, довольный, нагнулся и положил перед Ольгой-Пончиком утерянную сандалету.

— Не догадался сразу... Течением на косу вынесло.

— Нашлась бабушкина потеря у дедушки... гм, гм, — покряхтел Илья Титыч, сматывая волосяную вожжовку. — Смекалистый парень.

На зелёном душистом сене, раскиданном по всему полу барака, детдомовцы умостились слушать Вассу Донатовну. В руках у неё была книга в синей обложке.

Отцепив с гвоздя марлю снаружи, в окно просунулся Оська — встретился вороватым взглядом с Вассой Донатовной.

— Заходи, заходи, Ося, — позвала его Васса Донатовна. — Мы читать собираемся...

И он послушался, к удивлению Максима.

---

К концу подходила первая половина покоса. Луга против Успенки все оголили, время пришло перебраться отсюда в сторону Эзель-Чвора километров за восемь.

Завхоз накануне вечером что-то солоно поругался с Андреем Гроссом из-за коней, перевоза сенокосилок и грабель, и утро для конюха началось с неприятностей.

От детдомовского покосного стана близко стало теперь до эзель-чворовских косарей. Под берёзами у протоки стояли навесы, длинные низкие балаганы, вольно паслись молодые кони; дым от костров перемешивался с припоздавшим туманом.

На осоке близ озера виднелся разбросанный невод: колхозные косари сами себе ловили на пропитание рыбу. Детдомовцы даже заспорили, у кого лучше: у них здесь или там, у чужих балаганов?

Илья Титыч вскочил на коня без седла, дрыгнув ногами, сказал:

— Сейчас узнаем, чья каша слаще!

И ускакал к эзель-чворовцам.

— Физу, сестрицу, проведать, — поморщился кисло Гросс: он всё ещё зол на завхоза был.

— Васса Донатовна, а можно сбегать туда, посмотреть? — спросил Максим, зашнуровывая ботинки.

— Сходи, да скорей возвращайся: ночлег устраивать надо...

У эзель-чворовских балаган балаганом, ничем не лучше, не хуже детдомовского, только дрова рядом — роща берёзовая, да невод на озере. Невод Максим оценил с одного взгляда: новый, с большой мотнёй; в такой если уж черпанёшь рыбы, так сразу на сто человек. А народу у эзель-чворовских мало. Мужички, бабы... Какие-то молчаливые, вялые, будто голодные или не выспались. Два школьника копновозами ездят и тоже варёные, на бойких детдомовцев непохожие. Максим стога сосчитал, разбросанные по гривам между озёрами.

«У нас побольше намётано, и у нас веселее...»

В балагане, выставив ноги в бахилах, лёжа на животе, Илья Титыч разговаривал с женщиной (она в глубине балагана была, невидимая). Илья Титыч вполголоса, осторожно слова ронял, а женщина говорила зло и капризничала, словно её перед этим побили и она не успела выплакаться.

— Перешла она мне дорогу, ох проклятущая, — доносился её гнусоватый голос. — А если бы мне давануть, с неё бы гуща поползла.

---

— Слава богу, до этого не дошло... Последнее дело, сестрица, когда бабы между собой дерутся. Ты об этом и помышлять забудь. И так про нас что говорят, не слыхала? Худые, мол, люди Щукотьки, такие в ложке утопят.

— Знаю, какой про нас звон кругом...

— Матушка наша старается... керосинчику подливать. Ведь как я что ни скажу Пелагее Панкратьевне, так всё неладно. А Калистратка — угодник у матушки, с него она все пушинки готова сдуть... Говорил же я ей: матушка, продай бычка с нетелью, а то придираться начнут — много скотины в одном дворе держим. Ведь слушать не стала.

— Да продала бы уж лучше, конечно. А то ей Демидов опять в глаза тыкал: мол, обложат большим налогом, потом не жалуйтесь.

— А матушка что?

— Ластится да отвиливает... Она мне тогда всё дело испортила, а то бы я с Нюшкой ещё потягалась на тонких верёвочках!

— Любишь ты, что ли, его?

Длилось молчание с минуту.

— А я тебе говорю: позабудь, напрасно мозги ломаешь. Что не про нас — не про нас, а что про нас — мы разумеем.

— Я бы ему разве такая жена была? Нюшка ещё и пожить не успела, а уже опузатилась. У такой бабы вся радость — крольчихой быть. Будет таскать ему в год по ваньке... А может, это она и не его дитя носит.

— Ну, злая путаница ты, Физа! Что ты плетёшь? — поразился Щукотько.

— А знаешь, что мать говорила? Он двадцать раз её на разных командировочных оставлял! Оставит, а сам то на поле, то в сельсовет с ночёвкой!

— Не шуми громко... Оставляет, значит, доверие есть.

— Доверяй печи да своему коню. Так говорят...

Голоса в балагане смолкли. В тишине, освещённый слепящим солнцем, усталой рысцей ехал сюда по твёрдой гриве, по выкошенному, всадник на дюжем коне. Максим узнал в нём Демидова. Тяжёлые кованые копыта упруго взбухивали по травянистой тверди.

Щукотько из балагана высунул голову, окнул, округлив рот, и сказал сестре:

— На помине, как на блине...

— Не хочу его видеть... Вечером после похлёбки как станет смешное рассказывать — все хохочут, а у меня слёзы в глазах...



---

Уже издали было видно, что Демидов расстроен, угрюм.  
— Ты что, с Эзель-Чвора прямо? — улыбкой встретил его Щукотько.  
— Оттуда... Рвём гужи, успеваем везде, пока солнышко в спину жарит!  
Невесело нынче шутил эзель-чворовский председатель.  
— Чем растревожен, Никитич? — вздохнул Щукотько.  
Демидов взглянул на него с горькой печалью.  
— Быка племенного в колхозе прирезали...  
— Уж не мор ли какой?  
— Мор... Ржавых гвоздей в зелёнку подсыпали!  
Илью Титыча одолела сумятица: он стал озира́ться, выдернул сена клоч, смял его с хрустом и вытер им грязь с бахил.  
— Вот тебе номер, жил дед да помер. — Щукотько поднялся, горло его напряглось. — Никогда раньше не было, чтобы нарочно кто...  
Демидов задавил жёлтого овода на шее коня, спрыгнул, седло снял; глаза его на Максиме остановились.  
— Отгони к озеру, там стреножь...  
Максим без радости трясся на потной широкой спине.  
«Ржавых гвоздей в зелёнку... Быка племенного... Кто же такое мог?»

## 19

— Ты видишь, как они жмутся друг к дружке — Сараев и Ольга? — огорошила как-то Агнейка-Щучка Вассу Донатовну. — Вместе речку переплывают, по смородину ходят за ручку... Этак-то, может, они ползунику в траве собирают? — И тощая, худосочная Агнейка-Щучка бесстыдно захохотала.  
В лицо Вассе Донатовне кровь горячим толчком ударила; впервые в жизни ей захотелось хлестнуть по щекам чужого и неприятного ей человека... Она сорвала бархатное соцветие белоголовника, растёрла его в ладони, понюхала, унимая в себе приступ сильного раздражения.  
— И не совестно вам, Агния Ивановна, плести нелепости? — собрала она всю свою выдержку.  
— А ты знаешь, что Ольге шестнадцатый год? А ты знаешь, что с Кочером у них было? А ты знаешь, что Ольга ещё и воровка?  
— Нет, не воровка Ольга... И с Кочером у них ничего не было!

---

Вассе Донатовне так захотелось сейчас, чтобы пошёл проливной дождь и охладил её взбудораженное, разгорячённое тело...

Этой весной с Ольгой-Пончиком был действительно грешный случай: утащила она сигареты у пианиста Ролейдера, Соломона Ивановича. Он тогда только в детдом приехал, Ролейдер, и всего второй день как проигрывал утреннюю зарядку. Плащ он оставил на вешалке, а в плаще у него сигареты лежали — из города привёз. И сигарет этих вдруг не стало.

Соломон Иванович пожаловался Иглицыну. Устроили быстро опрос, но никто не признался. Потом с сигаретами прихватили Кочера Оську: тот сидел за поленницей на припёке и потягивал лёгкий душистый дымок. Пойманный Оська скалил зубы, довёл до истерики Агнейку-Щучку (прихватила она его), а Пал Пальчу бухнул, что сигареты у пианиста стащил не он, стащила их Ольга-Пончик. Иглицын этому не поверил, но Оська перед ним побожился «на суку» — колупнул ногтем верхние зубы и черкнул пальцем себе по горлу.

Позвали смущённую, бледноватую Ольгу, и та подтвердила, что сигареты украла она. Украла вот и украла, и больше она ничего говорить не хочет.

Оська тут же стоял, слушал Ольгу и подбородок себе поглаживал, ухмылялся, красный и рябоватый, как мухомор. На Оську Ольга и не взглянула тогда, но только их отпустили, она за дверями так смазала Кочеру по «моське», что шлепок по всему коридору разнёсся... Ольга-Пончик тогда же и прощения перед Ролейдером попросила, даже всплакнула, а Соломон Иванович, широколицый и белый, как гриб, покачал лысиной: «Большая, красивая девочка и воровка. Не понимаю... Украсть печенье, конфеты... а то табак!».

Весь детдомовский педсостав тоже в недоумении был: за девчонкой таких грехов не водилось. Решили, что сигареты сам Кочер украл, а свалил почему-то на Ольгу. Та испугалась Оську и взяла на себя кражу.

Но как же тогда пощёчина?

Как же Оська, который за это и пальцем Ольгу не тронул?

Так и остался случай непонятым...

— Только ты знай: всё равно у них что-нибудь выйдет. Ты погляди на Кочера: он ревнует. Не замечала? Убрать его поскорее отсюда, пока опять до ножей не дошло.

Агнейка-Щучка, как сорока на длинных ногах, подошла к балагану, нырнула в тёмную пасть входа.

«Высказалась и скрылась, — подумалось Вассе Донатовне. — А может, она действительно что-то такое заметила?»

---

Подозрительной Васса Донатовна не была, но разговор этот как-то задел её. Снова припомнилась ей та страшная драка ночью, встали перед глазами Оськин побег на остров и то, как искали его... Кочер, конечно, был для неё крепкий орешек. Сколько раз она готова была от него отказаться, радовалась в душе, что осенью его увезут в город, сбудут в другие руки, трудоустроят. Но теперь она видит, что Кочер сломлен: работает, жмётся к ребятам; никто над ним не смеётся. И сейчас от него отказаться ради того, чтобы только избавиться от каких-то возможных хлопот?

«Нет, я буду просить Иглицына оставить его ещё на год... Агния Ивановна опасается новой драки... Что она видела? Что она знает? Или просто ворожит дождь, как ворона?»

Васса Донатовна стала высматривать Оську. Оська сидел у костра и выскребал в котле кашу. Заметил Вассу Донатовну — ложку бросил, затолкал палец в ухо, глаза жёлтые отвернул, пальцем задрыгал.

— Сера кипит, — усмехнулся он криво.

«Хитришь: застыдился, что я тебя у котла захватила... Поесть ты любишь, а лишних порций тебе не стали передавать».

— Ты, видно, Иосиф, проголодался... Иди, я тебе хлеба отрежу, — сказала Васса Донатовна.

— Не надо, — сконфузился Оська. — Что я — особенный?

— Ты сколько сегодня копён поставил?

— А я их считал? На это завхоз есть...

«Хожу вокруг да около, вроде спугнуть боюсь. Завела разговор — говори».

— Иосиф, две недели осталось, и тебя трудоустроить повезут. Школу ты не закончил — пробежал и просвистел. Куда, ну куда тебя с тремя классами примут?

Оська поскрёб ногтями голую пятку, прикрыл глаза натопорщенными рябенькими ресницами.

— Куда пихнут, туда и пойду. В подметалы куда-нибудь... Я тупой, колун. С меня и спросу столько...

— Ты не тупой, Иосиф: дури в тебе многовато сидело.

— Сидело? Да я и сейчас дурак.

— Я ведь серьёзно, Иосиф.

— А я понарошку? Надумали меня вытуривать, так вытуривайте.

— Значит, ты бы хотел остаться?

— А вы меня спрашивать станете?

— Я спрашиваю. Разве ты это не слышишь?

— Слышу, да мало верю... Я вам всем напаскудил много.

---

— Ты прав, но мы в тебя верить хотим...

Оська во время всего разговора вскидывался глазами на Вассу Донатовну, а тут отвернулся вдруг — смотрит через плечо себе грустным собачьим взглядом. Повернула голову Васса Донатовна, видит: идут рядышком по выкошенному Максим с Ольгой, в две руки пустое ведёрко несут — по ягоду, значит, опять неторопливо направились. Оська даже забыл, что Васса Донатовна перед ним — так взглядом их долгим, завистливым и провожает.

«Права Агния Ивановна: это ревность в нём, ревность! Вот ведь ещё наказание...»

— Так что же, Ося, сядем давай да поговорим, как серьёзные люди.

И она села рядышком на душистое, мягкое сено.

## 20

Чёрной смородины было по Васюгану множество, да в тот год ещё урожай был: хоть засыпьясь ягодами. Максим с Ольгой попали в такое местечко, что накидали ведёрко в момент. Крупной нарвали, чистенькой, спелой, на видное место поставили и теперь сами ели, паслись на ягоде.

Максим говорил мало, сдерживался, зато Ольга болтала с беззаботностью и весёлостью, перебегала от куста к кусту: то для неё ягода была мелкая, то паук паутины наплёл — неприятно, то клоп-вонючка по гроздям напознал — ягоды есть невозможно. Уж такая Ольга сегодня была привередливая, беспокорная. Цветастый розовый сарафан её мелькал в зелени трав и кустов — в глазах рябило. «Да стань ты и ешь!» — хочется крикнуть Максиму, но он молчит, обирает в рот кустики по кустику. Ягода сладкая, славная — сама мнётся под языком.

— Я тут не хочу, — капризно говорит Ольга-Пончик, тянет Максима дальше. — Пойдём туда, где нетоптаная, неломаная, где никто и ягодки ещё не ущипнул.

Утянула-таки Максима егозливая девчонка! Ушли они в глубину зарослей, дроздов всполошили, а ягод вокруг — ветки ломаются. Угомонилась Ольга, платок сняла с головы, обмотала его вокруг шеи, чтобы комары меньше жалили. Губы припухли, потемнели от ягод; высунула язык Максиму — смеётся, гычет.

---

— От черники язык ещё чернее бывает, — говорит Максим и чувствует, как всё в нём от чего-то сладко и горячо замирает.

— Ты к нам откуда приехал? — спросила Ольга и сыпанула в Максима целой горстью смородины.

— С Оби... Не так далеко отсюда, — ответил он и тоже бросил в неё ягодой.

— А я городская, томская. У тебя никого?

— Я да братишка...

— Папку убили на фронте, а про мамку мне говорить стыдно. — Срывает Ольга крупные ягоды — одну в рот, другую в Максима, одну в рот, другую в Максима. Шалит просто так: ни улыбки уже, ни смеха — скисла девчонка.

— Стыдно — не говори. Только я не просмешник, не зубоскал какой-нибудь...

Ольга ему улыбнулась, губами причмокнула.

— Про то, как жили мы, я ещё никому не рассказывала. Пал Палыч спрашивал, Васса тоже, а я никому... Тебе я всё расскажу, но потом-потом... Меня сюда привезли, когда война шла. Два года уже война шла...

— Комар на щеке напился — убей.

— Ты сам... Скорее, а то улетит!

Горячая пухлая щёчка была у Ольги; Максим легонько ладошкой дотронулся, задавил комара, кровь размазанную личком вытер, сдунул листочек с руки.

— Не было б комаров, какое бы лето хорошее было, — вздохнула Ольга. — Где бы лёг, там и уснул...

Села сорока на тоненькую берёзку, затрещала, запередразнивала: ветка берёзы качается, сорока хвостом машет.

— Кши! Постылая, вертихвостка! — Ольга рукой на неё замахнулась. — Подглядываешь, болтушка. Мало места тебе?

Сорока комком падает в густоту кустов, хлопает крыльями и умолкает. Попискивают пичужки, ноют, кружатся, пританцовывают в теплоте воздуха комары, кузнечики не смолкают в траве, тренькают звонко... За кустами будто бы завозился кто: листва ворохнулась.

— Чья-то собака шарится? — Максим подождал, с Ольгой переглянулся. — Кто-нибудь так, наверно. Заяц шарахнулся или какая птица. — Он нащупал сучок ногой, поднял и кинул через кусты, где им шорох слышался.

— А я знаю, кто это, — громко сказала Ольга. — Это Оська за нами ходит!

— Ну прямо! Чего ему? Будет он с нами в подглядки играть.

---

Ольга храбрится, а присмотреться — встревожена. Шепчет:

— Ты с ним помиришься, скажи, помиришься?

— Откуда я знаю... Если захочет, — теряется в своих чувствах к Оське Максим. — За драку я бы ни в жизнь на него не обиделся, за честную драку... Мне фотокарточки жалко, а больше ещё — отцов портрет.

— Оська, конечно, подлый, — вздыхает Ольга-Пончик. — Я сама его не могу терпеть. За одно дело, какое он мне устроить хотел, я бы его на кусочки разрезала.

— Да ну его! Тоже нашла о ком говорить... Он уже никого не трогает, а если попробует...

Максим ведёрко с ягодой взял, полнёшенькое: через край смородина просыпалась. К балагану вернулись они молчаливые.

Кочера здесь нигде не было. Максим нарочно всё кругом обошёл, осмотрел, заглянул и под берег, и под кусты, что около балагана росли. Наверно, всё-таки Оська за ними подглядывал и подслушивал, и это Максиму было не по душе. Но скоро он успокоился, подсел тихонько к костру, над которым бурлил детдомовский ужин — неизменная пшёнка, политая постным маслом. Обкуривало дымком, отгоняло прочь комариную стаю, клонило в лёгкий томительный сон после трудного дня.

Васса Донатовна смотрела на них как-то тревожно и ласково. Ольга-Пончик поставила перед ней ведро — ягодой угощать стала...

В засученных до колен штанах, от загара тёмно-румяный, притащился с озера Гошка Очангин с длинной связкой больших окуней. Выстругал остренькую рогульку, распластал окуня по спине, насадил и присел у костра жарить. На Максима он сердился: Максим от него вроде начал откалываться. На рыбалку идти отказался, а девчонку пошёл пасти...

— Сильно клевало? — Максим виновато себя перед Гошкой чувствовал.

— Всегда клюёт... — Гошка лицо отвернул — в глаза ему дымом дыхнуло: ветер поднялся к закату, размётывал пламя и золу.

«Надулся, как мышь на крупу... Я тебе не привязанный, куда хочу, туда и хожу».

Лениво, сгорбленно брёл сумрачный Оська по выкошенному; ветку в руке он нёс — всю в крупных, тяжёлых ягодах. Ягоды в рот он кидал по одной лениво, жевал и морщился, будто бы ел не смородину спелую, а калину какую. «Ну да, сле-

---

дом ходил, зануда, шакал, — раздражился против него Максим. — Ольгу, что ли, ты караулишь? Обрыбишься! Или меня стережёшь? Стереги, стереги... Узнать бы, за какое такое дело Ольга-Пончик хотела тебя на кусочки разрезать. Узнаю!»

Неожиданное и для ребят непонятное случилось на второй день на гриве, где девчонки сгребали сухое сено в валки, а мальчишки эти валки в копны скатывали. Ещё до обеда Оська Кочер отманил Ольгу в сторону и говорил с ней о чём-то сердито, но тихо и сдержанно, а потом из себя вышел и закричал сквозь задышку:

— Беги, пока не ободрали!

К этому Оська прибавил грязное слово, оглянулся и укололся об острый, как вилы, Максимов взгляд. Максим стоял в отдалении и делал вид, что перевязывает ручку у своей «бриткой», тонкожалой литовки. Оська, видно, не ожидал этого, цыкнул слюной сквозь зубы и пошёл, сгорбатившись, к берегу кимжарской протоки. Ольга осталась стоять понурая, слёзы глотала. Максим не сразу к ней подошёл, а когда подошёл — она отвернулась резко — косу ей на плечо занесло, мочки ушей густо набрякли краской.

— За что? — спросил осторожно Максим.

— Кошки его скребут... Вчера он слышал, как мы про него говорили... Ты не трогай его, а то он взбесится.

— Он когда-нибудь бил тебя?.. Ну, не молчи.

— Я сказала: потом-потом расскажу... Сейчас не могу, не хочу. Не спрашивай меня ни о чём. — И она размазала по щекам слёзы.

А в полдень Ольга на гриве грабельками ворошила сено, задумчивая, какая-то взрослая — в коротком платице-сарафанчике, голоногая. Она накатывала зелёный валок, прижимала сено к ноге — гнала по проколу чисто, не трусила клочки. На полных икрах загар сухими былками был исцарапан, исчерчен кривыми белыми чёрточками. Работала Ольга не отвлекаясь, в забывчивости: скребёт грабельками, катит себе валок, как снега ком. Под сухое шуршание сена о чём-то думала, о плохом ли, о хорошем... или вообще ни о чём, двигалась как полусонная, втянутая в привычное дело.

Илья Титыч в тот день Оську поставил копнить за девчонками, или он сам, Оська, к ним пристроился. Ольгу Кочер не трогал, но тревожно и вроде бы виновато смотрел на неё белыми глазами, из-под лба. Всё будто бы мирно было, спокойно, хотя и натянуто...

И вдруг что-то с Ольгой произошло: она застыла с граблями в руках, побледнела, словно наткнулась на что-то острое,



---

жалящее. Она сжала ноги, испуганная, руками взялась за живот и медленно опустилась на сенной валок. Оська всё это видел, и ему показалось, что Ольгу змея укусила. Вилы в землю воткнул, подбежал и опешил: Ольга на него дико, в каком-то неясном ужасе смотрит, гонит глазами — сжечь готова. Оська этого взгляда её испугался, стоял. Потом увидел струйку крови — стекала кровь по исцарапанной смуглой Ольгиной икре, девчонка её подолом прикрывала, ладонью.

— Ты что — об литовку порезалась? — спросил Оська и шагом одним приблизился. — Воспетку позвать, директора?

— Уй-ди, — сказала, как плюнула, Ольга, — постылый!

— Да что ты, дура, — попятился Кочер, обиженный и недоуменный. — Ты шутки брось — перевяжем. А если змея — ремень сниму...

— Не подходи! — совсем одичала Ольга.

Наскочил Максим ястребом, ударил Кочера в живот — сцепились, катаются, царапают уши и руки колючками.

Отрезвил их плачущий Ольгин вопль:

— Дураки! Перестаньте... Ма-амочка!

Они вскочили, одёрнулись: Васса Донатовна перед ними.

— Опять за старое? Какая муха вас укусила?

Она поглядела на Ольгу, на них, снова на Ольгу — заслонила девчонку спиной, обняла драчунов за плечи.

— Помириться вам надо, теперь обязательно. Есть примета, что после второй драки противники больше не ссорятся... Идите, идите...

Они высвободились от её ласковых, мягких рук и пошли в разные стороны.

И никто из них так ничего и не понял...

## 21

Оставалась неделя покосной поры, и Максим торопился натешиться напоследок. Иглицын ему оставил ружьё, решил с Гошкой ходить на уток, но младших с собой ни на озёра, ни в лес не брать. Передал Пал Палыч Максиму и свои бродни-бахилы: почти впору были они Сараеву — так он вырос за лето. Максим ходил в этих броднях, опоясал себя патронташем, ружьё за плечами носил на покос и с покоса.

Пролетела неделя, как один радостный быстрый день. Накануне перевезли на Успенку косы, грабли, котлы, на боль-

---

шой лодке переправили сенокосилки. Андрей Гросс вплавь пустил лошадей, а с любимой своей гнедой кобылой поплыл сам — вцепился ей в размочаленную густую гриву.

Через Кимжар, протоку, детдомовцам надо было на лодке перетолкнуться, чтобы идти той стороной, луговыми дорогами, до Чижапки. Все торопились, все лезли, и в лодку сразу набилось человек тридцать. Лишних высадили; переправилась первая партия, за ней спокойно перебралась вторая. В последнюю очередь сели Очангин, Оська, Ольга-Пончик, человек двадцать всего. Самый маленький Лопарёв был, второклашка, худенький, слабый; на покосе он не работал, а брали его сюда отдыхать, на природу, на вольный воздух. За лето он чуть поправился, но всё равно был и худ и бледен: загар к нему почему-то не приставал.

По Кимжарской протоке редкие брёвна плыли: где-то бобы прорвало или разбило плот, вот брёвна течением и гнало вниз. На эти брёвна никто внимания сразу не обратил, но они-то и пригодились.

Ольга-Пончик весёлой была в этот день, дурашливой: усе-лась на борт, смеётся. Максим на неё ещё заругался, сказал ей, чтобы она садилась на самое дно, на рёбрышки-перекладины. Максима она сначала послушалась, но когда он лодку тяжёлую отпихнул, когда за кормовое весло взялся, — она с визгом опять на борт заскочила. Лодка качнулась, запаса в ней было мало, и одним краем она зачерпнула воды. Кто-то взвизгнул, шатнулся — лодка совсем устойчивость потеряла, и все посыпались в воду, как галушки из решета.

Максим был одет тяжело: ружьё за плечами, полная сумка патронов и бродни. Бродни сразу, как гири, потянули его в глубину, да кто-то ещё сел на спину — за горло душил. Барахтается Максим, задыхается — выбросил руку над головой: хоть бы за что-нибудь ухватиться! Кто-то поймал его руку, дёрнул рывком на себя... Жёлтым светом глаза застелило, вода изо рта с кашлем вырвалась... На перевёрнутой лодке Ко-чер сидел, отфыркивался... Максим подтянулся к борту... Шею ему ручонками сдавливал дохленький, перепуганный Лопарёв. Дрожит мальчуганишка, крикнуть хочет, а крика нет. Ко-чер ему кулаком по спине...

— Ну, сыграл бы, Лопарь, топориком, если бы этому на горбушку не сел, — сказал Оська и цвиркнул слюной.

Максим озираясь — Ольгу глазами искал. Ольга вылезла грудью на брёвнышко, болтала в воде ногами и хохотала. А за ней плескались и хохотали другие — Гошка, Цыля, Сердитов-Корова. Из всего этого им забава вышла.

---

По берегу перепуганные метались Васса Донатовна, Агнейка-Щучка, Щукотько, Гросс. По колено увязли они в топком иле, махали, кричали охрипшими голосами.

— Да живы все, только шмутьё потонуло! — отозвался на крики Оська.

«Не он, так я бы... — как лучик света, вспыхнула у Максима мысль. — Всё Ольга это, егоза чёртова! Как нашло на неё...»

Максим бросил на Оську такой чистый и благодарный взгляд, что Кочер насупленно отвернулся.

---

---

# Часть пятая

## 1

Шли день за днём, за месяцем месяц. Жаркое лето с редкими грозами давно сменилось слякотной осенью; копали картошку, кидались зелёными балаболками с ухлёстистых жидких прутиков, жгли ботву на чёрных пустых огородах.

Медленно, бело, студёно прошла зима.

В марте стали чернеть укатанные лыжни, что уводили в далёкий лес за корчёвками. По этим лыжным дорогам ходили Максим с Гошкой зайцев стрелять, белок выпугивать из гайнушек, гонять рябчиков по ельникам и рябинникам. Наступающая весна была для Максима непохожей ни на одну весну из пережитых: он готовился ехать в Томск, на спартакиаду детских домов. Физрук Лихабаба не мог нахвалиться своим крепкогрудым, длинноногим воспитанником: и гранату Максим кидал дальше всех, и копьё метал, и в высоту сигал на сто пятьдесят сантиметров.

— В пятнадцать-то лет! — говорил Лихабаба. — Да он у меня чемпионом будет, вот погодите.

Максим делал вид, что эти восторги ему неприятны, а сам, конечно, радешёнок был, ждал и не мог дождаться, когда их посадят на белый большой пароход и повезут в город. Максим исхудал, ожидая этого дня и часа, стал молчаливый — слова лишнего не проронит. Гошка над ним по дружбе подтрунивал, Ольга-Пончик с глазу на глаз называла его «чемпионом помимо», Васса Донатовна выговаривала шутливо за охлаждение к книжкам.

Кочер глядел на Максима будто завистливо, издалека и как бы со стороны... К весне он совсем сломался и сник. В детском доме его оставили ещё на год, а потом он просил послать его в Моряковку, в Самусьский затон, что под городом Томском. Откуда это у Кочера Оськи взялось, кем и когда внушилось, но захотел он стать маслёнщиком на пароходе или, куда ни шло, кочегаром.

Днём Максим в школе, а после уроков через планку в опилки прыгает, гранату кидает под берегом на песке или идёт в столярную, где мастер-краснодеревщик ребят полезному

---

ремеслу учит. Клей, стружки, столы-верстаки, инструменты по полкам напоминают Максиму бондарку в Пыжино, дядю Андрона. Так живо напоминают, что сердце ёкает, замирает. И всякие-то подробности вспоминаются, даже в горле нехорошо перехватывает.

Егорка в столярную тоже повадился, долгоносик такой, первоклашка. Первоклашек в столярную обучаться ещё не брали, но Егорка мастеру больно понравился: станет Егорка, выкатит голубые глаза, смотрит, как над фуганком стружка жёлтая завивается, золотая, кудрявая, смотрит — застынет весь от внимания, а по губе слюна. Дал мастер Егорке отдельный верстак, инструменты, показал, как доски строгать. День Егорка строгал, другой, неделю — не уставал, не бросал, да и ловко у него выходить стало. Месяц прошёл, полгода — Егорка, варнак, ловчее старших других за верстаком стоит. Словечками новыми бойко бросается: стамеска, киянка, шершебка. Поди ж ты, мастер, а над верстаком всего на вершок! Вместе с Максимом стали они чемодан делать: тонкие доски выстругали, фанеру выпилили, бортики на шипы с клеем взяли, крышку приделали, на шарнирки поставили — чем вышел не чемодан! Максим пожелал его красным выкрасить.

Чемодан этот Ольге понравился, и Максим его ей подарил, хотя Егорке и жалко было. До отъезда ещё один смастерили, получше, полегче, и голубым выкрасили. Чтобы на Ольгин не был похож.

И время тут подоспело в город команде ехать.

Пароход был двухтрубный, бело-синий, как льдина; над колёсами надпись метровыми красными буквами: «Карл Маркс». Этот пароход Максим уже множество раз видел: и с Осинового острова, где раньше свиней он с матерью, покойницей, пас, и с Дергачей, от дома бакенщика Зублева Маковея, и когда в детдом их с Егоркой везли на чёрном смолёном паузке, — тоже Максим этот пароход видел, в два этажа. А ехать на нём или даже взбегать на минутку по трапу не приходилось. Это мечтой было, сном, постоянным желанием.

На пароходе обшивка стальная под каблуками бухала; по многочисленным пристаням грузчики, покрикивая да поmaterиваясь, таскали в трюмы, из трюмов кули и ящики на горбушках. Когда шёл пароход и делать грузчикам было нечего, они сидели в пролётах, чесали волосатые груди с наколками. И на руках у них были наколки: мечи, змеи, хвостатые женщины — русалки, солнца у горизонта с лучами и надписи: «Сибирь». А звезда с якорем — непременно у каждого. Пили грузчики водку, закусывали копчёными чебаками и — полно-

---

грудые, с мешками-шлемами на головах, насквозь пропитанные мукой — казались Максиму загадочными, особенными людьми. Максим косился на свои заматерелые плечи и думал, что и он смог бы взвалить на себя мешок с мукой и сойти с ним по шаткому трапу на берег..

Вверх по Оби тяжело проплывали баржи с лесом, а на баржах плакаты были видны: «Восстановим шахты Донбасса!», «Сибирский лес — разрушенным городам!». Горло сдавило Максиму: он понимал, что родная его Сибирь опять, как в войну, помогает стране, и гордился и радовался, что он сибиряк родом.

На пароходе неслыханно, как нигде, пахло: это был смешанный запах железа, машинного масла, перегретого пара и камбуза.

Пассажиры четвёртого класса ютились в пролётах и на корме, а больше всего — у машинного отделения. Машина тоже долго не отпускала Максима. Он забыл про обед, про ужин и, положив подбородок на стальные перила ограды, жадно вглядывался, как гладкие поршни выталкиваются поочерёдно, как вращается вал, как плиты огромных колёс за бортами молотят воду — волны белые поднимают, а эти волны косо катятся к низким обским берегам, нажимисто прут на пески, в низинах тальник молодой качают — грозят захлестнуть его с головой. Сильна машина, грозна: упади ненароком — сомнёт, раскрошит на маленькие кусочки. Жуть даже подумать об этом... К машинному отделению все пассажиры глядеть подходят, но подолгу никто не задерживается, кроме Максима и остяков.

Смешные лица были у остяков, когда глядели они на машину: сонные будто, неподвижные, с слюнявыми отвислыми губами. Так в омут, наверно, глядят, когда думают, что из омута чёрт появиться должен... Подумалось тут Максиму: а какое лицо у дяди Анфима было бы, если бы он сейчас здесь оказался? Наверное бы дядя Анфим жёлтые зубы ощерил, усмехнулся бы по-особенному и сказал своё, привычное: «У, як-к-корь его! Шибко сильный, холера! Нисяво-оо...».

И в городе Максима тоже прежде всего поразили машины: грузовики, автобусы, легковушки; паровоз катил вагоны по рельсам. А после машин удивили Максима здания — кирпичные, в пять этажей, мощёные улицы, трубы заводов, мосты и каменные ступени, золочёные надписи на больших корпусах: «Институт политехнический», «Институт железнодорожный», «Университет». Так вот какие они, эти институты, университеты! Неужели здесь и ему, Максиму Сараеву, ког-

---

да-нибудь выпадет доля учиться? Интересно, куда Манефка уехала, в какой город? Он уж давно-давно потерял её из виду... И вспоминается она ему редко, почти и не вспоминается. Ольга-Пончик Манефку ему заслонила: всё она перед глазами и мельтешит...

«Университет». Вот здание так здание! Поди, метров триста в длину-то будет... Васса Донатовна здесь училась... А люду сколько тут молодого — в формах, с погонами. А шуму! Нет, сюда близко и подходить-то боязно... Надеть бы сейчас свои сосновские бухалы на «берёзовом ходу», с голяшками — телогреечными рукавами, натянуть бы ситцевую рубаху, которая пуп едва прикрывала, прийти бы сюда и сказать: «Хочу в у-ни-вер-си-тет поступить. Умею свиней пасти, сено косить, дуб-корьё драть, рыбачить, дрова пилить, собак запрягать в нарты, полы с дресвой голиком шеркать и по хозяйству разные дела делать. Ещё книжек читаю много, стишки пишу...» Эх, сказать бы всё так, вот была бы умора!»

Вообразил Максим себя и другим. Одет он в такую же чёрную форму, с металлическими фигуристыми погонами. Идёт он важно, осанисто, головой медленно крутит. Здоровается с поклоном, девок под ручки берёт или за локотки. Под мышкой портфель у него — от книг и тетрадей раздулся. Идёт, шагает, а дальше что, дальше куда? Ну, скрылся, исчез за большими дверями, а там, за дверями, темно, непроглядно, как в шалаше ночью: ума не хватало ему представить, что за теми дверями делается...

«А Манефка вот уже учится...»

Он потерял стадион и ту школу, где их поместили жить. Еле нашёл.

Спартакиадные дни прошли в шумной, весёлой сутолоке, под крики и гром с трибун, под команды судей и музыку репродукторов. Громко, на весь стадион, объявляли победителей.

Имя Максима Сараева называлось тоже кем-то невидимым, и ему тоже хлопали. Он тушевался страшно, нервничал, как жеребёнок на незнакомом месте, и, наверно, поэтому приза не заработал. По прыжкам в высоту он был третьим и получил грамоту, с Лениным и золотыми снопами колосьев. Странно и трепетно было ему видеть свою фамилию, оттиснутую печатными буквами. Физрук Лихабаба и этим доволен был. «Погоди, браток, погоди, — говорил он Максиму. — Мы ещё им покажем — в лапоть о нас будут звонить!» Лихабаба Максиму пятёрку рваную дал из спартакиадных детдомовских денег, чтобы Максим пошёл и вволю, от пуза, напился



---

газированной сладкой воды, щипучей, шипящей, а то жара над стадионом стояла, потелось и от сухости было во рту шершаво.

Город так подействовал на Максима своей железной и каменной властью, своей загадочностью и шумом, что Максим долго не мог попросту отдышаться. И мысли в его голове разбрелись, смешались. Ребята или физрук Лихабаба спросят его о чём-нибудь, а он стоит и не понимает: хлоп-хлоп глазами. Только потом до него дойдёт, о чём его спрашивали.

Всю дорогу он был молчаливый, сам себе непонятный. И в Чижапке ходил, как тень, хмурился — всё переваривал впечатления, припоминал. Ни за что ни про что Ольга-Пончик обозвала его задавахой: он и с ней-то толком не разговаривал — нукнет, дакнет и глаза в пол. Когда Ольга обидным словом его назвала, он задумался, голову набок свалил, усмехнулся на одну щёку, заморгал, заблестел глазами.

— Обалдел я от города, Ольга. Разве не видишь?.. Ты когда десять кончишь, пойдёшь в университет?

— А ты? — Любила эта Ольга на вопросы тыкать.

— Если бы приняли... Да мне ещё сколько в школе сидеть! Проходить бы в год по два класса...

Ольга-Пончик смеялась: ей что, ей скоро с детдомом прощаться — уедет...

## 2

Появился в Чижапке старый остяк Кальзя, и молва о нём в один час разнеслась по посёлку.

Кальзя морщинистый, сиволобый, в корявых броднях, за поясом нож-тесак. Появлялся он здесь не часто в последнее время — ездил на своём маленьком обласке по Васюгану то вверх, то вниз, рыбачил для своего пропитания, когда охотился, но постоянно нигде не жил. Где ночь захватит — ставит себе шалашик из бересты, проспится и дальше в путь. Только зима загоняла его в жильё покрепче. Дома у Кальзи не было, да этот добрый скиталец и не хотел заводить себе дом.

На этот раз Кальзя приехал в Чижапку в июле, привёз большелобого медвежонка — детдому «за так» отдал. В детдоме объедков много — свиней кормят, прокормят и одного медведя. Мальцам хоть потеха будет, веселье.

С медвежонком пришёл он к Иглицыну, а Пал Палыча дома не было. Сидел Кальзя и чай на веранде пил — Елена Ефи-

---

мовна сама подавала. Рассказывал, где он бывал, что видел да какие с ним приключения случились. Максим тоже гостем был у Иглицыных: забежал обласок спросить, чтобы с Гошкой под вечер на сети съездить, да хозяйка за стол его усадила.

О многом рассказывал Кальзя, с выдумкой, с присказками, и вдруг о Пыжине: был, мол, и там он нынче. А раз о Пыжине, значит, и об Анфиме Мыльжине. И сказал Кальзя, что Анфим в эту весну умер...

— Врёшь, дядька! Шутки всё у тебя... — Стул под Максимом горячим стал: так он ёрзнул на нем, отодвинулся.

— Максим, как ты держишь себя со старшими? — сказала ему Елена Ефимовна.

— Простите — вырвалось... Только дядю Анфима я знаю: мы с ним в войну вместе жили. Был он хромой, худой, но здоровый.

— Жили, да были, да репку садили, — проговорил Кальзя. Он шумно сжёбывал с ложечки чай, черноту узких глаз под морщинками-веками прятал. — Анфимка режовки на озере ставил, два дня в пологу лежал, а карась ему не ловился, выходит дело. Не ловился карась, хоть что. А дома еда кончилась... Домой с озера он, Анфимка, худой притащился, вредный: сердился, под нос буркал. Баба такого его как есть не узнала. Дома куфайку спросил, на лавку под голову кинул и лёг в чирках...

Пошвыркивает старый Кальзя горячий густой чаёк и больше ещё черноту глаз в морщинах топит.

— Да вот, свалился, залёг в чирках, сына старшего вспомнил, который из дому убёг, другого сына, который у них в интернате; как во сне, всё про них шептал... У бабы слёзы текут, баба недоброе чувствует. Папирёсу достал, закурил, тихо, как лист, лежит. То ли мёртвый, то ли обмер. Баба реветь, он сел, говорит: «Режь барана, поминки устраивай». Да встал да пошёл во двор — на завалину сел. Баба вдогонку кинулась. А он как вышел, упал на траву ничком и не поднялся... Не вру, выходит дело...

— Люди по-разному умирают, — поникла взглядом Елена Ефимовна. — Пал Палыча нет, а то бы спросить: он, наверно, Анфима этого знал.

— Да как не знать, — зажмурился Кальзя. — С успенским стариком Мальфейкой кадышно мы его знали. Анфимкин отец промышлял ещё при купцах на Васюгане...

«Бедная, бедная тётка Анна, — томился душевной болью Максим, припоминая и то, как она с ним всегда разговор затевала, когда бы он к ней ни пришёл, и то, как картошкой

---

горячей — прямо из чугуна — одаривала, и то, как Егорку у матери принимала. — Будет теперь горе мыкать... Бедная, бедная...»

А про Анфима ему так и вовсе всё до капельки вспомнилось: морозная Обь, самолёвы, скрипучие нарты, доверху нагруженные стылыми, как кость, налимами... Или он ездил с дядей Анфимом кротов колоть, капканы ставить. За краснопрутником — короба плести. В кедрачи — шишки по осени ботом бить... Или Анфим что-нибудь страшное им рассказывал, или пьяную тётку Катю ласково умирал. За нос Максима в шутку щипал табачными, как у бабки Варвары, пальцами. «Якорь его, Максимша! Нисяво-о...» Добрый, весёлый был человек — хмурым его и не вспомнишь...

— А бабка Варвара у них жива? — подтолкнуло вдруг что-то Максима.

— А ей-то чего доспеется, — неторопливо ответил Кальзя.

— Всё табак нюхает?

— Нюхат табак, нюхат...

— И не чихает?

— Всё про них знашь! — удивился Кальзя. — Да ты с ними долго ли жил?

— До войны, и потом ещё... А мать с братишкой моим ещё дольше.

Елена Ефимовна, такая участливая и чуткая к происходящему разговору, подливала гостям чай из фарфорового расписного чайничка, большие внимательные глаза её перебегали с лица на лицо — с Максима на Кальзю. В окно она увидела, что идёт сюда Васса Донатовна, не спеша, устало, вразвалочку: в гости с работы, к вечернему чаю. Обрадовалась хозяйка: хоть мрачные разговоры разрядятся, а то вон Максим совсем запечалился.

— Такого вы нам медвежонка забавного привезли! — сказала с улыбкой Васса Донатовна Кальзе. — Да боюсь, ребятишки его изозлят.

Гостья за стол, а Кальзя с Максимом из-за стола: Максиму хотелось старого остяка с глазу на глаз порасспрашивать, попытать. И когда Кальзя на крыльце иглицынского дома трубку-канью курить сел, Максим узнал от него ещё одну новость, и тоже печальную.

Новость эта касалась семейства Ивана Засипатыча.

Калиска, большуха пылосовская, выходит дело, из Пыжина в Каргасок умотала. Мальчонку своего, в девках нагулянного, мачехе на руки бросила — пелёношного. Об этом Максим что-то такое и раньше слышал. Кальзя теперь то же самое

---

повторял: значит, не врал старый остяк. Тётя Стюра нянчила, нянчила да и выходила мальчонку: пятый год ему шёл. Мать-блудня в Пыжине хоть изредка, но появлялась, ахала-охала, глядя на сына своего Вальку. Игралась-возилась с ним, плакала — такой у неё красивый да интересный сынишка растёт! С собой хотела забрать, в Каргасок увезти, да тихая, кроткая мачеха тут медведицей на неё поднялась: «Не отдам, и сказ весь!».

Калиска без вести приехала, без вести и убралась. Стюрка осталась свиной орсовских холить, дом свой многодетный вести.

Гаврила Гонохов, Стюркин отец, от трахомы совсем ослеп — по дому, что мог, на ощупь делал, а так больше днями-ночами лежал на печи, повздохивал да поскуливал...

А тем летом Ивана Засипатыча из тюрьмы раньше срока домой отпустили: работал он, говорят, хорошо, прилежно, так вроде за это поблажку дали ему.

Вальку, внучонка, он так полюбил, как, может быть, никого за всю жизнь свою несправедную. Живое дитё, смышлёное: пять лет ему нету, а он уже веселит мужика: под гармошку ряженым, скоморошком пляшет. Вот тебе на тебе — суразёнок, нагулянный дочерью в девках, а вон как за сердце крепко схватил Ивана Засипатыча... А он ведь, Иван Засипатыч, за это дочь свою чуть насмерть не забил... Жалостливый да странный какой-то стал Пылосо́в, как из тюрьмы-то вышел: выпьет и плачет умильно, слова добренькие бормочет, трёт глаза впалые кулачищем. Внуку Вальке каких только слов не наскажет Иван Засипатыч: и пригожий, и ласковый, и незабудка-то он, и черёмуха. Дети родные ласки такой от отца не слышали. А Калиску огнём сжигал Иван Засипатыч: уродина, гадина, шалопутная, суконка — хвостом вильнула, от ребёнка уехала. Блатяцких слов понабрался Иван Засипатыч, в сердцах их на голову дочери сыпал. Ругал, изничтоживал он Калиску, а внука ещё сильнее голубил. А если сердился когда, покрикивал, то больше в шутку...

И тогда, в ноябре, выходит дело, Иван Засипатыч не думал обидеть внучонка Вальку... Голова у Пылосо́ва с похмелья болела, разламывалась (праздник же был!), и он притопнул, прикрикнул на Вальку: «Мотай на улицу — шумишь много!». Валька в красном костюмчике был — лыжном, с начёсом: сам дед ему этот костюмчик в сельпо через старых знакомых достал. Валька надулся на деда — обидчивый был; мелькнул огоньком красным, надел телогреечку, шапочку, и загремел салазками в сенцах: с горки кататься пошёл.

---

И больше его и не видели, Вальку...

Скатился он с горки на речку, и вынесло его прямо под яр, где стрежень летом воронки крутит и глину роет. Это место долго не застывало, и перед тем его только что прихватило. Чёрный ледок был снежком припорошён. Скатился Валька, с салазок скокнул, топнул ножкой из озорства, как дед на него... Лёд-скорлупка под ним и хрустнул. Сдёрнуло Вальку, суразёнка Калискиного, течением под ледяную корку — только шапчонка чёрной кочкой на припорошённом льду осталась...

Одичавший Иван Засипатыч всю речку пешней перерыл — каждый-то день ходил, не унимался, пока лёд не тронулся. Почернел весь за зиму на реке... На мысу обласки, сети бросовые, карчи, и он среди них, Иван Засипатыч, с пешней в руках, как с посохом, бродит. С людьми не говорит, будто язык у него отсох.

Стюрка тоже из-под горы без слёз не выходила; терпит-терпит да взвояет: «Тошно-то мне растошно! Где он теперь плывёт, наш куклёнок?».

Калиска письмо прислала, слезами залитое. Иван Засипатыч взбесился, топтал ногами его... А недавно он и совсем помешался. Выходит дело, ни к чёрту жизнь у него получилась...

Старый остяк покатали языком во рту, икнул после чаю и табака, как будто всхлипнул; широкий пористый нос его раздулся ноздрями. Неторопливой сухой рукой он вытащил свой огромный кисет, поддержал и обратно в прореху кармана засунул. Вынул из ножен ножище и подровнял у чирков обмахрившиеся голяшки.

— Выходит дело, мыши чирки прогрызли?

— Выходит, — участливо отзывается Максим и горько вздыхает.

— Зимой под порогом лежали. Смотри, как навыкусы-вали!

— Сыромятина?

— Нет, дублёная кожа.

— Дедушка Кальзя, а мальчонку так нигде не нашли?

— Налимы его иссосали, стерлядки. В речке есть кому подбирать.

Страшно стало Максиму от этих слов...

— Дедушка Кальзя, а Манефка-то где же у них?

— Про неё-то не знаю.

— Дедушка Кальзя...

Максим запнулся. О чём ему старого остяка ещё спрашивать? Что было ему известно, он и так выложил всё, как на

---

духу... Жалко, жалко людей. И Пылосова гундосого жалко... А Калиска-то хороша.

Огородами, по вытоптанной тропинке, между гряд и рядков картошки, шли друг за дружкой Иглицын с веслом в руке и председатель эзель-чворовского колхоза Демидов. Иглицын блестел круглыми стёклышками очков, на солнце чёрные кудрявые волосы его отливали вороньей синью. У Демидова на крутой груди пиджак был расстёгнут, картуз съехал на сторону. Максим поднялся, а старый остяк приветственно растянул морщинистые, сухие губы, закивал кудлатой, седеющей головой.

— Вон что — Кальзя меня поджидает! — обрадованно сказал Иглицын и провёл пальцами по своим кудрям. — Давненько ко мне не заглядывал!

— С последнего раза, как был, год проскакал оленем. Подика тогда я тебе сухой сохатинки привозил, а теперь медвежонка дарил сироткам.

— Да ты без подарков когда обходился? Ругай не ругай, ты ведь не слушаешься. — Иглицын с нарочной сердитостью покосился на Кальзю. — Какая нужда ко мне, друг, говори? Дробь, пороху надо?

— Однако давай выручай. Кальзя мяса добудет — тебе про запас привезёт... А провьянт у меня, верно что, вышел. — Остяк нагнулся, погладил головки бродней. — Ты сам-то, поди, уж теперь и не промышляешь?

Иглицын взглянул на Максима.

— Некогда... Вот он бегаёт на рябков да на уток... Ты что, Максим, по делу ко мне?

— Обласок и... малопульку дадите?

— Лодку возьми, винтовку не дам.

— Нам бы хоть в цель пострелять...

— Нет, не проси... Пуля — дура, летит в божий свет. — Иглицын был чем-то встревожен. — Вот Александр Никитич нынче на лошади ехал сюда с Эзель-Чвора, а кто-то близко из малопульки стрелял — над головой просвистело. В глухаря, видать, метили, да чуть в человека не угодили...

— Глухарь высоко садится, человек по земле идёт. Как пуля может человека задеть? — сказал Кальзя.

Демидов с улыбкой смотрел на карниз дома, где ласточки свили себе гнездо и беспокойно летали сейчас, таская птенцам поживу.

Хозяин гостей пригласил в дом...

---

В прошлом году, после покосов и огородов, едва начали в школу ходить, Иглицын зазвал Максима к себе в кабинет.

— Слушай, Максим, — начал Пал Палыч. — Давай-ка берись ладом помогать директору, воспитателям.

— Да я разве против, Пал Палыч? Мне только сказать...

— Сказать! Я думал, ты сам догадаешься. Ребята тебя уважают, ты уж большой. В шестнадцать лет Гайдар полком командовал... Мы хотим, чтобы ты был у нас председателем детского самоуправления.

— Лучше бы Ольгу...

— А Ольгу тебе в заместители.

Иглицын ему улыбнулся и выставил палец громоотводом.

Ну и хитрый Пал Палыч! Так повернёт, так прикрутит — деваться некуда.

Так и случилось. На собрании Максима избрали под весёлые возгласы. Выше всех Ольга-Пончик руку тянула. У Максима в глазах было пестро, он вспотел от волнения...

А лучше бы отказаться, конечно. Жил бы себе незаметно, учился, а то сразу на люди толкают. За спиной, поди, говорят про него: «Видали, какой командир выискался, в костюме с красной повязкой! А давно ли в заплатах ходил, штаны на тощем брюхе руками поддерживал?».

Может быть, так совсем никто и не думает, только Максиму такие мыслишки приходят в голову.

Но постепенно он свыкся со своим председательским делом.

С девчонками ему нечего было возиться: там, на втором этаже, был в спальнях у них порядок и мир, а если что и случилось драчливое, шумное, то дальше стенок не выходило. К девчонкам и в спальни было приятно зайти: на подушках кружавчики, вышивки, цветы на окнах, простынки чистые, кровати — одна к одной. Зато у мальчишек — глаза не глядели бы! Понатаскают гвоздей, железяк, понаведут собак, сами грязные, сопленосые. Драки, свары затеют по пустякам. А плохие привычки к ним, как чесотка, липли.

Шурка Тяпин, Дюхарь, с первых школьных занятий за старое взялся — сорок на помойке капканом ловить. Поймал сороку опять, пустил её в спальню к девчонкам. Нога у сороки капканом перебита, на одной она по кроватям скачет, крыльями бьёт — все наволочки кровью закапала. У девчонок поднялся визг. Бросились Дюхаря догонять, а он по лестнице



---

вниз, споткнулся да в стенку башкой. Очумел, крутится, язык прикусил — высунул его, мекает.

И с Котяхом Максиму морока: курит Котях, охнарики где попало сшибает, мальчишек из малышейовского корпуса заставляя ему служить. Бить нельзя, а слова ему в одно ухо зашкакивают, в другое выскакивают. Учительница посадила на первую парту, чтобы следить за ним лучше, так он заставил её сжить его снова на задний ряд. Сидел и пускал «шептунув», а потом дул незаметно на учительницу. Ну, не паразит ли этот Котях? А последнее, что он сделал, негодник... Прикормил молоком сторожихиною кота, сибирского. Кот зачастил в спальню, ляжет Котяху на кровать — мурлыкает, а Котях его гладит. И однажды калёным шилом он выжиг коту глаз. Кот высадил двойную клетку в окне, наскочил на собак, и те его разорвали. Одинокая сторожиха плакала по своему коту, и долгое время никто не знал, что это была Котяхова проделка. Он проболтался об этом сам в малышейовском корпусе. Гошка Очангин избил Котяха до кровавых соплей... За самосуд Максим с Гошкой поссорился.

— Так нельзя, — говорил Максим и ходил перед Гошкой, заложив руки за спину. — От побоев звереют.

— Гадёныша защищаешь? — огрызался сердитый Гошка.

— Но ведь били уже — не помогает. По-хорошему надо теперь...

С Котяхом сладу пока не было.

Егорка и тот попал в события. Пришёл недавно и говорит, что «закошил» два кармана топлёного масла, когда на складе они получали продукты для кухни. Егорку тоже уже посылали на кухню дежурить, в столовую, помогать в кастиелянской и прачечной. И вот он уворовал топлёное масло, да сам и похвастался старшему брату.

— Не наедаться, что ли, мало тебе? — еле сдерживался Максим.

— Кто были — все брали: масло, конфетки, пряники. Конфетки из шоколада — ласточки на бумажках. Конфетки я не успел...

«Вострохвост ты и есть! Долгоносик!» — вспомнил Максим те прозвища, какими здесь окрестили его братишку в первые дни.

— Ты знаешь, Егорка... Мы жили бедно, но в воровстве нас никто не мог укорить. А ты?..

Егорка, справный, розовощёкий, одетый в чистое, новое, сопел, ковырял одним пальцем в ухе, другим в носу.

---

— Отвалтузю — не погляжу, что родной! Попробуй ещё что-нибудь стибрить. Тут наше всё: и детдом, и столовая, и продукты на складе. Наше, ребячье.

— А разве своё брать нельзя? — косился Егорка.

— Ты не один тут такой хороший; докумекал или ещё не дошло? Выворачивай масло, я отнесу на кухню...

Было уже темненько, Максим постелил газетку на подоконник, Егорка-пыхтун вытряхнул из карманов что-то белое, как творог. Максим нагнулся, понюхал, взял на язык и выплюнул: это была гашёная известь крупинками. На складе Максим был уже не однажды, и знал, где стоит эта бочка с гашёной известью. А стояла она рядом с бочкой топлёного масла, и обе бочки были накрыты одинаковыми клеёнками.

— Суслик! — расхохотался Максим, ущипывая Егорку за щёку. — Это извёстка, с неё кишки порвёт. Выброси на помойку.

Вытолкал брата, а тот заплакал, но отчего — непонятно: от обиды, стыда или же оттого, что украл несъедобное...

И совсем уж смешное вышло у Гошки с Мельником-Цылей.

В детдоме свинью закололи, большую, закормленную; Гошка валить её помогал Гроссу, а потом обдирал шкуру. С согласия ли Андрея, или сам по себе, но Гошка затырил, наобрезал с килограмм сала, посолил, завернул в газету и положил под матрац солиться. С пружинами коек в детдоме не было, а были жёсткие, с досками, и под матрацем сало тонкими слойками хорошо спрессовывалось — солело. Едва ли кто знал, что у Гошки есть столько сала в заначке.

Зимой, осенью, ранней весной было обычным делом, когда ребята перебегали на койки друг к другу — ложились по двое на кровать, жались один к одному, грелись... А в холодные ночи Цыля мочился во сне. Гошка с Цылей и раньше за это не ладил, но только ругался, а драк между ними никогда не было. А тут случилось...

Средь ночи Цыля подвалился на кровать к Гошке и обдул его с головы до ног. Гошка у стенки спал. Когда он проснулся, то слов сразу не мог найти. Он поджал к подбородку колено, упёрся плечами о стенку и пихнул Цылю ногой изо всей силы. Сонный Цыля грохнулся на пол, соскочил ошалелый, и Гошкин крик заткнул ему уши:

— Ссуль! У меня под матрацем сало! Собакам теперь выбросить сало, да?

Ещё чуть-чуть, и Гошка, наверно, заплакал бы, но такой смех поднялся кругом, что воспетка дежурная прибежала — Агнейка-Щучка...

---

Утром Максима к директору вызвали. Как было, Максим рассказал. Иглицын тоже смеялся...

Было ещё событие в прошлом году, печальное...

Седой крупянистый иней уже обсыпал по ночам тротуары и крыши, землю и ветви деревьев. До солнца шаги на траве оставляли такой же след, как летом в туманное, росное утро. Заморозки с обильными инеями, с хрупким ледком на лужах зачастили особенно в октябре. Снег задерживался, и земля лежала неряшливо голой, с поникшими травами, с вдавленной в грязь листвой, с коровьими надолбами по глинистым, топким когда-то дорогам.

В детдоме готовились к празднику, и надо было прибить два флага: один на главном корпусе, другой на малышейском. Эту работу всегда проделывал Оська в прошлые годы. Уж где-где, а тут он был мастер...

Флаги, один поменьше другого, на этот раз вынес Максим. Оська Кочер попался ему на пути, когда он выходил из дверей на улицу. Остановились.

— Дай мне один, — как-то хватко, но и просительно сказал Оська.

— А я сам тебя звать хотел, чтобы вдвоём, — приятельски отозвался Максим. — Ты на каком прибывать хочешь — на главном или на малышейском?

Оська сам взял у него флаг поменьше и видом своим, скрытным, но откровенно важным, дал Максиму понять, что я, мол, хоть где прибью, а ты вот поподробуй.

Максим с ребятами, опоясав себя тонкой верёвкой, взгромоздил флаг на самом высоком и видном месте. А Оська долго искал лестницу, да пока её притащил, да пока взбирался по ней, Максим уже был внизу.

— Возьми верёвку, — окликнул он Кочера. — Доски скользкие: иней.

Оська сделал вид, что не слышит, подрыгал ногами в воздухе — ошмётки пристывшей грязи стряхнул с каблуков — и стал карабкаться по крутой крыше без осторожности, с вызовом и рисовкой. До конька он долез, сел на горбушку крыши верхом, опять ногами подрыгал — вперёд подался, и ловко пришил гвоздями древко. Молоток далеко бросил, перебрался по горбинке, как по спине лошади, заскользил, поехал — хотел пойматься за дымящуюся трубу — и промахнулся. На крупянистом серебряном инее крыши он дважды перекрутился и полетел вниз головой... Обе руки в запястьях у него лопнули — всей тяжестью с высоты он на них падал. На левой руке даже белый и острый, как нож, осколок кости из мяса

---

вылез... Долго Оська тогда лежал в больнице, исхудал, изболелся.

Так вот и жили они в детдоме...

#### 4

Медвежонка, которого Кальзя им передал, назвали Машкой, посадили на тонкую цепь в конуру под балконом. Всю ночь она выла, как оглашенная, гремела цепью, грызла столб, подпиравший балкон, и не давала спать ни детдомовским, ни больничным: больница рядом была, через ельник.

Днём же Машка была весёлая: с ней было кому заниматься. Её закармливали объедками, спускали с цепи, и она косолапо бегала по ограде, по берегу, ныряла в ельник и забиралась высоко на деревья. На коре и по острым сучкам от неё оставались клочки бурой шерсти. За медвежонком ходила толпа — дразнили молодого зверя, дёргали за уши, за штаны, совали палку в зубы, и Машка, как только могла, отбивалась и грызлась.

— Дикошарые! Подождите вот — вырастет, она вам портки снимает, — ворчала тётя Настенька, повариха.

А Машка и так уже мстила: Котяха она цапнула за ногу, он разнюнился, захромал в медпункт. Ребята злорадствовали, медичка тоже не посочувствовала.

— Не будешь к животному лезть, — сказала она. — Мало ты кошек, собак замучил? Это медведь, он в обиду себя не даст... Ядовитые зубы: место укуса, гляди, посинело, как от чернил.

На возню с медвежонком Васса Донатовна смотрела из окна воспитательской. Перед этим она выходила и пробовала унять, но все были так взбудоражены, что ей пришлось отступить.

«Взял Иглицын зверя на растерзание — пусть он и наводит порядок. Это дело мужское...»

Сверху, из воспитательской, Васса Донатовна видела, как к куче ребят подбежала Агнейка-Щучка — замелькали в воздухе длинные руки, рот искажился от злых и шипучих слов, но и её никто не послушался.

В воспитательскую она поднялась рассерженная, с пятнами на впалых щеках, с неприятно блестящими глазами.

— Дикари! Как с цепи сорвались. Где Иглицын? Она их перекусает, передерёт, а потом... — Слова у неё вылетали горячие, как клубы пара из кипящего чайника.

---

Васса Донатовна знала причину злости Агнейки-Щучки: вчера у неё кто-то разбил окно и вытоптал грядки. Это одно. А другое — Гросс собрался жениться на ветврачихе Розе из Кривошеинки.

— Их можно понять, — мягко, чтобы не взвинчивать дальше Агнейкины нервы, сказала Васса Донатовна. — Ведь то, что нам кажется дико, для мальчишек вполне естественно. В конце концов, пусть забавляются. Кого обдерёт, покусает — будет наука. Только всего...

Агнейка-Щучка щелчком, по-мужицки, выбила папиросу из пачки. Курила она от ребят тайно, но тайной это для них никогда не было. Разве можно было что-нибудь скрыть от таких детей?

Сейчас она вытянула подряд три папиросы и, наверно бы, успокоилась, не покажись в это время Соломон Ролейдер, пианист. Он шёл по ограде шатаясь, размахивал руками и приседал.

— Опять набузгался, — растянула в ехидстве губы Агнейка-Щучка, выпяливаясь в окно. — Подобрал Иглицын его на помойке, а нам тут выдал за настоящего.

— Вы не правы: он всё-таки музыкант, пианист. Алкоголик — другое дело. Но полгода ведь он держался? — Васса Донатовна перелистнула книгу. — И когда Иглицын увидел его в городе и пригласил сюда на работу, Ролейдер был человек нормальный.

— Э, путный бы к нам не поехал!

— Ах, Агния Ивановна, — усмехнулась Васса Донатовна, сдерживая себя, чтоб не вспылить. — По-вашему — я тоже алкоголик или конченный человек, если по доброй воле сюда приехала? Странные у вас представления о людях...

Иглицын с Ролейдером не один час провёл в долгих беседах. Пианист плакал, раскаивался, говорил, что теперь он готов день и ночь учить детей музыке. Но проходило какое-то время, и всё повторялось. Он мог свалиться на сеновале, в телячьем стойле, и там всего его обседали мухи, обнюхивали собаки, телки слюнявили редкую поросль на шишковатом темени. Просыпаясь, Ролейдер до жалости всхлипывал, вытирал свой крупный, с большими ноздрями нос рукавом, морщился и медленно, слово за словом, распалая себе сердце воспоминаниями прошлого. Он шёл по улице и выкрикивал имена композиторов, хвастал, что будто бы он давно постиг тайны их творений, играл в опере, в столице там или где-то, а здесь вот он шут, клоун, паяц, здесь он должен учить бездарных, распущенных беспризорников, тренькать им пустые штучки,

---

марши и всякую дрянь по утрам, когда физрук Лихабаба, солдафон, млеет от счастья, командует: «Ать-два! Ать-два!». Никто не знает, кем был Соломон Ролейдер! Все только видят, кем он стал. Кто может в этой гнусной дыре понять его душу?

В таких «буйных случаях» Ролейдера шёл умирять Иглицын, и умирал, а других пианист не подпускал и близко, замалчивался и кричал: «Не подходите! У меня в кармане атомная бомба!». Трезвый Ролейдер всё это начисто отрицал, и всегда одними и теми же словами: «Этого быть не могло. Чтобы я, интеллигент...». Терпеть дальше в детдоме его было невыносимо. Неделю назад он Иглицыну дал «последнее» «честное» слово, и вот опять...

Из окна воспитательской видно было, как появился директор, покачал осуждающе головой, сказал в лицо Ролейдеру что-то, видимо, очень резкое. Ролейдер с минуту стоял столбом, не шатаясь и не произнося ни слова. Качнулся, пошёл, наклонив полулысую голову, и руки его непослушно, как плети, болтались по сторонам...

Иглицын взял медвежонка, повёл в конуру.

Агнейка-Щучка молчала, стиснув презрительно губы.

— А ты всё книги читаешь? Не надоело?

— Нет. Читаю Верхарна. Очень трудный для понимания поэт.

Всё презрение к Агнейке-Щучке Васса Донатовна вдруг выразила взглядом тёмных открытых глаз.

— Я вот удивляюсь, — ухмыльнулась Агнейка, — что вам ребята не дали до сих пор прозвища. Так ещё не было. Конечно, меня они дразнят жестоко, но с ними за это ругаться...

— Бессмысленно, — подсказала со скрытым смехом Васса Донатовна.

— Да. Но других называли ещё чуднее. Были у нас Клюка, Ужиха, Дырка-с-ручкой...

Агнейка-Щучка от этих «воспоминаний» даже лицом по-добрела...

И в конуре медвежонка не оставляли в покое, но теперь уж не дети, а взрослые: Щукотько и Лихабаба. Машка лезла на стенку, скребла когтями по дереву — тонкая цепь натягивалась и сдавливала ей горло.

— Щенок, а клыки как гвоздочки! — Илья Титыч был в светлой, кремового оттенка рубахе, рукава до локтей засучены, так чисто и гладко выбритый, что солнце ломало лучи на синеве его щёк.

Он был именинник вчера, много выпил и совсем ещё не протрезвился: краснота и бражный туман стояли в его глазах.

---

— Ай да Машка, ай да стерва! — приговаривал он, пуская медвежонку табачный дым в нос. Медвежонок от дыма отмахивался полусогнутой лапой, чихал, взлаивал, и это смешило подгулявшего Илью Титыча.

Физрук Лихабаба глаз не сводил с Машки, уж он-то и приседал, и заходил сбоку, и глядел на неё, привстав на носки своих начищенных офицерских сапог. В растёгнутом кителе, из-под которого майка виднелась, потирающий руки, приседающий и припрыгивающий вокруг медвежонка, Лихабаба похож был на покупателя. Казалось, он уже сторговался и сейчас полезет в карман за деньгами. А дело всё было в том, что Лихабаба купил у школьного сторожа семимесячного щенка, и сторож его уверил, что собака породистая, что на медведя пойдёт как пить дать, только сызмальства приучить её надо к медвежьему духу. Вот Лихабаба и нервничал и азартничал, не зная, что ему делать: бежать за собакой и отравить ей медведя, или же не бежать?

Не выдержал и сказал о своём желании Щукотько.

— Вали! — обрадовался тот страшно.

— Это Милка, и лай у неё, Илья Титыч, серебряный! — как дитя, приходил в восторг Лихабаба, губы обкусывал, сапог о сапог потирал.

— Собака с серебряным лаем? — Щукотько к стенке спиной привалился, но вспомнил, что светлая шёлковая рубашка на нём — отшатнулся и передёрнул лопатками. — Серебряный лай? Ну, это надо почувствовать, как малиновый звон колоколов.

В этот день было много солнца, и тени от домов, от столбов, от деревьев лежали особенно чёткие и густые. Пестрота солнечных бликов падала на Лихабабу сквозь иглы ели, переливалась на пуговицах его кителя, вспыхивала на лакированных сапогах.

— С разгону, с разгону её напускай! — крикнул Щукотько, отбросил окурок, погладил оголённые локти, коснулся закатанных рукавов. Мускулы на его руках вздулись.

— Гони, гони!

Молодая собака, остроухая, с опущенной короткой мордой лаечка, как только хватила медвежьего духу, тут же заупиралась: поджала хвост, который только что был у неё весёлым кренделем, подтянула живот и взгорбатила спину. Но хозяин весёлости не убавил в себе — тащил сучку на сворке, насильно волок её по утрамбованной в камень дорожке.

— Не будет дела, — разочарованно махнул Щукотько, искривил губы и погасил блеск в глазах. — Вот т-те и серебря-



---

ный лай! Визг у неё поросячий, а не серебряный лай. Хватки нет, страх у неё. Я в собаках толк понимаю. Из этой мохнатки зимой сошьёшь, мясо сороки склюют.

Лихабаба и тут не сдался: он был не из тех. Он подтащил собаку на поводу, как на аркане, загородил Милке путь к отступлению и стал подпихивать её лакированным сапогом в зад, а сучка упиралась ещё не окрепшими лапами, припадала и тонко, испуганно взвизгивала. Медвежонок смотрел на неё гневно горящими пуговками, тянул острую нижнюю губу, ревел с остраткой и бил в воздухе лапами. Собачья морда была от него в каком-нибудь полушаге.

— Да б-бро-сь, — презрительно морщился Илья Титыч. — Пустышка-глупышка. Была бы путёвая, от медведя ключья бы полетели.

А Лихабаба зюкал, охрип, подпихивал Милку в зад, Милка же была ни жива ни мертва.

Медвежонок, наверное, понял, на чьей стороне тут сила, рывкнул во всю свою мощь, куснул воздух зубами и хватил лапой собаке по морде. Милка нестерпимо залилась визгом, как плачем, сунулась в сторону, заметалась, заёрзала. Лихабаба сапог из-под Милки выдернул, чтобы пнуть её в злости, и увидал на чёрном, блестящем носке зеленоватую завитушку.

— А, с-сучий потрох! — вскипел опозоренный Лихабаба, пнул Милку — промазал, и зелёная завитушка прилетела на грудь Щукотько, прильнула к его кремово-светлой рубахе... А рубаху эту ему матушка, Пелагея Панкратьевна, подарила...

Была бы ругань забористая, но появился Иглицын.

— Не стыдно? Я только детей отогнал, они поняли и ушли, а вы, взрослые люди... Я просто слов не нахожу. — Пал Палыч был в гневе, а гнев находил на него не часто. Полуостяцкие глаза его блестели под стёклами чернотой.

— Прошу прощения — дурость нашла, — сказал, пощурясь, Щукотько; «медаль» он уже стряхнул с рубахи — пятно травой натёр.

Лихабаба тоже пристыжённо извинялся.

— Отдам медведя на пароход, там хоть над ним издеваться не будут. — Пал Палыч снял очки, протёр запотевшие стёкла. — Знал бы, что так, не стал бы у Кальзи брать...

— Не купленный — подаренный, — улыбнулся неловко Илья Титыч.

— Так и травить теперь можно? Ступайте в тайгу — травите: там кто кого...

Щукотько и Лихабаба пошли почему-то в одну сторону.

На лоскутках раскорчёванной, отобранной у тайги земли, на малых клиньях и небольших полянах душисто переплетались цветущие клевера, а над клеверами гудели и копошились густо шмели, земляные пчёлки, порхали бабочки разных размеров и разных окрасок. По окаймлявшим поля завалам, которые здесь от корчёвок остались, носились с фырканием бурундуки-задерживосты, мелькали полосатыми бесенятами то на колодинах, то в чащобе сухих, источенных короедами сучьев. Гошка с Максимом не могли удержаться, чтобы не кинуть в бурундуков палкой, комком глины или просто не побежать за ними. Казалось, бурундуки зазывали их поиграть в догонялки. Из рябинников и калинников выпархивали шумные, сумасшедшие рябчики, усаживались на деревья низко, дразнили, и в них надо было тоже что-нибудь кинуть: страсть охотничья мучила Гошку с Максимом.

— Слышал про рябчика сказку? — спросил Максим.

— Нет.

— Ходил бог по земле, а рябчик в то время был такой же большой, как баран. И взлетал так же шумно, как теперь. И однажды он напугал бога. И бог сказал: да будешь ты маленьким. И рябчик стал таким, какой он сейчас. А остальное мясо бог раздал рыбам. Рыб-то всяких сколько на свете — много, и мяса досталось им только на щёки. Вот поэтому у рыб на щеках мясо всегда белое, как у рябчика.

— Сочиняешь... Захочу — и я сочиню что-нибудь... Вот... Шли два кореша, а навстречу медведь. Куда корешам деваться? А возле дороги всё поле было засеяно ржой...

— Ах-ха-ха! — закатился Максим, тряс головой и качался. — Ох-хо-хо! То-то тебе двойки и ставят за сочинения. Ржой... Ух-ху-ху! Рожью, понял ты, ро-ожью!

Под зноем, насторожённо тихо в лесном окружении, стояла высокая рожь, чистая, длинноколосая, с натопорщенными усами, а по межам, по краю дороги, васильки голубели в зелени трав и редкий медовый кипрей кружил головы пчёлам и бабочкам. Только что Гошка вышагивал по белопесчаной лесной дорожке с весельем и озорством в узких остяцких глазах, а тут изменился — психанул тихо, надулся. А надувался Гошка потешно: губы сожмёт, глаза сощелит, круглые ноздри раздует, пыхтит, сопит. Смешной был Гошка Очангин, когда сердился, но сердце у Гошки было отходчивое. Максим это знал и ценил в своём друге.

---

Смех Максим в себе пересиливает, перебарывает, исподтишка наблюдает за Гошкой мокрыми от хохота глазами. Ещё бы разок раскатиться, да Гошка, пожалуй, назад повернёт, и придётся Максиму одному на Эзель-Чвор с почтой топать. А одному неохота...

Дорога в сосны пошла, ржаное поле кончалось. В прошлом году на этом поле в колхозе пшеница росла, густая тоже, как рожь, и чистая. Жал её сухонький старичок на лобогрейке, всё обкашивал, обкашивал к центру, а Максим ждал стоял, когда пятачок останется: перепелов ему посмотреть хотелось, как они вылетать будут. Но перепела были такие жирные и тяжёлые, что никуда улететь не успели, и сухонький старичок резал трёх птиц лобогрейкой. Он собрал их и положил молча в белый мешочек — кровь пятнами выступила.

— Дедушка, их разве едят? — спросил Максим.

— Кто ест, кто глядит. — Старичок уставился на Максима насмешливо...

Скоро ржаное поле совсем потерялось за соснами. Гошка с Максимом прошли немного — попалась им женщина с мальчиком: из лесу с корзинкой вышли.

— Гляди, гляди — это Роза, на которой наш Гросс женился, — подтолкнул Гошка Максима. — А мальчишка у неё заикастый и криворотый, потому что мать с ним в войну под бомбёжку попала... Мне Гросс говорил... Зовут его Стасик.

Розе было лет тридцать семь, она приехала ветлечебницей здесь заведовать, весной с первым пароходом высадилась. Она была некрасива и старательно молодилась: жирно чернила брови, красила волосы в рыжий цвет, помадила губы; бабы в посёлке смотрели на это с прищуром, но в глаза никогда не смеялись: обидится и уедет, опять Чижалка останется без ветеринара. Вот на ней Андрей Гросс и женился, когда от Агнейки-Щучки ушёл...

Не доходя, ребята перетолкнулись локтями, вежливо поздоровались. Роза отвечала им тоже ласково, сказала, что ходили они грибы собирать, набрали, и теперь будут печь пироги с грибами. Стасик смотрел на ребят диковато, всё за мать прятался. Роза потрепала его по жиденьким светленьким волосам.

— Не бойся, дурашка... Это хорошие мальчики.

Пока видно было, он всё оглядывался, Стасик, пугался, рот у него одним углом к глазу тянуло.

— Давай никогда-никогда не будем его дразнить, — сказал Гошка.

— Последнее дело. И так он несчастный...

---

Максим замолчал и нахмурился.

Дальше проезжий им попался на лошади, эзельчворовский.

— Куда, странники, калики перехожие, путь держите? — шуточно и былинно спросил он ребят.

— Почтальона вашего временно подменяем: газеты, письма несём.

— Ну, дело, дело... А я подумал: уж не свататься ли к нашим девкам идёте?

— Дома своих найдём, чужие зачем? — нашёлся Максим, пощёлкал ногтем по ремённой пряжке. — Рожь у вас нынче хорошая, просто славнецкая рожь!

— А ты понимаешь! Или крестьянский сын?

— Нет, не крестьянский. Отец у меня по лесничеству был...

Но проезжий уже разминулся с ними.

## 6

Демидов спешно ехал в Чижапку: надо было ему в сельсовет до обеда успеть. Опять дурное дело вышло на Эзельчворе: унесло строевой лес, без малого кубометров тысячу — в протоке стоял он, лес, закошеленный.

В ночь поднялась буря, по Васюгану валы вспенило. От бури Демидов проснулся, о кошеле леса вспомнил — стал одеваться, чтобы пойти посмотреть. А тут прибежала Физа чуть не в одной сорочке, тарабанит кулаком в окошко, кричит:

— Боны порвало, лес уносит! Вставайте! Вставайте!

Поднялись всем посёлком, как на пожар, да спасти удалось немного. Брёвна вынесло в Васюган из протоки, а там стрелень и ветер попутный. Сам Демидов с гребцами сел в лодку: канатом пробовали перехватить протоку, да где там!

Кошель против дома Щукотек стоял. Когда мужики лес спасали, Пелагея Панкратьевна ахала-охала, путалась в длинном плаще, ругала «сучью погоду». У председателя подозрение закралось, что боны не сами собой порвались... Вспомнил он, как бык у него племенной в колхозе погиб прошлым летом — гвоздей наглотался, вспомнил, как Иглицын предупредил тогда:

«Остерегайся Щукотек и знай, что всем домом у них Пелагея Панкратьевна правит».

Демидов тогда Иглицына выслушал и ответил:

---

«А я её всё-таки к людям душой поверну!»

Глаза Иглицына заблестели из-под очков, он усмехнулся:

«Легче волка заставить с овцами в мире жить...»

Утром буря ещё не утихла, но порывы ветра ослабли, зыбь на реке и в протоке уменьшилась. Демидов долго осматривал боны, и подозрение его, что кошель леса не сам собой «раскошелился», подтвердилось: трос, который связывал боны, был перерублен чем-то тупым... Место на тросе выбрали самое тонкое и проржавленное, с задирами и лопнувшими витками.

«Доказать, что это вредительство, будет не так легко, но доказать надо...»

Мужики трос смотрели, и тоже на том сошлись, что он перерублен, должно, колуном, а концы обухом измяты, изжёваны и замазаны грязью.

Разорванный трос смотали, на складе заперли, и Демидов поехал в Чижапку...

На душе было мрачно у Александра Никитича, из головы тревожные думы не выходили... От кого он хотел дожидаться добра — от Пелагеи Панкратьевны! Прав был, конечно, Иглицын, когда говорил ему, что легче волка заставить с овцами жить, чем повернуть Чернобурку лицом к миру... А такая надежда, верно, была у Демидова. И зародилась она прошлой зимой, когда он «пошёл наступать» на Пелагею Панкратьевну...

Зимой по ошибке колхоз вывез стог сена у Чернобурки. Она прибежала в контору и так расстоналась, что в ушах от неё свербило. Сено ей возвратили, переметали стог во дворе, но Демидов позвал Пелагею Панкратьевну на «большой разговор». Чернобурка как чужая, зачем её председатель за стол с собой посадил, и сама начала:

— Добрый ты человек, Александр Никитич, но прослышала я, что будто вы с агентом собираетесь нетель мою обложить налогом?

— Собираемся, Пелагея Панкратьевна, как есть собираемся.

— Говоришь и не смеёшься... Налог нас и так удавкой всех душит!

— Кого, может, и душит, но только уж не тебя... Налог, Пелагея Панкратьевна, не нами придуман, не нам его отменять. Лишнего мы ни с кого не берём, а что положено — платите сполна и в срок. Нетель у тебя скоро растелится, будет коровой дойной — третьей по счёту... Тебе бы не плакаться, мне бы не слышать.

---

— Добрый ты, добрый, а такое мне говоришь... И так мы живём на птичьих правах, а ты на пустяк такой, как нетель моя, глаза не хочешь закрыть. Знал бы ты, как мне эти коровушки достаются! Старая я, вся изболелась, а туда же в резинку тянусь...

— Ты здоровая, Пелагея Панкратьевна, зря на себя наговариваешь.

— Где уж здоровье, милоч! Поутру иной раз и не встала бы: внутри — как в прогоревшей печке.

— Это как же?

— А так: и пусто, и холодно — одна зола.

Демидов расхохотался, а Пелагея Панкратьевна в слёзы. И несчастные-то они, Щукотьки, и ненавистные всем! Гаврила Титыч с войны не вернулся — убили, а матери разве не жалко сына родимого? Всякое-разное про Гаврилку-то говорили, а того, что мать о нём ведаёт, не знают. Чуткую душу к людям имел, в куске хлеба рабочему не отказывал, понапрасну не обижал, а ведь тоже в начальниках всё ходил, в больших головках. А что несчастье с ружейной болванкой вышло, так это с кем хочешь могло случиться. От сумы да от тюрьмы не зарекайся. Несчастье, оно как смерть: всякого рано ли, поздно — найдёт...

Много тогда Пелагея Панкратьевна времени у Александра Никитича отняла, всё словами его на месте держала. А он как стал на своём — вежливо, тихо, — так и стоял: «Налоги со всех берут, и мошенничать, покрывать не буду».

И Пелагея Панкратьевна вдруг махнула рукой, так сладенько улыбнулась и говорит: «Чему быть, тому, видно, не миновать...».

Откланялась поясно, вышла. Удивлён был Демидов таким поворотом, но радовался: «Может, проймёт старуху... Вот дал бы бог, как говорится!».

Ходил, пригладывался Демидов: как же теперь Пелагея Панкратьевна будет держать себя с ним? Илья? Калистрат? Физа? Держались, как прежде, даже с пущей ещё приветливостью. В гости опять же пытались позвать, только Нюша, жена, не хотела про это и слышать...

Так дни проходили. Повстречается Пелагея Панкратьевна с ним — поздороваётся душевно, прискажет, прибавит словечко какое доброе, о здоровье председательском справится, о сыне-малютке спросит.

«Сын растёт, молока у матери много, а у меня здоровье — смешно говорить! — медвежье».

О Физе тоже слов больше не было: отстала она, отступилась от Александра Никитича. Когда Нюша сына ему родила,

---

когда люди поздравить с наследником приходили, Физа тоже явилась, грудью народ растолкала, к кровати просунулась. Глазищи у Физы горели — так жадно она младенца разглядывала. Похвальбы, сладких слов насказала три короба, рюмку выпила и ушла, гулять не осталась. Нюша так этому рада была...

Возле болота конь привычно остановился. Демидов молодцевато спрыгнул и повёл коня в поводу. Конь увязал в ржаво-зелёной жиже, всхрапывал, нервничал, стриг ушами: так было всегда с ним на этом месте. Конь торопливо выдёргивал ноги, сильно брызгал торфяной грязью — залепил хозяину спину и сапоги. Лежало болото между двумя буграми, сосновыми гривами, в ширину оно было метров полста, а в глубину — прорва: сколько его ни гатили, всё уходило, как в бездонную бочку, как в ненасытную пучину. Годами, ранней весной, когда все луга топит вода и скотина рыскает в поисках пищи по лесу, случалось, что здесь, вот в этом гнилом местечке, увязали коровы, телята, и если не приходила помощь, то трясучая глубина засасывала их с концом. Место было приметное, а названия так и не дал ему никто.

Спуск к болоту с обеих сторон был с небольших, но весёлых крутинок: белая, лесного песка, дорога сбегала к трясине и обрывалась, словно бы тоже тонула в этом бездонном болоте. Коня провести или пройти пешему здесь можно было только в одном-единственном месте — узкой полоской, не сбиваясь в сторону ни на шаг.

Почти бегом пробежав неприятное место, Демидов отряхнул с себя налипшую грязь, вытер коню брюхо травой, вскочил в седло и покурил спокойно. Прямоствольные сосны — обхвата в два — с шершавой губастой корой у комлей и с гладкой, чешуйчато-золотистой к вершинам, пятнали густотой своих мощных сучьев опалово-голубое небо. Часто на макушках вот этих сосен в чёрно-каменной неподвижности сидят глухари на зорях, и на лошади можно подъехать к ним вплоть. Под соснами у корней крупный белый песок разрыт сильными глухаринными лапами, да кто-то ещё для приманки стекла насыпал битого, разноцветного, фарфора толчёного. Демидов прошлый раз ехал здесь — стекла толчёного не было, один песок был когтями раскопан. Кто-то впрямь глухарей подстергать решил, глухарятинки постной отведать кому-то средь лета охота... Тогда он тоже вот так ехал, коня в поводу по зыбучей тропинке вёл. Две пули над ухом пропели — здесь, около этих сосен. Ни глухарей не было видно, ни рябчиков, но где-то кто-то стрелял. Может,



---

где далеконько птицы сидели, а пули сюда нанесло: этак бывает. Иглицын, которому он рассказал, и жена его, Елена Ефимовна, и старый остяк Кальзя ни за что не хотели в это поверить.

Неужели и тут злая рука? Страшно об этом было подумать...

## 7

Четверо мужиков, упревшие, вялые от усталости и от солнца, с мокрыми тёмными спинами и блестящими солью лбами, облепили конторскую завалину и вполголоса разговаривали. На сапогах в складках, на коленях и в волосах белели у мужиков опилки, и при одном взгляде на них можно было понять, что это пильщики теса, пришли в контору за председателем, да вот не застали.

Прошлым летом Максим с Гошкой видели этих мужиков на покосе и теперь вспоминали, кто из них был стогомётчиком, кто косарем, кто управлялся с конями — каждое утро ходил их ловить в мокрых высоких травах.

Пильщики тоже признали ребят, поздоровались с ними, спросили о том, о сём и принялись за прерванные свои разговоры. Максим с Гошкой отнесли почту и вернулись посидеть с пильщиками.

Чёрный высокий мужик с красным карандашом за ухом, должно быть, старший из них, жалел лес, унесённый бурей.

— Сколько зимой гнулись — и на тебе... Своё добро не убе-регли. Я в ту ночь перемётничал в устье протоки. Брёвна как потащило, так все мои снасти сорвало, чуть сам не утоп: попала лодчонка в кашу, едва-то выбрался. Натерпелся тогда я страху.

— Топором секанули по тросу. Кому-то расчёт был.

— Известно кому..

— Руку-ногу никто не оставил. Пойди докажи теперь.

Разговор дальше пошёл перескакивать с одного на другое. Вспомнили, что на Волков Бугор, в соседний посёлок, поп откуда-то притащился с монашкой и что волковский лесобъездчик Евгешка, пьяный, насел на попа, потребовал от него документы. У попа волосы жёлтые, оплешивел, а монашка молоденькая... Говорил об этом сухонький мужичок, трегубый, весёлый.

— Ну и чего? — спросил чёрный, с карандашом за ухом.

---

— Евгешка-то, знашь — бандит бандитом. Поп забоялся, бумажку подал ему, и вышло по той бумажке, что он из тюрьмы недавно освобожден... Евгешка в бане их запер с монашкой...

— А монашка что?

— В дверь каблуком стучала, шибко ругала Евгешку.

— Бойкая!

— Видал я в войну на западе монастырь, — пощипал себя за ухо чёрный. — Монашек там как ворон было... Днём монашут, а ночью ногами машут...

Гоготнули, задвигались.

— И куда их Евгешка потом? Так в бане всё и держал?

— Нет, поп от него сотенной откупился... Запил Евгешка. Кто ни шумнёт, к тому и идёт. А то и без спросу завалится. Высидит — подадут.

— Что, баба-то от него ушла?

— Давно... С таким мужиком жить — долгим век бабе покажется.

Разговор о попе и монашке заглох, и чёрный, с красным карандашом за ухом, спросил Максима:

— В Чижапке-то что, электричество завести хотят?

— Ага, в детдоме, — сказал Максим. — Проводку-то раньше ещё у нас сделали, а только недавно движок привезли... генератор. Ещё не установили: механика нету пока.

— В войну лампов достать было негде, жировки жгли да лучины. А теперь — электричество! — Трегубый дремотно закрыл глаза. — Жарынь, искупаться бы...

На зелёном мыске под тем берегом лодка стояла, к лодке двигалась боком старуха, перекатывая бидон с молоком. Поставила, оттолкнулась — поехала.

— Мрут на селе старушонки, а Чернобурка живёт! И бидоны ещё таскает, — сказал трегубый и поцарапал горло.

— Болит у неё и печёнка, и селезёнка, и глаза слепнут! Её послушать, так впору хоть гроб заказывать.

— Она и слепая будет — на ощупь возьмёт. И выпивает ещё. Сама пьёт, и дети не прольют. Калистрат редкий день трезвый.

Замолчали: лодка причалила к берегу. Чёрный мужик, обтерев губы и смаргивая, сказал громко, разговор затеяв:

— Как надой, Пелагея Панкратьевна?

— Мошка заела. Пока доила — кругом обсыпала... Земля раструхла, разрыхлилась — ходить тяжело.

— Здоровьице как? — вышучивал чёрный.

---

— Да всё болею, хворь не отступает. Опять стала горечь во рту, будто бы ложку желчи держу за зубами.

— Да что ты, Пелагея Панкратьевна! — взмахнул руками трегубый, не скрывая насмешки. — Да тебя ещё замуж выдать можно: молода и с виду румяна!

— Пёс ты льстивый, — ответила Пелагея Панкратьевна и взялась длинными жилистыми руками за ручки бидона. — Помог бы лучше, чем зубы скалить.

Максим подтолкнул Гошку, и оба они скатились под берег.

— Давайте мы вам поможем.

— А кто такие? Откуда? — вопрошающе посмотрела на них Пелагея Панкратьевна.

— Чижапские мы, из детдома...

— Ну, помогайте, коли взыскались. Дома я вас орехами угощу.

Максим с Гошкой потащили тяжёлый бидон по дороге, куда указала им Пелагея Панкратьевна, и всё ещё слышали за собой:

— Эт-то баба моя к Чернобурке зашла, а та ей: «Но, кума! Угостить тебя нечем... Разве что чай попьём да поищемся!».

— Подъедай, подъедай, зараза, — буркнула Пелагея Панкратьевна. — Не мужик, а прыщик — жёваное ест...

— Это какой — трегубый? — ввернул Максим.

Ничего не сказала в ответ ему Пелагея Панкратьевна. К дому они подошли, она вползев в ворота раскрыла — боком парни с бидоном просунулись. В бидоне у самого горла булькало молоко...

Видный был дом у Щукотек на Эзель-Чворе: пятистенный, с сенями, пристройками. Во дворе погреб, кухня отдельно, тоже из крепкого леса рубленая, стайка большая, пригон. Бредень с мотнёй на кольях висит, подойники, кринки на солнце жарятся. Дом этот чем-то напомнил Максиму дом Маковых в Сосновке, но сама Пелагея Панкратьевна ничем не была похожа на Степаниду Марковну. Та была певучая, ласковая да богомольная, — вся как патока приторная. А у Пелагеи Панкратьевны взгляд тяжёлый, пронзительный, и голос скрипит, будто кто рядом ржавой пилой щепастую плаху пилит... Ругает она порядки, председателя эзель-чворовского... Максим уже большой, бывалый, а вот так доведись с такой тёткой под одной крышей жить, ни за что бы не стал. Что-то учуял он в Пелагее Панкратьевне страшное...

— В детдоме вас хватятся, ой, да искать побегут! — спохватилась она, как бы вдруг испугавшись чего-то.

---

— Да мы же на целый-то день отпущены — почту сюда приносили.

— Ну, лады, лады... не было бы беды... Кормить же вас надо, что-то на стол ладить?

— Мы не хотим — не голодные. Хлеб с собой брали, дорогой закусывали.

— Илья Титыч сюда не сулился нынче прийти?

— Не было разговору, не слышал, — сказал Максим.

Пелагея Панкратьевна рада была загонять послушных ребят: и воды они ей наносили с ледком из колодца, и дров накололи, и переделали ещё кучу дел. Максим упрел, бедняга; Гошка штаны глиной выпачкал — мыл из кадки. Пелагея Панкратьевна как-то крадучись подошла к нему, взяла пальцами краешек штанины, потёрла, как деньги трут, когда пересчитывают.

— Ишь ты — шерстянка! На одёжу тоже, видать, не скупятся сиротам?

— Одевают хорошо, кормят тоже, — отпыхивался от беготни Максим.

Любопытному Максиму была охота весь дом Пелагеи Панкратьевны оглядеть, весь двор, во все уголки заглянуть. Максим так этим увлёкся, что сбил невзначай моток золотистой новой вожжовки из конопли: вожжовка висела на деревянном штыре, за домом, низко. Максим запутался в ней, опрокинул ведёрко с помоями.

На чердаке завозились, забормотали как будто спьяну.

Из дому Пелагея Панкратьевна на крыльцо выскочила сердитая, красная отчего-то, сгребла мальчишек большими руками, длинными, затолкала в сенцы.

— Будет вам, будет, спасибо... Умаялись.

Насыпала им по карману кедровых орехов — старых, прогорклых — и выпроводила скоренько из ограды.

— Да что это с ней? — остолбенел Гошка.

— Пьяных каких-то мы разбудили, на чердаке...

— Орехи дерьмо! — озлобился Гошка и тут же карман вывернул. — Хина...

Чернобурка кричала с крыльца им:

— Не задерживайтесь! Потеряют вас — будет шум!

— Раскаркалась! — совсем осерчал Гошка. — И так задарма столько делов переделали...

Максим насвистывал весело и шёл по дороге, затолкав руки в карманы.

У конторы колхоза уже не было тех мужиков-пильщиков, что сидели перед обедом и вели свои разные разговоры. На

---

лесопилке взвизгивали пилы: мужики там пилили продольными пилами тёс.

— Локомотив у них что-то остановился, — сказал Максим, — вручную шпарят. Ты больно не торопись: к ужину попадём как раз. Чувствуешь — воздух-то сытный какой!

С наступлением вечера гасли звуки вокруг: в травах убавился гуд насекомых, разноголосые птицы примолкли в кустах. Только два голоса слышались чётко: перепелиное, полногласное «поть-полоть» и скрипучее дёрганье коростеля в лугах. В сосновом лесу до пощипывания в ноздрях пахло растопленной за день смолой; мох хрустел под ногами и перекатывались сухие шишки.

## 8

Коса по спине до пояса, толстая, на кончике синяя лента, широкая, красивым бантом завязана. Ольге когда как вздувается, так она и заплетает: то в одну косу, то в две.

Максиму нравится больше, когда в одну...

Ольга сегодня в новеньком платье — ситчик красивый, радостный, забрызганный мелкими лепестками, похожими на крылышки иван-чая. Платье Ольга сшила себе сама. И у других девчонок есть платья из ситчика, и они тоже сами себе их сшили, но Ольгино платье наряднее всех...

«Это оно потому наряднее всех, что Ольга сама красивая», — приходит Максиму на ум.

Ветер сердитый, сырой — слезу в глазах высекает, дыхание схватывает; на ветер идти — боком надо поворачиваться, а то упирает в грудь со всей силы, отшатывает. Ветер треплет подол, обжимает колени; Ольга платье одёргивает, придерживает его ладонями и хохочет. Максим отворачивается, как от едкого дыма: стыдно видеть ему голые Ольгины бёдра...

Как в лес вошли, сразу затишье стало.

— Ты хмурый, Максим. Почему? — Ольга трогает его за плечо.

— Да нет, — шевелит он бровями.

— Я вижу... Ты почитай мне стихи, самые новые.

— С чего ты взяла? Я в прошлом году ещё Вассе показывал, она поругала меня... С тех пор не пишу.

— Врушка, врушка! Мне тетрадка твоя попалаась...

— А-а-а... По тумбочкам шарисься?

---

— Нет. На подушке лежала... В спальне не было никого, я взяла полистать.

— Всё равно плохо.

— Мы не чужие... Ну, почитай.

— Не хочу.

— Ну, покуражься — очень красиво. Я тоже тебе, что обещала, не расскажу.

— Что ты обещала?

— А про себя рассказать...

Максим помялся и помолчал.

— Если ты хочешь, я прочитаю... Есть у меня о том, как я в детдом ехал...

«Меня в детдом везли зимою на санях сонною тайгой. Возница, дедушка Зиновий, немного был на слух тугой. Он лошадей вдруг огрел вожжой и мне сказал: «В детдоме, знать, не бедокурь, и на чужое — смотри чтоб рта не разевать. Там поваром Вострова Клавка, моя племянница, так к ней ты чаще бегай за добавкой, а то худущий, как Кощей. Не будь обидчивой овечкой, полезут драться — сдачи дай. Кровать поближе к тёплой печке всегда под зиму выбирай». Но тут я задремал под шубой, возница снился мне с кнутом и дом наш старый на отшибе, с забитым наглухо окном».

— Разве ты это о себе написал? — Глаза у Ольги блеснули. — Ты к нам приехал летом, а не зимой, не на санях, а на паузке. И не один, а с братишкой... И ты говорил, что дома у вас никакого не было. — Ольга недоумевала, казалась растерянной.

Максим улыбнулся, не размыкая губ: какая-то тишина нашла на него, спокойствие.

— Написал, как мне придумалось... Объяснить не могу.

Вершины деревьев над головой сплетались почти в сплошную, тёмную густоту, и ни один клочок ветра не попадал на землю, под полог леса. Над вершинами же катился неумолкаемый гул, осыпал хвою, чешуйки коры и редко сбивал шишки с сосен.

Ольга опустила глаза и заговорила неторопливо.

— Отец мой с войны не вернулся... Жили мы с матерью в городе: я да она. Мать на махорке работала — на фабрике в Томске. Я бегала в школу. В школу и на толкучку: раз в неделю табак продавать, который мать с работы таскала... Первое время она ругала себя: выпьет, заплачет, клясться начнёт, что больше не украдёт щепотки. А потом... Мне было до этого что? Махорка — не хлеб, не картошка. Какая-то дрянь вонючая. Мать с работы придёт — вся в табаке насквозь. Я даже чихала от этого.

---

Ольга сморщила нос и закрыла глаза.

Максим засмеялся.

— А раньше на карандашке она работала, мать, так от неё знаешь как вкусно пахло? Лаками, красками, кедром! Но потом она перешла зачем-то на эту вонючую фабрику... Подходишь к махорочной, а от неё за два квартала уже нос крутит и глаза ест... Вот табачком я и бегала на толчок торговать.

Ольге кажется, что и сейчас её окружает этот многоголосый шум толкучего рынка... Калеки, подростки, старухи. Охрипшие, потные. Замусоленные бушлаты и телогрейки, солдатские шапки со звёздами и без звёзд. Обступают девчонку плотно, тянут скомканые десятки и полусотки:

«Табачку! Табачку! Табачку!».

Ольга не заывает и не кричит, не расхваливает товар — только отмеривает полустаканом махорку, опрокидывает в распяленные карманы, в засаленные перевёрнутые кепчонки, в платки старухам. Никто не торгуется с ней, не спорит: сколько скажет, столько дают. Мордастенькая девчонка бойко прятала деньги за пазуху: мешочек махорки мигом расхватывали. В минуты управив дело, она шла покупать самодельные леденцы у мрачной и толстой бабы: это была ей награда.

Мать у дочери принимала выручку со вздохами, но деньги всегда пересчитывала: плевала на пальцы и редко при этом помаргивала глазами. Она была ещё молодая, полная и, наверно, красивая: мужчины ходили к ней тоже видные, сытые, какие-то все начальники... Спать Ольге стелили на кухне, в пыльном тесном углу. А до этого спала она в комнате с матерью...

— Я понимала: не маленькая была. Сердилась, фыркала, когда мужики приходили, язык им показывала. А они надо мной смеялись, ласкаться лезли. А я иногда как заплачу... Папку мне жалко было: он грузчик у нас был на пристани... Дядьки стали меня бояться и начали приходиться поздно ночью, когда я уже спала... А я не спала иногда до утра... Мать таскала махорку с фабрики... в лифчике... И так он большущий был, лифчик, да она на него ещё карманы нашла... Придёт иногда, как бомба, толстая. И как её в проходной пропускали? А бывало, ни щепотки не приносила... Толкучка мне опротивела, всё опротивело. И леденцов самодельных я уже покупать не ходила... Так иногда подумаю: пионерка, а чем занимаюсь? В школе у нас славные были учителя, хорошему всё учили... Пригрозила я матери, что расскажу про её дела-делишки... Думала, что она побьёт меня, а она давай гладить да уговаривать. И в слезах вся... Жалко стало её, опять я пошла с мешочком...



---

Весна была, таяло, воробьи по карнизам, верба цвела. Лёд на Ушайке сломало, и в промоинах ребягня, старики рыбёшку вылавливали сачками-накидками. Ольга прошла через Каменный мост, поднялась по трамвайной линии, и только свернула к толкучему рынку — прилип к ней нахал-оборванец: белоглазый, худой, как крыса. Толкнул её между забором и пивным киоском, подставил две грязные горсти: я, говорит, давно тебя высмотрел, да мужичьё не даёт подступиться; отсыпай, говорит, мне две горсти махорки, а то всё отберу.

— Я отсыпала: испугалась, страшным он мне показался. Глаз я таких не видала ни у кого: круглые, белые, как обмороженные.

— У нашего Оськи такие, — сказал Максим и покашлял.

— А кто же ты думал? Он это и был... Сколько я после на толчок приходила — всегда отсыпала ему махорки. И он меня выручил раз. Как закричит: «Рви когти, дура, легавый на тебя прёт!». Глянула — фуражка красная середь голов мелькает, да быстро — прямо ко мне. Бросила я свой мешочек со страху — махорки ещё в нем стакана четыре осталось... В себя пришла только на Каменном мосту.

Ольга траву сорвала, накрутила на руку.

— Мать и так поймали, через год после этого. Осудили на семь, что ли, лет... Сюда меня привезли — Оська Кочер уже здесь был... А дальше мне что-то и страшно рассказывать...

Максим поднял короткий сучок и забросил его далеко, чуть не до самых макушек деревьев. Остановился как вкопанный, проследил, куда палка упала...

— Так Оська что... тебя бил?

— Нет, — вспыхнула Ольга и отвернулась. — Не знаю, за чем я тебе это стала рассказывать... Он тогда ничего не сделал со мной, ничего! Я ему морду противную всю обцарапала... Это было в то лето, как приехать тебе сюда...

Лес хорошо просвечивался, и пестрота солнечных пятен золотой сетью дрожала на травах, на хвое деревьев. Блики солнца и шум вершин, редкие голоса птиц и поскрипывание сухостоин сливались в одну счастливую, радостную картину. Мягкий, нетопкий мох, устилавший зеленью твердь петляющей тропки, по которой идти было одно удовольствие, чернота мёртвой, застойной воды под корягами были милы и приятны. По этой тропе в конце лета отправлялись мужики шишкойойничать; старый остяк Кальзя ходил здесь с собакой на промысел. Тропа эта, если по ней идти долго-долго, вводила к большим кедровым массивам, за которыми дальше были болота — великие васюганские топи.

---

К тропе с боков подхлестывались ещё тропинки, тонкие жилки, почти неприметные; они подходили со стороны Эзель-Чвора, Максим это знал. И у него появилась мысль — обогнуть с Ольгой полкруга, выйти на эзель-чворовскую дорогу по тропке-ниточке и вернуться в Чижакпу с другой стороны. Уж тут они нагуляются и устанут.

Тревога возникла для них неожиданно: стёрлись яркие краски, тёплые блики, и одна сплошная тень закрыла лес. И сразу же в этой тени, в густом полумраке, стал казаться иным ветровой гул в вершинах. Уже не было в нём той ласковости, той захватывающей и влекущей силы, что минуту назад, когда солнце было и были блики. Он страшил и отталкивал, этот сумрачный нарастающий шум. Туча, как тёмной шторой, задёрнула солнце, и чувствовалось, что лес вот-вот прошибёт дождь или ливень, с молниями и грохотом грома.

Впереди лес вроде бы расступался, там открывалась поляна, и они, взявшись за руки, побежали туда. Это точно была поляна, сухая и чистая, с белым хрустящим мхом, старым кострищем, над которым стояли рогульки для котелка. А на краю поляны, где невысокий ельник и папоротник густо сплетались между собой, была засидка из бересты — удобный, уютный шалашик.

— Это Кальзин, наверно, шалаш! — обрадовался Максим. — Шалаша Кальзя из бересты ставит, он сам говорил мне... Заберёмся и переждём грозу.

— Да не будет грозы, — сказала Ольга, останавливаясь перед шалашиком. — Нашла тучка, и что? Ветром её прогонит. В такой ветер никакой дождь долго не удержится.

— Ветер может утихнуть. Так часто бывает: нагонит грозу, а сам уберётся.

На лугу, в чистом поле, приближение грозы далеко видно, а в тайге она налетает внезапно, как коршун... Посинело небо над головой, вспучилась туча, ветер слабел, слабел и затих. И близко оглушительно грохотнул гром. Тяжёлые капли дробью просыпались на затихающий, будто испуганный лес.

## 9

Двоим было только-только в берестяном шалашике, и они в нём сидели, тесно прижавшись, подобрав ноги. Под проливным дождём береста вздрагивала и гудела, и Максиму казалось, что сидят они не в шалашике, а в большом барабане,

---

по которому бьют тысячью тонких палочек. Гром оглушал и молнии ослепляли, опалая то белым, то синим огнём мокрые, дышащие вершины деревьев.

— Страшно тебе? — громко спросил Максим, видя так близко перед собой чистые, ясные, широко распахнутые глаза.

— Нет... Разве только чуть-чутьочку!.. А я маленькая от грозы в сундук пряталась! — Ольга язык высунула и закусила его белыми красивыми зубами.

— Гроза гремит ай-да-ну! Настоящая! Оглушило меня на одно ухо... И холодно, бррр! — Максим в одной белой рубашке был.

— Я тоже озябла вся... И платье измяла новое: видишь, хвоинок сколько пристало к ситчику... Погрей меня. — Она повернулась к нему спиной, взяла сама его руки, скрестила их на груди.

Так сидели они и дрожали — от холода и волнения.

— Ты на учителя будешь учиться? — спросила Ольга и высунулась из шалаша. — Смотри-ка, смотри — синева показалась!

— Может, учителем буду, может, ещё кем, — тихо сказал Максим, тоже выглядывая наружу и подставляя лицо под утихающий дождь. — Я книжки люблю читать. Слова непонятные на бумажку выписываю... Мне Елена Ефимовна словарь подарила, толстый. Вот книг у кого — обалдеть можно! Наверное, тысяча... Ни у кого в Усть-Чижапке столько книг нету.

— А кем я буду — я точно знаю, — отстранилась от него Ольга. — Мы в Томске поступим с девчонками на радистов. В училище что не жить? Там детдомовцев одевают, кормят. И профессия чем плохая? Будем радистами, уедем на Сахалин или куда-нибудь в Заполярье, на Диксон. На Диксоне наша одна воспитанница работает, пишет нам письма.

— Лучше на корабле плавать радистом, — авторитетно сказал Максим. — Об этом в книгах так интересно пишут..

— Дождь перестал — побежали. Ох, и мокрёшеньки будем! Теперь вся вода с кустов наша.

По тонкой нитке-тропинке, как и хотел Максим, вышли они вкруговую на эзель-чворовскую дорогу. Белый лесной песок потемнел от влаги; за бледными, тонкими тучами проступало солнце, и лучи его уже начинали просушивать дорогу. Щебет птиц чисто и ласково разливался в воздухе; лужи в ямах и выбоинах отражали спокойное, почти очищенное от туч небо.

---

Они шли быстро, где с весёлой припрыжкой, где поспешая бегом; иногда останавливались, чтобы нарвать цветов или убить змею: змеи им часто переползали дорогу.

Громкий, запальчивый, радостный разговор не умолкал между ними.

— Вот за этим бугром, где высокие сосны, дорога падает прямо в болото, — частила Ольга.

— Знаю... Ух, там и топь, ух, и зыбун! Мы с Гошкой пытались дно в «окошке» достать — не достали.

— Подожди... А ты слышишь? — До зыбуна близёхонько было, и Ольга остановилась.

— Как будто кто чавкает, хлюпает... Когда ноги увязнут, когда их быстро выдёргиваешь, тогда такие же звуки... Точно-точно! Но человек бы кричал, если б тонул. Скотина разве какая...

Сосны перед ними раздвинулись, расступились, открылось маленькое, но гибельное болото, и Максим с Ольгой увидели, что по ту сторону зыби, в ельнике, пригибаются, ломятся в густоту леса двое. И эти двое — чёрные, как обгорелые пни. И вроде бы за одним волочится верёвка, вожжовка жёлтая, конопляная — на ту похожая, какую Максим за домом Щукотек головой ненароком сбил: на штыре деревянном висела... чёрные двое стремительно скрылись, но треск за ними всё ещё слышался... А в зелёно-бурой моховой жиже, лицом вниз, втиснутый, втоптаный в топь, будто бы человек лежал — спина бугром выпятилась.

Ольга Максимову руку схватила, прижалась к нему. Остановились они, онемели — шагу дальше боятся ступить. Страх ударил обоим по сердцу... До Ольги не сразу дошло увиденное, а когда дошло — она вся затряслась, закричала.

— Не базлай, и так страшно, — еле проговорил Максим, и тоже как заревёт во всю глотку: показалось ему, что те двое, с верёвкой, чёрные, повернули назад, спрятались за деревьями и смотрят на них по-волчьи.

Через болото перебежать надо было мимо убитого, и Максим со всех ног пустился, на скользких бревёшках, почти уже сгнивших, оступился, одной ногой по колено увяз в торфяной жиже, но тотчас же выскочил. А позади него Ольга охала и дышала, как собакой затравленная.

Возле убитого мох вытоптан был — следы человечьи и конские, на кочках кровь запеклась, застыла сгустками. Убитый лежал в болоте ничком, руки раскинул, волосы на затылке тоже все кровью заплёсканы...

— Мапочка, мама! — опять вскрикнула Ольга; от крика ей горло перехватило, а в глазах слёзы стояли.

---

По твёрдой лесной дороге бежали они без оглядки, и всё чудилось им, что их настигают убийцы, гонятся по пятам, и вот-вот золотая вожжовка захлестнёт им шею петлёй...

Таковыми они и влетели в посёлок: ошалелые до смерти, бледные.

На всей улице не было ни души, и людей увидали они только у ветлечебницы: конюх Андрей Гросс сидел на крыльце со своей Розой и смеялся взахлёб над чем-то. Заметил ребят — смех проглотил.

— Кто же это вас напугал? Могу поспорить — медведь! — Андрей переставил босые ноги на ступеньку пониже. — Или чёрт с калёной кочергой.

— Убили... Там председателя эзель-чворовского убили, — колючим, сухим языком выговорил Максим и дёрнул за руку Ольгу: она всё охала и всхлипывала сквозь слёзы.

— Не мели... Чего ты несёшь? — изменился в лице Андрей, и губы его обескровились. — Да ты послушай, что он говорит! — повернулся Андрей к обомлевшей жене.

— Да Александр-то Никитич ведь только что у нас чай пил, — сказала шёпотом ветврачиха. — На свадьбу, говорит, не попал, так хоть чаю у вас попью... Грусть была у него на лице, это правда: всё лес колхозный жалел, что в бурю угнало...

— Да погоди ты, постой! — Андрей Гросс вскочил, перед глазами рукой провёл: пот на лоб ему выступил, а глаза хлопали, как от видения какого отмаргивались. — Максим, беги в сельсовет! А я на коня и к болоту!

— Один-то ты что же... Народ собрать надо, — сильно встревожилась Роза, но Андрей уже не слышал её слов...

На бонах, которые протянулись через низину между Чижапкой и Кривошеинкой, Максим распорол ногу о гвоздь, ополоснул ногу в застойной воде озерушки и побежал напрямиком дальше, а Ольга свернула к детдому. Максим как-то и не заметил, когда Ольга свернула. Сам он выскочил на широкую улицу, обогнул двухэтажное здание школы и вбежал в небольшой серый домик с полинялым, потрёпанным флагом на крыше...

## 10

А тем временем в Эзель-Чворе об этом уже узнали — от старика латыша. Латыш в Усть-Чижапку за чем-то шёл и наткнулся на труп в болоте. Был он больной, старик, силь-

---

но одышкой страдал, а бежал от болота назад без оглядки. В контору колхоза ввалился он чуть живёхонек, только и выговорил:

— Зарезали... нашего... Александра Никитича!

Там была Пелагея Панкратьевна — сидела на лавке, подол на коленях разглаживала. Как старик про убийство сказал, так у неё глаза на лоб выкатились.

— Медведь порвал! — Застыли глаза, потемнели щёки у Пелагеи Панкратьевны. Встала с лавки она прямая, опустила руки вдоль тела. — А то, могло стать, и росомаха... Господи! Да от такой вести можно с ума попятиться. Ой, заявить же надо!

И побежала она, но не куда-нибудь, а домой к себе...

А тут уж на всё село голосила осиротевшая Нюшка:

— Извели, извели, ироды! Погубили моего сокола!

А за Нюшкой вслед все в один голос заговорили: Щукотьки, Щукотьки это.

И опять здесь припомнили старое, ту пору ещё, когда Щукотьки богатые были, завод кожевенный на Алтае держали. Богатство у них новая власть к рукам прибрала, а жадность-то, злоба с ними остались. Жадность, злобу не отберёшь, как вещь... Старики вспомнили, как Тит Щукотько, покойник, домище у старовера купил тут в тридцать первом году: двадцать тыщ сразу на стол выложил. Выходит, было у них добро припрятано, у Щукотек, было! На новом месте они в первый же год лучше всех зажили: скот завели, птицу, обстроились. Хапали из колхоза и так, где плохо лежит. А Демидов вот на руку им не подыгрывал. Они ему улыбались и льстили, а втихомолку точили нож.

— Остерегаться бы Александру Никитичу, а он в открытую с ними.

— Такой человек был — прямой. По-за глаза не любил пересуживать... По-за глаза раньше-то о царях говорили...

Мужики эзель-чворовские также припомнили, что за день до убийства, вечером, видели полупьяных Евгешку, волковбугорского лесника, и Калистрата; с мешками заплечными уходили они куда-то. Одному рыбаку отвечали, что подались остров кедровый смотреть — мол, какой урожай нынче шишка сулит, поглядеть надо. Другому встречному, уже далеко от села, Калистрат и Евгешка толковали иначе:

«Зайдём на покос — на стога взглянем, не покосились ли. Сетки в озеро кинем — карась хорошо ходит».

Встречный мужик сказал, что к ночи гроза ожидается, а карась к непогоде на дно ложится, в ил зарывается.

---

«А что нам гроза, что ночь? Мы с ночью дружны...»

Так будто бы Калистрат сквозь едкий смех высказался.

Передавалось на Эзель-Чворе из дома в дом и такое. Щукотьки недавно взяли стряпку себе — эстонку. По-русски она едва-едва понимала, но в работе была прилежная, готовить умела, хлеб печь. Вот эта эстонка и натолкнулась в сенях на окровавленную фуфайку. Натолкнулась да как закричит: про убийство она уже знала. Из дому выскочил Калистрат: он только вернулся из лесу с Евгешкой-объездчиком, самогонку на кухне пили они, жадно закусывали жареными карасями. Калистрат вырвал фуфайку из рук эстонки, дыхнул ей в лицо сивухой, сам весь трясётся. А Чернобурка уже тут как тут между ними.

— Чего, голубушка, выпялилась? Или не знаешь, что вчерась мы свинью кололи?.. А ты подумала-то об чём?

Перед этим Щукотьки, верно, свинью забили, а эзельчворовским было дивно: летом скотину бьют. Чернобурка потом и этому объяснение дала: свинья у них вроде бы подавилась чем-то, кататься стала, храпеть — вот и пришлось-де прирезать.

Пелагея Панкратьевна хоть и старалась успокоить эстонку, но та от испуга долго в себя прийти не могла.

А на другой день ушла от Щукотек совсем...

Щукотек взяли по подозрению в убийстве — Илью и Калистрата. Они всё отрицали, грозились уморить себя голодом, если их не отпустят.. Прямых улик против них действительно не было.

Дело вести приехал пожилой майор из органов безопасности, человек лысый, с жёлтым лицом, угрюмый. Глаза его были воспалены от насморка, он сморкался в платок и нервничал: и простуда к нему пристала, и опоздал-то он на три дня, и дождь-то обильный пролил в день убийства — залил всю зелёную болотину так, что вода поверх мха выступила. Всем этим был недоволен следовательно, но на похоронах сказал, поклялся даже, что убийцы себя покажут и кара настигнет их.

В Эзель-Чворе не было ни одной бабы, которая бы не пролила слёз, не поохала, не повздыхала. А Нюшка — та вовсе вся истерзалась, глаза её так и не просыхали. Когда повели Нюшку с кладбища, затянула она нечеловеческим голосом:

Снеги пали, снеги пали —

Пали и растаяли...

Лучше бы м-меня убили,

Милого оставили!



---

Такие вот слова у неё в надрывную песню сложились!..

Разговоров об этом убийстве было не переслушать. В округе с тридцатых годов здесь смертей было много: мёрли первые поселенцы от голода, от болезней, тонули, гибли на валке леса в войну, замерзали в бураны, умирали от старости старики, а вот убийство за это время тут помнят только одно: на Жёлтом Яре в тридцать пятом году.

Жил там немтырь, дурачок У. Так прозвали его за то, что он всё время укал. Жил этот У блаженненьким, тихим, никого никогда не трогал, но раз на него что-то такое нашло. Забрался он в дом к одинокой женщине, когда та на работе была, и зарубил в зыбке младенчика годовалого. От хлынувшей крови У ошалел, перекосясь весь, зажмурился и стал метаться по комнате, натываясь на что попало. Разбился в кровь, но глаз своих так и не разлепил. Верёвками опоясали У, оплели и увезли куда-то...

Других убийств с тридцатых годов в окрестных сёлах и деревнях не было.

Шло своим чередом следствие, и каждый новый допрос обсуждался в народе.

— Отпираются, ты погляди! Да окромя них-то кому? И детдомовцы усть-чижапские, эти парнишка с девчонкой, видели, как они убежали.

— Они или нет — точно ведь не доказано...

— А Физка-то что ж замолчала? Не обеляет своих. А то какой был язык у бабы! Не язык, а гончая собака.

— Да Физка что! Сама Чернобурка молчит, как с харчком во рту ходит.

— Даве её об чём-то спросили, так она убежала, как сивка без узды.

— А что же Евгешку не взяли, волков-бугорского? С Калистратом их вместе видели.

— Тут какой-то резон есть у следователя.

— Верно, верно: будут Щукотек судить — они и Евгешку-бандита потащат.

— Ничо — расколются Щукотьки-то, терпежу не хватит молчать, да и фактами подопрут. Факты-то есть небось.

— Отошла им лавочка, добрыкались!

— Они и раньше хлебом печёным скот кормили.

— А мы, дураки, работали — ни рукава от шубы.

— Ходили мы с ними по одному полу, да разной ногой ступали...

— Щукотьки — они отжитые людишки, дикой собакой кусанные. Убийство это к ихним рукам липнет.

---

— Да подь они все к холере, прости Бог греха!

— Ты, дед, не отмахивайся. Али не помнишь, как был Илья Титыч до председателя полномоченным по налогам, по займам? Придёт он, бывалоче, прыгает перед тобой, кулаком машет — дай тыщу рублей, а то будет душа на поскотине... А денег дать — не воды из колодца набрать: где денег взять, когда их нету?

— А Гаврилка какой у них был — глаза гадючьи? Хорошо, ты с ним не встречался, а он в тридцать седьмом на Жёлтом Яре ко мне матерьял подбирал, в морду наганом тыкал. Знаем мы их!

Разворошило мужичьи души: со дна всю накипь, обиды все вывернуло. Не успокоятся мужики...

Чернобурка два дня после похорон не появлялась нигде на улице, по хозяйству управлялась с фонарём ночью; ночью же и коров доить ездила на ту сторону Васюгана, на остров.

И вдруг она появилась возле конторы — в чёрном во всём, седая, как пепел. Народ там сидел, у конторы, так она «здравствуйте» всем сказала с протяжным вздохом, руку к груди приложила. Ответили ей бурчливо, невнятно. Она заморгала, старушечьи губы её задёргались, задрожали, мутные слёзы из глаз так и брызнули. И взвыла она, как волчица:

— Ой, несчастные мы, разнесчастные! И заступиться-то за нас некому, и погубят-то нас люди злые, завистливые! Оговорили, оклеветали! Сердце моё позора не вынесет...

Столб стоял возле конторы, обглоданный столб, щепастый — коней за него привязывали, кони его и обгрызли, зубной зуд унимали. В этот столб Чернобурка плечом уткнулась — в слезах вся, в морщинах. Тихо и напряжённо глядели на неё люди и видели, что пришла она к ним за сочувствием, хоть какое-то доброе слово от них услышать. Но слов ей добрых никто говорить не хотел: не было для неё у людей таких слов.

Трегубый мужик, пилорамщик, сказал, потупясь:

— Ить развылася! Не выла бы ты, Пелагея Панкратьевна... Чего взялась? Кроме вашего рода постылого кто мог такое злодейство сделать? Жили вы так — ступите шаг и подумаете: не дрожит ли земля. Расчётливо шибко жили, а тут просчитались... Не вой, не гневи народ: он и так гневен.

— Ой, лишенько, ой, что ты такое несёшь? Не мы, не мы — бог судья.

Она вынимала длинной костлявой рукой платок из-за пазухи и вынуть никак не могла: почти уж собой не владела. Но язык её слушался, и она просыпала словечки:

---

— Всякого выслушай, но не всякому верь... Чтобы дети мои кровь человечью пролили? Да я бы сама их на месте, сама...

Ей не хватало воздуха; в самом деле она казалась теперь больной и слабой, измученной. Но сочувствия Пелагее Панкратьевне не было ниоткуда. Наоборот: её вымученно-несчастный вид, причитания и слёзы начали нехорошо раздражать людей. Молодой парень, сплюнув, в лицо ей колюче бросил:

— Шли бы вы к чёрту все... Вам ещё старое вспомнят. Вспомнят ужо, ого!

Чернобурка не изменилась в лице, но приглушила слёзы, сухими пальцами провела по глазам.

— К чёрту, милоч, меня нельзя посылать: я верующая, Богу угодная...

Проговорила так и пошла, вздёрнув сморщенный подбородок. Но голова у неё тряслась, никла — она уже не могла держать её так, как прежде держала, — независимо, свысока.

А с Физой и вовсе творилось что-то уж непонятное: она заболела, была в горячке, к ней приезжала врачиха из Усть-Чижапки, уколы делала. Поднялась Физа — узнать её было трудно: усохла и похудела, губы от жара спекло — они шелушились и сморщивались. А глаза были как у побитой собаки: испуганно-злобные и трусливые. И было что-то ещё в этих глазах — печаль такая, что временами людям хотелось посочувствовать ей.

В этот день оделась она неряшливо, уж, верно, в самое худшее, что у неё было: на ногах сапоги разбитые, на плечах сарафан — застиранный, блёклый. Покрытая красным большим платком с чёрными розами, она шла по улице спотыкаясь, и собаки из подворотен взбрехивали на неё почему-то как на чужую. Бабы глядели ей в спину и перешёптывались:

— Сбежал с бабы навар, сплыл жирок-то.

— Раньше-то хахали табуном ходили, а теперь никто не глядит. Вот и заела тоска.

— Были мужики, так жила бы как люди... Не надо было носом колупать.

— Уж куда там — доколупалась!

— А видели, как у могилы она тенью стояла? Когда крышку-то пригвоздили и гроб опускать начали... помните, помните, что с нею случилось? Будто бы смерть ей в лицо дыхнула — так она вся потемнела.

— Так, бабоньки, так... Любила, что ли, она его, Демидовато? А то, может, со зла всё исходит, что он на неё не позарил-

---

ся — мимо прошёл. А она ведь какая была? Ей что ни мужик, то вынь да положь.

— Ой, да она к Демидихе прямо! Добить, доконать она Нюшку решила, что ль? Ох, быть новой беде у нас!

Как будто калеченная какая, надорванная, вошла Физа в пустые и серые сени, постояла, не то прислушиваясь, что внутри дома делается, не то собираясь с чувствами... Постояла вот так и в дверь постукалась, хоть и не принято было здесь в двери стучаться... На стук её не ответили. Тогда она потянула скобу на себя, переступила порог.

Чистая горенка с зашторенными окошками была пуста и бедна. Ни домотканых ковриков не было во всём доме, ни фабричных ковров. Обыкновенный крестьянский домишко с русской белёной печью, с широким столом и жёлтыми мытыми лавками. Не часто, но заходила Физа сюда и раньше — за делом и так, без дела, захаживала. Но раньше бедность председательской избы не кидалась ей как-то в глаза, как теперь кинулась... У них, у Щукотек, и ковры фабричные есть, и тюль дорогой на окнах, и скатерти заграничные на столах, и всего-то ещё разного много — задарма почти накупали у эвакуированных латышей и эстонцев, разжились на чужом несчастье... Физа в секунду всё вокруг себя оглядела, заметила, что за переборкой в другой половине дома ребёнок в кроватке спит — сын Александра Никитича, полусиротка. Кроватка, в которой он спал, простая-простая была: как сыну родиться, Демидов сам её делал, выстругивал да сколачивал. Помнит Физа, какая радость была у него на лице тогда: стружки с волос сдувал, улыбался, смешные, ласковые слова приговаривал. Сделал-сладил кроватку, а краски покрасить нигде не нашёл. Так и осталась она некрашенная, кроватка: была сосновая, жёлтая — пожелтела сильнее ещё...

Шорох послышался — вроде на кухне, за ситцевой занавеской. Физа вздрогнула, обернулась. Занавеска просвечивала — с той стороны свет из окна кухонного на занавеску падал, и Физа только сейчас увидела, что крышка подполья открыта была, и Нюшка оттуда большую чугунку картошки выставила — проросшую, в перепутанных белых ростках.

У Нюшки вздох вырвался, как испуг, каблуки по полу стукнули, хлопнула крышка подполья — грохнулась, не придерживанная рукой, и Нюшка — худая, с опухшими красными веками, с искусанными губами, синяя — высунулась из-за ситцевой занавески. Лицо у неё свело судорогой, она выступила вперёд.

— Чего тебе надо здесь? Уходи!

---

Физа даже не вздрогнула — слабо-слабо опустилась на лавку, голову наклонила с таким выражением в глазах, словно готова была принять и удар топором, и самые страшные, оскорбительные слова.

— Пришла покаяться... перед тобой. Мне тяжело... Ты даже не знаешь, как мне тяжело. — Слёзы накатились ей на глаза, с болью она закусила губы.

— Какие же вы бесстыжие! — вскричала Нюшка и села, как подломилась, у печки на табурет. — Чернобурка, мамаша твоя, тоже вот к людям за жалостью лезет... без совести, без стыда. И ты туда же за ней... Убирайся, подлая! Я могу и ножом пырнуть, как вы Демидова моего...

Нюшка склонилась, закрыла лицо подолом; уши её побелели.

— Истопчи меня, истерзай, но я в этом деле не грешна! — Дикие стали у Физы глаза. — Перед тобой я в одном виновата, сознаюсь: тогда, на вечере в нашем доме, я порчу хотела на тебя напустить... с матушкиного благословения. Помнишь, как с «синенькой» худо было тебе? Это я, я, грешная, виновата! — Физа будто обезумела — сорвалась с лавки, подставила Нюшке лицо своё дикое, перекошенное, раздирает на груди блузку. — За это и мучаюсь, за это и в ноги тебе упаду. Только прости...

Нюшка тоже перед ней встала, стояла в дрожи вся, как травка тонкая на ветру: не знала, что ей на это сказать, что ответить.

— Так что же теперь... в петлю лезть? — кое-как совладала с собой Нюшка, отступила, чтобы лицо Физкино лучше видеть, в глаза ей смотреть, а то глаза Физкины близко перед ней были — в водянистые пятна сливались...

Отступила Нюшка и зашептала свистящим шёпотом:

— За «синенькую» прощу, зла не попомню, но скажи мне, скажи, как вы мужа моего загубили, за что, за что?! — Святая была перед Физой Нюшка, как на кресте распятая: глаза её правды просили. Физа от этого взгляда, от этого шёпота к порогу попятилась.

— Я тут невинная перед тобой. Убей на месте — невинная! Зла у меня было много... к Александру Никитичу, это всё правда, правда! Но и любила его я, любила... Ни по ком ещё так сердце моё не страдало! А они — матушка, братья... Они всё сулились за старое с ним посчитаться.

Физа осеклась...

— Говори, говори... — Нюшка к ней подступила вся слезами облитая. — Говори... Видишь меня: не человек я уже, а

---

ть какая-то. Иссохла, горем изглоданная, а ты скажи — за что? Его-то за что?! За правду ему, болезному, мстили! Это Илья его, знаю!

— Нет-нет, Илью вы сюда не путайте! — с трудом отдышала эти слова Физа. — Илья тоже был против... Против! Калистрат созлодействовал это да Евгешка-бандит, пьянчуга... Матушка им потакала, нашёптывала... Я не верила, до последнего мига не верила... Ой, что же теперь с нами будет?

Нюшка упала на пол, рассудка лишилась...

Ребёнок заплакал разбуженный, заскрипела кровать.

Обезумевшая Физа выплеснула ведро воды на обморочную Нюшку и выскочила на улицу. Бежала она с растрёпанной головой и кричала:

— Убийцы, убийцы мы! И что ж теперь с нами будет?

Бабы всполошились:

— Что опять она натворила? Вот прости господи-то!

— Айдайте к Нюшке! С ней что-то неладно, девки!..

Прикусили язык бабы: Чернобурка в калитку вышла — прямая, высокая, в чёрном, с железным ведром в руках. А в ведре — гнилушки чадят, дымятся. На селе слышно было, что Чернобурка собирается погреб окуривать, плесень из погреба выгонять... Дым из ведра от чадящих гнилушек клубами в лицо ей накатывался, а она не отвёртывалась — глядела на Физу свою орущую, поджидала — калитку открыла настежь. И как только Физа в калитку вбежала, Чернобурка воротца захлопнула и на защёлку их, да петлей ещё через столб захватила, узлом затянула. Физу она в спину успела толкнуть. И скрылись обе из глаз...

— Ну, бабоньки, ещё одного покойника хоронить будем: забьёт теперь Чернобурка дочь. Поди-ка, слышали, об чём Физка кричала?

Загремели вёдрами бабы и разбежались, как курицы от налетевшего смерча...

## 11

Ольга в спальне была одна, сидела на койке, поджав под себя ноги, бледная и печальная, словно после болезни. Во дворе за окномлюдно было и шумно, как всегда. В столовой топились печи, водовоз пятил лошадь к крыльцу, подкатывал бочку, и дежурные уже обступали его с пустыми вёдрами.

---

Двое мальчишек карабкались на столовскую крышу, подбирались к высоким трубам, чтобы спустить в них картошку, нанизанную на проволоку. В детдоме считалось, что нету картошки лучше, чем испечённая в трубе, на дыму: трубным жаром всю горечь из неё вытянет, подрумянит, поджарит — таким духом проймёт, ну объеденье просто. Но лазить по крышам строго-настрого запрещалось, особенно после того, как Оська Кочер сорвался и поломал себе руки... По-доброму, Ольге сейчас бы встать, пойти во двор и, как старшей, согнать мальчишек с крыши, но её охватило какое-то отупение и безразличие: второй день вот так Ольга-Пончик сидит, девчонки в спальню еду ей носят...

И вчера она видела из окна такую картину, что надо бы побежать и вмешаться, но она как будто оледенела.

Вчера Корова-Сердитов принёс из лесу живую гадюку, опустил её возле пожарного щита, а Егорку Сараева послал в мастерскую за щипчиками. Пожарный щит от Ольгиной спальни в десяти метрах, и она всё до последнего слова слышала... Егорка притащил щипчики, Корова змее голову защемил палкой, ботинком на хвост наступил и стал ядовитый зуб щипчиками вытаскивать. Вытащил, а потом отпустил змею и в пасть ей мизинец сунул. Ольга как вскрикнет, и лицом в подушку упала... Поднялась и в окошко опять глядит, как магнитом её потянуло... К пожарному щиту Пал Палыч бежал, ребята круг перед ним разомкнули: ребят уже много успело сюда сбежаться. Иглицын без слов наступил гадюке на голову, а Корову-Сердитова взял за ухо. Мальчишки захохотали, Корова глаза опустил, что-то стал объяснять директору, но Иглицын с тяжёлым, сердитым лицом ушёл от них... Все дни эти он был в такой горе, что стало у него плохо с сердцем, и он носил с собой пузырёк с лекарствами. Ольге так жалко стало Пал Палыча, что она чуть не заплакала. Уж хоть бы эти мальчишки угомонились на время. Неужели не понимают, бессовестные?... Ольге хотелось со зла надавать по щекам Корове...

А сегодня, часа два назад, заходил к ней Максим, сказал, что следователь говорить с ними хочет. Ольга руками в кровать вцепилась, затрясла головой: нет-нет, она не пойдёт, ни за что не пойдёт. Максим кивнул: он понимал Ольгу...

— Ты приходи потом, — сказала она.

— Сразу-сразу... И мы на речку пойдём, а то... знаешь, так можно с ума свихнуться... Ты впечатлительная такая, я и не думал.

Максим ушёл, и вот она ждёт его, измучилась вся, во двор смотрит.



---

Дежурные по столовой вычерпали всю воду из бочки, водовоз вывел коня из ограды на улицу, затарахтел по сухой дороге на выбоинах.

Мальчишек с крыши сгоняла Васса Донатовна, они слезали неохотно: картошка не допеклась, оставлять было жалко. Ольга-Пончик подумала, что лишь только Васса Донатовна куда-нибудь отвернётся, мальчишки снова полезут на крышу столовки и вытащат снизки из труб. Эти проныры вечно такие: как хорошо ни корми их, а они будут всегда искать себе разные лакомства — картошку на трубах печь, горох шелушить за корчёвками на колхозном поле, таскать огурцы с грядок.

Мальчишки такие...

Вошёл Максим, удивился:

— Ты всё сидишь на кровати? Пойдём-пойдём, на улице так хорошо.

— Сядь, посиди минуточку... Расскажи.

Максим не сел, но стал с ней рядом.

— Ну, вспомнил я всё, как было... Я рассказывал, он записывал. Долго записывал... С лошади-то его петлей стянули, председателя-то. Стянули, а после уже начали резать. Он уже мёртвый был, а они всё его резали... Врачи так установили... А конь, выходит, шарахнулся, с гати сорвался, и в прорву его затащило: коня-то нигде не нашли... В ту прорву попасть, что ты! — до магмы провалишься...

На Ольгиной тумбочке ручка лежала, Максим взял её, ногтем по ней пощёлкал, повертел в руках, вздохнул...

— Ты давеча что-то говорил мне про колодец, — заботливо спросила Ольга.

— Да, завтра будем колодец чистить в больнице.

— Не сорвись, — тепло и просто предупредила Ольга.

«Приговаривает, как мать», — подумал Максим.

Ольга взяла его руку и прижалась щекой к ладони.

— Год нынче такой тяжёлый — тяжелее ещё того, когда ты приехал сюда и с Кочером вы дрались... Я сандалетки сейчас надену, и мы пойдём...

Больничный колодец давно собирались чистить, да с года на год откладывали. Он замусорился, заилился, вода в нём начала отдавать ржавчиной, мутнела, и вообще воды становилось мало. И нынче бы, может, поговорили бы о колодце и замолчали б до новой осени, если бы не один случай.

Больничная сторожиха тётка Зельма вычерпнула на днях ведром дохлую кошку. С тёткой Зельмой нехорошо сделалось, ворот она отпустила, цепь раскрутилась с визгом, бадья бултыхнулась, оборвала дужку и утонула.

---

Чистить колодец детдомовцы вызвались сами: у них подозрение было, что кошку бросил Котях. Заплесневелый, зелёный коротышка был просто неисправим: ни побоями, ни словами его не пронять было. Гошка Очангин уже давно от Котяха отступился. «Все кулаки оббил об гадёныша, а он всё своё. Не хочу больше об него руки пачкать...» А Максим с Котяхом возился: убеждал, стыдил, уговаривал, с какой только стороны не пытался к нему подойти. Тоже напрасно. О Котяхе хорошо тётя Настенька, повариха, сказала: «Ему плюй в глаза, а он — божья роса. Таких выроdkов ничем не исправишь...».

А может, и не Котях кошку бросил, но детдомовцы порешили колодец вычистить.

Максим пропустил между ног поперечину, короткий обрубок жерди, уселся на него в сапогах, в телогрейке, и на толстой верёвке его начали медленно опускать Гошка Очангин, Кочер и физрук Лихабаба.

Лихабаба, как это убийство случилось и Щукотек арестовали, ходил подавленный, голос осип у него: полушёпотом он жаловался Иглицыну, что Илья Титыч чуть не в друзья к нему набивался, много раз звал его на охоту, издалека заговаривал с ним, бывало. И к пианисту Ролейдеру как-то он льнул, Щукотько, в чём мог потакал ему, приносил «синенькой» то бутылку, то две. И Ролейдер, Соломон Иванович, ничем ему не платил за это — так самогонку брал, за спасибо. Лихабаба как-то опять начал Иглицыну говорить об этом, о поздних своих подозрениях, но Пал Палыч поморщился и остановил его жестом. И физрук больше об этом не заикался... Ролейдер отсюда убрался, сам Лихабаба не пострадал ни в чём, а чело-века угробили. Действительно, что рассуждать впустую, что рассусоливать?

Колодец глубокий был; матовый, плотный лёд на срубе за лето изгладывало, но совсем не растапливало. Пешнёй, которую подали на вожжовке, Максим сколол лёд со сруба, спустился до самой воды и уместился там кое-как. Ушло, однако, часа полтора, пока он неспешно выгреб весь лёд и мусор и подцепил сорвавшуюся бадью. Потом одно за другим принимали от него вёдра с илом, сверху шлёпалась на него вода и грязь, фуфайка промокла на нём, он озяб, и ноги в бёдрах от неудобства уже ломило. Максим привык делать всякое дело прилежно, и тут старался, а то выполни плохо — скажут потом, что, мол, косорукий в колодец лазил, а думали, мастер. Про плохого работника и пословица есть: важный мастер, да дыра в горсти. Максим не хотел, чтобы о нём так говорили... Вот он и скрёб черпаком по углам и бортам сруба,

---

выворачивал грязь, чтобы чистые роднички из-под земли били, живые, студёные, чтобы вода синяя, вкусная в вёдрах плескалась... И тут что-то попало в черпак, попало в том самом углу, что за спиной у него нетронутым оставался. Был это какой-то предмет металлический — скрежетнул и тяжело в черпаке лёг.

Свет проникал сюда слабый, но глаза Максима к полумраку уже привыкли. Он запустил в черпак руку, нащупал тяжёлое, металлическое, и выдернул: это был револьвер. Сначала он этому не поверил: так неожиданно вдруг получилось, ну как во сне просто. Провёл по нему рукавом, стёр с него ил — нет, револьвер, настоящий, да и не ржавый вообще, сильно смазанный маслом, в стволе туго забита жирная тряпка. Сердце стучало, как на бегу... Максим замешкался, а сверху заглядывали в колодец, дёргали на возжовке полупустое ведро. Максим заставил себя успокоиться, почистил в последнем углу и крикнул, чтобы тащили вслед за ведром и его.

Много рук подхватили Максима. Сразу на ноги стать он не мог — так они занемели и затекли от длительного висения на поперечине. Максим боком упал на сухое, вытянул ноги и стал их сгибать и разгибать, поглаживая колена.

— Видать из колодца звёзды? — спросил Гошка.

В ответ Максим достал из-за пазухи свою неожиданную находку.

Лица ребят удивлённо на револьвер уставились, и вдруг Оська Кочер перед Максимом припал на колени и схватился за скользкую, мокрую рукоятку.

— А ну, а ну, дайте сюда, — сказал физрук Лихабаба, отстраняя небрежно Кочера, но Максим револьвер спрятал опять за пазуху.

— Я нашёл, я и отдам. Сам отнесу. — Какое-то недоверие выразилось, просквозило в Максимовом взгляде, в его словах.

— Кто среди вас здесь старший? — обиделся Лихабаба: он почувствовал недоверие, и глаза его опечалились.

— Да чего спорить-то? Пошли в сельсовет все вместе, — рассудил Гошка. — Вот так штука... в черпак попалась!

Кочер остреньким языком облизал губы, передохнул.

— Я знаю, чей это был... револьвер, знаю. — Рябые ресницы Оськи дрожали, белые «обмороженные» глаза косили в сторону. — Это Щукоткина штука, Ильи Титыча. Когда на Успенке в позапрошлом году мы жили, тогда я и видел... револьвер у него.

---

И Оська сбивчиво рассказал тут, как всё это было.

Позапрошлым летом лежал Оська Кочер после покоса усталый в сенях на том самом настиле, где Илья Титыч спал. Уж поздно было, солнце уселось, за пологом комары ныли. Дед Малафейка и бабка Пана ещё раньше Оськи спать улеглись в избе: храпение слышалось. Оська Кочер Щукотьку ждал: Илья Титыч каждую ночь ложился по-разному — то завалится к стенке, то с краю. В тот раз Оська с краешку уместился, на вчерашнем Щукотькином месте...

Илья Титыч пришёл недовольный, поплевал себе под ноги, засветил в сенцах «семилинейку», увидел Оську и заворчал: «Разлётся, как пропастина... Подвигайся к стенке!». Он долго возился с постелью: подбивал кулаком матрац, перевёртывал с боку на бок подушку, потом всей тушей упал на лежанку, упал и сбил доски, настил, с козел.

Лежанка рассыпалась, и оба они скатились на пол, да как-то смешно скатились: головами вниз, а ногами вверх. Бабка Пана на них заворчала со сна, дед перестал посвистывать носом. Илья Титыч тёр ушибленный локоть, вполголоса чертыхался, а Кочер постель налаживал. Тут ему и попалась эта штуковина — револьвер: или в матраце он был, или где-то лежал под досками, но только Оська его на полу увидел. Поднял в растерянности, вертит в руках, не знает, что и подумать, что и сказать.

Щукотько выхватил у него револьвер и съездил Кочеру по уху. Оська и с ног сбрыкал... После у Кочера в голове с неделю гудело: будто горошина на дне уха у него перекатывалась.

Потом Илья Титыч Оську заласкивать начал: то табачку ему, то конфеток горсть, и на покосе ему поблажку давал. Рассказал Кочеру, что это подарок от погибшего на войне брата Гаврилы остался и что, дескать, подарку этому нету цены. Илья Титыч выжал из Кочера клятву, по-блатному, «на суку» его побожиться заставил, что Кочер нигде про это и рта не раскроет. И Оська молчал, а хотелось ему пойти рассказать обо всём Иглицыну или ещё кому...

Когда Демидова на болоте убили, Кочер вовсе стал мучиться, житья ему не было от тревожных дум. Ждал, что, может, следователь у него что-нибудь спросит, как у Максима спрашивал, тогда бы уж точно он рассказал, не удержался. Но его никто ни о чём не спрашивал, а чтобы пойти самому, он себя заставить не мог...

— Всё слово в слово ему расскажи, следователю, — удивился Максим, дослушав Кочера. — Человек сколько уж дней дознаться не может, а ты...

---

— Дела-делишки, — помотал головой Лихабаба. — Идёмте-ка все в сельсовет.

У сельсовета, когда они подошли, коня увидели не здешнего, не чижапского: в поту был конь, бока у него надувались и опадали, с губ пена клочками падала. В небольшой сельсоветской комнате народу было битком: все слушали, что говорил мужик с плёткой в руке, видать, приезжий. А говорил он, что Физку бьёт лихоманка, что во всём она людям покаялась, что Калистрат с Евгешкой убили Демидова, а Чернобурка, Пелагея Панкратьевна, сама себя заживо удушила.

— Да неужели до смертушки, отводиться нельзя?

— И не отваживались: в погребе и застыла.

— Неужто нарошно? Вот ведьма!

— Полезла вроде бы погреб окуривать, и крышку захлопнула. Гнилушек с ней было полнёшенькое ведро... Все у нас думают так, что старуха себя уморила. Слышали бабы — кричала она, когда в погреб-то лезла: мир порицала, проклятье сулила всем отныне и до веку... Да где же следовательно? Али пойти поискать его по посёлку?

— Нам тоже он нужен, — от порога сказал Лихабаба, пропуская вперёд Максима и Кочера. — Мы в больничном колодце нашли револьвер... Щукотьке принадлежал... Вот наш воспитанник Кочер подтвердить может..

«Принадлежал! Подтвердить! Большой, а выскочка, — подумал о нём Максим. — Линия Маннергейма! Свистун ты, вот кто...»

## 12

С неделю держалась воронья погода — мокрая, грязная, с низким дырявым небом и шальными ветрами. Ободрало с деревьев листья, прибило к земле; скопилась вода в низинах, и лужи на улицах стали такие широкие, что даже свиньи без радости перебрадили их по брюхо в грязи.

Но кончились затяжные дожди, очистилось небо, унялись мокрые, рваные ветры, и разом как-то просыпались крупные белые инеи. Шершавой, льдистой крупой покрыли они тротуары и крыши, присеяли глину на низменной, луговой стороне чвора.

Над Васюганом уже стекленели холодные зори, к берегам по озёрам крепко припаивало тёмный ледок. В предутренней тишине, до солнца, из болот вылетали матёрые, старые

---

глухари, усаживались на обглоданные вершины сушин и недреманно оглядывали коченеющий мир.

Давно Иглицын сулил Максиму и Гошке медвежью охоту, и вот будто бы случай им выпал: старый Кальзя пришёл и сказал, что за речкой Паксалом, в густых сосняках возле понжиболота, «большой мужик» бродит, место себе для берлоги выискивает. Один Кальзя медведя пошевелить не решается, а если пойти им хоть малым числом, то будет добыча. Кальзя выследит зверя по свежим набродам, и тогда не зевай только...

Кальзиному приходу Иглицын обрадовался и тотчас же стал собираться: за это лето Пал Палыч столько перестрадал, пережил, что опять сердце болью хватать стало. Надо было отвлечься и отдохнуть — природе пойти поклониться, она, матушка, выручит, исцелит и душу облегчит. Места за Паксалом Иглицын издавна знал, и Кальзе ему не пришлось объяснять долго: он живо вспомнил массив сосняка, болота, которые примыкали к сосновой гриве, — всю местность там вспомнил в подробностях...

Ребят он брал с собой не задумываясь: выносливые, уже совсем большие — у обоих усы пробиваются, тайгу любят, с ружьями обращаться умеют — поднаторели на мелких охотах за утками и боровой дичью.

Первоначально так и задумано было пойти: Иглицын, Кальзя и Гошка с Максимом. Но неожиданно к ним пристали ещё двое: трегубый мужик, эзель-чворовский пилорамщик Елпидифор, или, как все его называли для краткости, Фора, и дед Малафейка.

Малафейка приехал с Успенки в Чижакку на обласке по какому-то делу, узнал про охоту и сразу прилип:

— Возьмите меня, хоть перед смертью ещё разок страсть испытаю. Стрельнуть не стрельну, так пригожусь в обозе: кашу сварю, чаю напарю... Эх, годы, годы! Верно что: помирать скоро, а я на медведя прошуся, как на блины... — Юркнул старик плутовато глазами на Гошку и на Максима, моргнул: — Кальсоны-то на подменку взяли?

Максим с Гошкой, как по команде, отвернулись от деда, перекинули ружья с плеча на плечо, наклонились и стали трепать собак за уши. А дед Малафейка как будто только затем и пристал к серьёзным людям, чтобы подкусывать, похохатывать. Ребят обсмеял, Иглицыну подковырку бросил и принялся за трегубого Фору: собака Форина, вишь ли, ему не понравилась.

— Жирная, брюхо отъела. В глазах кошачья лень.

---

— Кобель у меня подложенный, — сказал Фора и вывернул красную третью губу.

— Отчебучил ты, паря! — ахнул старик с присвистом. — Да нешто он мерин тебе? Не будет у него после этого прыти... Вон те собаки. Те гачи медведю подёргают.

Кальзя весь в думы ушёл и молчал, табак у него в трубке-канье потрескивал, дым в морщинах лица синим туманом путался.

— Ты, я слышал, в Каргаске нынче был, — подошёл к нему Малафейка. — Какие там новости, а? Стариков на молодых ещё не переделывают?

В ответ старый остяк только похмыкал: молчалив был сегодня Кальзя...

Перед выходом Максим успел забежать на детдомовский двор, думал, что Ольга-Пончик ему на глаза попадётся, увидит, какой он сегодня важный и грозный в охотничьем снаряжении. Максим бы от этого выше ушей вырос, но Ольги нигде во дворе не было видно. Зато Егорка весёлый выскочил — из столярки, с рубанком в руках, обсыпанный стружками. Он был уже по плечо Максиму, крепкий и большерукий — такого смаху не больно обидишь. Да и кому обижать? В силу входят они, Сараевы, крепнут, как лёд на морозе... Дядя Анфим, будь он живой, сказал бы, наверно: «Молодцом! Нисяво, паря...».

— Ты здесь без меня не шали, — перебил Максим свои мысли.

— Да ну... Мы делаем письменный стол Вассе Донатовне. Лаком покроем — под красное дерево. Две тумбы, с замками... А ты столярку забросил, не ходишь...

— К столярному делу у меня интерес пропал, — признался Максим. — Ладно, не мёрзни, иди. Меня вон кричат... Бывай, Егорка!

Уже на бегу Максим увидел, что от главного корпуса Ольга идёт, рукой ему издали машет, но останавливаться Максиму и расхотелось, и торопился он. Охотники дожидались его на яру и показывали на солнце: оно было на вечер...

За Васюганом на озере Гошка уток на ужин стрельнул: гоголей табушок как-то ещё задержался, в тёплые страны не отлетел. Пока доставали уток, светлое время дня кончилось, и к зимовью, к карамушке, где ночевать у них уговор был, подходили они уже потемну. От той карамушки Кальзя следы зверя близко тогда находил, и так могло быть, что медведь и теперь где-то рядышком бродит. Поэтому на привал становились тихонько и с осторожностью. Натаскали в зимовье сена, потоптались, умяли: перина! И вроде недолго



---

с ночлегом возились, а уже ночь упала, звёзды колюче поблёскивают, луна круглая выкатилась, вся в каком-то морковном тумане.

Ужин поспел — суп утиный в чёрном ведре, густой чай в котелке нагрел; всем до смерти есть хотелось. Иглицын достал бутылку, разлил по кружкам между мужиками.

— А этим что же? — кивнул на парней дед Малафейка.

— Не надо, — поторопился Максим. — Мы ещё это... не пьём.

— Не пьют на небеси, а остальным — кому ни поднеси, — присказал дед Малафейка и выпил.

Поели когда, чаю попили, Малафейка парням присоветовал:

— Полежите на сене — жирок завяжется. Это полезно.

— Нам ни к чему, деда, — насмешливо отвечал Максим. — Ожиреем — не победим, как дяди Форин Жиган.

— Смысловатый ты парень, — с похвалой отозвался дед Малафейка и замолчал у костра, как в сон ушёл.

Сучья в костре дотла прогорели, и все в карамушку полезли, зарылись там в сено, прижались друг к другу боками и спинами.

— Давно мы, Кальзя, с тобой в тайге вместе не спали, — сказал Малафейка. — Ты, часом, нюх-то не потерял ещё? Поди, тоже ведь стар, как пень. Наговорил про медведя, а его, можа, тутка и нету? Не вышло бы у тебя, как по присказке: бух в колокол, а обедни нет.

— На Кальзю всегда положиться можно, — проговорил Иглицын. — Кальзя всякого зверя за версту чувствует...

Старый остяк сегодня молчал: видно, все думы у него были про завтрашнюю охоту.

Надышали, угнездились, и скоро в тесенькой карамушке, как в тихой, тёплой норе, разнеслось мужичье похрапывание: уснули Кальзя, дед Малафейка; трегубый Фора бормотал что-то со сна.

— А я всю ночь не усну, — сказал Максим.

— Думки мешают? — спросил Иглицын; он рядом с Максимом лежал.

— Какой он будет, завтрашний день? Мерещится разное мне... Хорошо бы — удача...

— Нечего тут загадывать, — буркнул Гошка. — Как будет, так будет...

— Плюнь, Гоша, через плечо, чтобы не сглазили! — рассмеялся Пал Палыч.

---

— А чо? — захорохорился Гошка. — Вот я никогда наперёд не загадываю. Хоть на рыбалке, хоть на охоте. Плохая примета.

— А ты, Максим, как считаешь? — спросил Пал Палыч.

— Всё это сказки... Но говорят в народе, что, дескать, загад не бывает богат... Я помню, в войну ещё, в Пыжино, на самолетах, Анфим Мыльжин, остяк, подзатыльник мне дал, когда я на большущего осетра рот разинул. А такой добрый был человек, ну просто на редкость. В приметы верил, а в Бога нет... Пал Палыч, я вам про него не рассказывал? Хромой он был, а всю войну нарты таскал по обским торосам. Рыбу для фронта тогда знаете как промышляли... Анфим и в лето, и в зиму рыбачил. Крючки самолотные по ночам точил. Примостит жировую коптишку на подоконнике и ширкает плоским напильником... Помер недавно Анфим. Мне его жалко...

— Да, — отозвался Иглицын, — исстари крепкие люди живут здесь, сладким житьём не балованные... Да ты всё об этом и сам без меня знаешь. Тебе, может быть, изо всех доля нелёгкая выпала... Учись, больше читай. Напишешь потом какое-нибудь сказание о нарымской земле. Стихи-то не бросил?

— Пишу, но они у меня плохие... Когда Васса Донатовна и похвалит, да сам-то я знаю, что ей меня обижать неохота.

— Обижать неохота? — Иглицын тут помолчал с минуту. — Я думаю, что она не такая, Васса Донатовна. Если уж хвалит, то не напрасно. А большущие вы у меня повырастали! Мужики!.. Вот разъедетесь скоро, разнесёт вас по свету, как добрые семена. Заживёте, пустите корни, и дорогу сюда, наверно, забудете. Или нет? Ну, хорошо, я так и думал.

— Я никогда-никогда с Васюгана не убегу, — сказал Гошка с волнением. — Останусь работать в детдоме, конюшить. А то в урман подамся, от «Сибпушнины» охотиться...

— А я буду часто сюда приезжать. Каждое лето! И как вы так говорите, Пал Палыч? Мы как размечаемся с Ольгой-Пончиком...

Максим запнулся на этом слове.

— Да эта Ольга твоя только о городе и долдонит, — с сердцем проговорил Гошка.

— А тебе-то какое дело! — вспылil Максим. — Суешь свой нос, куда не просят.

— Не петушитесь, вы что? — остановил их Иглицын ласково. — Ольга — девушка среди всех у нас... Разные вы у меня. Разные и хорошие. Спите.

— В такую ночь разве уснёшь! — сказал со вздохом Максим.

---

Разговор долго ещё не смолкал. Вспомнили Кочера Оську, который недавно уехал в Самусьский затон под город Томск учиться на судового маслѣнщика. Когда прощался со всеми, просил за старое всё простить... У Вассы Донатовны слѣзы тогда на глазах были. Кособокий пароход «Тара» от берега отвалил, а он, Оська Кочер, с палубы всем махал, не уходил, пока «Тара» за остров не завернула.

— Пал Палыч?

Иглицын не отозвался, он спал. Ребята ещё пошуршали сеном, как мыши, и Максим спросил Гошку шѣпотом:

— Как думаешь, страшно будет, когда потапыча встретим?

— А думаешь — нет? Только опять ты загадываешь... Выйдем на улицу, глянем, какая там ночь...

Луна была полная, чистая. Морковного цвета туман согнало с неё. Луна отливала синью.

— Густой нынче выпадет иней, — зябко проговорил Максим.

— Иней так иней... А правда, что вы когда-нибудь с Ольгой поженитесь?

— Дурак, — оторопело сказал Максим. — Ступай, почешу язык об угол.

— Сразу уж и дурак, — надулся Гошка. — Спросить нельзя.

Максим смолчал — ещё не хватало поспориться им перед самой охотой...

## 13

И мох, и сосновые шишки, и в зиму оставшаяся брусника, и простывшие угли во вчерашнем костре — всё было покрыто плотным, игольчатым инеем.

Дед Малафейка костѣр разжигал на старом кострище и думал, что по такому изморозку ладно след можно взять, если медведь ходит всё тут же, по этим сосновым гривам. А мог уже и уйти, хоть в сторону Мирного озера, хоть под вершинку реки Салата, да хоть куда мог уйти, ведь не привязанный же, вольная голова. Но было у деда предчувствие, что быть сегодня охоте, только ему вот, глубокому старику, хорохориться нечего: отошла пора за медведями бегать... Вчера Форя трегубый в долгу не остался, ковырнул его тоже словом: мол, старые зубы медвежье мясо не угрызут. Обиделся Форя на

---

Малафейку, что тот кобеля у него просмеял. Чудак! А то не смешно разве, что кобеля подложил? Такого здесь сроду не было, чтобы охотники кобелей подкладывали... Поплевался опять дед Малафейка: тьфу, тьфу! Ладно, у Кальзи да у Иглицына собачье доброе, а то бы была им охота...

Дед Малафейка всё это про себя аккуратно обдумывал, костёр разложил, заварил чай — подждал, когда остальные глаза продерут. Сам для себя он решил, что пока пойдёт вместе со всеми, а как только след возьмут, как погонятся, так он отстанет: ну куда ему?

За Малафейкой следом ребята встали: перед утром они замёрзли, все посинели, цок-цок зубами. Им и вставать было лень: ждали, когда Малафейка огонь разживит.

Затем вылез Фора, вялый какой-то, кислый, будто живот у него сводило, ниже пояса резало. Но чаю глотнул и отошёл: лицо разгладилось, ухмыляться стал, третью губу показывать.

У Иглицына за ночь голос осел: с хрипотцой, сиплый.

— Холодные ночи пошли, без печки не климат спать, — сказал он, выбивая сенную труху из кудрей. Выхлопал шапку, надел, чёрными глазами поглядел на парней внимательно.

— Не спали, вижу. Ну, ничего, сил у вас много, выдюжите.

Кальзя дымил табачком, пальцами вытирал губы, кхекал, будто подсмеивался над кем-то.

— Ну, что, старина? — улыбнулся ему Иглицын. — Говори, как пойдём и куда. Я тут давно не был... В какой стороне он ходит-то?

— Вся тайга у него как дом, — сощелил глаза старый остяк, голосом выдавая, что немного подтрунивает над словами Иглицына. — Третьего дня следы его в северной стороне видел: по болоту в «чирках» прошёл. Такие «чирки»! — Кальзя развёл широко ладони. — По гриве к болоту скатимся, может, сразу и след обрежем... Подфартит, глядишь. Хватим свежий наброд — собак пустим. Кучей не надо ходить: разделимся.

— Я с вами. — Максим подошёл к Иглицыну, рукавом телогрейки со стволов иней вытер.

— А я тогда с Кальзей, — сказал Гошка и крикнул.

«Остяк к остяку жмётся, собрат к собрату», — подумал Максим и улыбнулся.

Трегубый Фора поколебался с минуту, попереглядывался и тоже пристал к Кальзе.

— Тьфу, тьфу! — поплевал дед Малафейка. — Чтоб вам ни шерсти и ни хвоста!

— А ты с кем же идёшь? — спросил Малафейку Иглицын.

---

— Со всеми... Мне бы хоть гон издаля послушать. А то ещё на меня набезит с перепугу, а? Тогда стрельну, не сдержусь.

«Такому-то гусю уж что за охота, лежал бы себе на печи», — пришёл Максиму на ум Некрасов.

Максим себя чувствовал так бодро и так беспокойно, как чувствовал себя прежде на старте перед забегом, когда в Томске спартакиада шла. И тогда, и сейчас на месте ему не стоялось.

Собаки тоже заволновались: повизгивали и тыкались мордами в ноги охотникам. Максим стал хмуриться, делая вид, что для него во всём этом нет ничего удивительного, что это уже знакомо ему: ведь не впервые ружьё он в руках держит... Сейчас он будто бы Ольгу перед собой видел, и не хотел показаться ей ни встревоженным, ни весёлым.

Страху в нём пока никакого не было, а волноваться, конечно, он волновался. Ну так и что? Вон и Кальзя волнуется: губы сомкнул, в глазах ни смешинки нет... Волнуются все. И собаки. Только собаки ни перед кем этого не скрывают...

Разошлись: вправо по гриве Максим и Пал Палыч, влево Кальзя с Гошкой и Форой. Вот уж и скрыл их лес друг от друга, не видно, не слышно — лишь слышен шорох своих шагов по хрустящему инею, своё и собачье дыхание, слышен стук сердца в ушах. На отдалении один от другого, без слов, идут Максим и Иглицын по гриве наискось, приглядываются по сторонам к земле. Никаких следов вообще долго не попадалось, и лишь в конце гривы, где старые вековуши-сосны останавливались перед болотом-поньжей и дальше редкий чахлый лесок рябил, — там, на кромке болота и гривы, наткнулись они на медвежьи следы...

Максим и не разглядел бы их сразу на зелёном ковровом мху, но собака (она у него на сворке была) вдруг так потянула, что захрапела — ошейник ей в горло врезался. Медвежий дух собака взяла верхним чутьём, Максим это понял и побежал за ней.

— Пал Палыч! Пал Палыч...

Иглицын насторожённо поднял палец и взглядом понять дал Максиму, чтобы тот не шумел и подождал его.

След был «парной»: зверь прошёл перед самым утром. Иглицын это определил, когда припал на колено, пощупал след двумя пальцами: чуть-чуть прикоснулся подушечками. Потом зачем-то ещё подышал на огромные отпечатки медвежьих лап, наклонился и потянул носом.

Максим то же самое сделал: и подышал, и пощупал след пальцами, и в самый мох носом уткнулся, но ничего особен-

---

ного не понял и не почувствовал. Это его даже как-то обидело...

— Собаку пока не пускай: рано, — сказал Иглицын, протирая очки.

— Да вы только гляньте, как она рвётся: шерсть на загривке дышит.

— А ты поразмысли, Максим, — сощурился левым глазом Пал Палыч. — Куда у нас след пошёл? Пошёл он по гриве в ту сторону, куда Кальзя напересек двинулся. Значит, Кальзя там обязательно след подсекёт. К ним медведь будет ближе, чем к нам... Они и собак первыми пустят.

— А мы опоздаем, — совсем по-детски вырвалось у Максима.

— Охота у нас нынче общая, уж что кому выпадет, — сказал Иглицын и усмехнулся. — Не терпится, понимаю. Но если мы пустим собаку рано, то всю охоту испортим.

— Вдруг они след не возьмут? — не унимался Максим.

— Это Кальзя-то след не возьмёт? Что ты, мой друг... А ты посмотри, как медведь-то идёт: лапу от лапы недалеко ставит, отъелся к зиме, спокойный. Ну, поспешим, долго нам мешкать некогда.

Опять захрапела собака, шерсть у неё на загривке поднялась дыбом, как у свиньи щетина, а глаза накалились, как угли зелёные. Так прошли они крупным шагом с полкилометра. Собака уже совсем выпрыгала и чуть не сбивала Максима с ног.

— Пускай, — разрешил Иглицын. — Пускай, милоч...

От волнения сразу Максим не мог расстегнуть ошейник, пальцы его запутались в длинной густой шерсти лайки. Собака, наконец, вырвалась, мотнула бешено головой, чихнула — ноздри прочистила, чтобы чувствовать, пить приближающийся медвежий дух, припала мордой к следам и понеслась плавными, неслышными прыжками.

— Теперь нам держаться надо собачьего следа, — с одышкой проговорил Иглицын. — Хо, пробежал немного, и уже дух захватило... Собака спрямлять начнёт в тех местах, где он напетлял, гон укорачивать.

Максим и Иглицын за собакой так и бежали впритруску, берегли силы пока. Стало жарко, хоть телогрейки сбрасывай, шапки. Морозный воздух разгорячённой души почти уж несколько не охлаждает: жарко, жарко! Собачий след хорошо отпечатывался теперь на густом, ещё не тронутым солнцем инее, бросал их то в мелколесье, то в просторные, вековечные сосняки.

---

Не пробежали они, может, и двух километров, как послышался завывающий, словно скулящий, лай: те, другие собаки тоже гнали по следу и уже близко чуяли зверя. По лесу звонко, как бряканье колокольчика в тишине утра, разносился этот подстёгивающий, подгоняющий охотников лай. К двум голосам собак пристроился скоро третий: бухающий, густой, как вар, бас иглицынской лайки.

— Кажется, вроде поставили, — передыхая, с трудом сказал Пал Палыч. — Теперь нам жарить во все лопатки!

Подал свой голосище и «большой мужик»: затравленно заревел, свирепо. Казалось, весь лес в округе раскололся и застонал. У Максима от этого рёва сердце подпрыгнуло, всё замерло в нём, похолодело на какой-то короткий миг, но своего бега, размашистого большого шага он не укоротил. Взводя на ходу курки, зажимая в горсти по паре запасных пулевых зарядов, Максим и Иглицын ломились уже напрямик: след бросили и шли на лай.

Мох под ногами проваливался, и бежать было почти невмочь: на пути вязкое место попало, поньжа. На середине болота зыбун, как нарочно, возник: охотники заметались, сунулись влево сначала, потом вправо, искали, где лучше им обогнуть опасное место. Пока вот так огибали поньжу и снова попали на гриву, там, на месте схватки, что-то случилось: все голоса и все звуки смолкли на миг, и вдруг издыхающий, жалобный лай царापнул по сердцу.

«Порвал собаку... По голосу вроде Форин кобель», — подумал Иглицын.

О том же подумалось и Максиму, но переброситься словом им было некогда.

И снова рывканье, лай послышались, но уже дальше, чем было до этого, потому что медведь замешкой успел воспользоваться и, конечно, дал тягу. Но опять был поставлен, и опять собаки держали его.

«Сколько же мы его гнать будем? Порвёт всех собак и уйдёт». Максиму страшно стало от этой мысли: так долго ждать, волноваться, переживать — и впустую. И только подумалось так ему — грянули выстрелы раз за разом... Эхо ещё не замерло — грянули снова: четыре.

«И Гошка стреляет!» Обидой и завистью облилось сердце Максима. «Не Гошка, не Гошка, не Гошка», — выстукивало оно удары. «Это Фора из своей тулки бабахнул». Максиму хотелось верить, что всё это так...

Был рёв медведя, совсем другой рёв, чем слышался давеча: рёв обречённого на смерть зверя. Рёв этот скоро смолк, и



---

только кое-когда доносились, как храп, стоны собак, вконец одичавших от крови.

«Всё кончилось, мы опоздали!» Максиму перехватило горло, и он уже не бежал, а шёл. На земле почти не осталось иная: солнце просеивало свои лучи сквозь красные сосны...

Людей увидели они на чистине, в мелком ельничке. Кальзя стоя покуривал канью, а Гошка пинками пытался отбить собак от медвежьей туши. Пасти собак были кровавы и густо забиты шерстью. Собаки рвали медвежьи кровоточащие раны. Собак Гошка всё ж таки отогнал; у самого у него лицо было дико, азартно и тоже забрызгано кровью: видно, близко совался к собачьим мордам, испачкался.

— Гошка-то, Гошка! Управляется как заправский, — удивился Пал Палыч, снимая очки и выжимая из глаз обильный пот. — Запарились, но не зря... Страшно было, Георгий?

— Немного... Но я, Пал Палыч, метко стрельнул! По лопаткам... Не верите? Кальзя пусть скажет. — Глаза и зубы у Гошки блестя.

Очангин не врал — верили этому все, но Кальзя слов его подтверждать не стал, и Максим подумал, что так и надо: больно уж Гошка расхвастался... Зависть была у Максима к дружку невыносимая...

Бурый, горбатый медведь походил на большой муравейник: он будто спал, припав к валежине, морду лапой закрыл, изгибом, словно от комаров прятался.

— Медвежица, — сказал погода Кальзя.

— Да что ты? — охнул Иглицын. — А где ж медвежата?

— Не было медвежат... Или так, холостая, год проходила, или с детёнышами случилось что. Такое, выходит, дело...

Кальзя вынул свой здоровенный нож и стал подтачивать его плоским брусочком.

— А Фора собаку остался закапывать, — сказал Гошка. — Медведь ей кишки так и выпустил. Упала и не копнулась... Визжала только.

— Слыхали мы, — обронил Иглицын.

— Дед Малафейка-то подойдёт, прикопатит, так надо его за конём сразу же посылать, — сказал Кальзя и протянул Иглицыну нож. — Режь горло, набери котелок крови: обычай велит.

...Горячая кровь пенилась в котелке. Прикладывались по очереди: Кальзя, за ним Иглицын и Гошка. Гошка пил — глаза выпучил, как зверёк, ноздри раздул. Больше всех он крови из котелка отпил и, пены не вытирая с губ, сказал важно:

---

— Сласти́т... А раньше мне от сви́ней давали — у них со-  
лона.

Белые зубы его были подёрнуты красным...

Максим в жизни глотка крови не пробовал и теперь смотре-  
л на всё это почти со страхом. Он понимал, что это обы-  
чай, что не притронуться к котелку нельзя: какой ты, скажут,  
охотник, если медвежьей крови при случае не отведал... Но  
ему было плохо, и без того поташнивало. А Гошка совал ему  
котелок, щерился.

— Можно... не пить? — жалобно как-то вырвалось у Мак-  
сима.

— А ты попытай, не бойся, — светло улыбнулся ему Пал  
Палыч.

Максим зажмурил глаза, взял котелок на ощупь и отглот-  
нул.

— Не могу больше! — Парня всего передёрнуло.

— И хватит, и ладно, — весело рассмеялся Иглицын. — Ну,  
теперь вы совсем мужики!

Иглицын взволнован был, всё трогал грудь против сердца,  
поглаживал — видно, не мог отдышаться ещё от медвежьего  
гона...

Кальзя пошёл снимать шкуру; только двинулся с места,  
как тут разнеслось по лесу:

— Э-ей, где вы там? Чо приумолкли, притихли?.. Ой, но-  
женьки мои, ноги! Да когда ж это стариков на молодых пере-  
дельвать будут? Иду я, иду..

Хрустело поблизости сучьями, шелестело мохом — дед  
Малафейка, неугомонный, шёл.

А на чистине медленным, но живым пламенем уже разго-  
рался костёр...

*Благовещенск — Томск — Новосибирск — Москва  
1965 — 1968 гг.*

---

---

## Сын Нарыма

---

Имя Владимира Анисимовича Колыхалова мне стало известно с момента выхода в январском номере «Роман-газеты» за 1969 год уже нашумевшего романа «Дикие побеги». Замечу, что регулярное знакомство с «Роман-газетой» было в те годы лучшим способом узнать хотя бы приблизительно то, что происходит в советской и мировой литературе. Подписка на это издание стоила гроши, а печатались в нём только уже более или менее признанные отечественные и зарубежные произведения. Вот я и обратил внимание на близкий мне по духу своему рассказ о «диких побегах», подростках, взрослевших в трудные военные и предвоенные годы, о моём поколении (Владимир родился в 1934 году, я на семь лет раньше).

Я и сейчас с волнением перечитал роман, но сорок лет тому назад он произвёл на меня очень сильное впечатление, хотя тот год был «урожайным». Достаточно вспомнить, что именно тогда были опубликованы повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие», роман Фёдора Абрамова «Две зимы и три лета», повесть Юрия Трифонова «Обмен», масса произведений, приуроченных к предстоящему столетию со дня рождения В. Ленина (читать сегодня некоторые из них не столь интересно, сколь поучительно). Ещё не утихли читательские споры по поводу недавно вышедших «Денег для Марии» Валентина Распутина, «Деревенского детектива» Виля Липатова, «Прощай, Гульсары» Чингиза Айтматова, «Солёной пади» Сергея Залыгина, и многих, многих других. Весьма символично, что именно тогда на литературном небе заблестали звёзды, так сказать, «провинциальные», причём более всего — звёзды азиатские. Чингиз Айтматов из Киргизии, Валентин Распутин и Александр Вампилов из Иркутска, наш Виль Липатов, Юрий Рытхэу с Чукотки, десятки других талантливых авторов. Короче говоря, книга дальневосточника, издававшегося ранее лишь в Благовещенске и Хабаровске, вышла в московской «Молодой гвардии» на серьёзном литературном фоне. Впрочем, точности ради замечу, начинал-то В. Колыхалов в «Молодом ленинце», удивительной томской молодёжной газете, давшей путёвку в настоящую публицистику и серьёзную литературу десяткам авторов.

---

Замечу ещё, что серьёзными были тогда не только издательские и авторские достижения. В 60—70-е годы прошлого века интерес к литературе ещё не заместился вниманием публики к телесериалам и блокбастерам, люди более или менее внимательно относились к изящной словесности, и, например, на кафедрах физико-математического факультета ТГПИ, где я тогда работал, вопросы вроде: «А вы читали бондаревский „Горячий снег“?.. симоновское „Последнее лето“?.. новый роман Анны Зегерс?» — звучали едва ли не ежедневно и не казались искусственными.

Не обратить внимания на «Дикие побеги» было тогда просто невозможно, тем более, что за этот роман автор был удостоен недавно учреждённой премии имени Николая Островского. Но дело не только в официальном признании. К тому времени вышло немало разного уровня произведений о подвиге советских людей на фронтах Великой Отечественной войны. Но о том, что единство фронта и тыла было вовсе не пропагандистским лозунгом, а сутью жизни народа, написано было очень мало. Кстати, по-моему, долг перед нашими рабочими и крестьянами за подвиги тех лет наше искусство и поныне оплатило далеко не сполна. Роман Вл. Кольхалова был одной из книг, восполнявших пробел. Наш суровый Север, Нарым, реки, озёра и болота, остяцкие и русские деревушки, в который уж для России раз отдали делу защиты страны лучшее из того, что имели, — сибирских мужиков. А тыл, женщины и дети? Автор ничего не выдумывал, ибо он, деревенский мальчишка-сирота, воспитанник Усть-Чижапского детского дома, сам испытал все тяготы своего времени, рассказал о воспоминаниях мужиков о Гражданской войне, о колчаковских карателях, о жизни, труде, быте и нравах таёжной деревни, о судьбе дезертира (заметьте, задолго до повести В. Распутина «Живи и помни!» с Андреем Гуськовым), о детском доме с его воспитанниками и педагогами, о деталях быта, часто вовсе не героических. И рассказал об этом не просто бесхитростным, невыдуманным языком, но ещё и языком сочным, русским, сибирским.

Сегодня мы, восторгаясь современными достижениями томского Севера, добычей нефти и газа, почти забываем о десятках тогдашних смолокурных и спиртовых заводиков, об изготовлении так нужного стране пихтового масла, о добыче рыбы, о заготовке и отправке на военные заводы в Тулу и Ижевск сотен тысяч болванок для изготовления прикладов винтовок и автоматов. А едва ли не с себя сняты тёплая одежда и обувь для солдат? А тонна сибирских пельменей, отправ-

---

ленных на фронт из Нарыма? Пустячки? Мелочь? Возможно, но это была частичка всенародного подвига, обеспечившего нашу Победу. Это жизнь, жизнь, описанная в романе без надрыва или особой героизации, описанная такой, какой она тогда была.

На Западном Урале, где я провёл своё предвоенное и военное детство, многое, конечно, было не так, как в нарымском крае. Многое в деталях, но не по сути своей. И, читая у Колыхалова о детском труде, о постоянном чувстве голода, о мальчишках, не испытывавших отцовской заботы, о несчастных деревенских женщинах, взявших на себя мужской труд, я вспоминал наше село, наших мальчишек и девчонок, наших женщин. Колыхалов написал книгу не только о Максиме и Егоре Сараевых, но и о миллионах таких же, как они, таких же, как друзья моего детства.

Есть такая мысль — каждому человеку от Бога дано написать одну книгу. Но многие пишут не одну, а десятки. Так вот, у каждого автора среди написанного есть эта одна, его книга, остальные написаны «за других», и поэтому они, как и всё чужое, слабее. Не берусь утверждать, что всё, что написал Владимир Анисимович после «Диких побегов», создано, так сказать, за счёт других, но это — его книга, это роман, данный ему свыше, и поэтому он останется в русской литературе.

Впрочем, не буду преувеличивать — за дальнейшим творчеством Вл. Колыхалова я следил не очень внимательно, хотя в своё время не без интереса прочитал «Июльские заморозки», «Крапивное семя», «Охотник» и некоторые другие произведения. Неплохие работы, более того, даже в произведениях Владимира Анисимовича, которые я не приемлю по ряду причин, отражена наша жизнь, и они понадобятся будущим историкам, литераторам. Но «Дикие побеги» нужны каждому сибиряку, каждому русскому человеку.

Однако о самом авторе я как-то поначалу не задумывался, да и не знал почти ничего. Но в 1971 году он вернулся в Томск и вскоре был избран ответственным секретарём областной писательской организации. Тогда мне и довелось с ним познакомиться. Незадолго до его приезда вышла в свет моя первая книга «Путь к „Битве“... Страницы жизни Галины Николаевой». И руководитель томских писателей стал считать меня причастным к своему цеху, стал приглашать на всякие писательские посиделки. Отношения у нас были товарищески ровными, но особой дружбой с ним я всё же похвастаться не могу.

Лишь один эпизод хорошо мне запомнился.

Но сначала — небольшое отступление. В 60—80-е годы прошлого века в стране и, естественно, в нашей области, существовал очень неплохой элемент культурно-просветительской жизни, этакое «хождение в народ» на советский лад. Общество «Знание» создавало небольшие отряды из деятелей культуры, иногда — из представителей разных областей науки, просвещения, искусства, иногда — только из писателей или только из учёных. Такой десант выезжал дней на десять в какой-либо отдалённый район области, там он попадал в распоряжение местных властей и, разумеется, отдела пропаганды райкома КПСС. И в довольно напряжённом режиме участники поездки работали в разных сёлах и деревнях, клубах и школах — читали лекции, проводили беседы, диспуты и так далее. Работа эта, хоть и скромно, но оплачивалась, а вузовским преподавателям позволяла не без гордости ещё и вписывать особую строчку в годовой отчёт. Принимали гостей повсюду приветливо и внимательно, хотя я прекрасно понимаю, сколько волнений мы доставляли местному руководству.

Сидя всю жизнь на двух стульях — преподавательском и журналистском — я оказывался то в группе томских учёных, то в компании томских писателей. Все эти поездки до сих пор вспоминаю с самыми добрыми чувствами, хотя бы потому, что иначе мне едва ли удалось бы познакомиться с просторами нашей области, со Стрежевым и Пионерным, с Бакчаром и Тегульдетом, да и с более доступными Колпашевым и Асином. А с какими замечательными людьми довелось встретиться в этих поездках! Какие интересные дела удалось увидеть! Добыча нефти на Вахе... Заготовка леса в Батурино... Вылов рыбы на Оби...

Вот на Оби и произошло, вообще-то говоря, незначительное событие, связанное с Владимиром Колыхаловым. Под его командой мы, человек восемь, будучи на севере области, приехали к каргасокским рыбакам и увидели (я — впервые) изумительно красивую картину — выбираемый из реки гигантский невод с сотнями попавших в него сверкающих серебром язёй и сырков. Потом рыбаки угостили нас обедом, и тут, конечно, нужны Франсуа Рабле или Иван Андреевич Крылов, ибо я не в состоянии описать происходившего. Икра, уха, снова икра, смородиновый чай, неторопливые разговоры, в то время, когда по реке снова шёл невод. Блюстителям нравственности докладываю: горячий чай был самым крепким из употреблявшихся за обедом напитков, ничего другого на столе не было...

---

По всем правилам, после беседы с рыбаками нам надо было уезжать, но Валентина Кудрявцева, детская писательница, потомственная сибирячка, дочь охотника-селькупа, попросила нас задержаться и ещё раз посмотреть, как «на рыбалке, у реки, тянут сети рыбаки». Большинству это было вроде бы уже и неинтересно, но кое-кто всё же поддержал Валентину Ивановну, явно обладавшую каким-то особым рыбацким чутьём.

...Мне показалось, что в неводе запутался здоровенный чёрный чурбан, но когда я увидел, с какой осторожностью и усердием рыбаки вытаскивают его из сети, понял — осётр! Его завернули в мешковину и положили на дно одной из лодок, а мы отправились в райцентр.

На берегу Владимир Анисимович отозвал меня в сторону.

— Лев Фёдорович, у вас сегодня есть ещё встречи? Лекция в школе? Вот и хорошо, я вас прошу сразу же после лекции зайти ко мне. — Колыхалов остановился не в гостинице, а у своих родственников.

Не очень хорошо понимая, зачем это, я всё-таки не стал возражать.

...На полу в кухне лежал тот самый «чурбан» — осётр, показавшийся мне огромным; но выдавший виды Колыхалов небрежно бросил: «Бывают и покрупнее».

Оказывается, Валентина Ивановна шепнула рыбакам какое-то остяцкое слово, после которого они подарили нам этого красавца. Я попытался что-то сказать о браконьерстве и соблюдении законов, но Владимир Анисимович ответил: «Они бы его всё равно даже до рыбозавода не довели, припрятали бы в прибрежных кустах, а потом специально за ним приехали и потихонечку продали».

— Понимаете, я хочу сейчас разделить подарок между братьями-писателями. Вот вы и будете свидетелем, и если понадобится — подтвердите, что сделано всё по справедливости. Вам поверят.

...В нашей жизни иногда возникают самые неожиданные ситуации. Мелочь, пустячок, баночка свежей икры... А в памяти осталась глубокая зарубка об интересном человеке, так рано ушедшем из жизни...

Осталась и память о лучшей его книге. Спасибо, Владимир Анисимович, за неё, за искреннюю любовь к Сибири и сибирякам.

*Л. Пичурин*



---

---

# Оглавление

Часть первая . . . . .	5
Часть вторая . . . . .	91
Часть третья . . . . .	157
Часть четвёртая . . . . .	237
Часть пятая . . . . .	347
<i>Л. Пичурин. Сын Нарыма</i> . . . . .	409

---

---

## «Томская классика»

Произведения, включённые в серию, соответствуют трём критериям: содержат местный материал; имеют художественную и общественную ценность; известны за пределами области.

1. И. А. Куцевский. «Николай Негорев, или Благополучный россиянин». (Куцевский Иван Афанасьевич (1847—1876) — автор первого «томского» романа «Николай Негорев...», объективно описавший идейный разброд молодёжи 1860-х годов.)

2. Н. И. Наумов. Рассказы. (Наумов Николай Иванович (1838—1901) — крупнейший сибирский писатель-народник.)

3. Г. Д. Гребенщиков. Рассказы. (Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1883—1964) — крупнейший сибирский прозаик первой половины XX века; с 1920 г. эмигрант. Автор «крестьянской эпопеи» «Чураевы»).

4. В. Я. Шишков. Рассказы. «Тайга». «Ватага». (Шишков Вячеслав Яковлевич (1873—1945) — классик сибирской литературы. Автор романа «Угрюм-река», экранизированного в 1969 г.)

5. Г. М. Марков. «Строговы». (Марков Георгий Мокеевич (1911—1991) — автор романов, положивших начало традиции «романа поколений». Романы «Строговы» и «Сибирь» экранизированы в 1976 г., «Соль земли» — в 1978 г., повесть «Тростинка на ветру» — в 1980 г., роман «Грядущему веку» — в 1985 г.)

6. М. Л. Халфина. Рассказы. «Мачеха». (Халфина Мария Леонтьевна (1908—1988) — автор произведений о проблемах семьи (повесть «Мачеха» экранизирована в 1973 г., рассказ «Безотцовщина» — в 1976 г.)

7. В. В. Липатов. Рассказы и повести. (Липатов Виль Владимирович (1927—1979) — писатель социальной проблематики (экранизированы повести «Деревенский детектив» — в 1969 г., «Инженер Прончатов» — в 1972 г., «Анискин и Фантомас» — в 1974 г., роман «И это всё о нём» и повесть «И снова Анискин» — в 1978 г., повесть «Ещё до войны» — в 1984 г., роман «Игорь Саввович» — в 1987 г., повесть «Серая мышь» — в 1988 г.)

8. Вл. А. Колыхалов. «Дикие побеги». (Колыхалов Владимир Анисимович (1933—2009) — автор романа «Дикие побеги», показавший объективную картину жизни в послевоенной Сибири.

9. В. Д. Колупаев. Рассказы и повести. (Колупаев Виктор Дмитриевич (1936—2001) — выдающийся писатель-фантаст, «русский Брэдли».)

---

Литературно-художественное издание  
Владимир Анисимович Колыхалов

*Дикие побеги*

Редактор книжной серии *Г. К. Скарлыгин*  
Редактор тома *Л. Пичурин*  
Технический редактор *А. Р. Рубан*  
Корректор *И. А. Сердюк*

Издание Томской писательской организации.  
Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания».  
Подписано в печать 16.07.2014 г. Печать офсетная.  
Формат 140×240 мм. Шрифт Cambria.  
Усл. печ. л 25,88. Уч.-изд. л. 21,22. Тираж 1 000 экз.